1 maja

Иностранная литература

5

1963

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМБЕН УСМАН — Стихи 4

АЛАН СИЛЛИТОУ — Ключ от двери (Роман) 6

ПЕСНИ ГНЕВА

СТИХИ ВЬЕТНАМСКИХ ПОЭТОВ (Вступление Мих. Матусовского)

ТО ХЫУ, ТЕ ХАНЬ, ЗИАНГ НАМ, ТХАНЬ ХАЙ, КШОН БЛЕУ 79

ЖОРЖИ АМАДУ — Необычайная кончина Кинкаса Стинь Вода (Сатирическая повесть) 87

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР — Осенний дым (Роман. Окончание) 115

КРИТИКА

В. КОЖИНОВ — Реализм и действие в современной литературе 184

П. ПАЛИЕВСКИЙ — Новое имя (Алан Силлитоу) 193

И. ТЕРТЕРЯН — Жоржи Амаду, которого мы знаем 198

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

АЛЬВА БЕССИ — Новые американские романы (Письмо из Сан-Франциско) . . . 202

ПОЛЕМИКА

Р. ОРЛОВА — Устарели ли идеалы тридцатых годов? 205

5

МАЙ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 207

ДОКУМЕНТЫ

Они отстаивали правду о Стране Советов (Окончание) 215

И. БЕРНШТЕЙН — Плодотворная встреча 236

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран 239

ОЧЕРКИ

А. АГАРЫШЕВ — С добрым утром, Республика! 241

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Э. ЛАРИОНОВА — Первый художник республики Мали 248

Г. ЧЕРНОВА — Творчество народных мастеров Африки 249

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Ф. НАРКИРЬЕР — Новое о Барбюсе . . . 255

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Выбор Анибала Понсе 260

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Л. Фейгина — «Я защищаю людей...» ◇ Борис Слуцкий — Маленькая, но действующая. ◇ Б. Рифтин — Китайская народная новелла 262

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

М. Фридман — Что такое дом? ◇ В. Гривнин — Воспитание предательства. ◇ Д. Жуков — Постоянство 267

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

На обложке плакат польского художника З. ЯМИШЕВСКОГО «Победит воля миллионов—Мир!»

К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА

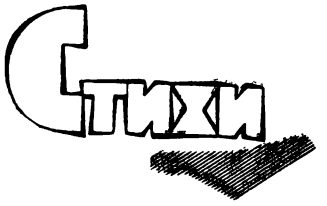
Маркс и Энгельс осуществили в нашем веке тот идеал дружбы, который изображали древние поэты. С юных лет они развивались вместе и, так сказать, параллельно, делились друг с другом самыми задушевными мыслями и чувствами, принимали участие в одной и той же революционной агитации...

Маркса и Энгельса сближала не только совместная умственная работа, но и взаимная нежная привязанность. Каждый из них всегда думал о том, как бы чем-нибудь порадовать друга; каждый из них всегда гордился другим.

(Из воспоминаний Поля Лафарга)

КАРЛ МАРКС, ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС И ЖЕННИ МАРКС.
Рисунок Курта Циммермана (ГДР)

СЕМБЕН УСМАН



Авторизованный перевод
с французского ЛЬВА ХАЛИФА

ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛАНДЫШИ

Женщина,
Сегодня 1 Мая.
Никто тебе
Не подарит ландыши —
Цветы маленькие,
Чьи стебельки
Как лапки
Маленькой ласточки.
Сегодня никто
Не приколет на твою грудь,
Когда ты встанешь поутру,
Этот нежный цветок,
Прогоняющий грусть,
Эти первомайские ландыши —
Традиционный жест,
Залог двадцатилетнего порыва,
Лепестки влажные.
Двадцать лет
Прикреплял он на грудь твою
Эти маленькие крылья,
Он — погибший
В забастовке
Где-нибудь в Париже
Иль Бостоне.
Сегодня
этот весенний цветок
Не приколет тебе никто.
Раз никто
Не придет сегодня —
Женщина другой страны,
Другой традиции,
Другой свободы,
Другого языка
В отличие от того,
На каком говорим мы,
Женщина — трудящаяся мать
С грудью,
Не украшенной ландышами,
С грудью в трауре,
Женщина
Нерадующаяся,
Идем с нами,
Идем раздавать
Пяти континентам
Ландыши 1 Мая —
Нашей солидарности букеты,
Кусочки белого марева!

ПУТЬ

По этому пути
Я пойду —
Даже без ног.
По этому пути
Я пойду —
Даже если б ползти
Не смог.
Я кровью своей
Сцементирую
Этот путь.
Путь
к Дружбе,
В которую верю,
Путь
к Миру,
Который без пут.
По этому пути
идти
надо.
В путь-дорогу,
Моя нация!

ПАЛЬЦЫ

Пальцы — ваятели,
В мраморе — мысли.
Волнующие,
впечатляющие
Пальцы
артиста,
Мозолистые,
Широкие пальцы,
Землю
перепахивающие,
Пальцы —
работающие парни.
Землею
пахнущие.
Пальцы
пахаря —
От них
зависит жизнь.
А этот палец —
На курке лежит.
Глаз наметанный
на прицеле,
Хватка мертвая,
Хватка цепкая,
Пока
не спустил курок...
Мушка скачет,
как щепка
В бурном ущелье...
Вот он,
палец убийцы.
Палец солдата!
Через реки
и речи
Европы
и Азии,
Африки
И Океании
Соединим наши пальцы,
Парни!
И тогда враги
В рукопожатии этом
потонут
И пальцем
Не тронут!

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ...

Мы встретились
У подножия деревни маленькой,
Которую окружает
Пляж светящийся,
Где не потухает марево,
Где радуги неслышные
Качаются.
Пляж
питает ручей,
Ручей, убегающий в реку,
Ручей, что в реке по течению
Протягивает к морю
Свою ленту
И дальше,
дальше теряется
В океане недвижном...
Таким я образ
Человека
Вижу.

АЛАН СИЛЛИТОУ

Ключ от двери

РОМАН

Перевод с английского
Н. ДЕХТЕРЕВОЙ, Б. РОСТОКИНА,
В. СМИРНОВА

Часть I

ПРОЛОГ

Брайн стоял в мелкой воде прудка, не принимая участия в общей кутерьме. Рассеянный взгляд его голубых глаз остановился на широкой излучине Трента, но река, как видно, не целиком захватила его внимание: он крепко стиснул в кулаке губную гармошку, чтобы двинуть ею как следует, если кто из ребятишек, оголтело носившихся вокруг, толкнет его, нечаянно или нарочно, и он шлепнется в мутную от песка воду.

Рассудив, что ребенку не мешает подышать свежим воздухом после тесных клоповников Элбион-ярда, Вера одела сына и повела его по Уилфорд-роуд пешком, рассчитывая купить ему стаканчик мороженого на сэкономленные полтора пенса. А на обратном пути ей, может, удастся провезти его в трамвае бесплатно: подмигнет кондуктору и скажет, что мальчику еще нет пяти. Хэролд, узнай он об этой затее, дал бы жене взбучку, но чего глаз не видит, о том сердце не ноет, и Вера скоро и думать обо всем этом забыла. Тут они дошли до железнодорожного моста и Брайн потребовал остановиться: хотел посмотреть, как внизу будет проходить поезд. Только когда дым из паровозной трубы вызвал у него кашель, он согласился идти дальше, и они шли, пока не увидели лодку на Тренте и коров, жующих траву под деревьями-зонтами на том берегу. Они сразу свернули на зеленую поляну, где находился пруд и где уже было полным-полно ребятишек с их мамами. Вера подняла со скамьи вчерашнюю «Ивнинг пост» и уселась читать; Брайн, засучив штаны, осторожно вошел в воду.

Гармошка теперь торчала из кармана, а он принялся за недавно придуманную им игру: плотно зажал руками уши и слышал уже не пронзительные вопли вертевшихся вокруг мальчишек, а будто дальнее эхо. Но резкие отрывистые крики снова обрушились на него, едва он опустил руки, чтобы проверить, не произошло ли чуда, не стал ли грубый шум на прудке и в самом деле мягким и приглушенным.

— Что это ты засунул пальцы в уши? — крикнула ему мать.— Еще болячки пойдут.

По воде шлепали и женщины, белые ноги их по щиколотку погружались в тинистую грязь — хоть как-нибудь да позабавиться. И Вере вспомнилось, как она вот так же брела, только не по мелкому городскому прудику в солнечный день, а почти по колено в холодной воде, шагая от своего дома-развалюхи возле Нового моста к Питер-стрит. Оба они с Ситоном проснулись ночью из-за бушующей грозы, и, когда в предрассветной мгле спустились вниз, светящиеся потоки воды бились об оконные стекла, отскакивая и налетая вновь, а в полутемной комнате кружились в воде мебель и разные вещи, словно отбившиеся от стаи, попавшие в западню утки. Как только ливень прекратился, Вера и за ней Ситон с креслом на голове зашлепали по воде, выбираясь из дому.

— Оставаться здесь — так только чахотку нажить! — крикнул он ей.

Она обернулась.

— А где же, скажи на милость, нам жить? Под мостом?

— Мы разыщем себе жилье,— ответил он.

Он таскал мебель, складывая одну вещь за другой на сухую землю, оставив Веру сторожить, пока сам раз десять сходил домой и перетащил стулья, диван, кровать. Все это он поочередно взваливал на свои могучие плечи и выходил со своей ношей из переулка, состоявшего всего из двух домов. Эбб Фаулер, живший во втором доме, бодрый, деловитый, в суконной кепке, уже успел перетащить свои вещи и теперь помогал Ситону. Какой-то прохожий сказал Вере, что на Элбион-ярд, в другом конце города, есть свободные домишки — блох до черта, но зато сухо, и что к вечеру вполне можно там обосноваться, если только не зевать.

Хэролд и Эбб Фаулер совершили переезд вместе, каждый из них шестнадцать часов подряд толкал перед собой ручную тележку, переселяя свой счастливый семейный очаг. К восьми часам вечера оба едва держались на ногах.

Она открыла глаза — голос Брайна заставил Веру очнуться от воспоминаний.

— Мам, пойдем на другой прудок!

— На какой еще другой прудок?

— Вон на тот, который там.

Он протянул руку, указывая через широкую реку на противоположный, южный берег.

— Есть только один прудок, дурень ты эдакий, в нем ты и стоишь.

Он был упрям и настойчив. Бутылочным осколком он выскребал на размытом дождями пустыре Элбион-ярда траншеи, воздвигал стены из липкой грязи и смотрел, как на дне траншей, если рыть глубоко, просачивалась вода, а стены разваливались, стоило им вознестись чересчур высоко к облакам, плывшим, словно белые утки, над покосившимися трубами домов, обреченных на слом. Жильцов из таких домов уже выселили, заколоченные досками жилища глядели пустыми глазницами на те дома, где люди еще жили. В некоторых домах засовывали доску фута в два длиной в проем раскрытой двери, чтобы какой-нибудь двухлетний несмышленыш не добрался прежде времени до кирпичных обломков и разбитых бутылок. Кто не хотел во всеуслышание кричать, прося у соседей взаймы до четверга чашку сахара или заварку чая, вынужден был перешагивать через этот деревянный барьер.

В конце дома у стены приткнулся ржавый велосипед с мотором, купленный в сытые двадцатые годы и брошенный в голодные тридцатые после того, как «оценщик» — агент по оценке имущества безработных — оценил его слишком высоко и хозяину велосипеда выгоднее было избавиться от такой обузы. Но Брайн разъезжал на нем из страны в страну, таская его за руль, и мотор — гудящий голос самого Брайна —

ревел, преодолевая горные кручи, знакомые Брайну по книжкам с картинками, и давил ведьм, которых показывала ему в журналах его приятельница Эми Тайр. Однажды в карнавальную ночь, устроенную городом с пятьюстами тысячами населения, он отправился, уже без велосипеда, в конец улицы, где жгли костры, орали и шумели. Брайн, прижимаясь к стенам домов, попытался пробраться дальше, но на углу наткнулся лишь на другой такой же костер. Треск, взрывы ракет — от жара на складе лопнуло стекло, огонь освободил лежавшие тюками кружева от их изысканных узоров, и тогда пожарные машины, настоящие страшилища, наполнили улицу водой и паром и заставили Брайна вернуться под укрытие своего двухкомнатного домишка.

Мир был для него реальностью лишь в пределах радиуса собственного видения, и он не замечал ничего, что не укладывалось в его слабой ребячьей голове. Как-то утром он проснулся и обнаружил, что у него есть сестра, но он осознал этот факт лишь после того, как она научилась ползать и, добравшись до его бумажного аэроплана, разорвала его в клочки. Он не знал, что у него есть отец, знал только, что какой-то человек (а что такое «человек»?) постоянно сидит сгорбившись у каминной решетки и, если подойти к нему слишком близко, может с поразительной быстротой пустить в ход кулаки. Но однажды, зайдя с улицы в дом, Брайн увидел, что мать, громко причитая, стоит, наклонившись над ведром, и со лба у нее капает кровь.

— Гляди, что сделал твой отец! — выкрикнула она.— Ботинком запустил!

И вот так, слыша громкий плач и глядя на ведро, куда капала кровь, он узнал, что такое отец.

Как-то в четыре часа утра в гостиной соседнего дома рухнул потолок и провалился в комнату нижнего этажа — грохот был, как от землетрясения. Одному из тех, кто еще плыл на железном плоту мертвого сна, сломало руку, другому поранило лицо. Тут как раз подоспел день выдачи пособия по безработице, и Ситон, не желая, чтобы его семья оказалась погребенной под грудой кирпичей и гнилых балок, выложил шесть шиллингов и перебрался в другой, такой же ветхий, но еще не предназначенный для сноса дом на Маунт-стрит. Предварительно Эбб Фаулер подделал ему запись об уплате за квартиру в расчетной книжке. Вечером, когда ключи от нового жилища уже были у него в кармане, Ситон подозвал Брайна, игравшего на полу косточками домино.

— Видишь, сынок? Знаешь, что это такое? Нет? Так вот, это расчетная книжка.

Он протянул сыну книжку на ладони, желтой от сигарет «Жимолость».

— Да, пап.

— Ну, бери. Да не урони, ты, поганец. Теперь тащи к огню и бросай. Вроде ты ее нечаянно обронил.

Подойдя к камину на два шага, Брайн швырнул в него книжку и смотрел, как огонь пожирает бумагу.

— Так, молодец, делаешь, что тебе велят,— сказал Ситон.— Получишь от меня сигаретную картинку.

— Аферист ты,— вставила Вера.— Засадят тебя, дождешься.

— Ну что ж,— улыбнулся Ситон, довольный своей дерзостью.— Они там знают, где меня разыскать.

«Прогулку при луне» наметили, сверившись предварительно по календарю Старого Мура *, на самую темную ночь в месяце. Ситон заключил прочный союз с Эббом Фаулером: у того семья тоже кормилась лишь на пособие, и он готов был тащить одну из тележек Ситона,

---

* Английский астрономический календарь-альманах, впервые изданный в XV веке.

при условии, что и Ситон окажет ему такую же услугу, когда настанет черед Фаулеров совершить «прогулку при луне» — сбежать ночью с квартиры. Не отличаясь особой грамотностью, Ситон не сумел бы проделать необходимую операцию с расчетной книжкой Эбба Фаулера, но Эбб Фаулер по этой части был большим ловкачом и докой, смог бы справиться и сам.

Пожитки погрузили на две тележки, где вскоре выросли настоящие небоскребы из мебели — цементом для скрепления служили бельевые веревки. Фаулер, крякнув, рванул тележку и оттолкнул ее от обочины тротуара так, что колеса затарахтели по булыжной мостовой. Ситон велел жене катить детскую коляску и, так же крякнув, таким же рывком сдвинул свою тележку.

Брайн — сна ни в одном глазу — шагал рядом, глядя не отрываясь на покачивающиеся где-то наверху, у самых крыш, диван и узел с постелью, и все тянул мать к середине мостовой. Он не решался ни отойти от матери, ни держаться слишком близко к ней из страха, что вся куча вещей вдруг задвигается в безумном танце и свалится на него, как бы далеко он ни отпрыгнул.

— Можно подумать, что за нами боши гонятся! — крикнул откуда-то впереди Эбб, и Ситон ему ответил:

— Квартирный агент гонится, а это похуже.

Из беглецов они вдруг будто стали участниками веселой карнавальной процессии, и вещи эти тащили сжигать на кострах. Брайн крепче сжимал материнскую руку, когда они попадали в темные провалы между глазами ярких газовых фонарей — в мрачные обиталища драконов, которые подстерегают и похищают себе на обед кошек, а также детей, отправившихся на «прогулку при луне».

— Эй, Хэролд, как доберемся, сыграем с тобой в шашки,— послышался шутливый голос Эбба.

— И продуешься,— отозвался Ситон хвастливо.

Они пересекли главную улицу и теперь двигались к лабиринту узких улочек.

Брайн почувствовал, что его хватают поперек туловища и усаживают на самый верх тачки, запихивая между креслом и матрацем. Он сидел не шелохнувшись в этом вороньем гнезде и, если осмеливался открыть глаза, то видел скважинки звезд. На особенно опасном повороте, когда навстречу им, как тигр, бросился ярко освещенный кабачок и огни у дверей царапнули Брайну закрытые веки, он судорожно вцепился в вещи. Дорога пошла в гору, покачивание тележки стало слабее.

— На «прогулку» отправились, ребята? — послышался голос с тротуара.

— Ага.

— Откуда?

— С Элбион-ярда.

— А номер дома? Я бы и сам не прочь перебраться.

— Сделай одолжение,— сказал Ситон,— только дом не сегодня-завтра на свалку. Гроша ломаного не стоит.

Вера на ходу сунула Брайну в рот кусок хлеба, и хлеб все еще был у него во рту, когда Ситон разбудил сына, стащил вниз и сказал, что уже приехали, что вот их новехонький дом. Брайн досыпал ночь в углу на двух пальто.

На следующий день мир предстал ему в обновленном виде — к тому же прошел дождь и смыл все старые следы. Соседской девочке нравилось водить Брайна гулять, это давало ей ощущение собственной значительности. Каждый день она приходила за ним, отрывала от игры на тротуаре с Билли Френчем, маня пригоршней замусоленных леденцов и суля повести его в такие места, где он еще никогда не бывал.

— Что такое клиника? — спросил он ее однажды. Утром мать, разговаривая с отцом, сказала, что соседку, миссис Мейзер, уволокли в городскую клинику. Нашли в канаве, угодила туда ночью, мертвецки пьяная. Только одно при ней было — няньки обнаружили, когда мыли ее в приемном покое,— это ручка от белой пивной кружки, которую она крепко, словно серебряный кошелек, сжимала в ладони.

Мэвис про клинику ничего не знала, но ответила:

— Как-нибудь свожу тебя туда, тогда и увидишь.

Он буркнул:

— Скажи сейчас.

Она была непреклонна:

— Нет. Но я тебя поведу туда скоро. Ну ладно, пошли, а то будет поздно и ничего не увидим.

Две улицы сходились под углом, и угол — острие стрелы — занимали развалины дома. К стене его от земли тянулись бревна, тяжелые подпоры, чтобы он не рухнул на собственные свои зияющие провалы. Мэвис, бегая под бревнами, распевала песенку о том, как развалился Лондонский мост, а Брайн с мрачной сосредоточенностью строил из песка замки и кулаками прорывал туннели. Сырой песок не рассыпался, хранил нужную форму, но туннели, стоило воздвигнуть над ними сооружение, проваливались. Брайн трудился долго, лепил башни, сложив руки пригоршнями, а потом городил стены, выравнивая их с обеих сторон прямыми ладонями. Но башни и стены неизбежно рушились потому, что при первой же трещине подсохший песок начинал сыпаться вниз через образовавшуюся воронку — как в бабушкиных песочных часах. Ни один туннель не выдерживал. Брайн принес щепок, валявшихся возле бревен, укрепил ими туннель, и замок наверху стоял прочно до тех пор, пока Мэвис не пнула его ногой, потому что Брайн не захотел перейти играть на другое место. За это он так лягнул Мэвис, что разбил ей ногу до крови.

День был сухой и жаркий, когда они подошли к фабрике — в котельную можно было заглянуть с тротуара. Нагнувшись, Брайн увидел ряд печных заслонов — едва только рабочие открывали их крюками на длинных палках, сразу из печей вырывалось пламя. Пышащее жаром дыхание заставило Брайна податься назад, и рабочий, державший лопату, крикнул ему, чтобы он сматывался. Брайн стоял возле кучи черных камней, смотрел, как лопата со звоном перекидывает их в печные отверстия. Мэвис подвела его поближе к котельной, чтобы еще раз посмотреть на пламя. Брайн зачарованно глядел на круглые огненные провалы.

— Вот это и есть клиника,— сказала она ему на ухо, и три страшных слога, дойдя до сознания, вызвали в памяти образ пьяной крикливой миссис Мейзер — ее притащили сюда, бросили, вот как этот уголь, в печь, вынув сперва из ее зажатого кулака ручку от белой кружки. Мэвис поспешила увести его прочь.

Однажды тележки снова отправились на «прогулку при луне». Покачиваясь, как ненадежные спасательные лодки, того и гляди готовые перевернуться, они двинулись по Маунт-стрит к Чэйпл-бар, и опять впереди шел Эбб Фаулер, а позади — Вера с коляской. Когда полисмен остановил Эбба и спросил, куда это он направляется со своим скарбом, Эбб сказал, что переезжает на новую квартиру ночью, потому что не хочет терять рабочий день. Ситона и Веру, словно мячики, кидало из одного дома в другой, так как Маунт-стрит тоже предстояло пасть под катапультами Совета по ликвидации не пригодных к жилью помещений. Если жители трущоб соглашались с необходимостью ездить в город автобусом, перед ними открывалась возможность переселиться в новые жилые кварталы. Но Ситона это не устраивало, ему не хотелось отда-

ляться от центра, район был ему знаком и потому удобен, не надо было слишком далеко шагать в четверг на биржу труда за пособием. Иногда ему удавалось получить работу, и тогда к обеду бывали свинина и помидоры, а в воскресенье — йоркширский пудинг и мясо. Он не жалел сил, чтобы показать свое рвение и готовность к любому, самому тяжкому труду, но работа длилась недолго, и он тут же снова переходил на вечное свое пособие, которого еле хватало, чтобы не сдохнуть с голоду. В продовольственных лавках росли счета, оплатить их надежды не было, и опять он принимался играть в шашки с Эббом Фаулером. Прихлебывая из кружек спитой чай, они сидели за шашечной доской до тех пор, пока не оказывались в темноте, потому что ни у того, ни у другого не было пенса, чтобы опустить его в газовый счетчик.

При каждом очередном новоселье они обнаруживали клопов, красноватые круглые пуговки, прятавшиеся в постельных тюфяках. Одолевали и тараканы: с наступлением вечера черные авангарды подрывников неслышно и проворно двигались по кухонному полу, нередко встречая на пути насыпанный Верой ядовитый порошок; павших жертвой Ситон утром, прежде чем заварить чай, сметал веником.

Уничтожение обреченных кварталов в некоторых случаях принимало новую форму. Район Элбион-ярд, откуда уже всех выселили и который окружили веревками, решено было разбомбить. Сбросить бомбы предстояло двум жужжащим бипланам, что, впрочем, являлось для них лишь делом второстепенной важности: основную славу они должны были стяжать себе на окраине города. Бомбардировку назначили на конец воскресного дня. Ситон усадил Брайна на свои могучие плечи, и Брайн ощущал себя заодно с трамваями, которые, как увеселительные яхты, покачивались перед зданием муниципалитета, перевозя пассажиров к месту бомбежки. Брайн тоже покачивался, вцепившись в шею отца — ненавистного, когда тот делал или говорил что-нибудь такое, от чего плакала мама. Но мрачные и горестные чувства все куда-то исчезли и сама ненависть к отцу заколебалась, как только Ситон подкинул его высоко вверх. Однако Брайн тут же вспомнил мамины стоны, когда кровь струилась у нее по лицу. Обернувшись, он увидел мать, сейчас она улыбалась. Она сказала, что его поведут смотреть бомбежку, если он не будет озоровать, и, взяв с каминной полки пачку сигарет, передала ее отцу, чтобы ему было что курить, если придется ждать, пока самолеты начнут расправляться с трущобами, их прежним жильем.

Ситон шагал, раскачиваясь всем телом, и Брайну то и дело грозила опасность упасть за борт своей спасательной лодки — с папиных плеч — в бурлящее вокруг море голов. Катастрофа подстерегала его на неожиданно быстром повороте, и взметнувшиеся руки Брайна схватились за черные пучки коротких жестких волос отца. Ситон сердито пригрозил всыпать ему как следует, если он не бросит свои дурацкие штуки. Инстинкт подсказал Брайну, что надо наклониться вперед и прильнуть к отцовской бычьей шее, и он прижался с такой силой, что тот захрипел и крикнул, что если Брайн, сукин сын, будет такое выделывать, пусть шагает на своих на двоих. Из короткого рукава рубашки протянулось щупальце и попыталось стащить Брайна вниз, но Брайн, почуяв угрозу очутиться на земле, прилип к отцу плотно, всем телом, и мускулистая рука Ситона тщетно тянула его вниз.

— Ну-ка, малый, хватит, давай слезай!

И опять:

— Да ты что ж, слезешь или нет?

— Я упаду...

Руки у Брайна голые, а отцовская шея — скользкая от пота.

— Небось не упадешь.

— Я упаду, пап, правда, упаду...

Они уже подошли к оцепленному веревками району, которому предстояло послужить мишенью для бомб. Их теснили в сторону желавшие пробраться ближе к веревкам: возможно, люди эти хотели почувствовать самый взрыв и взять на память упавший кирпич. Конная полиция гнала тех, кто не успел перебраться на усыпанную битым кирпичом нейтральную зону. Брайн забыл про опасность и разжал руки, увидев, что у одного из коней вся морда в пене. Он спросил, что это, мыло?

— Ага,— ответил Ситон.

Брайн склонил голову к уху отца.

— А зачем им дают мыло?

— Чтобы они кусали тех, кто старается нырнуть за веревки, мимо носа полиции.

— А зачем стараются нырнуть мимо носа полиции? — спросил Брайн шепотом.

— Затем, что хотят увидеть бомбы поближе.

— Да ведь бомбы их убьют!

— Может, им того и хочется. Ну, слазь, голуба, дай мне передохнуть, а то у меня уже плечи ноют.

— Я посижу еще немножко, пап. Еще немножко.

— Нет, будет, слезай, потом опять возьму, когда бомбы начнут падать.

— А мне еще хочется увидеть, как лошади кого-нибудь укусят.

— Сегодня они никого не укусят, слезай,— сказал Ситон, и Брайну пришлось слезть. Он стоял в густых бурлящих джунглях ботинок и брюк, стараясь увильнуть от льва-кулака, от тигра-ботинка, от зажженной спички и горячего окурка. Из-за Трента, словно обмакнув крылья в реке, вынырнули три биплана. Брайн опять вскарабкался отцу на плечи и с этого непостоянного наблюдательного пункта смотрел, попусту заслоняя глаза рукой от солнца, потому что оно было позади похожей на снежную гору тучи, на которую легли желтые силуэты самолетов.

Вот они повернули назад, и из-за шума огромной толпы казалось, что они скользят беззвучно, как планеры.

— Пап, они летят совсем не быстро,— сказал Брайн разочарованно.— Автомобили и то быстрее ездят.

— Это потому, что они очень высоко, малыш,— объяснил ему кто-то.

— Скоро они пойдут ниже,— сказал отец.

— Они разобьются? — спросил Брайн.— Я никогда не видел, как разбиваются аэропланы.

— Подожди, еще увидишь,— сказал кто-то со смехом.

Каждый самолет, пролетая над крышами, сперва замурлыкал, словно кот, потом зарычал, как собака, у которой отнимают кость, и вдруг Брайну показалось, что в сердце к нему проникли сверла — вроде тех, что он видел у дорожных рабочих. Его будто пригвоздило к земле. Два черных пятнышка, потом следом за ними еще два скользнули вниз из округлого брюшка каждого самолета. Колеса в резиновых обручах, казалось, были поставлены под самолеты специально для того, чтобы подхватывать эти пятнышки, но пятнышки пронеслись мимо и исчезли среди развалин домов.

— Вот оно! — крикнул кто-то.

Чудовищный треск с силой миллиона хрустнувших веток шестикратно поднялся к небу, и вслед за этим пронесся глухой гул от разваливающихся стен.

Конь под одним из полисменов поднялся на дыбы, будто хотел взобраться на невидимую лестницу, уводящую от взрывов, потом опомнился и стоял уже спокойно, подрагивая головой; морда у него была вся в пене. Где-то в конце толпы истошным голосом закричала женщина, и Брайн видел, как люди, одетые в черное и белое, увели ее.

— Она испугалась, пап, да?

— Да.

— А я нет, а ты?

— И я нет.

Но Ситон резким движением опустил его вниз и потащил вон из толпы.

— Пап, это уже все?

— Ты долго будешь приставать со своими дурацкими вопросами?

Брайну передалось отцовское настроение, и бомба, засевшая у него в груди, вдруг взорвалась, родив в нем хаос больший, чем подлинные бомбы, посланные с летящих самолетов.

— Не реветь, слышишь? — Ситон сердито дернул его.— Заткнись. Замолчишь, куплю тебе мороженого.

— Не хочу мороженого! — плакал Брайн, вызывая у отца полное недоумение.

— Ну так чего ж ты хочешь?

— Ничего не хочу! — ответил он и продолжал плакать, пока не выплакался.

■

В один дождливый день в дверь постучали двое высоких мужчин в непромокаемых плащах и полицейских шлемах. Вера провела их в комнату, где был Ситон. Брайн, разлегшись на полу, играл в свое домино, но он заметил, что мать вот-вот расплачется, а это обстоятельство неизменно задевало какие-то пружинки в его сердце. Она остановилась, сложив руки, а те двое стали у двери.

— За тобой, Хэролд,— проговорила она.

Ситон повернул голову, оторвав взгляд от камина.

— Мы хотим, чтобы все было тихо и спокойно,— сказал один из пришедших, заметив отчаяние на землисто-сером лице Ситона.

Некоторое время он молча смотрел на них.

— Жратва будет за ваш счет,— сказал он наконец, выдавив из себя улыбку.

— Ладно, мы это знаем.

Ситон не двигался с места.

— И мою семью кормить обязаны.

— Все это нас не касается,— ответили ему.

Вера смахнула слезу.

— Пальто твое достать, голуба?

— Ну что ж, давай, пожалуй,— ответил он, вставая.— Иду на отдых и, надо думать, многих из наших ребят там встречу.

Он рассмеялся своей шутке, черты лица его разгладились. Те, что пришли за ним, промолчали.

— Машина-то у вас есть? — спросил их Ситон.

— Нету,— ответил один.— Да идти недалеко, пешком доставим.

— Ну, ладно, наплевать, если соседи сообразят, в чем дело. И сами могли бы оказаться на моем месте, чего уж там. Будь у меня заработки, разве пошел бы я на такое? Но коли ребятишкам жрать нечего, что еще остается? Накопилось слишком уж много долгов в лавках. Страна, думается, большая. В лавках жратвы хватит на всех, так почему же не хватает на всех работы? Убей меня бог, если я тут что-нибудь понимаю.

Подошла Вера, держа в руках пальто.

— Может, тебе и макинтош понадобится?

— Нет, себе оставь. Заложишь, если уж очень прижмет.— Брайн почувствовал, что его поднимают, целуют и тут же снова опускают на пол.— Следи, Вера, чтобы ребятишки не добрались до моих инструментов, слышишь?

— Не беспокойся, все будет в порядке.

Глянув на часы, Ситон сказал, что, пожалуй, нужно двигать.

— Месяца через два вернусь. Не вешай носа, голуба. И я не пропаду, и вы тут тоже. Всех нас будут кормить на казенный счет, так что в конце концов не мы в накладе будем.

— Пошли, парень,— сказал старший из тех двоих.— Впереди не целый день. Дел у нас хватает.

— Да уж надо думать,— сказал Ситон.

Брайн был слишком поглощен своей ползущей вбок башней из косточек, чтобы интересоваться происходящим вокруг, и, должно быть, мать уже долгое время плакала, прежде чем и он тоже заревел, сам не зная почему. Да и она толком не знала, почему плачет. Хэролд ведь правду сказал: пока он будет отсиживать, голодать им не придется. Для нее, как и для него, это даже вроде как бы передышка. Мысль эта немного успокоила Веру, и она собрала на стол, поставила кипятить чайник, села и задумалась: как это угораздило ее выйти замуж за безмозглого дурня, который ухитрился угодить в тюрьму, да и с ней-то обращается по-свински? Ей просто не верилось, что все так вот случилось и что она попала в такую переделку. Целый час она с горечью перебирала в памяти последние несколько лет, разнимая их на части, словно детали сложного механизма — казалось, стоит только его разобрать, и это сразу хоть что-то да разрешит.

Часть 2

ПОСТРЕЛ

1

Брайну едва достало роста и сил, чтобы подтянуться к парапету Нового моста. Он увидел, как оголенные спицы дорожно-строительной машины крутятся в пустом пространстве, словно колеса опрокинутого велосипеда. Опершись на локти, он ритмично постукивал ногами по камню и вдруг заметил, что рука семафора вытянулась вверх. Он уселся на солнцепеке и стал поджидать поезд.

Когда его посылали с поручением к бабушке Мертон, прогулка в две длинные мили в сторону от Ноттингема оказывалась настоящей экспедицией. На пути встречались ручьи, лощинки, низенькие изгороди, налево протянулось железнодорожное полотно с зелеными насыпями, направо впереди были пригородные участки — убогие домишки и чахлые деревца нередко подвергались пиратским набегам мальчишек из Рэдфорда.

От парапета ладоням передался сигнал: идет поезд. Предостерегающее громыхание становилось все оглушительнее, и вот сзади вынырнул черный паровоз, извергая из трубы тучу удушающего дыма. Брайн начал было пересчитывать вагоны по мере того, как они один за другим с лязгом проносились мимо, но густой дым прогнал его от моста.

Поля разрезал узкий с песчаным дном ручей, и Брайн спустился к нему. Над домами в Рэдфорде шли, напирая друг на друга, белые облака, а впереди две лошади, привязанные к пню, созерцали клевер, неподвижные, как статуи. Брайн гнул сук на кусте бузины, пока тот не сломался, затем ободрал его с деловитой спокойной безжалостностью, и каждый лист, падавший на тропинку, тут же подхватывался ветром и начинал кружиться в невольном танце. Палка — это меч, и Брайн сразился с тенью от куста, подсек чертополох, свалил на землю жгучую кра-

пиву, искромсал цветы вокруг и вошел в пустынный проулок, по обеим сторонам которого росли такие высокие кусты боярышника, что за ними не было видно ничего, кроме темнеющих облаков.

Глухой раскат грома заставил его ускорить шаг — гром прозвучал, как отдаленная барабанная дробь и, казалось, выделил Брайна среди всех в мире, наметив его своей первой жертвой. Гром родил в душе Брайна страх прежде, чем он услышал само это слово. Однажды при первых раскатах грозы в потемневшей вдруг комнате мать взглянула в окно и сказала: «Гром»,— а Брайн уже успел спрятаться. «Мне страшно, потому что гремит, как пушки и бомбы, а пушки и бомбы могут убить»,— думал он.

Он стоял в притихшем поле где-то на полдороге между домом и Ноуком, потом, не задумываясь, пошел вперед, решив, что лучше добраться до бабушки, чем бежать назад домой, пусть даже если гроза вот-вот разразится и начнет преследовать его все нарастающим ревом и голубые молнии, будто кошачьи языки, будут лизать верхушки кустов. Он размахивал палкой, словно она могла послужить оружием, которым он сумеет отогнать грозу, сразиться с нею, если она его настигнет.

Он перепрыгнул через ручей — сердце бешено колотилось — и, прыгая, видел, как внизу, под его широко, словно ножницы, раздвинутыми ногами, мелькнули заросли камышей. Зеленые и синие грозовые тучи разрастались, как джунгли, над залитыми зловещим красным светом домами в городе позади, и со следующим раскатом грома плоские тяжелые капли ударили ему в лоб, застучали по коленям.

Все еще стискивая в руке палку, он поднялся на цыпочки, дотянулся до щеколды на калитке и, пока мчался по двору к дому, слышал непрерывное хрюканье свиней. Голубая, похожая на колбасу, шаровидная молния отскочила от куста совсем рядом, и последним отчаянным усилием он добежал до двери кухни — красная герань на подоконнике промелькнула, словно брызги крови. Брайн рванул дверь, и вот он, с трудом переводя дыхание, стоит в комнате, захваченный ее теплом, вытирает ноги. Бабушка Мертон, штопавшая носки, подняла глаза.

— А, здравствуй, Брайн. Что это ты сегодня пришел?

На каменных плитках недавно вымытого пола были расстелены газетные листы, они служили дорожкой к камину.

— Мама сказала, что на этой неделе прийти к вам не сможет, потому что Маргарет опять заболела.

— Не стой спиной к огню, Брайн, не то захвораешь, отойди, будь умником.

Он отошел. Засунув руки в карманы и глядя в окно на последний голубой треугольник неба, он стоял и ждал: должна же бабушка что-то сказать в ответ на его сообщение.

— Ах ты,— прищелкнула она языком.— Что же теперь с ней такое?

— Наверно, корь, у нее уже утром на лице красные пятна были.

Она вытащила из ящика стола ножи и вилки и положила их на скатерть, готовясь к ужину.

— Проголодался небось, такую дорогу прошел.

И выглянула в окно, словно хотела одним взглядом окинуть весь пройденный им путь. Она сошла по ступенькам в кладовку, и, когда там загремела крышка от банки, у Брайна сразу же возникло желание поесть сладкого, которое бабушка сейчас принесет. Что это будет, варенье или миндальная пастила с изюмом?

Оказалось, пастила. Он сел в дедушкино кресло и принялся за угощенье. Вспышка цвета голубой стали за окном лишила сладости первый кусок пастилы.

— Уже гремело, когда я шел по полю.

Он заметил, что бабушкины руки дрожат. Она тоже боится, и это убавило его собственный страх.

Во дворе по песку и шлаку затопали тяжелые сапоги, и мимо окна, по которому хлестал дождь, прошел высокий человек в дождевике. Дверь распахнулась, и Мертон вкатил в комнату свой велосипед.

— Ты что-то рано,— сказала ему жена.

Он снял дождевик.

— Гроза идет, Мэри.— Он разворошил тлеющие угли и положил полено на слабый огонь.— Сейчас на шахтах делать нечего, вот нас и отправили по домам.

Буря ревела, будто угрожая дому. Мэри собрала разложенные на скатерти стальные ножи и вилки и сунула их обратно в ящик.

— Это зачем же? — сказал Мертон, стаскивая сапоги возле камина.— Мы ведь, кажется, еще не ели.

Она стояла в нерешительности, боясь ему перечить.

— Ты же знаешь, я не люблю, если на виду что-нибудь стальное, когда гроза. Молния может ударить.

Он рявкнул, словно ружье разрядил.

— Ха! Убирать вещи из-за какой-то молнии? — орал он.

Брайн попятился: «Что он на меня-то накинулся?» Мертон вскочил, и Брайн почти забыл свой страх перед грозой: неизвестно, чего ждать сейчас от деда.

— Погоди, я покажу тебе, что нечего хвост поджимать, трястись от какой-то паршивой молнии, черт бы ее побрал!

Он выгреб из ящика ножи и вилки, распахнул раму, высунул их наружу и держал там, дожидаясь вспышки. Брайн и его бабка замерли у стола.

Неожиданно поток градин обрушился на герань, прозвенел по ножам и вилкам в руке Мертона и ворвался в комнату.

— Вот вам, нате! — крикнул Мертон, и Брайн, присмиревший от страха, услышал в голосе деда ликование.

Широкая голубая пелена застлала все окно. «Я слышал,— сказал себе Брайн,— я слышал, как она прошипела. Дедушку убило!» И, закрыв глаза руками, поглядел сквозь пальцы. Темная кухня вся осветилась, и немедленно гул тысячи пушек прокатился по дому.

Мертон захлопнул окно и обернулся.

— Видали? Нечего было бояться.

Брайн отнял от лица руки. Нет, его не убило.

— Бог накажет тебя за такое,— сказала Мэри.— И за то, что ты напугал бедного ребенка.

— Ладно, ладно,— сказал Мертон, посмеиваясь, и швырнул ножи и вилки на стол, словно презирая металл за то, что тот не в силах убить его.— Ну как, пострел, ты ведь не струсил, верно?

Брайн часто дышал: дедушкин цирковой номер был рассчитан не только на бабушку, но и на него.

— Нет, дедушка, конечно я не струсил.

Он встал и подошел к Мертону.

— Послушай, дедушка...

— Ну, в чем дело, пострел?

— Отчего бывают молнии и гром?

— Вот уж не знаю.— Мертон был озадачен: внук вынудил его задуматься над тем, что все свои шестьдесят с лишком лет он принимал как нечто само собой разумеющееся. Его суровая физиономия вдруг осветилась лукавством.— Оно вот в чем дело,— сказал он, наклоняясь вперед.— Я так полагаю, господь бог говорит святому Павлу: «Давай-ка сюда наверх уголька из преисподней». И вот, значит, Павел грузит тележки самым что ни на есть отборным углем, впрягает лошадок и давай

наверх, туда, где бог. Ну и вот...— глаза его зажглись вдохновением,— и вот когда Павел разгружает уголь, оно и начинает громыхать, то есть, значит, гром гремит.

В смехе Брайна были вера и сомнение.

— Нет, дедушка, не так.

Мертон ухмыльнулся.

— Спроси бабку, она тебе скажет, так ли. Эй, Мэри, так или не так?

На скатерти уже были расставлены тарелки с копченой рыбой, солеными огурцами, ломтями хлеба, заранее намазанными маслом, и все придвинули стулья к столу.

— Да, видно, что так,— ответила Мэри, прощая Мертону его богохульство, раз оно привело его в хорошее настроение.

Брайн перегнулся через стол.

— Дедушка, послушай, а как же молнии?

Дед, прежде чем ответить, зацепил вилкой ломтик огурца.

— А это когда в преисподней открывают печи, проверяют, не погас ли огонь, не надо ли уголька подкинуть.— Он усмехнулся, довольный легкой победой.— Смотри-ка, а ведь этот пострел не верит ни единому моему слову. Кто ему что ни скажи, он сейчас посмотрит так, будто говорит: все-то ты брешешь!

На влажной шиферной крыше прачечной во дворе блестело солнце.

— Он верит одной только маме, правда, Брайн? — сказала Мэри.

С полным ртом Брайн лишь помотал головой; он глядел на ограду из зеленых кустов — с каждого листка стекали капли только что пролившегося дождя. Ряды кустов переходили один в другой, они окаймляли забытые, заглохшие тропинки, проложенные между стеной дома и голубятнями. Если встать там, ничего не увидишь, но зато услышишь горловые звуки, похожие на бульканье воды в сиплой глотке,— они шли с голубиных насестов за проволочной сеткой с восьмиугольными отверстиями. Парадная дверь дома выходила не в переулок, а в сад, куда Брайн и отправился, предварительно осмотрев население голубятни.

— Бабушка, можно мне остаться у вас ночевать? — спросил он, вбегая в дом.

Мертон сплюнул на горячие брусья решетки.

— Я вижу, ты скоро насовсем сюда переберешься. Небось рад бы жить здесь, поганец, а?

— Ничего, если он с вами в комнате переночует? — подняв глаза от газеты, обратилась Мэри к дочерям, Лидии и Ви.

— Пусть его,— ответила Лидия.— Тесновато, конечно, но уж ладно, ничего.

Дело было улажено.

— Спасибо, бабушка. Можно я поиграю в гостиной?

— Иди, только граммофон смотри не поломай, слышишь?

— Нет, не поломаю. Дядя Джордж!

Джордж не донес до рта кусок яичницы.

— Ну? — спросил Джордж, вскинув глаза.

— Можно я буду строить ярмарку с балаганами из твоего домино?

— Только смотри не разбей костяшек, не то нос тебе отрежу.

— Хорош он будет без носа, а, Мэри? — вставил Мертон.

Когда Мертон бывал на шахте, или копался в саду, или мастерил что-нибудь в сарае, Брайн оставался один в гостиной и там раскладывал на полированном красного дерева столе косточки домино дяди Джорджа. На комоде стояло много интересных, но запретных предметов: сувениры из Скегнесса и Клиторпса, фарфоровый «памятник войны», морские раковины, кораблик в бутылке. На столике у двери, на самом ходу, помещалась большущая труба, и она начинала играть песенки, если повернуть двадцать четыре раза граммофонную ручку. Над каминной полкой висе-

ла громадная картина, изображавшая скромного вида длинноволосую девицу с узким лицом; в руке она держала анютины глазки, которые преподнес ей стоящий с ней юноша в жилетке и с шарфом на шее. Они влюбленные, говорил себе Брайн, и когда однажды бабушка стирала пыль с мебели в гостиной, спросил, указывая на картину:

— Баб, это вы с дедушкой?

— Нет,— ответила она.

— А кто же?

— Не знаю.

Она, наверно, просто разыгрывала его: кто же это еще мог быть, если не дедушка с бабушкой? Внизу на картине были написаны две строки, и последние слова в них звучали почти одинаково:

Коль любишь крепко, как я тебя,
Ничто не разлучит тебя и меня.

■

Мертон, перекинув через плечо двустволку, шел по дорожке сада, потом пролез сквозь ограду из кустов. Следом за ним двигался Брайн, вскинув на плечо палку, а за Брайном — Джип, пес. Молча миновав хлебные поля, они перепрыгнули через низкую изгородь и пошли лугом; Джип гонялся за камнями, которые Брайн кидал над самой травой. Брайн остановился за высокой прямой фигурой деда.

Мертон поднял ружье, раздался оглушительный грохот, и правое плечо его еле заметно дернулось. Брайн, выглянув из-за ног деда, увидел, что по обе стороны ручья падают на траву птицы.

— Ищи! — крикнул Мертон Джипу. Дед курил трубку, дожидаясь, пока собака сложит к его ногам мертвых окровавленных дроздов.— Клади их в сумку, пострел. Одного получишь на ужин.

На руки Брайна налипли перья и кровь, и тут он снова вздрогнул от дуплета дедова ружья: дед стрелял деловито, без промаха.

Мертон приложил ко лбу руку козырьком. Брайн видел перед собой высокую башню, которая то раскачивалась, то застывала неподвижно и при этом извергала громовые крики: «Тащи их сюда, Джип!»,— и каждое слово отдавалось сильным ударом где-то у него в груди.

Брайн бегал наперегонки с Джипом, разыскивая птиц, истерзанных всаженной в них дробью, и, слизывая с пальцев кровь, раздирал кусты в надежде найти добычу, быть может не замеченную собакой.

— Ложись, пострел! — приказали ему.— Распластайся, как блин!

И в то самое мгновение, как крапива обожгла ему кончик носа, где-то в сотне футов над головой снова прогремели выстрелы, и, еще не получив разрешения встать, Брайн почувствовал, как ему на шею и ноги шлепнулись три дрозда. Он кулаком отпихнул собаку, сунул птиц к себе в карманы и пошел через поле пшеницы туда, где, раскуривая трубку, стоял дед.

Брайн и Джип шли следом за болтающимся ягдташем.

— На ужин паштет из дичины,— сказал Мертон, посмеиваясь; дым из его трубки тянулся назад, обволакивая их.— Паштет с кремом.

— Разве они сладкие, дедушка?

— Ага, как молодая капустка.

Мертон подождал, пропихнул вперед собаку сапогом, а Брайна — ладонью.

— Они не сладкие,— сказал Брайн, оборачиваясь.

— Ты мне еще, поганец, скажешь, что ревень не кислый.

Довольно хмыкнув, Мертон толкнул дверь. Брайн во дворе на усыпанной шлаком дорожке тузил Джипа, а тот, в отместку за бесцеремонное обращение, за то, что его не оставляют в покое, изжевал Брайну уши. Пес, наконец, вырвался, но не убегал и стоял неподалеку, ожидая

новой атаки; болтавшийся между клыками язык высунулся так далеко, что Брайн мог бы дернуть за него, как дергал за косичку девчонок в школе.

— Джип! Сюда, Джип! — крикнул Мертон с порога, держа в руке кость.

Кулак подобрался к собачьей морде, потом отодвинулся, а Джип стоял дожидался, когда его снова начнут дубасить.

— Джип! Джип!

— Иди, дедушка тебя зовет,— сказал Брайн.

Но глаза собаки говорили: «Я повернусь, и ты сейчас же кинешься на меня. За дурака, что ли, принимаешь?» Мертон снова позвал, но собака не побежала за костью, и не успел Брайн опомниться, как Мертон уже шел к ним крупными шагами с палкой в руке.

— Я тебя, паскудный пес, научу слушаться, когда тебя кличут.

Брайн отпихнул Джипа в сторону, но его «Пошел» прозвучало слишком поздно. Собака это поняла, веселое, добродушное выражение в ее глазах исчезло, она собрала в комок свои черные и белые пятна, попятилась назад, думая спастись от гнева Мертона.

— Я тебя научу слушаться,— повторял Мертон, глубоко втягивая в себя воздух при каждом могучем взмахе руки.

— Дедушка, не надо! — крикнул Брайн, не понимая, почему собака не убегает.

Она дернула головой в сторону, потом сунула ее глубоко между передними лапами, точно хотела укусить себя за хвост, потом подняла ее вверх и снова дернула в сторону и вдруг опрометью кинулась через двор к изгороди и с визгом заскребла когтями по шлаку, оттого что не сразу смогла пролезть через кусты. Мертон швырнул палку и пошел в дом.

На другой день ко времени воскресного обеда Джип не вернулся. Мертон был в благодушном настроении, умиротворенный несколькими кружками темного бархатного пива. За столом он спросил, не видел ли кто Джипа. Его никто не видел.

— И вполне понятно,— сказала Ви,— после такой трепки, какая досталась бедняге. Да еще ни за что ни про что.

— Делал бы то, что ему приказывают,— буркнул Мертон,— тогда бы не так часто гуляла по нему палка. Небось гоняет по полям...— Он отправил в широко разинутый рот кусок бараньего жира, надетый на вилку, и повернулся к Брайну:— После обеда пойдем со мной, пострел, поищем этого поганца, а?

— Ладно, дедушка.

Они завернули за угол дома, пошли тропинкой, ползущей в гору, мимо колодца, стоявшего, как часовой, и двинулись наискось к Змеиному бору. Зачем он взял с собой палку — чтоб опираться на нее или чтобы побить Джипа за то, что тот сбежал? Вчера Брайн ненавидел деда, избившего собаку, но сейчас, шагая за ним в тишине зеленых полей, над которыми нависли тяжелые облака, он уже не чувствовал к нему ненависти.

Возле леса они свернули к железнодорожному полотну. Время от времени Мертон останавливался, звал: «Джип! Джип!»,— но на его зычный, грубый зов, оглушительный, словно раскат пушечного выстрела, отвечало лишь эхо да взлетала какая-нибудь птица, не подозревая, как ей повезло, что Мертон не прихватил с собой ружья. С насыпи вспорхнули две куропатки, пролетели, хлопая крыльями, над кустами бузины, взвились круто вверх и исчезли за железнодорожной линией.

Вдалеке вырастали, как повисшая в пространстве гряда гор, огромные тучи. Мертон оперся о железную перекладину ограды, будто раздумывая, стоит ли переходить через рельсы, искать дальше. Листья на

кустах шумели, словно то бились о песок волны — вот такой же шум слышишь, когда приложишь к уху раковину; ветки на деревьях потрескивали.

— Давай-ка, пострел, взберемся на насыпь, поглядим, может, он на поле у Хокинсов. А нет его там, так пойдем домой, бабка, наверно, уже чай заварила. Похоже, дождь вот-вот польет.

Брайн уже влез на откос и побежал, перепрыгивая с рельса на рельс. Мертон шагал следом. Брайн огляделся, всюду была тишина. От ветра по пшенице ходили бесшумные волны, из трубы дома с серой крышей косо тянулся в небо дым. Вот чудно́, думал Брайн, земля пахнет дождем, а ведь он идет из воздуха. На мили протянулись серые, словно стальные, тучи. Джипа нигде не было видно.

Брайн заслонил глаза рукой от воображаемого солнца.

— Нигде не видно, дедушка.

— Ну, стало быть, пошли домой. Прибежит, как жрать захочет.

Брайн глянул вправо, собираясь снова перейти через линию; длинный отрезок железнодорожного пути исчезал за поворотом, и никакого поезда нигде не было. Он посмотрел влево и уже готов был снова перепрыгнуть через рельсы, как вдруг увидел что-то белое, торчащее между шпалами.

Он уже понял, еще прежде чем броситься бежать туда, и смотрел не отрываясь на разбрызганную по рельсам кровь. «Его переехало поездом,— повторял он про себя,— его переехало поездом».

— Дедушка!— позвал он срывающимся голосом. Тот отстегнул окровавленный ошейник и сунул его в карман.

Они молча зашагали к дому.

Попозже Мертон взял лопату, пошел и закопал Джипа в поле. Брайн слышал, как в кухне, пока деда не было дома, разговаривали дядя Джордж и тетя Ви.

— Он его просто со света сжил,— говорила она,— бедный пес небось нарочно лег на рельсы, ждал, когда поезд раздавит.

Брайну было обидно это слышать, ведь он был с дедушкой, когда нашли Джипа, дедушка всю дорогу домой рта не раскрыл. И Брайн знал почему: дедушка жалел, что избил собаку.

— Да, псу, видно, невтерпеж стало, сыт был по горло,— сказал дядя Джордж.

«Чем сыт по горло?» — недоумевал Брайн.

Но Мертону они ничего не сказали, когда тот вернулся.

Вечером Брайн отправился домой, утром надо было идти в школу. Его фигурка проворно двигалась к городу, он размахивал палкой, в карманах у него позвякивали пенсы и полупенсовики, подаренные дедушкой, дядьями и тетками.

2

Трехосные грузовики проехали мимо автозавода и двинулись один за другим к свалке. Из месяца в месяц сюда свозили мусор и отбросы, и они образовали высокую ровную насыпь, постепенно наползавшую клином на заболоченную, поросшую камышами низину. Почти со всех концов свалки люди шли к тому краю, где, как они полагали, будут скидывать очередной груз. Они перекликались, махая палками и скребками; за плечами у них болтались пустые мешки. Брайн уже облюбовал себе место и шарил, ковыряя самодельным скребком, в куче металлических стружек и обрезков, давно и основательно переворошенной, но от которой все еще исходил приятный запах алюминиевой стружки, карболки, машинного масла и латунной пыли, как от больших станков на заводе, где прежде иногда работал его отец. Одним глазом Брайн следил за

проворными движениями своего несовершенного орудия, другим поглядывал на небольшую кучку досок и щепок, лежавшую рядом и прикрытую мешком. Берт обещал попозже тоже прийти на свалку.

— Откуда это, приятель? — спросил Брайн.

Как только болты были вынуты, задний борт грузовика медленно опустился. В ожидании, когда лавина мусора извергнется из кузова, человек пять стояли и смотрели, как шофер молча крутит тяжелую ручку. Он не часто пускался в разговоры со «скребачами», будто стыдясь своей принадлежности к завидному миру постоянной тяжелой работы. Даже простой шуткой редко с ними перекидывался, и скребачи смотрели, ждали, никогда не предлагая помочь, чтобы поскорее вывалились к их ногам мусорные кучи.

— Это все с Проспект-стрит, паренек,— ответил шофер.

Ну, конечно, старые развалюхи. Изъеденные жучком доски перегородок. С края обрыва уже сыпались обои, сор, кирпичи, заполняя болотные лужи и сокрушая своей тяжестью ржавые консервные банки на дне. Кусок стены ухнул в воду, словно бомба упала. Вот и все. Снова поднялся задний борт грузовика, и он уехал. Брайн вытер попавшие в ухо холодные водяные брызги. Люди упорно, ничего не пропуская, ворошили хлам, хотя мало чего ждали от нищих, обреченных и разрушенных крысиных нор Проспект-стрит. И все же, как знать. Что, если надежда вознаградится? Найдешь два-три бронзовых кольца от штор, моток медного провода (обмотку с него можно сжечь над огнем). Или вдруг, если повезет, попадется обломок водопроводной трубы. За работой не разговаривали, только кто-то посвистывал — разговоры мешали расчетам и соображениям.

Брайн отложил несколько сломанных досок, стер грязь с колен и встал, охваченный вдруг тяжким, безысходным отчаянием. «Боже, сделай так, чтобы я нашел что-нибудь стоящее,— говорил он себе.— Если сделаешь, я прочту тебе «Отче наш».

— Что это с тобой, малый, а? — крикнул ему Эгер, трудившийся на самом верху свалки.

— Осточертело все,— сказал Брайн мрачно.

Вокруг ухмылялись, посмеивались, глядели на мальчишку.

— Живот, что ли, подвело?

Брайн ответил, что нет, и, поковыряв в груде кирпичных обломков, обнаружил довольно большую деревянную чурку.

— А не врешь? А го смотри, у меня в кармане пальто хлеб с джемом,— сказал Эгер.

— Нет, спасибо, я захватил с собой кой-чего пожевать.

— Так почему ж это тебе все осточертело?

Он не находил ответа. Отец часто говорил ему: «Считай, что тебе повезло, если у тебя в кулаке корка хлеба. И брось корчить кислые рожи». Но Брайн так не мог.

— А кем твой отец работает? — поинтересовался Эгер.

— Безработный.—И Брайн уже забыл про свое отчаяние.

Эгер рассмеялся.

— Ну, компании у него хоть отбавляй.

Эгер приходил на свалку каждое утро к девяти часам, чтобы вовремя поспеть к первой выгрузке мусора. Он катил перед собой огромную старомодного образца детскую коляску, в которой расфранченная нянька когда-то возила вскормленного с ложечки викторианского младенца. Шин на колесах не было, краска с боков давным-давно слезла, и ручкой служил кусок водопроводной трубы. Другим ценным имуществом Эгера был скребок, настоящий — он откопал его из-под груды кирпича и черепицы,— отличный скребок с красивой медной ручкой. Эгер твердо верил, что при его помощи непременно найдет что-то редкостное, и пока, в чая-

нии будущих богатств, орудовал им с особой охотой. Скребок Эгера вызывал зависть у всех, работавших на свалке. Брайн слышал, как однажды кто-то сказал: «Одолжи-ка мне, Эгер, твой скребок минут на пять: хочу собрать немного щепок в костер». Все вокруг умолкли, и Эгер тоже молчал. Только смотрел на того, кто попросил, смотрел с легким оттенком презрения к такому полному незнанию житейских правил. Просивший встал и ушел от костра.

— Вот сукин сын, полоумный,— сказал Эгер громко.— За кого меня принимает? Гнать такого со свалки в шею.

Летом и зимой он не снимал теплого черного пальто, которое доходило ему до щиколоток и болталось на его тощем теле, как на вешалке. В те дни, когда все собранное за неделю он продавал на несколько шиллингов в конторе утиля, бутылки с чаем, засунутые в оба глубоких кармана его пальто, расправляли складки этого слишком просторного для него одеяния. Каждое утро он наскребал топлива со всей обширной территории свалки и зажигал яркий маяк, бросая в огонь старую клеенку, просмоленную бумагу и охапки сухого папоротника, на протяжении многих поколений людей и клопов служившего прокладкой между полами и стенами сбившихся в кучу домов.

В хорошую погоду некоторые скребачи, как заметил Брайн, работали мало, больше стояли возле костра, переговаривались и, только когда подъезжал грузовик, кидались к нему со всех ног так, что развевались полы пальто и пиджаков. Остальные усердно рылись в хламе весь день напролет — все равно, поступал новый груз или нет. Брайн принадлежал к последней категории скребачей, он искал там, где уж вовсе нечего было найти, потому что надежда, как легкий хмель, бродила в нем, никогда не умирая.

Когда сырой ветер, не справившись с фуфайкой и пальто, всю свою силу сосредоточивал на лице Брайна, тот уже не чувствовал, как холод добирается и до его тела. Он насвистывал, роясь в кирпиче и шиферном щебне, и, только когда перегородка между снами наяву и реальностью ломалась, он замечал царапины на онемевших пальцах, чувствовал, как его «пробрало», лицо его отражало это внутреннее состояние, хотя сам он того не подозревал. Он был измучен, придавлен, и от пылающего огня лишь больно было глазам и кожа казалась как будто толще, но теплее не становилось.

Брайн разломал доски и уложил их в мешок, каждую охапку засовывая поглубже.

— Как ты это потащишь? — спросил Эгер.

— На спине.

— Тяжеловато.

— Ну, немного по земле поволоку.

Эгер поскреб еще, потом спросил:

— Ты это на продажу собираешь?

— Бывает.

— Сколько ж ты хочешь за все?

Брайн прикинул: «Дома дров пока хватит. Начну таскаться с мешком от двери к двери — много не заработаю».

— Шесть пенсов.

— Беру,— сказал Эгер.— Я знаю, тут кое-кому требуются дрова. Мешок верну тебе завтра.

Один из скребачей вытянул из хлама обрывок солдатского ремня.

— Смотри-ка, Эгер, вот остатки твоего обмундирования, это когда ты во Франции воевал.— И швырнул полоску кожи к его ногам, словно змею.

Эгер поддел ремень концом скребка — того, что похуже.

— Нет, друг, это не мой. Я свой швырнул в Ламанш, когда мы двигались восвояси.— Наступил на ремень ногой и продолжал скрести.

В двенадцать часов они побрели к костру греться. Все уверяли, что вот-вот польет дождь, некоторые уже принялись набивать мешки, собираясь уходить, но большинство осталось до конца дня. Брайн вытащил из кармана хлеб, а Эгер передал ему бутылку с холодным чаем, запить. Джек Берд разлегся у костра просмотреть газету.

— Слушай, Эгер, тут есть кое-что для тебя, не прозевай случай,— сказал он, закуривая после завтрака сигарету «Жимолость».— Что, если тебе завербоваться, поехать воевать в Эфиопию?

Эгер привалился спиной к куче стружек.

— Вот если снимут с пособия и прогонят с этой чертовой помойки, ну тогда уж больше ничего не останется, как подставить шею.

— С пособия не снимут,— сказал Джек Берд.— Уж этого-то они не посмеют.

— А мне, приятель, наплевать, снимут или не снимут,— сказал Эгер.— Свалка все равно останется, как останется на веки вечные Англия. Уж в этом можешь не сомневаться.

От свалки до машиностроительного завода тянулась дорога, сейчас пустая. Грузовики раньше двух не вернутся. Брайн вытянул шею, чтобы лучше видеть здание на противоположном конце свалки, где телеги городской санитарной части выгружали содержимое помоек прямо в печи. Высокая труба посылала в небо густой дым, он тянулся вверх, как ствол старого дерева, лесного гиганта, листва которого приплюснулась к низко висящей туче и в ней растаяла. Краснокирпичное здание стояло довольно далеко, издали казалось немного жутким. Впечатление это усугублялось его названием — «Санитарная часть», или «Санпасть», как прозвали его скребачи. От Санпасти к свалке были проложены рельсы, рабочие в толстых рукавицах работали там весь день, толкали вагонетки с еще горячей золой и сбрасывали ее в болото по обе стороны насыпи. Так вырастал еще один клин, ему предстояло впоследствии соединиться с тем клином, который образовался из мусора, наваленного грузовиками.

— И когда-нибудь здесь сделают аэродром,— фантазировал Брайн.— Чтобы бомбить старые дома, вот как наш бомбили, на Элбион-ярд.

— Чтобы немцев бомбить, ты хочешь сказать,— вставил один из скребачей.

— Фабрику построят,— возразил Эгер.— Или тюрьму. Не знаю, что им тогда больше потребуется.

На высоком бугре возле Санпасти Брайн увидел своего двоюродного брата Берта. Он или не он? Да, он, еще далеко. Шагает, засунув руки в карманы, время от времени поддает ногой полусгоревшие жестянки, метя в легкую цель — лужу под откосом.

Чтобы встретиться с Бертом, надо было перейти через трясину, перепрыгивая с одного травянистого островка на другой, скользя по круглым жестянкам, скатившимся с откоса,— трава уходила из-под ног, сжимаясь, будто губка. Широкими прыжками Брайн двигался к противоположному, покрытому золой краю трясины. Смотрел и дивился, как это в одном месте скопилось столько пестрой рухляди: тюфяки и кровати, почти затянутые болотом, велосипеды с колесами без шин и без спиц, торчавшие из черной маслянистой воды, точно восходящие солнца, старые полусгнившие ящики, проломленная птичья клетка, качавшаяся впереди, словно буек в море.

Разгоряченный ходьбой по трясине, он петлял, чтобы не попасть в особенно глубокие лужи и ямы. Эта «ничейная» земля была невелика, потому что до него все еще доносились резкие голоса скребачей позади на свалке, и в то же время он видел впереди, на сером откосе, почти у себя над головой, голодранца Берта, который кричал ему:

— Не поднимайся, я спущусь! У меня шоколад есть, гляди.— Похлопал себя по заднему карману штанов и продолжал шагать, выбирая место, где можно спуститься, не наступив на горячую золу.

— Кто тебе шоколад дал?

Не подымая глаз, Берт ответил:

— Никто. Сам в лавке взял.— Он потревожил ногами груду золы и жестянок.— Ты слыхал, чтобы мне когда что давали, а? — Вся масса лавиной покатилась в воду, обдав Брайна брызгами.

— А где деньги достал?

— Стащил, только и всего.— Он подошел к Брайну и уселся на жестяной бидон из-под керосина.— Я и это стащил, вытянул у Доддо из кармана,— добавил он хвастливо, вынимая из кармана целую сигарету.— Он подумает, что это Дейв у него спер, и задаст ему трепку. И поделом Дейву: он вчера мне уши надрал — просто так, ни за что ни про что.

Берт, щуплый, с волосами песочного цвета, был одним из многочисленных отпрысков Доддо; по его лихорадочным глазам и землистому лицу сразу видно было, что он перед жизнью выстоит. На нем были длинные мешковатые штаны, перешитые из штанов Дейва. Как и Брайн, он начал жизнь в дни колючих мартовских снегов, сосал материнскую грудь под белым потолком кухни, битком набитой людьми, и затем получил полную свободу, так как своей очереди ждал уже другой малыш, требовавший воздуха и молока. Берт сильно чиркнул спичкой о бидон и раздул искру в огонек, сложив пригоршнями руки с въевшейся в кожу грязью — руки взрослого.

— Здорово это — затянуться. Силу дает. У меня раз, знаешь, целая пачка сигарет была, и я просидел в лесу, пока всю не выкурил.

— Я попробовал, да чуть не сблевал.

— Ну, я не сблюю. Мне ведь уже почти десять, понятно? — Он вытащил из кармана большую плитку шоколада.— На, отломи себе кусок. И мне тоже.

Брайн содрал голубую обертку.

— Как ты это стащил?

— Пара пустяков. Дверь в лавке была открыта. Я постоял, посмотрел, вижу — никого нет. Я — раз! — и перепрыгнул через дощечку со звонком, схватил шоколад с прилавка — и дёру.

Брайн передал ему двойной шоколадный квадратик.

— А тебя не заметили?

— Нет, я без шума. На мне были тапки. Вот, смотри,— и задрал кверху ногу, показывая опорки, бывшие когда-то парусиновыми тапками на резине ценой в шиллинг и четыре пенса.— Тихо, как мышка. Только ты никому ни слова, слышишь? Да это я так, я знаю, ты языком трепать не станешь,— оборвал он себя поспешно.— Ведь ты мне брат двоюродный и первый друг на свете, не подведешь.

— Ты еще что-нибудь стащил? — спросил Брайн. «От этого Берта ты подальше,— говорил ему отец, когда семейство Доддо переехало в другой район.— Он ворюга. А если тебя сцапают как ворюгу, то пошлют на корабль, в кочегарку. Так что смотри, малый, не водись с ним».

— Ты что, думаешь, я только и делаю, что таскаю? — сказал Берт обиженно, будто и он видел ту картину, что промелькнула в сознании Брайна.— Я не ворюга.— Он швырнул вниз шиферный обломок, который пролетел над водой, то касаясь ее, то взлетая, и унес с собой обиду Берта.— Хочешь затянуться? Нет? Ну и ладно, мне больше достанется. Я просто увидел на прилавке шоколад, пошел и взял, понимаешь? Это не воровство, и ты заткнись, вот что. Отломи-ка мне еще кусок.— Берт швырнул окурок в лужу и рассмеялся, когда тот зашипел в воде.— Давай прикончим шоколад и пошли на свалку, может, чего найдем.

Берт шел впереди, учил:

— Смотри не ступи сюда, так и ухнешь в болото. Один мальчишка, приятель мой, заражение крови получил — порезал ногу о старую жестянку. Шесть недель его в больнице держали. Вот кабы мне туда! Жратву там давали — во! А ты бывал когда в Санпасти?

— Нет, ни разу,— признался Брайн и глянул на здание. Оно стояло вдали, массивное, наверху и внизу ряд окон. Дым из трубы шел уже не такой густой.

— Давай попозже сходим туда, часов в пять, когда все смоются.

Берт вытянул из воды велосипедное колесо и покатил его перед собой, подталкивая палкой.

— А ночной сторож? — спросил Брайн.

Он не мог представить себе Санпасть без сторожа. Ему вспомнились горящие печи, дверцы, как ряд чудовищных пастей, в которых вместо зубов пламя, и они могут втянуть тебя и сожрать, если будешь стоять слишком долго. «Вот это и есть клиника»,— сказала девочка, водившая его гулять вскоре после того, как он научился ходить.

— Никого там нет. К пяти часам печи уже почти холодные. Я на прошлой неделе ходил туда с нашим Дейвом, в окно влезали. Я тебе покажу.— Колесо свернуло в сторону и скатилось под откос, исчезнув среди водяных пузырей. Берт швырнул ему вдогонку за компанию палку. Палка медленно закачалась на воде. Они уже подходили к концу дороги.— Сейчас что-нибудь путное найдем, вот увидишь.

— Не плохо б,— сказал Брайн.— Только ничего там сегодня нет. Я с девяти часов скреб, а раздобыл мешок щепок, только и всего.

Берт подобрал не очень дырявый мешок и запихал в него все то, что могло оказаться полезным дома: старый котелок с прохудившимся дном — Дейв починит, сделает прокладку,— чашку без ручки, муляжные шоколадки ребятишкам играть, слипшуюся массу тянучек — промыть под краном и съесть — и несколько пахнущих свежим деревом толстых брусков, дрова на случай стирки.

Скребачи уходили со свалки в туманной тишине — только прогрохали их сапоги, когда затаптывали костер, и бодро загремел на камнях железный навес, поставленный на случай дождя.

— Крысы не вылезут, пока не стемнеет,— сказал Берт, и Брайн рад был это слышать.

Они двигались проворно, молчком, пробираясь через осоку: шагать надо было быстро, не то тут же наберется вода в ботинки. Возвышаясь над пропастью, полной жестянок и шлака, пустое, запертое на ночь здание — Санпасть,— из трубы которого дым уже не шел, казалось теперь под нависшими тяжелыми тучами почти хрупким: будто на него давит непомерная тяжесть, и долго выдержать ее оно не сможет.

Брайн заметил, что Берт прихрамывает и всю дорогу от свалки идет как-то странно. Наверно, камешек в тапку попал, хотя нет, непохоже. Он уже думал было спросить, но Берт вдруг сказал:

— Вот здесь влезем. Я первый, а ты за мной.

Забравшись на гору мусора, он передал мешок Брайну и одно мгновение пристально вглядывался в стену. И вот квадрат в несколько аккуратно вцементированных кирпичей превратился в мощный магнит — Берт стремительно пролетел пространство в несколько футов и распластался, как лягушка, на вертикальной поверхности стены. Цепляясь руками, он долез до оконного карниза, подтянулся и оказался в проеме окна.

Брайн отчетливо увидел выщербину в стене, за которую можно было ухватиться, и, швырнув в окно мешок, в свою очередь вдруг точно прилип к стене, чувствуя, что ноги у него висят где-то футах в двадцати над землей. Холодные, тяжелые капли дождя застучали у него по рукам.

— Ты давай скорее лезь, пока не вымок,— посоветовал Берт.

Ноги Брайна, как раскачивающиеся железные палки,— он с тревогой почувствовал, что одна нога словно бы тяжелее другой,— тоже нащупали опору. Удержаться стоило немалых усилий, Брайн даже дышать перестал и пытался просунуть каждый палец как можно глубже. Он еще поднатужился и стал медленно подтягиваться. Но пальцы соскальзывали, будто падавшие на карниз дождевые капли были не водою, а жиром. Но пальцы не успели оторваться, он не просвистел, как бомба, вниз, а, дернувшись локтями вперед, подтащил туловище к верхнему каменному выступу и сел.

— Сколько времени лез! Чего ты там копался?

— Быстрее твоего,— огрызнулся Брайн. Он глянул назад на болото, на свалку, на железнодорожный путь и фабрики вдали и нигде не увидел ни единой живой души. Он повернулся и посмотрел внутрь Санпасти уже с высоты всего в шесть футов. Перед ним были горы отбросов, готовых к сожжению в первый же день недели; жестянки, ящики и зола шли от стены волнами и образовывали эскарпы перед десятком остывающих печей. Через высокие сводчатые оконные проемы во всех стенах огромного помещения лился тусклый свет. Стоя на выступе и оглядывая эти просторы, Брайн подумал, что все здесь как в церкви, если бы не отбросы, наваленные горою внизу.

Печи, задвинутые щитами и закрытые на засов, казались безобидными, они уже не походили на пасти чудовищ — были серые, как трупы, призрачные и немного жуткие в своем временном бездействии. Остатки печного жара, тепло золы и ударяющий в нос запах подпорченных овощей и рыбы — все тут смешивалось в одно.

Что-то шевельнулось в груде мусора.

— Кошка. Им здесь жратвы — лопай не хочу.— Хриплый голос Берта отдался эхом в пустом пространстве между потолком и горами отбросов.— Ну, вперед!— Он прыгнул на метр от оконного карниза и упал в мусор, почти зарывшись в нем так, что ноги совсем скрылись.— Будто на перину валишься!— крикнул он.

Брайн зажал ноздри и неуклюже полетел вниз.

Холодная, скользкая селедка отскочила от его лица. Зеленые глаза рассерженной кошки впились в него, ее возмутило это вторжение. «Я не имею права тут быть,— подумал Брайн.— Нас выгонят, если кто вдруг зайдет. Да и что тут возьмешь, какого черта мы сюда забрались? Надо было нам пойти и промотать мои шесть пенсов». Он приподнялся и посмотрел, во что же это он свалился, и не сразу разглядел в серой тьме наступающего вечера, что лежало кучами и поднималось чуть не до половины высоты стен Санпасти. Это были селедки, соленые и копченые, и макрель — в жизни своей он не видел столько рыбы, даже на картинках, где громадные пароходы плывут вокруг Ньюфаундленда и тянут за собой невода, полные добычи.

— Откуда все это?

— Не знаю,— сказал Берт.— Да я думаю, она вся протухла.

— А тухлым не пахнет.

— Все равно тухлятина, уж будь уверен.

— А что, если домой немного взять, а?— спросил Брайн.— Можно поджарить к ужину.

— Нельзя, воняет, как дерьмо.— Берт говорил убежденно.

Брайн готов был поверить его опыту, но все-таки сказал:

— Не так уж воняет.

— Если не тухлая, зачем бы она здесь валялась, а?— возразил Берт.— Поработай-ка башкой.

— Я и работаю. Смотри, кошка ведь ест.— Брайн поднял рыбу, понюхал ее, открыл ей рот, повернул хвост.— По мне, рыба как рыба.

Берт был уже в противоположном конце, рылся в кучах каких-то других отбросов.

— Это ее сюда из лавок приволокли!— крикнул он в ответ.

— Столько рыбы сразу и в пятидесяти лавках не наберется.— Брайн швырнул селедку обратно в кучу.— Наверно, на грузовиках привозили, да?

Берт ответил, что, должно быть, на грузовиках.

— Наверно, лавочники выбрасывают потому, что продать не могут, верно? Лежалый товар. Вот как тянучки, они тоже иногда попадаются на свалке.

— Да выкинь ты из башки эту чертову рыбу. Жилы тянешь,— сказал Берт.— Иди-ка сюда, поищем, что получше.

Целые пароходы здесь выгружены, можно накормить тысячи. Поджарить на сковородке или испечь. Целый бы год набивали пузо, пока не затошнит.

— Все ты треплешься!— крикнул он Берту, на четвереньках пробираясь к нему по жестянкам и золе.

Берт был слишком поглощен делом, чтобы огрызаться.

— У них здесь почти каждый день столько рыбы,— сказал он.— Только она всегда тухлая.

Он ринулся к куче хлама — Брайн никогда не видел, чтобы Берт так ловко орудовал скребком. Консервные банки, бутылки, картонные ящики, апельсинная кожура и какая-то неопределенная, слипшаяся масса — все это он расковыривал, иной раз поддевал на конец скребка и рассматривал при слабеющем свете и снова бросал или откладывал в сторону на мешок.

Брайн подошел поближе посмотреть, как это у него так быстро получается.

— Какой скребок-то у тебя! Крепкий. Здесь нашел?

— На свалке. Валялся под стружками — под теми, что с завода Рэли.

Самодовольно, хвастливо улыбаясь, Берт поднял скребок вверх — только на минутку, чтоб показать.

— Поверю, когда погляжу,— сказал Брайн, у которого уже зародилось подозрение.

Берт взмахнул скребком, и Брайн ухватился за конец скребка, потянул к себе, а Берт засмеялся.

— Думаешь, почему я хромал всю дорогу? Чтоб на свалке никто не увидел, понятно? Нельзя ведь, чтоб увидели.

— Это его лучший скребок! Он же без него пропал!— крикнул Брайн негодующе.— Ах ты стервец поганый! Да как ты посмел?

Берт пробовал отпираться — валял дурака, хотя все же чуточку надеялся, что ему поверят.

— Это не его, не Эгера. Вот ей-богу! Провались я на этом месте, если вру.

— Врешь, врешь! Не знаю я, что ли, скребок Эгера?

Берт бросил разыгрывать невинность и повернулся к Брайну.

— Ну и что ж, если его? Эгер ведь его нашел, да? Денег за него не платил, верно? А нам-то скребок нужен или нет?

Брайн вынужден был отступить перед этим заградительным огнем — доводы звучали убедительно.

— А все-таки красть тебе было незачем.

— Я и не крал. Я нашел скребок у него в мешке. И потом, знаешь, там у него таких еще штук десять, я видел. Он их каждый день по два, по три находит. Или, может, тащит у кого, как я.

«Кто его знает»,— подумал Брайн. Теперь все его внимание было поглощено тем, что делал Берт, а тот принялся рыть в куче отбросов не-

что вроде пещеры. Брайн продолжал стоять в стороне, наблюдая за ходом этих энергичных раскопок; у ног его ложился всякий домашний скарб. Ишь как действует, так, пожалуй, скоро и до стены докопается. Вот что значит спереть такой скребок! Работает, как молотилка в поле возле Ноука.

Берт почти скрылся в своем туннеле. «Чего он ищет? Я потом тоже туда пойду. Что там такое под мусором? Может, он меня не пустит. Пустит, ведь он мой двоюродный брат. И к тому же друг. И день рождения у нас в одном и том же месяце». Большая жестянка с самого верха горы угрожающе покатилась прямо на Брайна, он было хотел отпихнуть ее ногой, но мысль, что это небезопасно, остановила его. Берт, смекалистый и проворный, умеющий за себя постоять, насчитывал среди своих предков не одно поколение углекопов: он тотчас навострил уши, будто где-то далеко услышал некое таинственное потрескивание подпор в шахте. Еще одна жестянка покатилась сверху, за ней банки, бутылки, мокрая бумага, и Брайн увидел, что вся гора покачнулась, как от землетрясения. По верху ее пробежала кошка, нацелившаяся на рыбу, лежавшую за всей этой горой; на мгновение зеленые глаза зверя глянули в сторону, будто он подумал, что это его легкие лапки раскачали гору.

Пока внимание Брайна было отвлечено кошкой, Берт уже успел отскочить в безопасное место. Гора развалилась почти бесшумно. Все сотни фунтов хлама снова заполнили пустое пространство. Берт катился по склону, его смех и крики перекликались под высоким потолком. Брайн тоже отпрыгнул подальше. Он был разочарован тем, что сооружение Берта полностью исчезло.

— Здорово, верно?— Берт счищал с себя золу.— А мне ничего, не завалило.— Руки у него были пусты — черные, все в царапинах, между двумя пальцами порез.— Ну, куда ты его девал?— спросил он у Брайна воинственным тоном.

— Чего? О чем ты болтаешь?

Берт огляделся, порылся в карманах и вдруг, поняв, что скребок потерян, затрясся в приступе отчаянной брани, и весь мир свелся для него к тому, что творилось сейчас в темном лабиринте его сознания.

Брайн глянул на осевшую гору отбросов. Всю ночь надо копать, чтобы найти.

— Давай помогу искать.

Берт никак не мог успокоиться, не мог начать действовать.

— Эх, такой скребок! — все повторял он.— Ты только подумай: такой скребок! Лучший скребок Эгера.

— Швырнут его вместе со всей этой дрянью в печь, уж будь уверен.

— Сам знаю.— В проклятиях Берта звучали слезы.— Полоумный я, дурак. Спер, протащил через всю свалку попусту. Попусту тащил, сволочь эдакая.

Брайн отвернулся — в мозгу его бились, просясь наружу, четыре слова. Но он не мог произнести их, говорил их только мысленно и все равно чувствовал, что он дурак и предатель. «Это бог его наказал,— вот что повторял он про себя.— Это бог наказал его за то, что он спер самый лучший скребок Эгера». Бога никакого нет, бог — это брехня, орал отец, когда мать выводила его из себя, грозя, что бог его за все накажет. А может, он все-таки есть? Брайн палкой поковырял в отбросах у стены, Берт с хмурым видом наполнил свой мешок.

«А может, и нет его. Каково-то будет бедняге Эгеру завтра утром, когда он увидит, что у него стащили скребок! Просто спятит, ведь теперь ему придется ковырять на свалке старыми скребками, которые то и дело ломаются, да ими и не наскребешь ничего путного. Может, еще подумает, что это я у него стянул. Мне лучше пока туда не ходить, вдруг правда подумает, что это сделал я. Вот пакость какая получилась! Где

буду доставать дрова для печки? И все из-за Берта, олуха несчастного. Взял и потерял, паскуда. Мне жалко Эгера. Мне его жалко. Безработный, живет только тем, что добудет на свалке. Только и есть у него что пальто да ржавая коляска. Теперь вот даже лучшего скребка лишился. Ну и осточертело же мне все — все бы к чертовой матери».

Выбирались они так же, через окно, и до того были мрачно настроены, что уже не думали об опасности, когда с большой высоты прыгали вниз на тропинку.

— Жрать хочу,— проворчал Берт, устало волоча ноги. — Кроме этого паршивого шоколада сколько времени ничего во рту не было.

От Саипасти вела прямая дорога к ярким огням Уоллатон-роуд. Грузовики, автомобили, автобусы казались затейливыми значками на нотных линейках и словно выбивали барабанную дробь, когда катились вдали, шумно и почти непрерывно: народ возвращался с работы.

— Дома, конечно, жрать нечего,— сказал Брайн.— Уж это ясно.

— И у нас тоже.

В воздухе пахло весной, зелень была такой свежей — и мох, и трава, и молодая крапива, обстрекавшая им ноги, когда они вошли в самую гущу живой изгороди. На западе небо покраснело, будто ночной сторож за тучами зажег свой фонарь, сидит и караулит, чтобы никто хитростью не пробрался в рай там, позади туч. Отблеск этого красного пламени пал на отвесные, выложенные серыми плитками газометры, отчего они показались еще выше проходившим мимо Брайну и Берту. Брайн порылся в кармане.

— У меня ведь есть еще те шесть пенсов, что мне Эгер дал за дрова. Может, пойдем купим чего-нибудь пожрать? Возьмем жареного картофеля с хлебом, набьем брюхо?

— Ага, здорово,— сказал Берт, обнял Брайна за плечи, и оба зашагали быстрее.

3

Брайн смотрел, как две свиньи отщипывают от кучи угля пыльные черные кусочки.

— Дедушка, а почему свиньи едят уголь?

Мертон замешивал в лохани отруби возле двери прачечной.

— Делать им нечего, вот почему.

Брайна такое объяснение не удовлетворило.

— Это потому, что они голодные?

— Свиньи всегда голодные.

— Так ведь им дают отруби и картошку с шелухой.

Мертон размешивал стальной лопаткой жидкое месиво.

— Э, они сожрут все, что хочешь. И тебя тоже, надоедный ты щенок, если подам тебя им в корыте.

Прекратив таким образом расспросы Брайна, Мертон высыпал в лохань мешок картофеля. Брайн видел, что по тропинке шагает, ведя за руль свой велосипед дядя Джордж, высокий, худощавый человек в кепке, кадровый рабочий на заводе Рэли, а в глазах Брайна — божество с волнистыми волосами.

— Ты откуда, дядя Джордж?

— С футбола.

— А что там делал? — спросил Брайн, подумав: играл он или только «болел»?

— Не спрашивай, и тебе не будут врать,— ответил Джордж, ставя велосипед под навес.

Брайн засмеялся и пошел за дядей в кухню, где бабушка месила тесто для пирогов и хлеба.

— Читал листки на стенах?

Джордж нагнулся снять с брюк велосипедные зажимы, потом вскинул глаза, уже держа зажимы в руке.

— Взяли Аддис-Абебу. Похоже, что с эфиопами покончено.

Его мать сочувственно пощелкала языком.

— Вот ведь стервецы эти итальянцы. Только подумать — травят газами бедных чернокожих, которые никому никакого вреда не сделали.

— Они, можно сказать, сражались зонтиками против пулеметов,— сказал Джордж.

— Итальянцы за это еще поплатятся, вот увидите,— пророчествовала Мэри, размазывая джем на куске раскатанного теста. Брайн слушал с таким напряженным вниманием, что незаметно для себя открутил пуговицу на своей рубашке.— Послушай, что это ты там выделываешь? — воскликнула Мэри.— Смотрите-ка, стоит и откручивает пуговицы.

Ему дали банку из-под джема и ложку — он выскреб, высосал и вылизал все остатки и приступил к новым расспросам:

— Бабушка!

— А?

— Кто войну выиграл?

— Какую?

Он был озадачен.

— Ну, войну.

— Последнюю, что ли?

Он не знал, что сказать, боялся, что его надуют, подсунут какую-нибудь другую войну.

— Последняя война — это на которой убили дядю Оливера?

— Да.

— Ну так кто же выиграл эту войну?

— Никто,— сказала Мэри, забирая у него липкую банку.— А теперь иди и вымой руки, будь умником.

Он пошел озадаченный. Как это может быть, чтобы никто не выиграл войну? Хоть бы кто когда ответил на его вопросы! — досадовал Брайн. «Никто»! Это не ответ, просто так, обман. Не бывает такой войны, чтобы ее никто не выиграл. Кто-нибудь да выиграл, а другой проиграл. Вот как это бывает. Моя лицо и руки в тазике, который бабушка наполнила для него водой, он слышал, как они там все еще разговаривают о войне в Эфиопии.

■

На дальнем краю Вишневого сада под шатром из облаков и деревьев на опушке Змеиного бора стояли два дома, и жили в них фермеры-землепашцы. Брайн знал только некоторых из ребятишек, время от времени выскакивавших из дверей обоих домов. Каждую субботу он бродил по холмистой местности, зачарованный длинной темной полосой леса на горизонте, привлеченный этим больше, чем двумя домиками у опушки, и часто, как исследователь, мысленно наносил все на карту. Но он редко заходил далеко, в открытые поля за Змеиным бором.

Из ложбины послышались визг и болтовня девчонок. На всех были похожие розовые платья и у всех в руках цветы — маргаритки и лютики. Девочки шли в его сторону, но, не дойдя, увидели поляну с цветами, встали на коленки и принялись рвать цветы. Одна из девочек подняла глаза и сказала:

— Здравствуй!

Он смутился, засунул руки глубоко в карманы и, остановившись, принялся носками ботинок рыть в дерне ямки.

— Здравствуй,— ответил он.

— Ты ведь живешь в доме Мертонов, да? — сказала она уверенно.

— Откуда ты знаешь?

— Мы видели тебя, ты играл во дворе, когда мы проходили мимо, правда, Фанни?

— Я помогу тебе рвать цветы,— сказал Брайн.

Ей это не понравилось: даже не спросил, можно ли.

— Рви, если хочешь, только не мне, у меня и так уж полным-полно. Помогай Фанни.

— Эй, Бренда! — крикнула Фанни, добежавшая до самого леса. В руках у нее были охапки белых и желтых цветов, из карманов тоже торчали цветы — живой сноп из цветов.— Пойдем поищем колокольчики. Я знаю место в лесу, где их пропасть.

Брайн пересек Вишневый сад и в сотне шагов от домиков уселся на траву, вытащил из кармана пакетик с сигаретными картинками-вкладышами — всякие цветы — и начал раскладывать их по временам года.

Подошла Бренда, и он спрятал картинки в карман.

— А я нашла баранчики,— заявила она, усаживаясь с ним рядом.— В лесу.

— А мне все равно.

— Было бы не все равно, если б это ты нашел,— поддразнила она.

— Нет все равно.

— Нет не все равно.

— Нет все равно,— повторил он.— Потому что я не люблю баранчики, меня от них тошнит.

— Нет любишь.

— Нет не люблю.

— Нет любишь,— настаивала она с решительным упорством, чуть не плача.

Он отвернулся.

— Не люблю я их.

— Я тебя сейчас как двину! — крикнула она, лицо у нее покраснело от злости.

— А я тебе сдачи дам,— ответил он.

Она встала.

— Если ты не любишь баранчики, значит, ты дурак, потому что, кто не любит баранчики, тот дурак.

Положение безвыходное. Они в упор глядели друг на друга. И вдруг она сказала:

— Я тебя люблю, Брайн.

Брайн был ошарашен. Люблю? Отец и мать любят друг друга — синяк под глазом, шишки, опрокинутый стол, злобные взгляды и «никаких тебе сигарет, никогда, никогда!» Учитель говорил, что бог любит всех. Итальянцы отравляют газами чернокожих, косят их пулеметами. Пособие по безработице, грозы, школа. Картина в гостиной у бабушки — это тоже про любовь.

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, что же теперь нам делать? — спросил он.

Снова рассердившись, она сверкнула на него глазами.

— Если ты не любишь баранчики, то ты дурак.— И убежала обратно в лес.

Он вытянул шею — над кустами и деревьями еле можно было разглядеть трубы Ноука. Ветер пригибал пучки высокой травы, по небу протянулись густые тучи. Вдалеке по Кольерс-пэд ехал велосипедист, его фигура мелькала в просветах между кустами.

Брайн пошел дальше. Вишневый сад был большой и пустынный, стоял в стороне, не был огорожен — от дома до дома добрая миля, деревьев нет, и только кустарник да холмы разнообразили его зеленую

поверхность, а фоном ему служила колоннада Змеиного бора. Лес перепачкал ботинки Брайна соком баранчиков и чистотела, укрыл его, выгнал на полянку, вскоре утомил, испугал, но звал все дальше в гущу, где каждый листок был живым и треск сухих веток под ногами отдавался в напряженных нервах.

На берегу ручья Брайн выбрал из песка гладкие камешки, набил ими карманы и зашагал дальше среди кустов и высоких стволов, иногда нагибаясь, чтобы сорвать поганку или поднять уже разоренное птичье гнездо. Или вдруг запускал камешком вдогонку быстрой птице, наперед зная, что не попадет.

Он прополз под свалившимся деревом. В гуще леса, откуда уже не были видны поля и не слышно было ничего, кроме шороха собственных движений, он подтянулся на руках, добрался до самой низкой развилины ветвистого дерева и полез дальше; пыль с коры испачкала ему колени и руки, короткие сучки оцарапали пах. Он уселся и стал смотреть на зеленые пни, на джунгли папоротниковых зарослей — его пристанище от черных водоворотов школьного года и домашней жизни. Доносились негромкие звуки — журчанье ручья, звонкое, ритмичное кукованье кукушки, мычанье коровы где-то в поле у опушки. По обе стороны тропинки росли баранчики, а там, где ручей терялся в заросшем кустами болоте, на полянках мелькали голубые пятна колокольчиков. Лес после долгой зимы был сырой, в воздухе стоял тяжелый запах земли и грибов, но на открытых местах солнце уже успело подсушить почву.

Брайн сложил ладони, приставил их рупором ко рту, желая издать тарзаний клич, но между деревьями пронесся лишь неуверенный, воркующий звук, который быстро замер, наткнувшись на непреодолимую преграду расстояния. Брайн слушал, как он затихает, ждал наступления тишины и вдруг принялся выкрикивать подряд все известные ему ругательства, во всю силу легких, чтобы слова разнеслись как можно дальше. Выкрикнув одно ругательство, он выжидал, пока эхо не умрет вдали, и, выговаривая отдельно каждый слог, посылал следующее — бросал клич, на который не ждал ответа. Устав от игры, он спрыгнул вниз и отправился обедать в Ноук.

■

Тетя Лидия обещала Брайну сводить его в «Империю». Лидия была тридцатипятилетняя полная миловидная женщина, все еще незамужняя и желавшая — Брайн слышал, как об этом говорила мать,— пожить в свое удовольствие, прежде чем остепениться и начать семейную жизнь. Том, ее кавалер, был человек уже немолодой, в волосах проседь, лицо худое, костистое — он гонял Брайна с разными поручениями всякий раз, как приезжал в Ноук провести вечер.

Тщательно умытый, в новом пальто, Брайн чувствовал, что его ведут в какое-то совершенно необыкновенное место.

— А что там будут показывать?

Лидия сильнее потянула его за собой.

— И петь будут, и танцевать, и клоуны будут смешить.

— А ковбои и индейцы?

— Нет, сегодня их не покажут.

— А львы, тигры и змеи?

— Это только в цирке бывает,— сказала она.— Да и незачем тебе смотреть такую гадость. Укусят еще.

С самого начала Брайн был так уверен, что его ждет потрясающее зрелище — он даже не счел нужным расспрашивать. Воображаемая им огромная открытая сцена, уходящая бесконечно далеко в глубину, сжалась до обыкновенных подмостков, на одном конце которых под светом

нескольких электрических лампочек поет женщина, а на другом старается распотешить публику клоун. В сердцах Брайн прикусил себе губу: и ради этого его столько скребли и мыли!

Том уже купил билеты — полчаса назад, сказал он,— и успел заглянуть в бар «Под персиковым деревом» перехватить рюмочку: не мокнуть же под дождем.

Время проходило быстро. Брайн то и дело глядел на часы за ложами на стене, почти не смеялся остротам клоунов — смешно было только, как они кувыркаются и падают на сцене. Больше всего ему понравился человек с тюленем, потому что тюлень лаял и хлопал ластами, если публика аплодировала. Единственное, что ему вовсе не нравилось, когда он сидел прикованный к своему плюшевому сиденью, это сигарный дым, от которого мутило, пока наконец происходящее на сцене не захватило его целиком. Он отупел от вихря цветных огней, четкие, ритмичные звуки заполонили слух. Он смотрел, не мигая, когда на сцене принялись танцевать женщины, одетые в нечто вроде купальных костюмов, и совсем вытаращил глаза, увидев, что из-за кулис вышла еще одна, на которой, казалось, уже и вовсе ничего нет.

В антракте Том и Лидия курили сигареты — дома Лидия курить не смела. Она открыла пачку и аккуратно, с нескрываемым удовольствием отогнула серебряную бумажку, а картинку передала Брайну. Когда по проходу пошла девушка с мороженым, Лидия сказала, ища кошелек:

— Поди-ка, Брайн, купи, пожалуйста, три стаканчика.

Том сунул ему в руку шиллинг, и Брайн стал пробираться среди ног, твердых, точно стволы деревьев, локтями расчищая себе дорогу в забитом публикой проходе. Народу было много, все болтали, а он стоял в очереди за мороженым, дожидаясь, когда ему дадут деревянные ложечки и леденящие пальцы картонные стаканчики — новинку для него, потому что он никогда еще не держал их в руках целыми и невредимыми, всегда видел только под ногами на улице — раздавленные, выпачканные в грязи. Он принялся читать надписи на каждом стаканчике, но тут в зале погасли огни, антракт кончился.

Занавес поднялся, и из оркестра вырвался, словно подстегнутый хлыстом, поток восточной музыки. Брайн двигался по проходу в конец зала, в каждом темнеющем ряду ища Лидию и Тома, а сам поглядывал на сцену, боясь что-нибудь пропустить. Из-за кулис появилась дама в развевающихся одеждах и с темным лицом — ее приветствовали арабески восточной музыки. Брайн уставился на причудливый богатый наряд и тюрбан; шелка и атлас плотно облегали фигуру дамы. Еще больше он был поражен внезапным завыванием темнолицей красавицы.

— Тетя Лидия! — крикнул он, еще не дойдя до своего стула.— Тетя Лидия, это королева Эфиопии?

— Да уж не иначе,— отозвался кто-то.

— Здорово сказано!

— А ведь похоже, правда?

— Мне самому это в голову не пришло.

Послышались реплики, хихиканье, и Лидия, прыская со смеху, потащила его к креслу. Не отрывая глаз от сцены, Брайн снял картонный кружочек со своей порции мороженого. Он сам почти верил тому, что находится в Эфиопии, до тех пор пока не увидел, как переменилась цифра в рамке красного света, когда занавес закрылся перед следующим номером.

На обратном пути в автобусе его затошнило, Тому с Лидией пришлось возвращаться пешком. Они ничего не имели против, воздух был свежий, дождь перестал, и Брайн, взглянув вверх, увидел миллион звезд — точно светящиеся хлебные крошки на громадной скатерти. Ли-

дия и Том зашли в бар, а его оставили за дверями — хотели проглотить по кружке пива — и вышли через полчаса. Лидия нагнулась к Брайну, дала пакетик с хрустящим жареным картофелем — от нее пахло пивом. Они свернули в темную улицу, прошли мимо фонаря у будки ночного сторожа, где прокладывали канализационные трубы.

— Дядя Том, Эфиопия очень далеко отсюда?

— Ага,— ответил Том, посмеиваясь.— Очень даже далеко.

— А как далеко?

— Тысячи миль.

— Я хочу туда поехать.

— Поедешь в свое время.

— Я хочу поскорее.

— Чернокожие тебя там съедят,— сказала Лидия.

— Не съедят. У меня будет ружье, как у солдат, я видел на картинках. А ведь Поль Робсон — эфиоп по происхождению, а людей-то не ест!

— Вот это оторвал,— засмеялся Том.

Дома остались позади, они шли теперь по длинному туннелю под железнодорожным мостом, где Лидия всегда боялась ходить одна или даже в обществе Тома.

— Иди, иди,— сказала она резко.— Не лезь в лужи, ноги промочишь.

— Я хочу в Эфиопию,— сказал Брайн.— Я хочу уехать далеко-далеко.

— Хватит тебе болтать про Эфиопию,— сказала Лидия с досадой.— На нервы действуешь.

Некоторое время они шагали молча.

— Тетя Лидия, когда придем домой, я нарисую карту.

— Да ты не умеешь карты рисовать,— ответила она теперь уже спокойным тоном: они подходили к Ноуку.

— Умею. Это легко.

— Первый раз слышу.

— А мы их в школе рисуем,— настойчиво уверял он.— Я люблю рисовать карты.

4

Неудачным замужеством Ада сама закрыла перед своими детьми двери Ноука. Доддо — непутевый, бранился Мертон, сквернослов, пьянчуга, обормот, ни вразумить, ни пожалеть такого, и помочь ему уже нельзя. Зять его, наверно, расхохотался бы и с дерзким вызовом признал справедливость столь быстрого и решительного приговора, скажи это ему Мертон прямо в глаза, но старик не удостоил его объяснением, и все же там было хорошо известно, что Мертон, кипя гневом и возмущением, подверг семейство Доддо остракизму.

Как-то в пятницу, когда Доддо орудовал лопатой в проулке неподалеку от Уоллатона, Ада велела Берту взять сверток с рубашкой, костюмом и шляпой и отнести отцу. Поручение было несложное, но она заставила и Берта и Брайна повторить все слово в слово: Доддо должен переодеться прямо там, на работе, сразу идти в город, ни в какие кабачки не заглядывать и встретиться с ней перед началом представления возле «Империи».

— Думает, я полоумный, ничего не могу запомнить,— ворчал Берт, таща здоровенный сверток и держа его прямо перед собой так, что Брайну пришлось взять на себя роль поводыря, чтобы Берт не налетел лицом и свертком на колючие кусты изгороди.— Я сейчас прикинусь слепым, может, кто подаст.— Миссис,— заорал он шедшей навстречу им женщине,— подайте слепому!..

Но та прошла мимо, не взглянув, и он передал сверток Брайну.

Уже спустились сумерки, когда они наконец отдали Доддо парадный костюм и взамен получили его завернутую в газету рабочую одежду и по пенсу за труды.

— А теперь марш домой, обтрепанцы. Смотрите не вздумайте залезть к кому-нибудь в сад или огород или фокусничать с газовыми счетчиками, не то заеду в ухо, понятно?

Они скрылись в темноте.

— Знаешь, что я сделаю, когда вырасту?

— Что? — спросил Брайн.

— Найду большущий лес и в самой его середке выстрою себе хижину. И все буду сам себе выращивать в огороде, и еще буду стрелять кроликов и птиц — заживу как граф, жрать буду до отвала.

— Здорово,— согласился Брайн.— А мне можно будет там жить?

— Ладно, живи себе, если хочешь.

Брайн подумал о местоположении дома, у него уже были наготове вопросы:

— А где построишь дом?

— Еще не решил, где-нибудь в Шервудском лесу, наверно, там, где Робин Гуд жил. Из деревенских лавок натаскаю себе все, что мне потребуется, и браконьером тоже стану. Я всегда смогу удрать к себе, никакие фараоны меня не догонят, если дом построить в самой глубине леса. А все, что стащу в лавке, спрячу, буду этим питаться зимой, когда в огороде ничего не растет и охотиться тоже трудно.

— А как же сигареты и пули для ружья?

— Не хитро. Натаскаю столько, чтоб хватило на всю зиму, а может, стащу еще и пива — когда только вздумается, напьюсь, как отец. И буду есть тушеных кроликов, и помидоры, и свинину, и хлеб с самым лучшим маслом и сверху еще намажу клубничным джемом. Усядусь в своей хижине, и пускай снег идет, а у меня огонь в большом камине с решеткой, поставлю чайник, знай буду себе посиживать день за днем, пить чай и комиксы читать. А потом вот что я еще сделаю, когда вырасту: жить стану один, чтоб вокруг сто малышей не бегали. Здорово это, Брайн, в своем-то доме, уж можешь мне поверить! И пусть дождь льет хоть каждый день, мне ведь наплевать, раз я-то сижу внутри и окна и двери закрыты. Никто ко мне не будет приставать — вот чего я хочу, когда вырасту. Потому и хочу построить себе хижину в лесу, и только для одного себя.

— А в кино как же, разве не будешь ходить? — спросил Брайн.— Или вдруг захочется погулять по городу?

— Нет. Будет у меня моя хижина, и ничего мне больше не нужно. У меня, знаешь, сколько дел наберется? Каждый день надо ходить в лес с топором, рубить дрова для камина, или сажать салат, или расставлять сети и силки, кроликов ловить. Когда живешь в собственном доме, дел всегда хоть отбавляй, даже и не подумаешь в кино ходить. Уж это я знаю, Брайн.

Тут был задан главный вопрос:

— А если гром загремит, что тогда?

— А ничего,— последовал быстрый ответ.— Я не то, что ты, я грозы не боюсь. Мне на нее наплевать. Даже чем гром сильнее, так, по мне, это еще лучше. Пусть хоть много месяцев гремит, и дождь идет, и снег, только б у меня в доме хватало жратвы и дров. Вот этого я больше всего на свете хочу: запереться у себя в доме, и чтобы жратвы сколько хочешь, и на всех и на все мне наплевать: стану слушать, как дождь поливает и гром гремит, точно из пушек, а сам буду чай попивать да покуривать «Жимолость».

— Здорово,— сказал Брайн.— Я тоже так сделаю, когда вырасту. Когда мне исполнится четырнадцать, я не пойду работать, как мама велит. Я убегу из дому, пойду в Шервудский лес и стану там жить. Не хочу работать на фабрике, а ты, Берт?

— Черта с два. Уж если придется работать, так наймусь на ферму или еще куда в деревню подамся. Чтоб на свежем воздухе. Доддо всегда говорит: лучше быть землекопом или батрачить на ферме, тогда хоть чахотку не наживешь. Мне по душе только одна работа — копать землю. Я люблю лопатой орудовать — картошку копать, или песок рыть, или уголь в подвал ссыпать, или мусор какой подбирать. Лопату я потому люблю, что орудовать ею не трудно, и с лопатой ты всегда на свежем воздухе. И потом, те, у кого лопата, не так часто сидят без работы, как другие.

— Мой отец всегда на пособии,— сообщил Брайн,— а у него лопата есть. Нет, это все равно, потому что когда нет работы, так уж, значит, нет ее. Доддо ведь тоже часто без работы, скажешь, нет? Почти у всех ребят в школе отцы на пособии.

— Ну, если уж они не могут найти работы,— сказал Берт,— значит, надо жить на пособие, что ж поделаешь. Все-таки лучше, чем ничего, верно? Хотя на это не очень-то проживешь. Вот почему я, когда вырасту, хочу выстроить себе хижину, тогда у тебя все свое и незачем идти на фабрику или в новые дома искать работу, можно у себя на огороде посадить все съестное. И уж тогда никакого тебе дела нет до безработицы и пособий, понял? Потому мне и хочется свой дом. Вот это будет жизнь!

— Да, лучше не придумаешь,— согласился Брайн.

Вдоль Уоллатон-роуд тускло мерцали огни — двойной ряд стражей, разгоняющих туман,— а между ними мчался к городу ревущий поток машин.

— Холодно,— поежился Брайн.

Берт положил сверток на землю, развернул газету, вытащил пиджак Доддо и передал Брайну, и тот укутался в него, как в шубу. Берт намотал на плечи отцовские брюки, напялил на голову его здоровенную кепку, смял газету в ком и принялся наподдавать его ногой, направляя к цели — к дому,— ловким и быстрым движением перебрасывая ком Брайну и громко вопя «Гол» всякий раз, как удавалось послать бумагу далеко вперед.

Дорога вывела их на Бобберс-Милл-бридж — впереди у развилки шоссе светились огни кафе «Коноҗая голова», где посетители толпились у столиков, расставленных на улице между стоянкой машин и детской площадкой. Берт и Брайн решили зайти в дешевую закусочную поблизости. От голода сосало под ложечкой, что, впрочем, бывало и после воскресного обеда и даже после недели пресыщения от неожиданно свалившейся еды вдоволь. Они заглянули в полуоткрытую дверь закусочной и увидели столики, уходящие в глубь длинного зала. Народу было мало, но на некоторых столиках еще стояла не убранная официанткой грязная посуда.

Они стали ходить от столика к столику, выскребывая дочиста тарелки, подбирая корки хлеба с маслом, кусочки холодного жареного картофеля и остатки вкусных желтоватых раковин теста, в которых жарилась рыба. Они не произнесли ни звука, вся операция проходила в полном молчании. Посетитель, ковырявший вилкой в груде дымящейся жареной рыбы и картофеля, уставился на Берта: у того хватило самообладания взять со столика бутылочку с уксусом и полить все, что держал в руке. Можно было подумать, что Берт работает при кафе или просто получил право подбирать объедки — даровую еду, которую кафе предоставляет непритязательным бродягам и беспризорным мальчишкам. Берт подчистил остатки со следующего столика, а сам все поглядывал

на официанток, болтавших неподалеку. Полная крашеная блондинка с грубо размалеванным лицом протянула Брайну недопитую чашку еще горячего чая, и он стал пить — слишком медленно для того дела, на которое они с Бертом отважились. Брайн поставил чашку, и посетитель, видевший, как он пил чай, загородил рукой свою полную тарелку. Для Брайна все это было в диковинку, сам он, естественно, побоялся бы так вот зайти в кафе и накинуться саранчой на объедки. Его поразило, какая масса съедобного лежит открыто, только знай бери — он даже и внимания не обратил, кто там на него смотрит.

Они уселись у стены дома и разложили добычу на газете, которую Берт взял со столика с той же невозмутимостью, с какой подбирал объедки. Оба ели жадно, разбирая ломтики картофеля, до того иной раз пережаренные, что они приобрели твердость рыбьих костей и ими удобно было брать куски побольше и помягче. Но вкуснее всего оказались корочки теста, и тут требовалась особенно тщательная дележка. Привередливые посетители оставляли на них рыбу, и эти лакомые кусочки они выковыривали большим пальцем и отправляли в широко разинутые и все приемлющие молотилки.

Брайн провел по губам рукавом пиджака Доддо и встал.

— И как это оставляют на тарелках такую жратву? Тесто от рыбы что надо. Я и не знал, что можно достать столько жратвы так вот, задарма.

— Подожди, я тебе еще и не то покажу,— похвалился Берт.— Это Коллин и Дейв меня всему учат; ты бы знал, что только они выделывают! На той неделе стащили в лавке у Плайера бракованные сигареты, и, когда пришли домой, Доддо надавал им по башке, сказал, чтоб не смели воровать. А потом уселся и давай сам курить эти сигареты. Готов спорить, он еще сколько-то из них продал, потому что вечером напился и у них с матерью была такая перепалка, ругались и орали до двух часов ночи. А наутро у матери синяк под глазом, а у отца — шишка на голове. У нас дома всегда так.

— И у нас то же самое,— сказал Брайн.— Я бы хотел, чтоб мы были богатые, а ты?

— Еще бы! Был бы я богатым, купил бы себе велосипед, в карманы напихал бы пачки фунтовых бумажек и удрал бы в Скегнесс, только б меня и видели.

— А я бы сел на корабль и уехал в Эфиопию,— сказал Брайн.

— А зачем тебе туда ехать? — осведомился Берт.— Там ведь война.

— Ну, тогда поеду в Индию, буду кататься на слонах, охотиться на тигров.

Берт надвинул на глаза здоровенную кепку.

— Давай пойдем в «Конскую голову», поможем собирать пустые кружки со столов. Кто выпьет лишку, спьяну роняет деньги, так что ты не забудь глянуть под стол, слышишь?

— Я не такой, как ты, я невезучий, никогда ничего не нахожу,— ответил Брайн.— Сроду еще ничего путного не нашел.

— Ну и что ж, ты все-таки ищи, когда-нибудь найдешь,— сказал Берт.— Наперед ведь не узнаешь, что попадется. Если где увидишь большие окурки, подбери, сунь в карман, я потом их выкурю, ладно?

С потолка лился тусклый свет, посетители пели, и ухо Брайна различило гипнотизирующее звяканье: кто-то расплачивался за пиво.

— Никогда не буду мотать деньги на пьянку, когда вырасту,— сказал он.— Буду копить, куплю себе велосипед.

Глаза Берта глядели куда-то в сторону. Официанты в белых куртках не справлялись с работой, и он вдруг схватил с полдюжины кружек со стеклянными ручками и понес к стойке.

Почти неумолкавшее пианино ритмично гремело и дребезжало, а Брайн, с растопыренными пальцами, ходил от столика к столику и, нанизав на пальцы как можно больше мокрых, скользких ручек, отправлялся ставить кружки на стойку. Берт сунул ему в свободную руку шоколадное печенье.

— Официант дал, две штуки.

К десяти часам пивной посуды, которую надо было собирать со столиков, стало меньше. Они оба стояли, зорко следя, не поставил ли кто допитую кружку, готовые тут же мчаться за нею. Брайн устал, ему хотелось домой.

— Я тоже устал,— сказал Берт.— Давай все-таки подождем еще минутку. Нам за работу целый шиллинг могут дать.

Дул такой холодный ветер, будто в каждом его порыве были острые когти, и он обдирал ими стены, выискивал и терзал тех, кто шел без фуфайки или жилетки.

— Ненавижу ветер,— сказал Брайн.— И снег и дождь тоже. Больше всего люблю, когда солнце.

Берт указал ему на столик вдали.

— Скоро лето, пальто нам будут не нужны, ты давай собирай вон те кружки, а я другими займусь.

По-честному — так по-честному. Брайн подхватил две кружки, оставленные на столике в самом дальнем углу, и ловким движением запихнул в рот последний кусочек печенья. Кафе закрывалось, на пивные насосы с тремя ручками уже накинули полотенце. Брайн проворно маневрировал среди медливших уходить подвыпивших горлопанов. На его пути кто-то слишком пьяный встал, не рассчитав движения, резко толкнул стул, и Брайн поскользнулся, наступив на банановую кожуру, которую видел издали и хотел обойти.

Он держал кружки слишком крепко и не смог вовремя их выпустить. Никто и глаз не поднял при мелодичных звуках бьющегося стекла, все были слишком заняты — спешили проглотить последние капли, схватить сумочки, пальто, трости и уйти, а Брайн лежал, и перед глазами у него прыгали и мерцали оранжевые искры. И тут в одно ужасное мгновенье он понял, что это он причина гибели двух бесценных пивных кружек, которые невозможно оплатить, потому что денег у него нет. Тюрьма, исправительный дом, здоровенный отцовский кулак мелькнули перед ним одной страшной картиной и заставили, как безумного, пулей ринуться к дверям и выбежать вон из кафе.

С одной стороны шел автомобиль, с другой со спокойной уверенностью двигался автобус, но Брайн помчался между ними на противоположную темную сторону улицы к спасительному укрытию зеленых оград на садовых участках, затем в сеть пустынных и жутких тропинок, куда при иных обстоятельствах не рискнул бы пойти. Его обдавало грязью, кусты боярышника царапали ему лицо, пока он добежал до более сухого места у железнодорожного полотна.

Мимо медленно прополз товарный поезд — Брайн смотрел на пламя, вырывавшееся из кочегарки, чувствуя себя рядом с этим огромным чудищем в большей безопасности, чем с обычным кочегаром, лопатой бросающим уголь в топку. Поезд двинулся под мост к угольному складу, и Брайну захотелось уехать на нем, хотя состав шел по направлению к кафе. Брайн силился удержать в ушах стук колес, пока тот не стал тихим бормотаньем, которое затем поглотил и уничтожил все вбирающий в себя туманный ночной мрак.

И вдруг послышался голос — он доносился оттуда, где только что пробежал Брайн, и звучал грубо, ворчливо, некоторое время слышался ясно, потом тише и наконец оборвался. Он ушел, как ушел поезд, опять

верх одержала тьма. Пальцы у Брайна кололо, будто по ним бежали кусачие муравьи, и, подняв руку, он увидел, что на двух пальцах крепко сидят стеклянные кольца. Другой рукой он разжал кулак, стащил с пальцев то, что осталось от кружек, и, прицелившись, насколько позволяла темнота, швырнул стекляшки как можно дальше.

Снова послышался голос, теперь ближе:

— Браай-н!

Брайн высасывал кровь из порезов и стоял тихо, ожидая услышать вслед за голосом шаги, но слышал только, как прыгают в ручье неподалеку лягушки.

— Брайн! Где ты? — опять раздался ворчливый голос.

Нет, за ним не гонятся, потому что это зовет его Берт. Почему его не преследуют? Ведь он же разбил две кружки, так?

Он ответил Берту:

— Я здесь.— Схватил зубами один конец грязного платка, а другой конец держал здоровой рукой и перевязывал.

— Как ты там? — спросил Берт, подходя к нему.— Давай я тебе перевяжу.— И затянул платок потуже, чтобы кровь перестала сочиться.— Чего это ты удрал?

Вопрос удивил Брайна.

— Да я ведь расколотил две кружки. Ты что, не видел?

— Подумаешь, ерунда,— сказал Берт.— Никто ничего и не сказал.

— А я думал, заругаются. Платить-то мне за кружки нечем.

— Они бьются то и дело.— Возле железнодорожной насыпи он передал Брайну три пенса.— На, твоя доля. Хозяин дал полшиллинга за работу.

На улицах Содома почти все двери были на запоре, народу было мало. Брайну не терпелось поскорее добраться до дому.

— Завтра вечером увидимся,— сказал он Берту, прощаясь у его дверей.— Завтра по вашему приемнику «Монте-Кристо» передавать будут?

— Нет, кажется, только в следующий вторник. Мы будем слушать, матери тоже очень нравится. Давай утром на свалку пойдем, а?

— О'кей. Пока!

— Эфиопия.

5

Мистер Джонс — сукин сын, паскуда, паршивый четырехглазый шпик, грязная сволочь — отдубасил Брайна костлявым кулаком за то, что тот недостаточно проворно открыл книгу.

— «Ве-не-ци-ан-ский ку-пец»! — вопил он, и каждый выкрикнутый слог сопровождался для Брайна болью в плече.— Сообразил? Сообразил ты, балда? Когда я велю открыть книгу, нечего возиться пять минут!

На прощанье двинув Брайна по уху для ровного счета, он оставил его до поры до времени в покое. Брайн пристально смотрел на цветную картинку в том месте книги, где закончились его поиски. Тот, кого звали Шейлоком, высокий, с бородой, в одной руке нож,— этим ножом он и припер их к стенке,— а в другой какие-то чудные весы. Серые глаза Шейлока так и впились в компанию стервецов, вроде мистера Джонса: пузатые сволочи напали на бедного старика, как мистер Джонс на Брайна, и все только потому, что он захотел получить обратно деньги, которые им одалживал. Старый Джонс, конечно, против Шейлока, это видно было по тому, как он читал всю историю. И уж по одному этому Шейлок — хороший, несчастный старик, еврей, кажется? И плевать он

хотел на всех тех, кто его презирает, стоит со своим ножом и весами, будто только что вышел из Библии, похож на того типа, который хотел зарезать своего сына потому, что бог ему так велел, а в суде какая-то расфуфыренная шлюха стоит и болтает что-то там о дожде и милости. Джонсу-то она по душе, это тоже нехитро было угадать по тому, как он читал про нее. Шейлок умный и храбрый старый человек, который в конце концов потерял все свои деньги, и дочь тоже, и «фунт мяса» — Джонс и его сторонники все у него оттягали и знай себе колошматят всех, издеваются, дерут за уши, и никто им и пикнуть не смей. Только Шейлок плевал на своих поганых преследователей, этих сволочей, стервецов. Когда Джонс заставляет класс петь гимны о разных там распрекрасных вещах («Тебе, страна родная, даю я свой обет», «Стоит вдали зеленый холм»), Брайн и Джим Скелтон каждое слово подменяют ругательством. Если бы Брайну пришлось выбирать между такими типами, как Джонс или полицейские шпики, которые услали старшего брата Берта в исправительный дом, да еще сначала исколотили до полусмерти, допытывались, где спрятаны деньги из газового счетчика, и бедным загнанным стариком, вроде Шейлока, уж он бы знал, чью сторону взять. И знал, кто взял бы его, Брайна, сторону, если бы Шейлок вдруг ожил и сошел с картинки.

Мистер Джонс, седая жаба, был его самым лютым врагом. Во время уроков он сновал по коридорам, и то и дело за стеклом в двери показывались его седые усы и лиловая физиономия: для этого ему приходилось вставать на цыпочки. Его серые, будто стальные, глаза заглядывали в класс, двигались то влево, то вправо, проверяя, достаточно ли внимательно следит преподаватель за поведением учеников. Малейшие признаки нарушения дисциплины — и он врывался в класс и, шагая между рядами парт, сыпал тумаки на удалые головы. С каждым годом он худел и худел, его темно-синий в полоску костюм обвисал на нем все больше, и все надеялись, что очень скоро старик окачурится от какой-нибудь ужасной болезни. Если даже по счастливой случайности на голову Брайна не обрушивался бьющий куда попало кулак, все равно нервы его были туго натянуты, они безошибочно предсказывали приближение мистера Джонса, и, когда тот проходил дальше по ряду, Брайн видел мельком его белый воротничок и грязновато-серого цвета гетры. «Будь у меня нож, такой, как у Шейлока, я бы всадил его в эту проклятую костлявую спину». Он смеялся про себя: «Уж я бы не проворонил свой «фунт мяса», да нет, какое там, я бы и все десять фунтов вырезал, и никакая расфуфыренная шлюха меня бы не остановила».

Неслышная, кошачья поступь мистера Джонса все время держала класс в нервном напряжении. А Брайн сделал из этого игру. Прислушиваясь к мягкому шороху шагов, приближающихся сзади, он говорил себе: «Остановится он около меня, ударит или нет? Спорю, что да. На целый доллар спорю, дьявол его возьми. Ну вот, что я говорил? Сволочь. Значит, кто-то должен мне доллар».

Мистера Джонса и преподаватели недолюбливали, Брайн это видел. Они всегда были настороже, так и ждали, что вот сейчас он явится, и, стоило мистеру Джонсу войти, немедленно передавали ему бразды правления — как видно, надеясь, что он не справится. Но он разрешал все проблемы, щедро рассыпая куда придется удары тяжелого кулака.

Всякий раз, как мистер Джонс открывал книгу, чтобы задавать по ней вопросы или читать вслух, Брайну это казалось нелепостью. Книги и мистер Джонс — нет, одно с другим не вязалось. Приятный шелест страниц и стук палки или кулака — такие разные, несовместимые понятия не должны бы существовать в одной комнате. Это сбивало Брайна с толку, вызывало досаду и не способствовало проявлению лучших сторон его незрелого разума.

Дома книг не было, но у деда он обнаружил целый склад старых, покрытых пылью книжек, все премии воскресной школы и все с именами дядей и теток Брайна, написанными безупречным почерком на внутренней стороне обложки. Он снял их с этажерки («Ты там смотри ничего не порви, слышишь, Брайн?» — сказала ему бабушка) и прочитал: «Джон Галифакс — джентльмен», «Фонарщик», «Как поступила Кэтти», «Цыганка». Развернул страницы, и в нос ему ударил затхлый запах: книги долгое время лежали в сыром месте. Такие книги были слишком чуждыми для чтения предметами, он мастерил из них башни, смотрел, как они качаются, толкал их слегка, если видел, что его сооружения сами разваливаться не хотят. Потом разложил их на две стопки и поместил рядом, чтобы не падали, взял верхнюю книжку, открыл ее. «Жила однажды цыганка по имени Мэг Меррилиз... В наши дни цыгане...»

Мертон читать не умел, но любил, когда ему читали вслух первую страницу газеты.

— На-ка, возьми,— сказал он Брайну громко.— Читай, что там написано.

— Да я не понимаю первого слова.

— Как это не понимаешь? Еще чего! — проворчал Мертон, думая, что Брайн упрямится.— Прочти-ка это первое слово, ну?

Брайн старался изо всех сил.

— Ар-ти,— проговорил он медленно.

Мертон ждал продолжения, но Брайн молчал, и он спросил:

— Это все? Арти? Нет такого слова.

— Там еще много букв, слово большое, только я его не знаю.

— Давай читай, узнаем.

— Не подгоняй, я и так читаю как могу быстро. Я разбираю по слогам: ар-ти-лле.

— Вот дурень, бестолочь,— выругался Мертон.— Артилле! Сроду такого слова не слыхал.— Он повернулся, обращаясь ко всем находившимся в комнате: — Что же это за штука — артилле, а? Черт меня побери, если я знаю. А вы? Ну, кто-нибудь?

— Да ведь я не дочитал,— сказал Брайн протестующе, снова берясь за газету.

— Так дочитывай. Ну, шевелись, пострел, я хочу узнать, что там пишут нового. Что же это значит — артилле? Начало слова или все тут, больше ничего нет?

Брайн негодовал.

— Я дочитаю, если ты заткнешься, не будешь мне мешать. Ар-тилле-ри.

— Опять не вышло.— Мертон ткнул его в бок пальцем и подмигнул остальным.— А я-то думал, ты мастер читать,— сказал он нарочито разочарованным тоном.— Должно ж там еще что-нибудь быть, кроме артиллери.

— Ага, есть,— отозвался Брайн, поняв теперь, что Мертон шутит.— Есть еще немного, маленький хвостик. Слушай, теперь все прочел: ар-ти-лле-ри-я.— И повторил медленно: — Артиллерия — вот какое слово.

— Опять не слава богу,— проговорил Мертон, озадаченный.— Что ж оно значит, это... Как там, пострел?

— Артиллерия.

— Артиллерия,— повторил Мертон.

— Я не знаю,— сказала Лидия.

— Пушки, что ли, а, Джордж? — спросил Мертон не совсем уверенно.

— Ага, пушки.

— Валяй дальше, пострел.

Брайн медленно прочел:

— Артиллерия ведет подготовку к бомбардировке Мадрида...

Брайн слыхал, что, когда исполняется одиннадцать лет, уже можно получить аттестат, но кто-то сказал ему, что для этого надо еще выучить латинский язык и сдать по нему экзамен. Как-то вечером он сидел в кухне в Ноуке.

— Бабушка, кто говорит на латинском языке?

— Не знаю, Брайн.

Он повернулся к Мертону.

— Дедушка!

— Чего тебе, пострел?

— Кто говорит на латинском языке?

Он все еще упорствовал, все еще верил, что Мертон, раз он дедушка, должен знать все на свете.

— Понятия не имею,— последовал ответ.

— А ты, дядя Джордж, знаешь?

— Нет, парень, не знаю.

Озадаченный, он снова принялся за свою книжку. Так кто же говорит на латинском? Он спросил Теда Хьютона, и Тед Хьютон тоже не знал. Спросить Джонса значит навлечь на себя беду — затрещину за то, что он, глупец, не знает такой простой вещи, пусть даже никто в классе этого не знает, и уж лучше так и не узнать, думал Брайн, чем получить трепку. Конечно, ясно, что испанцы говорят по-испански, французы — по-французски, а немцы — по-немецки, но кто же все-таки говорит на латинском, на этом странном языке, на котором написаны слова на оборотной стороне монет? Он стал списывать: «Georgius V Dei Gra: Britt: Omn»,— да, это, пожалуй, будет еще почище абиссинского. Мистер Джеймс, преподаватель более сдержанный, не пускавший в ход кулаки, когда ему задавали вопросы, объяснил Брайну.

— Но язык это мертвый,— добавил он,— теперь на нем никто больше не говорит.

Тем все и кончилось, одно только беспокойство попусту.

В школьном дворе Брайн перехватил летящий бумажный самолет, и оказалось, что он сделан из странички, вырванной из французской грамматики. Брайн расправил недолетевший бомбардировщик, попробовал разобрать то, что он нес на своих крыльях: местоимения и существительные с одной стороны страницы, карта Парижа в картинках — с другой. Брайн отдал дюжину шариков за остатки книги, потом пошел разыскал Теда Хьютона и похвастал покупкой.

Черноволосый и бледный Тед умел читать по-французски.

— Братишка у меня безработный, делать ему нечего, вот он и учит французский — книги берет в библиотеке. Он и меня немножко научил.

Они уселись где-то в углу, принялись повторять:

— Эн, де, труа, катр, сэнк, сиз, сет, юит, неф, диз.

— А как будет одиннадцать?

— Забыл,— сказал Тед.— Спрошу брата, завтра тебе скажу.

Названия первых десяти чисел были выучены за несколько минут, остались на полочке памяти на всю жизнь, но вот начиная с одиннадцати и выше — тут дело другое, тут начинался как бы ряд крепких болтов, открывающих двери в неизвестное.

Брайн перевернул страницу грамматики.

— А что такое местоимение?

— Ну, в общем, это имя,— объяснил Тед.— Всякий знает, что это такое.

— Нет, это не имя, это слово вроде «он» или «она».

— Ты что, спятил? — высмеял его Тед.— Местоимение это имя, я тебе говорю.

Брайн сунул ему книгу под нос.

— На, смотри, «они» — это местоимение, так здесь написано, ну, значит, и «ils» тоже. Так как же, черт тебя подери, может это быть именем?

— Бестолковщина,— заметил Тед.— Может, книжка-то уж больно старая.

— Ну нет,— сказал Брайн свирепо.— Если так, заберу свои шарики обратно.— Он полистал страницы.— Все-таки книжка хорошая, очень много в ней слов. Maison, chemin, chapeau, main, doigt,— произносил он медленно, выговаривая так, как было указано в скобках под каждым словом.

Тед вырвал у него из рук книгу, чтобы посмотреть еще раз, будто не верил, что все эти слова и в самом деле в ней находятся.

— Ага,— сказал он одобрительно,— в общем, неплохая книжонка.— Он полистал страницы, заглянул в конец книги.— Сто девяносто страниц. Длинная.

— Двенадцать шариков за нее отсыпал,— напомнил ему Брайн, выхватывая книгу; раздался звонок, возвещавший, что перемена окончена.

География, история, родной язык — каждый из этих предметов повествовал о странах и людях. В книге «Страны и жизнь» были цветные картинки — верблюды возле больших кораблей на Суэцком канале и снежные вершины гор на экваторе. В «Основах истории» он прочитал о том, как греки захватили Трою, спрятавшись в брюхе деревянного коня, которого сами же троянцы и притащили к себе, думали, это боги послали им с неба подарок (вот дурни, тоже сообразили!). А на уроках английского языка мистер Джонс часто читал вслух «Коралловый остров» или «Унгаву». Но победила география. География — это тетради с нелинованными чистыми страницами, по которым учитель прокатывал валик, отчего получалась контурная карта. Потом учитель писал на доске незнакомые названия, их надо было списывать, наносить на карту. Брайн рылся в посудном шкафу, сдирал заграничные этикетки с коробок и банок, в журналах отыскивал изображения разных континентов и все это наклеивал на странички своей тетради по географии, пока тетрадь не распухла от вклеек и заметок.

Перемена кончилась, старосты выстроили учеников по шести в ряд. Асфальтовая дорожка вела под уклон к уборным. На стене школы, там, где размещались классы малышей и девочек, большими белыми буквами было написано: «Чистота сродни благочестию». Это было сделано по приказу мистера Джонса, он специально нанимал человека заново перекрашивать буквы, чтобы в первые дни каждой новой четверти они сияли и сверкали в укор ораве ребятишек-голодранцев, щеголявших в ботинках со стоптанными каблуками и частенько забывавших умыться.

Над блестевшими шиферными крышами собрались черные тучи, и хлестал холодный дождь, когда они из школьного двора вошли в классы. В такую погоду хорошо под любой крышей, и Брайн радовался, что сейчас по расписанию урок английского языка. Желудок после обеда в «бесплатной столовой» был еще полон, к тому же Брайн рассчитывал дома получить полпенса, раз сегодня четверг — день выдачи пособия.

Телеграфные перестукивания крышками парт и топот ног заполнили класс, в котором учитель еще не появлялся. Никто не отдал распоряжения зажечь свет, и потребовалось немало шума, чтобы рассеять мрак, разлившийся вокруг. Брайн вместе с Тедом и Джимом Скелтоном двинулся к теплым батареям и оттуда стал смотреть, как в проходе между рядами катаются две дерущиеся пары мальчишек; запах от сырых курток и штанов смешивался с запахами дыхания и паркетной краски. Яростный стук дождя за окном усиливал шум в классе.

За стеклом в двери медленно возникла хитрая физиономия и на секунду застыла.

— Назад, по партам! — прошипел Брайн.

Мгновение, и хаос сменился порядком. Багровая, оживленная физиономия мистера Джонса поворачивалась то туда, то сюда, он старался, прежде чем войти в класс, охватить взглядом сразу все. Секунды тянулись, как минуты. Брайн отвернулся от физиономии за дверью и почти с улыбкой смотрел прямо перед собой, уставившись в пустоту.

Дверь с треском распахнулась, и при виде сузившихся от ярости глаз смолкло все, только отчетливо слышался стук дождя, барабанившего в стекла. Мистер Джонс схватил четверых драчунов, извлек их одного за другим на середину класса и точно рассчитанными пинками выстроил в ровную линию.

— Из-за чего затеяли драку? — заорал он, тряся мальчугана, стоявшего поближе.

Шум дождя нарастал, будто где-то прорвалась плотина, потому что все, кроме яростно орущего мистера Джонса, казалось, перестали дышать. Жизнь ушла, остались лишь страх и ненависть. Мальчуган не мог ответить, и быстро следовавшие один за другим удары изгнали тишину из класса.

— Почему ты дрался, дубина? — снова завопил мистер Джонс прямо в ухо, по которому только что ударил.

— Просто так,— всхлипнул мальчуган.

— Просто так? — бесновался мистер Джонс.— Как это «просто так», дерзкий щенок?

— Просто так, сэр,— прорвалось сквозь рыдания.

Саркастически улыбаясь, мистер Джонс приподнял крышку кафедры и вытащил указку. От злобы он перегнулся чуть ли не пополам, когда кинулся с ней на виновных.

— Просто так не дерутся, ты, кретин! — орал он, изо всех сил ударяя по спине и плечам того, кто стоял ближе остальных.— Просто так не дерутся, слышишь ты, слышишь? А? Хочешь драться,— вжик, вжик, вжик,— так дерись со мной. Ну, начинай! — вжик, вжик, вжик.— Дерись, ты, оболтус!

«Он псих,— думал Брайн.— Когда-нибудь хлопнется в припадке, да и сдохнет. Это так же верно, как то, что я сижу здесь. Или от припадка сдохнет, или чей-нибудь отец придет и вышибет из него душу».

— На места,— бросил мистер Джонс, тяжело дыша, поправляя ярко-синий галстук.— Старосты, ко мне.

Четыре ученика с желтыми ленточками в петлицах вышли вперед.

— Достаньте из того шкафа две пачки книг под названием «Остров сокровищ». Раздайте каждому по книге.

Старосты с готовностью принялись выполнять поручение.

— Следующие несколько недель я провожу с вами занятия по английской литературе,— продолжал Джонс.— Сейчас начнем читать «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона.

Классу было дозволено легким гулом выразить свое удовольствие.

«Остров сокровищ». Брайн об этой книге слышал. Пираты, корабли, приключения в далеких странах, драки, как их в кино показывают — среди голубых волн и пальм,— и все это происходит за миллионы миль и в то же время будто где-то у тебя над головой: кажется, привстанешь и дотронешься до сабли и пушки или до сука на дереве, можешь подтянуться и спрятаться среди веток...

— И по четвергам, через урок,— вновь послышался противный, громкий и тягучий голос мистера Джонса,— буду задавать вопросы по прочитанному.— Серые глаза сверкнули, пустые глаза, если осмелиться заглянуть в них, что, впрочем, было не так уж опасно, как казалось, потому что в те часы, когда на него не нападала охота колотить мальчишек, они смотрели не видя.— И горе тому, кто окажется невнимателен,—

заключил он зловеще, открывая книгу, чистый учительский экземпляр, который положил перед ним староста.

Читал Джонс хорошо, первый абзац прокатил низким, гудящим голосом, и воображение мальчишек зажглось, как пороховой фитиль. Они видели перед собой капитана таким, каким его впервые увидел Джим Хокинс,— гордого, подозрительного отщепенца, тяжело ступающего по склону утеса, и за ним тачка, а в ней старый, видавший виды матросский сундук; слышали, как он потребовал стакан рому и сказал Джиму Хокинсу, чтобы тот глядел в оба, не появится ли одноногий негодяй по имени Пью. Джонс легко и быстро прочитал несколько глав, и класс был отпущен. Все бегом помчались домой, вернувшись в мир реальностей, где дождь уже перестал и мягкое, неяркое солнце играло в радугах бензиновых луж и воды посреди умытых улиц. Брайн радовался свободе, хорошая книга, которую он только что слушал, тотчас вызывала представление о щедро раздаваемых затрещинах, которые посыпятся на класс, едва только мистер Джонс начнет задавать вопросы по прочитанным главам.

■

Летом и зимой, в снег, дождь, мороз и снова при свете солнца, Брайн вместе с сестрой и братьями, торопя их, чтобы не опоздать, выходил на утреннюю улицу, отправляясь в бесплатную столовую для детей. Он вел их — в тапочках на резине и синих фуфайках — к длинному бараку, стоявшему за школьным двором: по утрам и днем там кормили тех, у кого отцы были безработные. В семь часов утра грубый голос Ситона отрывал всех четверых от теплого прибежища сна.

— Вставай, Брайн. Пора в столовую.

— Вставай, Артур, вставайте, Маргарет, Фред,— тормошил Брайн комочки рядом с ним на постели.— Пора в столовую.— Комната на нижнем этаже была только частью пути, и все же, проходя через нее, Брайн каждый раз думал: хорошо бы завтракать здесь, дома, но на столе никогда не видел ничего, кроме кружки с чаем, предназначенной отцу.

Требовалась немалая осторожность, чтобы провести троих подопечных через опасные переходы — из утреннего тумана внезапно вырастали огромные, как утесы, автобусы и грузовики. Брайн выстраивал ребятишек шеренгой у светофора, ждал, когда покажется зеленый свет и можно будет быстро перебежать улицу. Они часто приходили самыми первыми и стояли возле окрашенных зеленой краской железных ворот, дожидаясь, пока придет мисс Брэддили. Из тумана появлялись и остальные дети, дрожащие, молчаливые, с красными лицами и все еще сонные. Брайн помогал дотащить ящик с бутылками холодного молока до кухонной двери, и тут уже семенила по двору мисс Брэддили, существо из какого-то совсем другого мира. Брайн входил в кухню, смотрел, как она ставит на плиту кипятить какао, орудует хлеборезкой и затем густо смазывает маслом каждый ломоть хлеба. Он усаживал Фреда, Маргарет и Артура на их места в столовой, и, пока в окошечко не подадут завтрак, они смирно ждали, тихонько переговариваясь с остальными ребятишками за соседними столами. Завтрак, когда он наконец появлялся, был великолепен: три ломтя хлеба с маслом и кружка какао с молоком. Вкуснее такого завтрака, насколько то было известно Брайну, ничего и на свете нет, разве только свинина с помидорами, но это уже не завтрак, а обед.

В половине девятого они возвращались, шли через двор в школу, теперь бодрые и оживленные, замечали на клумбах крохотные, с бусину, земляные горки, нарытые червями, делали открытие, что земля уже не такая белая, хотя дыхание по-прежнему выходило паром, а Маргарет, сунув в рот палочку, кричала:

— Смотри, Артур, я курю! Только маме не говори, ладно?

В половине первого Брайн встречал ребятишек и снова выполнял роль поводыря, вел их по городу, где движение было теперь еще сильнее,— они шли обедать. Добрых две сотни мальчишек и девчонок, ленившихся приходить вовремя к завтраку, бегали и играли возле столовой, дожидаясь, когда их впустит толстая мисс Харви. Дверь открывалась внутрь, и давка бывала иногда такая, что даже мощная фигура мисс Харви не могла остановить врывавшихся в столовую ребятишек. За невоздержанность она принималась колотить их по плечам деревянной поварешкой. Обеды Брайн не любил — капуста, картошка, печенка и пудинг,— иной раз потихоньку передавал все это своему двоюродному брату Берту, когда мисс Харви не видела. Обеду недоставало ясности и простоты завтрака, запахи его были слишком разнообразны и часто неопределимы, и даже то кушанье, которое нравилось, приходилось есть в большой спешке. Мисс Харви постоянно заставляла их сидеть смирно и читать благодарственную молитву, пока им разносили обед; более мягкосердечная мисс Брэддили пропускала эту церемонию — завтрак начинался уж очень рано. А затем детвора рассыпалась, как конфетти, по обсаженному зеленью двору, и в солнечную погоду Брайн дрался с ребятами за место на доске-качелях, на горке или на лесенке для лазанья, тащил за собой Маргарет и Фреда и забывал обо всем на свете до начала уроков в школе в два часа.

Подошло очередное занятие с мистером Джонсом. Когда он вошел в класс, там царила полная тишина.

— Ваше сегодняшнее задание — обрисовать пером портрет старого морского волка в тот момент, когда он появляется в трактире «Адмирал Бенбоу».

Со всех парт послышалось шуршанье, будто посыпались с елки бумажные гирлянды. «Смешно,— подумал Брайн,— ведь у нас нет с собой бумаги для рисования. Рисовать буду карандашом, глупо ж рисовать картинку чернилами. Да, наверно, он так и хочет, чтобы карандашом, и надо поскорее начинать, а то в срок не закончу. Не желаю, чтоб его кулак прогулялся по мне сегодня». «Обрисовать пером» — это значит чернилами? Или и карандашом сойдет? Брайн все-таки не совсем понимал, что именно требуется мистеру Джонсу. Лучше ведь карандашом рисовать, верно? Класс углубился в работу, и Брайн принялся намечать контур крыши трактира «Адмирал Бенбоу».

Мистер Джонс ходил по рядам, следил, как подвигается дело. Брайн услышал вдруг, как за несколько парт позади него кого-то яростно дубасят. Он почувствовал внутреннюю дрожь.

— Идиот! Оболтус! Тупица! — рычал мистер Джонс вместе с каждой звучной оплеухой.— Начинай все сначала.

Остальные встревожились, то ли они делают. Последовало еще несколько подобных же эпизодов, и тут Брайн заметил, что мистер Джонс смотрит через его плечо к нему на парту. На спину и затылок Брайна посыпались удары.

— Нет, дальше, кажется, уж некуда! Боже правый! — завопил мистер Джонс в притворном отчаянии.— Боже, боже! Нет, вы только представьте себе! Вы просто не поверите! Этот чурбан нарисовал картинку! Нарисовал, понимаете?

Брайн сидел, охватив голову руками, и недоумевал. «За что он меня колотит? И уж пусть бы колотил, так надо еще осрамить перед всем классом, рассказать, что я сделал такую дурацкую ошибку». Трудно было удержаться и не заплакать, от слез спасла только волна охватившей его нестерпимой ненависти. Он мысленно изрыгал одну хулу за другой, перебирая все гнусные слова, какие отец вполголоса посылал по адресу матери. Мистер Джонс не отходил, готовый снова ударить, а в

воображении Брайна проносились яркие, живые, упрятанные за колючую проволоку образы. Почему его не берет смерть? И он все разжигал в себе ненависть, воздвигая плотину от слез.

— Ты должен написать, дать описание, письменный портрет капитана. Словами надо нарисовать,— мычал мистер Джонс.— Слышишь?

Брайн тихо ответил, что да, слышит, и мистер Джонс, на прощанье стукнув его разок, зашагал дальше.

Обнаружилось еще несколько рисунков, и авторы их поплатились за свою ошибку так же, как и Брайн. Мистер Джонс дошел наконец до своей кафедры, сжимая и разжимая кулаки, чтобы остудить их. Весь конец урока класс кипел беззвучной ненавистью.

— Я и не подозревал, что у нас в классе столько художников,— сказал он, серые глаза его сверкнули опасным добродушием. Несколько умников, никогда не совершавших ошибок, рассмеялись шутке, почуяв, что от них этого ждут.— Если бы я в свое время, когда был мальчиком, допустил подобный ляпсус,— продолжал мистер Джонс,— меня бы избили ножкой от старой подставки для классной доски. Мой учитель пускал в ход ножку от подставки, чтобы вколотить в нас разум.

Еще шутка, хотя теперь смех уже был слабее. Плечи у Брайна все еще ныли. «Чего тут смешного? — прошептал он сквозь зубы.— Сволочи проклятые. Поскорей бы старый Джонс окачурился. Почему он не подыхает, почему эта старая свинья не подыхает? Ему уж, наверно, шестьдесят, если не больше. В отставку он ни за что не выйдет, слишком любит колошматить ребят».

6

Сколько раз Вера говорила себе, что, если у мужа приступ дикого, тупого гнева, ей не надо злиться, не надо обращать на это внимания, ведь жизнь от этого становится вдвойне хуже. Когда пособие было все до копейки истрачено, он сидел у каминной решетки в тесной комнате, низко опустив голову, молчал — говорить было не о чем. Она знала его мысли наизусть, знала, что он клянет судьбу, ее, ребятишек, правительство, своих братьев, ее мать и отца — все и вся, что только приходит ему в голову, и Вере было противно: так бесноваться из-за того, что у него нет каких-то паршивых сигарет!

Он глядел на стены, на жену, на детей, снова на жену, пока все, кроме Веры, не вышли из комнаты.

Вера не выдержала:

— Опять зверем смотришь. Что еще, сигарет, что ли, нету?

Он глядел на нее, взбешенный.

— Да, нету. И жратвы тоже.

Ярость одного сильнее разжигала ярость другого.

— Ну и что же? — проговорила она вызывающе.— Я-то что тут могу поделать?

— Пошли Брайна, пусть одолжит пару шиллингов у твоей матери,— предложил он последнее отчаянное средство, к которому, как он знал, Вера не прибегнет.

— Не могу,— сказала она громко страдальческим голосом.— Ведь я ей еще с прошлой недели долг не отдала.

— Жмоты проклятые, ничего из них не вытянешь.

— Не приходилось бы просить, кабы ты пошел поискал работу, заработал бы хоть что-нибудь,— сказала она, готовая расплакаться от его и своих несправедливых слов.

Он смутно сознавал, что мог бы многое ответить ей на это, но выжал из своего запрятанного внутри отчаяния лишь несколько слов протеста:

— Работал бы, кабы была работа. Я всю свою жизнь работал, побольше, чем другие.— Он вспомнил вчерашний безрезультатный поход, всю много раз повторявшуюся историю.

— Дали тебе работу?

— Нас там пришло слишком много.

— Сволочная жизнь.

Тогда он сказал ей с горечью:

— Не беспокойся, скоро я понадоблюсь, уж я это знаю.

— Надо бы вам всем держаться вместе и показать им как следует. На куски разорвать всех этих прохвостов.

— Когда в брюхе пусто, не очень полезешь драться. Помнишь, что сделали с теми беднягами из Уэльса? Облили из пожарной кишки.

— Когда-нибудь они за все расплатятся,— сказала Вера.— Их черед придет, вот увидишь.

Теперь он ей говорил:

— И потом, я ведь, кажется, даю тебе тридцать восемь шиллингов, не так, что ли?

— И надолго этого хватает, как по-твоему? —только и могла она сказать.

— Не знаю, куда ты их деваешь,— только и нашел он, что на это ответить.

— Может, думаешь, я их в помойку бросаю? — крикнула она пронзительно, делая шаг к двери.

— Не удивился бы.

— Тебя ничем не удивишь, дубина!

Она ждала, что он вскочит и ударит ее или швырнет чем-нибудь, что под руку попадется. Но он не двинулся с места.

Перебранка продолжалась. Спорили глупо, бессмысленно, безнадежно. Брайн слушал, стоя за окном, и каждое слово было для него хуже, чем десяток ударов кулака мистера Джонса. «Ругаются»,— говорил он себе, и сердце, зажатое в тиски, готово было разорваться.

Маргарет стояла тут же.

— Из-за чего ругаются?

— Из-за денег.

— Ты мне скажи, когда они перестанут, ладно, Брайн?

— Стой и жди со мной здесь,— сказал он, заглянул в окно и увидел, что отец по-прежнему сидит у каминной решетки, бледный, сгорбив плечи. А мать у стола читает газету.— Еще не кончили,— сказал он сестре.

Они не заходили в дом дотемна, потом вошли, надеясь, что настроение отца исправилось, что мать каким-то чудом выпросила или одолжила, вымолила или украла у кого-нибудь или колдовством раздобыла для него сигарет.

Как-то раз, чувствуя, что ссоры не избежать, Ситон надел пальто, сел на велосипед и покатил по улице. Час спустя он вернулся, уже пешком, но с сигаретой во рту и в каждой руке держа по кульку с едой. Брайн вошел следом за ним в дом и увидел, что отец положил кульки на стол и протягивает Вере целую сигарету.

— А велосипед твой где?

— Принес еды тебе, видишь? — сказал он суетливо, с гордостью.

Она закурила сигарету и рассмеялась.

— Спорю, что ты его загнал.

— Загнал, голуба моя.

— Вот стервец,— сказала она, улыбаясь.

— Чего я только для тебя не сделаю.

— Да я знаю. Только я терпеть не могу, когда ты мне хамишь.

Он обнял ее.

— Никогда я тебе не хамлю, голуба. А если хамлю, так уж ничего не могу с собой поделать.

— Сукин ты сын, вот ты кто,— улыбнулась она.

— Ничего, Вера. Голуба моя.

— Сколько ж ты за него выручил?

— Пятнадцать шиллингов. Я его загнал у Джекки Блоуера.

Он купил велосипед всего с год назад, вечно с ним возился, то лампу перевинчивал, то ставил новые тормоза, которые кто-то ему дал, то приделывал звонок — нашел где-то; часами чистил и смазывал. Ей бы и в голову не пришло, что Ситон может с ним расстаться.

— Захожу в одну лавку, там предлагают шесть шиллингов. Шесть шиллингов! «Послушай,— говорю,— приятель, ведь это не краденый, мой собственный!» И вышел. На прощание еще сказал им, куда они могут отправить свои деньги, понимаешь? Так прямо и выложил.

— Да уж представляю себе.

Ситон снял пальто и кепку, придвинул стул к столу. Заметив Брайна, снова встал.

— Эй, Брайн! Ну, как живешь, сынок? — Схватил его большими мускулистыми руками и подкинул к потолку.

— Пусти меня, пусти, пап! — кричал Брайн, и радуясь и труся.

Ситон опустил его на пол, потерся щетинистым лицом о ребячью щеку.

— Ну-ка, Вера, завари чаю. Вон в том пакете сахар, молоко и мяса немного. Пошли-ка Брайна за хлебом.

Чайник вскипел. Ситон помешивал чай в своей кружке, и, когда Брайн отвернулся, приложил к его руке горячую ложку. От неожиданности Брайн вскрикнул во все горло и убежал подальше, чтобы отец не дотянулся. Брайн радовался, когда дома не ссорились, все были довольны, и он мог любить отца, забыть о том, что собирался сделать, как только вырастет и станет большим и сильным.

Вера не раз замечала и в своих детях приступы злости и упрямства, внушавшие ей такое отвращение к мужу. Когда Брайн вернулся с улицы домой, она сказала ему, чтобы он сходил за хлебом. Он уселся на стул с комиксом в руках.

— Обожди, мама, дай мне дочитать.

— Нет, сейчас иди,— сказала она, колотя вальком в цинковой лохани, где в мыльной воде мокло белье.— Иди-иди, отец скоро придет.— Он не ответил, только сердито не отрываясь смотрел на страницу, но Чэнг, человек-топор, как будто исчез с нее. Вера подлила в лохань свежей воды.— Пойдешь или нет?

— Пусть Маргарет идет. Или Фред.

— Их нет дома. Ты пойдешь.

Он мог оттянуть еще немного.

— Дай мне только дочитать комикс.

— Не пойдешь, так я отцу пожалуюсь, как только он вернется,— сказала она, насухо вытирая стол, прежде чем расстелить скатерть.

— Жалуйся. Подумаешь!

Сказав это, он испугался, но его сковали путы упрямства, и он твердо решил не двигаться с места.

Пришел Ситон, сел за стол перед тарелкой с тушеным мясом и спросил хлеба. Брайн уже жалел, что не сбегал в булочную, но так и не тронулся с места. Теперь слишком поздно, говорил он себе, хотя знал, что время еще есть, можно преспокойно спросить у матери четыре пенса и пойти за хлебом, отец и не узнает, что он снахальничал. Он остался сидеть на стуле.

— Нету хлеба,— сказала Вера.— Просила Брайна сходить минут десять назад, но он был так занят своим дурацким комиксом — не пожелал сделать того, что ему было велено. Он меня иной раз просто с ума сводит, пальцем не хочет пошевелить.

Ситон поднял глаза.

— Сходи за хлебом.

Брайн не выпускал из рук комикс, будто из него можно было почерпнуть отваги.

— Подожди, пап, пока я кончу читать.

— Иди,— сказал Ситон,— я жду хлеба.

— Смотри, будешь неслухом, не станешь делать того, что тебе говорят, сцапают тебя черти,— вставила Вера.

Брайн страшился крепкой порки, которую, конечно, получит от отца, если сию же секунду не встанет и не пойдет, но сам только нервно теребил диванную подушку.

— Не заставляй меня повторять еще раз,— сказал Ситон. Брайн не шелохнулся. Ситон отодвинул стул от стола, быстро шагнул к Брайну и дважды ударил его по голове.— На, получай, поганец.

— Не бей по голове! — крикнула Вера.— Оставь его.

Ситон двинул его еще разок в придачу, взял с полочки шиллинг, сунул его Брайну в руку и выпихнул сына на улицу.

— Ну-ка, посмотрим, какой ты проворный.

Брайн с полминуты рыдал у порога и, не переставая плакать, поплелся в лавку на углу, лихорадочно строя планы мести: зарубить отца топором, как только вырастет и станет сильным — и если удастся раздобыть топор.

■

Чтобы добраться до чердака, где они спали, Брайн должен был провести всех троих ребятишек через родительскую спальню и оттуда по широкой приставной лестнице в комнатушку вроде чердака. Процессия в нижних штанах и рубашках поднялась наверх и скрылась. Артур в свои три года по части драк не отставал от остальных, и услышав возню, начавшуюся сразу же, как только опустилась самодельная щеколда, Ситон подошел к лестнице и заорал оттуда:

— Эй вы, там! Слышите? Прекратить шум, не то сейчас приду надеру уши.

Он постоял еще несколько секунд, прислушиваясь к напряженной тишине наверху, и пошел ужинать.

— Все из-за Артура,— сказал Брайн шепотом. Тот не успел войти, как сейчас же въехал ногой в игрушечный поезд, подаренный им всем вместе на рождество.— Скорее на кровать, а то папа придет, всех нас отделает.

Он развернул сверток с бутербродами, рядом поставил на стол бутылку воды и погрозил кулаком постреленку Артуру, который уже потянул к себе бумагу. Маргарет оттащила его от стола, говоря:

— Сейчас мы все разделим.

А Фред только посматривал со своей надежной позиции на кровати.

Вечер был временем пикников. Вера наливала воды в бутылку, а Ситон нарезал ломти хлеба и куски застывшего говяжьего жира. «Ладно уж,— говорил он,— всем дам по ломтю. Надо ж вам чего-нибудь пожевать после того, как вскарабкаетесь наверх. Ну-ка Брайн-Маргарет-Фред-Артур, марш, лезьте-ка на вашу деревянную гору».

Покончив каждый со своей порцией, они потушили свечу.

— Теперь спать,— скомандовал Брайн.

— Расскажи нам что-нибудь,— попросила Маргарет.

Он знал, что они не заснут, пока не добьются своего.

— Что ж вам рассказать?

— Про войну,— сказал Фред откуда-то из мрака.

Быстрые ноги Артура успевали лягнуть всех сразу.

— А ну-ка, перестань сейчас же,— пригрозил ему Брайн.— Не то как двину...

— Я сам тебя двину,— ответил Артур.

— Я вот что сделаю,— предложил Брайн,— я расскажу вам одну историю из комикса.

Они одобрили предложение и улеглись поудобнее, приготовясь слушать. Когда Артур наконец перестал толкаться, Брайн принялся рассказывать про то, как трое бандитов с пулеметами засели в подвале, в своем притоне, пили виски и строили планы ограбления банка. В полночь они вышли из притона и поехали по улице в большом черном автомобиле прямо к банку и там подложили под высоченные двери десять шашек с динамитом, а сами встали на другой стороне улицы, пока двери рушились со страшным грохотом. А когда дым рассеялся и все опять стало видно, они, стреляя из пулеметов, бросились в пробитые двери. Добрались до крепких сейфов, но оказалось, там караулил ночной сторож, и он им крикнул: «Прочь, не то я всех вас перестреляю из револьвера, который у меня в кармане!» Но грабители не обратили на это никакого внимания и застрелили его насмерть и подложили еще динамиту под сейфы. А когда сейфы взорвались, они вытащили из них все деньги, миллионы фунтов. И все сложили в большие мешки, которые прихватили с собой, и потом выбежали из банка. Какой-то человек попытался задержать их, когда они садились в машину, и тут один из грабителей сказал: «Знаете, кто это? Это оценщик. Давайте его прикончим!» И застрелили насмерть. И тут еще другой бросился было на них, а главарь бандитов сказал: «Этого я знаю. Это член школьного совета. Пусть получит свое». И его тоже убили насмерть. И вот сели бандиты в свой большой автомобиль и поехали, переехали по мосту через Трент и за город, в деревню — мчались со скоростью девяносто миль в час. По дороге они остановились у бара выпить виски и закусить чего-нибудь, а в баре за столиком сидел детектив Том Бригс со своей девушкой. И как только Том Бригс увидел этих троих бандитов, когда они заходили в бар, он сразу же понял, кто они такие и что они только недавно ограбили банк, потому что увидел в руках у них мешки с деньгами. «Ни с места, вы, все трое!» — крикнул он и выхватил пистолет, который всегда носил с собой, но у них были наготове пулеметы, и они связали его и его девушку и крепко прикрутили к стульям. И тогда главарь сказал: «Теперь мы их убьем». И он зарядил свой пулемет, приставил к их головам и сказал: «Все готово, ребята?» И те двое ответили: «Да, все готово. Убьем их». И тогда главарь сказал: «Ладно, сейчас я их застрелю». И нажал на курок, и через две секунды Том Бригс и его девушка стали трупами. Он убил их, и вдруг один из бандитов говорит главарю: «Выгляни в окно, и ты увидишь, что мы окружены. Там пятьдесят фараонов. Похоже, что мы влипли».

— Так кончается первая часть,— сказал Брайн. Внизу, среди полной тишины, по мостовой прошуршали автомобильные шины. Слышно было, как тихо дышит Артур.

— Вот это да!

— А дальше что было? — спросила Маргарет.

— А я почем знаю? — ответил Брайн, сам еще не читавший продолжения.— Вторая часть выйдет только завтра к вечеру.

— А сколько всего частей? — спросила она.

— Вроде бы четыре.

— А в кино бывает двенадцать частей,— сказала она.— И даже пятнадцать.

— Фараоны их схватят?— спросил Фред с края кровати.

— Завтра скажу.

Артур вставил свое:

— Нет сейчас!

— Ты всегда так хорошо рассказываешь,— сказала Маргарет, и Брайн опять принялся за рассказ и говорил до тех пор, пока все трое не уснули.

7

В начале сентября время бросило в бой свои резервы мороза и тумана, чтобы сломить сопротивление лета. Брайн надел теплое пальто и темными промозглыми вечерами мечтал об осенней ярмарке, карнавальных кострах и школьной елке. Начались холодные, непрекращающиеся дожди, сточные трубы и канавы еле поспевали уносить павшие на поле сражения сухие листья и спички. Каждый дом, окутанный сырыми запахами сумерек, которые день ото дня наступали все раньше, как будто обособился от остальных и предоставлял неограниченные возможности для проказ Стук-стука, Тук-тука и Хлопающей Крышки в образе Брайна, Теда Хьютона и Джима Скелтона. Они двигались, словно призраки, от одного зажженного фонаря к другому, давясь от смеха, когда перепуганная жертва открывала дверь в ответ на таинственные звуки и вглядывалась в улицу, ничего не видя после электрического света в комнате.

Уже почти в темноте Брайн подкидывал ракеткой теннисный мяч, звонко ударяя им, посылал от стенки к стенке, от угла к углу — случалось, что и загонит в окно. Разгневанный хозяин в рубашке, без пиджака высовывался из окна, грозил кулаком, суля теням «спустить с них шкуру». Мальчишки, игравшие в чехарду, прежде чем прыгнуть, распевали:

Я играю в чехарду,
Мои руки на заду.
Иду!

На тротуаре шла игра в «разбивалку», по канавам — в шарики, а посреди мостовой собиралась плотная куча драчунов — они бросались врассыпную, стоило показаться автомобилю, или же медленно брели по домам, когда с порога усталые матери звали их, одного за другим, пить чай или ложиться спать.

Из грошей, полученных за неделю, к субботе иной раз удавалось наскрести сумму в три пенса — стоимость билета на утренний киносеанс. Брайн собирал на свалке тряпки и металлический лом, выклянчивал у бабушки кроличью шкурку, а у Мертона — завалявшуюся пивную бутылку и, сунув все это в мешок, тащил к конторе утиля во дворе на Олфритон-роуд. Когда однажды Ситону подвернулась работа, оклейка стен, Брайн смог взять с собой в кино и Маргарет с Фредом. Они пришли за час до начала и, держась за руки, стояли в длинной очереди шумной, крикливой детворы. Ребятишки толпились и вокруг тележек с мороженым. Еще не успев положить свои полпенса на цинковую бадейку, от которой веяло холодком, Фред рассеянно пнул ногой по колесным спицам тележки и с ревом пошел обратно в очередь,

потому что мороженое выскочило из картонного стаканчика, упало на мостовую и таяло с такой быстротой, будто торопилось исчезнуть. Брайн пытался успокоить братишку, но тот отчаянно тер глаза крепко сжатым кулаком и, кривя рот, вопил:

— Хочу еще стаканчик!

Брайн пригрозил:

— Не замолчишь — в кино не возьму.

— Хочу мороженого! — плакал Фред.

Брайн не в силах был устоять перед слезами. Для него слезы были самой худшей напастью, какая только могла случиться, хуже, чем вызвавшая их причина, которая была уже забыта. Слезы сильнее, чем вера, должны бы сдвинуть гору, но как жаль, что они проливаются с такой легкостью. Фред продолжал голосить. Все повернулись в их сторону и смотрели.

Маргарет пощелкала языком так, как это часто делала мать:

— Вот поганец!

Брайн не выдержал. Если бы плакал кто-нибудь другой, он бы разозлился, но ведь это был его брат, и он пожалел малыша, почти испугался за него.

— Ладно, купи себе мороженого,— сказал он, сунув ему в руку полпенса, и поток слез прекратился, как по мановению волшебной палочки.

— Смотри не урони опять! — крикнула Маргарет в невозмутимый затылок Фреда, уже стоящего возле тележки.

По булыжной мостовой мчались, словно выпущенные из рогатки, автомобили и автобусы, и Брайн нырял между ними, пробираясь к газетному киоску, чтобы купить комикс. Он встал на тротуаре и начал читать про последние злодеяния Чэнга, человека-топора, и мгновенно очутился далеко, в других краях — стоял невидимым зрителем на широком речном берегу и глядел, как течение уносит к плотине груженную динамитом джонку, которой предстояло там взорваться и взрывом затопить виднеющиеся вдалеке равнины. Его восхитила грандиозность этого разрушительного замысла, он сочувствовал Чэнгу, будто то был его давно пропавший без вести дальний-предальний родственник, скитающийся где-то в необъятных просторах Китая. Брайн понимал, что Чэнг негодяй и что трое английских юношей, беспомощно стоящих на берегу, спасли бы плотину, если б могли, но Чэнг, злодей, спустивший джонку на реку, был значительнее, он-то и являлся главным героем. Джонка взорвалась, тысячи кусков ее повисли в воздухе до очередного выпуска на следующей неделе, но даже этот факт не заставил Брайна подумать о создателе Чэнга, о том, что Чэнг — всего лишь несколько черточек на бумаге. Неограниченные силы воображения превратили Чэнга даже во что-то большее, чем реальное существо.

Брайн поднял глаза, увидел, что подошла его очередь, и купил в кассе три билета по три пенса каждый. Зал, в котором носился смешанный запах духов и сырости, был уже почти полон, и Брайн повел сестру и брата к первому ряду.

Администратор дал знак, на экран тут же выскочили, словно петрушки, марионетки — Три Студжа,— и чистый, ничем не сдерживаемый смех вспыхнул, как фейерверк. В конце сеанса, когда «Джим из джунглей» еле вырвался из крокодильей пасти, похожей на раскрытые ножницы, все двери в зале распахнулись, и Брайн, поставив перед собой Маргарет и Фреда, повел их к выходу, защищая руками, чтобы малышей не затолкали в толпе. Фред выбежал первым и принялся издавать громкие тарзаньи кличи, но Маргарет велела ему перестать, если он не хочет, чтобы она его отшлепала.

Домой они бежали бегом, моросил дождь. Дома уже зажгли свет. Вера разрезала хлеб и каждый ломоть намазывала маргарином и сли-

вовым джемом. Ситон сидел у огня, курил сигарету, у края каминного загнетка стояла его кружка чая.

— Пап, как здорово в кино было! — сказала Маргарет, и он смеясь притянул ее к себе и стал звонко целовать ее холодные от дождя щеки.

— Вот как я люблю свою дочку!

Он с вниманием слушал ее сбивчивый пересказ на собственный лад понятого фильма о Джиме из джунглей. Брайн вгрызался в свой ломоть.

— Самая лучшая картина — это «Три Студжа», потому что в других картинах были женщины. Никогда не видел длинной картины и чтоб в ней не было женщины.

— И никогда такой не увидишь,— заметила Вера, ставя на стол ряд чашек и кружек для чая.— Мужчины уж очень любят на них смотреть.

— Придет, Брайн, время, и ты на женщин тоже насмотришься всласть,— сказал Ситон со смехом.

Вера пошла опустить штору, и вдруг громкий, настойчивый крик газетчика «Специальный выпуск» наэлектризовал комнату. Слышно было, как за окном раскупают газету, как звякают монетки, когда газетчик дает сдачу. Брайн испугался, он всегда представлял себе взрывы бомб, всякие страсти, бои с пушками и штыковые атаки, когда слышал крик «Специальный выпуск!», потому что мать однажды сказала ему, «специальный выпуск»— это значит война.

Вера нарушила молчание.

— Пойти купить?

— Да ну, не стоит,— ответил Ситон.— Небось что-нибудь об Испании, только и всего. По радио услышим.

Голос газетчика был уже далеко, и Брайн сказал:

— К бабушке приходил один дяденька, продавал за два пенса календарь Старого Мура, и она купила, и я прочитал в нем, что скоро будет большая война.

— Не будет, не беспокойся,— сказала мать с усмешкой, раздавая всем еще хлеба.— А если и будет, тебя не призовут.

— Вот и хорошо. Я боюсь войны.

Ситон буркнул что-то злое, саркастическое.

— Хуже, чем сейчас, не будет. Начнут гонять туда-сюда, и жрать нечего — все то же самое.— Настроение его вдруг круто изменилось, он со смехом посадил Маргарет к себе на колени.— Ну, мой кудрявый бэби, расскажи еще что-нибудь, что ты в кино видела, а я дам тебе за это отхлебнуть моего чая.

■

Они смотрели в черный провал между шлюзами канала. Далекий блеск воды был виден лишь урывками, когда на мгновение показывалась обложенная тучами луна: похоже было на угольную шахту, выкопанную так глубоко, что ее наполнила вода, блестевшая, как сапожная вакса.

Всего в нескольких ярдах наверху за парапетом моста с ревом проносились автомобили и автобусы, мчавшиеся в город из глуши лесов и полей, а навстречу, оставив позади себя неровную полосу города, летели, освещенные фарами, машины, что стремились к какой-то иной, неизвестной Брайну цели.

Они сидели одни, скрытые от огней, не видимые никому. Берт пихнул коляску ногой.

— Я бы и эту спихнул прямо в воду, только, если я вернусь домой без нее, мне зададут порку. Нашей Миджи всего четыре года, мама каждую неделю возит ее в этой коляске, ей лечат ногу.

Берт щелкнул плоским фонариком — дешевенькая модель стоимостью в один шиллинг и четыре пенса, приобретенная на деньги, которые

удалось выклянчить, когда они ходили по городу с чучелом Гая Фокса *. Пальцы Берта еще раз нажали кнопку, и снова засветился единственный глаз Полифема, выпученный на верху фонарика.

Брайн отпрянул назад, подальше от двенадцатифутового обрыва, уходящего в бездонную воду — холодную и к тому же мокрую, вся одежда сразу станет тяжелой, так и потянет вниз, а если даже вынырнешь, ухватиться не за что, одни только гладкие стены.

— Ну, давай. Ты бери за одну руку, а я за другую и бросим,— сказал он и опять взглянул на воду.— Даже и не слышно будет, как бултыхнется.

— Э, никакого интереса,— покачал головой Берт.— Взять бы домой, да припрятать, а потом на карнавальный костер — вот бы здорово горел!

Брайн терпеть не мог перемены планов. Это вызывало в нем тревогу, потому что его собственное сознание было еще слишком податливо, готово повернуть в любую сторону. Простейшее решение стоило больших усилий, изменить его казалось недопустимой растратой духовной энергии. Купить фонарики на деньги, вырученные за Гая Фокса, на это решиться было нетрудно, но теперь оба чувствовали себя виноватыми в том, что не разделили добытых три шиллинга между собой, чтобы отдать их дома на еду. Потому необходимо было избавиться от чучела: когда в лицо им полетят упреки родителей, они скажут, что его отняли у них большие мальчишки, прежде чем удалось заработать на нем хотя бы пенс.

— Еще и не утонет, кто его знает,— сказал Брайн.— А когда утром придет фараон, он подумает, что это не чучело, а настоящий человек — бросился и утопился. Тогда фараон сорвет с себя шлем и плащ и тоже бултых в воду.

Это решило дело

— И, может, утопнет,— сказал Берт.— Почем знать. Не все фараоны умеют плавать.

— Нет, фараоны не тонут,— сказал Брайн убежденно, застегивая на Гае пиджак, будто то был парализованный и горячо любимый брат, которому грозило воспаление легких.— Если фараон нырнет, так уж вынырнет обратно. Мы бы не вынырнули, а он вынырнет.

— А может, и нет.— Берт старался продлить приятное воображаемое зрелище.— Схватят судороги, и все. Вода холоднющая, сколько угодно могут быть судороги. А если схватили судороги, тебе крышка. Прошлым летом у одного парня в лагере «Для детей неимущих» случилось вот так же, судороги в ноге, и он два раза ушел под воду, пока до него добрались. Он, правда, не умер.

Брайн подхватил нить его воображения.

— Ну, если какого-нибудь фараона схватят судороги, а я буду стоять на берегу, я уж его спасать не стану.— Гай лежал между ними плашмя, как пьяница-забулдыга, его рука из мешковины завалилась на глаза-пуговицы, будто он не хотел видеть, что ожидало его впереди. Одна нога откинулась в сторону, и Берт подтолкнул ее, чтобы лежала прямо.— Если б даже у меня был спасательный пояс, я бы все равно фараону кирпич бросил. Фараоны — они все сволочи. Я на прошлой неделе открыл одному типу дверцу автомобиля, помог. И тут же, откуда ни возьмись, фараон и надрал мне уши. Сказал, что отправит в исправительный дом, если я не смоюсь. А я никому не мешал.— Он зажег свой фонарик, полюбовался его волшебными свойствами.— Сволочь эдакая.

— И все фараоны такие.

---

* Гай Фокс (1570—1606) — ревностный католик, участник «Порохового заговора» (5 ноября 1605 г.), ставившего своей целью убить короля, преследовавшего католиков. В Англии 5 ноября отмечается как День Гая Фокса: процессии носят изображающие его соломенные чучела и затем сжигают их на кострах.

— Не знаю, кому они нужны, эти фараоны,— сказал Брайн.— Они еще хуже, чем учителя.

— Никакой разницы,— сказал Берт, зажигая в темноте выпуклый глазок своего фонарика.— Это все правительство, понимаешь? Они к тому же еще и консерваторы.— Он гордился тем, что знает такое шикарное, трудное слово.— Отец мне сказал: если когда вздумаешь голосовать за консерваторов, шкуру с тебя спущу. И еще кулачищем погрозил. А потом в субботу вечером я видел, как он колошматил одного типа в баре, наверно, тот голосовал за консерваторов. Отец, правда, и маму часто дубасит, только не знаю, за что, она ведь за консерваторов не голосует.

— За консерваторов голосуют миллионеры. Джон Плайер и тот тип, хозяин завода Рэли.

— Ну, я бы ни за что не стал. Будь у меня хоть десять триллионов, я бы все равно голосовал за тех, которые за труд.

— И я тоже,— сказал Брайн.— Слушай, давай швырнем Гая в шлюзы, будто это фараон, а? — Тут же возникла еще одна идея: — Раздобудем пару кирпичин, засунем ему вовнутрь, он у нас сразу так и плюхнется, и прямо на дно!

— Да ведь тогда никто не подумает, что это утопленник,— возразил Берт.— Никто не увидит.

Брайн так и взорвался счастливым смехом — радость эту вызвало решение, принятое без колебаний.

— А зато как шлепнется-то здорово, вот грохнется, а?— еле выговорил он сквозь смех, и Берт, обезоруженный такими доводами, согласился: шлепнется, должно быть, в самом деле здорово.

«Труд,— повторил про себя Брайн, нагибаясь, чтобы помочь Берту поднять большущий камень,— труд». Брайну вспомнилось: в суде приговаривают к принудительному труду. Только это, наверно, какой-то другой труд, не принудительный, раз за трудовых, за лейбористов голосуют. Отец тоже лейборист, он левый, и все, кого Брайн знает, они тоже за труд — все, кроме старого Джонса, директора школы: за тысячу миль видно, что он-то уж не из таких. Но слово от этого не становилось вразумительнее. Два кирпича были засунуты в туловище Гая Фокса, и Брайн обхватил пальцами, как крюками, руку и ногу чучела.

— Сосчитаем до трех,— сказал Берт,— только не быстро.

— Ну, давай,— ответил Брайн, чувствуя под рукой соломенное туловище Гая. «Консерватор». Чужое, казенное слово, доверять ему нельзя, его надо ненавидеть. Если во время выборов вдруг остановится фургон и оттуда начнут совать тебе пучок голубых полосок, ты не бери, чтоб потом не думать, зачем я, дурак, взял их, ты прямо швыряй их, раздирай в клочки — ботинками или еще чем. А может, лучше набрать этих голубых полосок и потом прикалывать их к дверям тех, кого ненавидишь, например, того, кто поторопился послать за полицией, когда ты слишком шумно играл на мостовой.

Еще одно движение, и ловко вскинутое, набитое кирпичами соломенное чучело полетело вниз в радушно поджидавшую его воду.

Было уже довольно поздно, движение затихло, и в освещенном огнями коридоре шоссе и в железнодорожном депо вдали — всюду царила неприветливая тишина. Гай Фокс, оторвавшись от подбросивших его рук, одно великолепное мгновение был на свободе, повиснув в черном, не грозящем опасностью воздухе, а затем полетел вниз. Брайн и Берт затаили дыхание, предвкушая блаженство.

Чучело бултыхнулось в воду, произведя желанный шум и всплеск,— оно ухнуло так, что из глубокого провала поднялся хаос звуков. Берт и Брайн обнялись, ревя от восторга, а затем покатили теперь уже пустую детскую коляску обратно по прибрежной тропе, и новые, только что купленные фонарики бросали для них во тьму снопы яркого света.

8

Субботним утром Брайн и его двоюродный брат Дейв шагали под дождем по Олфритон-роуд и насвистывали песенку, доносившуюся из открытых дверей магазина радиотоваров. Они остановились, привлеченные его большой витриной.

Дейв был первенцем Доддо — высокий, курчавый, с запавшими щеками и темными выпученными глазами. Острым взглядом он обшаривал витрину, не пропуская ничего, как отличный объектив, — охватил весь тротуар от входных дверей до сточной канавы и нагнулся поднять монетку, которую Брайн ни за что бы не увидел. На безработном Дейве были длинные, разодранные сзади штаны, коричневая дырявая фуфайка и ботинки, пропускавшие воду. Одежда на Брайне была тоже драная, но обувь в данный момент крепкая, ноги не промокали. На пути попалась лавка, торгующая подержанной мебелью и всякой всячиной, и Брайн прочел написанные известкой через все стекло витрины слова: «ПОКУПАЙТЕ ЗДЕСЬ ОРУЖИЕ ДЛЯ ИСПАНИИ».

— А разве в Испании все еще война?

Дейв кивнул, он старался на ходу разъединить две стальные полоски — купленная по дороге головоломка стоимостью в один пенс.

— И долго они будут воевать? — поинтересовался Брайн.

— До последней капли крови.

Мостовая была широкая, булыжная, справа и слева шли склады утиля, магазины игрушек, кабаки, ломбарды, дешевые бакалейные лавчонки — жизненная артерия, где бок о бок стояли дома и фабрики, прилипшие, как улитки, к обеим ее сторонам. Люди тащили узлы в ломбард и мешки на склад утиля или же возвращались из города, кто с еще неистраченным пособием, кто с жалованьем в кармане, так что торговля шла всю неделю, не прекращаясь.

— Ты книжки читаешь?

— В школе,— ответил Брайн.

— А «Дракулу» читал?

— Нет. Интересно?

— Ага, — засмеялся Дейв. — Страху не оберешься.

Брайн тоже рассмеялся.

— Я хочу купить себе одну книгу, называется «Граф Монте-Кристо».

— Слышал по радио,— сказал Дейв.— Передавали сериями несколько месяцев подряд. Значит, книжка будет стоить кучу денег.

— Знаю, но я уже давно на нее коплю. Как только шесть пенсов насбираю, несу в лавку к Ларкеру: заведующий держит мои деньги у себя, пока не наберется полкроны. Тогда книжка моя.

Такая целеустремленность произвела на Дейва впечатление.

— И сколько у тебя уже набралось?

— Два шиллинга. Добавить еще шесть пенсов, и на следующей неделе можно будет книгу забрать.

Дейв вывернул карманы, вытряхнул из них все до последней монетки и тщательно пересчитал.

— На, получай три пенса. Остальные три дам в понедельник. У меня целый ворох тряпья, схожу и продам, а потом зайду к тебе домой, занесу деньги.

Брайн не верил своим ушам. Могли пройти недели, прежде чем эти последние, трудно уловимые шесть пенсов попадут ему в руки, по монеткам в пенс и в полупенсовик.

— Спасибо, Дейв. Как только куплю книгу, сейчас же дам ее тебе почитать.

— Не надо,— ответил Дейв. — Не могу я читать толстые книги. Держи ее у себя. Если вздумаю принести книжку домой, ее отправят в клозет или Доддо начнет записывать в ней свои ставки на скачках. Да я ведь в кино это видел. В книге небось все то же самое.

Верный своему слову, Дейв пожертвовал Брайну недостающие три пенса. Субботним вечером, теплым и пыльным, Брайн шел по направлению к Кэннинг-серкус, шагая мимо старых домов, которые уже начали ломать — выстроившиеся в ряд грузовики один за другим забирали мусор и обломки и отвозили на свалку к Санпасти. Пройдя шумный перекресток, Брайн спустился к Дерби-роуд, заглядывая по пути в каждый магазин. Уже огибая Слэб-сквер, он подумал, что-то скажут отец с матерью, когда он явится домой, держа в руках чудесную толстую книгу.

В витрине магазина Ларкера среди словарей и иностранных книг лежал большой атлас, раскрытый на карте мира — только этот раздел и интересовал Брайна. Он вошел и сказал девушке в коричневом платье, сидевшей за кассой, что хочет купить книгу «Граф Монте-Кристо», и начал излагать ей избранный им для этой цели несложный финансовый план.

Девушка ушла, оставив Брайна одного, — он уже держал наготове четыре розовых оплаченных чека и последнюю сумму взноса, шесть пенсов,— и вернулась вместе с заведующим.

— Да, я знаю его, — сказал заведующий,— это наш клиент.— Он повернулся к Брайну, принял от него чеки и деньги, разложил все на столике у кассы.— «Граф Монте-Кристо», если не ошибаюсь? Пожалуйста, принесите ему книгу.

Книгу принесли и тут же стали заворачивать — Брайн успел лишь мельком разглядеть, что на обложке нарисован человек со шпагой.

Выйдя из лавки, он у двери развернул покупку, быстро перелистал все несколько сот страниц от первой и до последней и снова от последней до первой. Позади раздался приятный девичий голос:

— Читать хватит надолго, правда?

Он обернулся, сказал, что да, и пробежал глазами весь внушительный перечень глав.

Дома никого не оказалось, он уселся возле камина и принялся за чтение. В комнате было чисто прибрано, посуду со стола убрали, и в этой располагающей атмосфере тишины и порядка он быстро, страница за страницей, одолевал легкий текст романа и уже добрался до главы, описывающей брачную церемонию Эдмона Дантеса, когда вернулись родители. Они сняли пальто.

— Красивая книжка,— сказала мать.— Где ж это ты такую достал?

— Купил в лавке.

— А кто дал тебе на нее денег, а? — вмешался отец.

— Должно быть, недешево стоит,— сказала мать, расстилая на столе скатерть.

— Никто мне не давал,— ответил им Брайн, бережно закрывая книгу.— Я сам накопил.

В голосе матери послышалось раздражение:

— Сколько ж ты за нее отдал?

— Полкроны.

— И такую уйму денег ты промотал на книжку? — воскликнул отец.

Брайн предвкушал, как они оба обрадуются: вот какой он умница, принес в дом что-то ценное, а получилось наоборот. У него было такое чувство, будто его рассекли пополам и он истекает кровью. И все из-за книги.

— Я потратил свои, свои деньги! — кричал он в тоске и обиде, потому что ему, выходит, следовало не книжку на эти деньги покупать, а отдать их родителям.

— Совсем рехнулся со своими книжками, — проговорил отец, и в голосе его звучала явная угроза. — Дочитаешься до того, что в конце концов спятишь.

Мать вернулась из кухни.

— Тратить полкроны на книжку, когда тебе обуть нечего! И какой хитрый поросенок. У меня дома сколько раз гроша не было, не на что жратвы купить, а он держал денежки в кармане.

— Не держал я их в кармане,— объяснил Брайн.— Я их по частям относил в книжную лавку.

Это только подлило масла в огонь — значит, он хотел, чтобы дома не могли добраться до его денег, а родные хоть с голоду подыхай.

— Не сообразил, что надо бы пару ботинок купить,— кричал отец.— Подожди, вот зашвырну я ее в огонь, твою книжку, черт бы ее драл!

— Ума-то в голове, будто только нынче родился.

Угроза отца привела Брайна в ужас, он уже видел, как пламя пожирает листы книги.

— Это моя, моя книга! — выкрикнул он.

— Не нахальничай,— сказал Ситон,— не то смотри, парень, дождешься.

Брайн уже не мог удержать слез, и отец с матерью это видели.

— Хоть бы война какая поскорей, чтоб всех нас убило! — неистовствовал Брайн.

— Что мелет, а? Только подумать! — сказала мать.— И где это он выучился такому?

Отец дал ему затрещину.

— Скажи еще хоть слово — увидишь, что я тогда с тобой сделаю.

— Подождите, дайте только мне вырасти! — крикнул Брайн.

Но Ситон на это сказал лишь:

— Знай читает и читает. Дочитается, совсем дураком от своих книжек станет.

Они пили чай, а он сидел возле камина, силясь подавить рыдания, и это было нелегко, потому что он ясно понимал теперь, как дурно поступил. Но ненависть к родителям и жалость к самому себе пересилили, он не мог остановиться и все плакал.

Вера протянула ему чашку с чаем.

— Пей, брось реветь, конец света еще не настал.

Глаза его были прикованы к обложке, где храбрец со шпагой, казалось, плевал на всех на свете и никаких забот не ведал. А если и имелись у него заботы, то лицо и шпага говорили, что стоит только сразиться на поединке, и забот и неприятностей как не бывало.

Он ел хлеб с джемом, а сам продолжал читать. Книга постепенно овладевала им, и с каждой секундой шум и свет в доме отходили куда-то все дальше, а он уже спускался в подземелье замка Иф вместе с Эдмоном Дантесом, шел следом за стражей, невидимо проникал в камеру и всю ночь прислушивался к перестукиванию и перешептыванию через гранитный пол, слышал, как терпеливо царапает и скребет герой, стремящийся к свободе, и убеждался, что даже подземелья и гигантские тюрьмы не в силах удержать людей в своих стенах навеки, хотя четырнадцать лет — срок немалый, на четыре года больше того, что успел прожить Брайн. Он прислушивался к стуку и скрипу самодельных инструментов и к еле слышному голосу — словно то был голос мертвеца,— говорившему о знании, свободе, о сокровищах, скрытых на острове Монте-Кристо.

9

Мистер Бейтс чувствовал, что он бессилен утихомирить класс. Мальчики были взбудоражены, говорили все разом. Регулярного расписания как не бывало, будто ветром его унесло. Карту Южной Америки, нарисованную на доске: белым мелом—морские границы, коричневым—длинный изгибающийся хребет Анд, староста стер и до того забылся, что вытряхнул тряпку прямо в класс; облака коричневой и белой пыли проникли в толщу косых лучей света, падавших через окна.

Перекличка присутствующих и молитва перед учением — все было позади, но мистер Бейтс, к неописуемому восторгу ребят, продолжал писать что-то за своим пюпитром. Брайн сидел довольно близко, он слышал резкий неровный скрип пера и шелест переворачиваемой бумаги. Что он там пишет в такой день? На кого тратит эти необыкновенные, неповторимые минуты? Может, это самое лучшее, что он мог сделать в ожидании развития событий. Вздумай он отправить мальчишек в зал петь гимны, они бы, пожалуй, учинили бунт, а если бы и повиновались, то так вызывающе и дерзко, что сохранить строгую дисциплину оказалось бы уже невозможным.

— Бозуорт! — крикнул мистер Бейтс, заметив меловую пыль, осевшую на рукавах пиджака и на листе бумаги. Он бросил на старосту ледяной взгляд.— Сколько раз должен я повторять, что тряпку следует вытряхивать не в классе?

Но Бозуорт правильно угадал, что это только протест, не угроза.

— Простите, сэр,— сказал он, положил тряпку на перекладину доски и отправился к своей парте. Извинение его осталось без ответа, мальчики по-прежнему видели лишь озабоченно склоненную голову, слышали скрип пера по бумаге — словно настойчивое царапанье барсучьих когтей.

Можно было подумать, что он пишет книгу. Шум в классе все нарастал, расходившееся море билось о преграду — скрип пера — и заставило наконец отклониться в сторону поток мыслей мистера Бейтса.

— Молчать! — рявкнул он, но море не отхлынуло, голос мистера Бейтса услышали только те, кто сидел совсем близко и всегда остерегался поднимать слишком большой шум. — Вы замолчите или нет? — крикнул он угрожающе.

Рев утих, волны отхлынули, но тишина, сменившая тревожный гул голосов, парализовала перо мистера Бейтса. Он сделал строгое лицо и обвел глазами сорок мальчишек, сидевших перед ним. Царапнув дужкой за ухом, поправил очки — ненужный жест, но в этот момент требовалось занять чем-то руки. Взгляды со всех четырех рядов старых изрезанных ножами парт с двумя неподвижно замершими учениками на каждой сошлись, как в фокусе, на его лице. Он безошибочно понимал, что этот молчаливый коллективный взгляд выражает ожидание, что все ждут от него каких-то слов; и секунды, проходившие в тишине, становились зловещими, потому что он не находил, что сказать. Он, всегда державший класс в узде, не прибегая к тиранническим мерам, впервые не мог раскрыть рта, не мог заговорить с ними о том, что, как колючий кустарник, разрасталось в их сознании.

— Я полагаю, вы знаете,— решительно прервал он молчание, — что сегодня вам раздадут противогазы?

Вопрос не нуждался в ответе. Все почувствовали облегчение оттого, что он обратился к ним так ясно и прямо. Напряжение на лицах исчезло, по ним пробежала от одного к другому улыбка, будто яблочко, подгоняемое ветром.

Начало было сделано, и мистер Бейтс продолжал, теперь уже уверенно:

— Затем, ни географии, ни арифметики сегодня не будет. — Улыбки стали шире, и мистер Бейтс мог вновь вернуться к своему недописанному письму. — Можете разговаривать, но только вполголоса. Скоро должен зайти мистер Джонс.

И снова заскрипело перо, покрывая лист чернильной сеткой; шум взволнованных разговоров постепенно, как не сразу заработавшая огромная скрипучая динамо-машина, рос и рос и дошел до таких размеров, что мистер Бейтс уже перестал его замечать.

— Я рад, что война,— сказал Брайн Скелтону. — Отец говорит, раз война — значит, теперь он получит работу. И каждую пятницу будет давать мне пенс. Если только, конечно, немцы не отравят нас газами.

— Сам-то я не боюсь,— ответил Джим,— ну а как же мама, папа, Морин, Фрэнк и остальные? Нас ведь семеро, если начнут падать бомбы, мы еле втиснемся в наш подвал.

Брайн рассеянно переливал густую тягучую жидкость из одной чернильницы в другую и оставил на парте черную лужицу, почти закрывшую собой первую букву его вырезанных ножом инициалов.

— А может, всем выдадут оружие,— произнес он неуверенно, прикасаясь к лужице пальцами и затем вытирая их о фуфайку.

— Никакого оружия нам не дадут, — сказал Джим.— Заставят сидеть в подвале, и все. Просто не знаю, что мы будем делать.

— Твой отец получит работу — строить укрепления,— сказал Брайн.— Он ведь столяр, он это сможет. А знаешь, в нашем доме подвала нет.

— Стало быть, придется вам прятаться в убежищах.

О цветах, стоящих в горшках на окнах, никто не позаботился, без воды их желтые головки поникли. И никто не записал температуру воздуха и показания барометра на диаграмму, протянувшуюся на одной из стен цветными волнистыми линиями, словно на картинке с горной панорамой в учебнике географии. В этот день полагалось заново наполнять чернильницы, но они остались пустыми. И никаких книг классу не раздали. Нарушение расписания убеждало, что не к чему соблюдать тишину, читать, писать или петь: наступила пора чудесной, изумительной неразберихи, и хотелось верить, что так будет всегда, и если вот это и есть война, не такая уж она, в конце концов, плохая штука.

Думая о войне, Брайн представлял ее себе как войну наполеоновскую, во всяком случае в отношении тактики: баррикады на каждой улице и Ватерлоо — солдаты в противогазах — в полном разгаре повсюду, от Клифтон-гроув до Готем-виллидж. Воспитанный на «Отверженных» Гюго, он уже видел целые горы булыжников и нагромождения из мешков с песком, защищающие Денмен-стрит и все подступы к ней, и еще более мощные заграждения, закрывающие главные дороги, чтобы не прорвались танки. Воображение рисовало ему такую картину: солдат в железной каске и с винтовкой наперевес бежит по улицам Рэдфорда, а сквозь решетку подвала с тревогой глядят мистер и миссис Скелтон и все маленькие Скелтоны. Тут происходит взрыв и падает дом, так что в воздух летят серые кирпичи (это они теперь стали серые, до взрыва они были красные). Может, и он тоже, как Мариус Понмерси, уйдет на войну и будет сражаться на баррикадах против немцев, а винтовку он себе найдет на улице, снимет с какого-нибудь убитого солдата и перестреляет много врагов. И спасет Скелтонов, которые за кулисами его сознания все это время тревожно глядели сквозь решетку подвала на солдата, продолжавшего бежать по улице с ружьем наперевес.

И тут падала бомба, почти бесшумно, и лежала в канаве; через несколько секунд сбоку у нее откроется щель и начнет ползти желтый газ, который поднимется на несколько футов и распространится дальше, оседая густым слоем. Брайн наденет противогаз, очутившийся у него ка-

ким-то чудесным образом, потому что всего несколько секунд назад его еще не было, и застегнет ремешки. Если увидит кого без противогаза, отдаст свой. Насчет себя он в точности знал, что надо делать: смочить белый носовой платок в воде, неизвестно откуда взявшейся вдруг в канаве, и накрыть им лицо. Горчичный газ не пройдет, так, во всяком случае, уверял его Доддо.

И потом, разве мама не говорила, что будут рыть на Форесте траншеи, как в прошлую войну? Он уже видел, как люди в противогазах разбегаются по траншеям, потому что в небе показались бомбардировщики, вроде тех бипланов, что бомбили трущобы Элбион-ярда. И тут сцена менялась. Вдалеке, из-за ограды, крашенной в зеленый цвет, показались и сквозь туман двинулись на траншеи враги — немцы, конечно, — и английские солдаты, неожиданно и очень кстати появившиеся неизвестно откуда, кинулись на них. И Брайн тоже каким-то образом очутился среди солдат и своим ружьем столько поубивал немцев, что ему поручили сгруппировать батальон школьников и назначили его главнокомандующим.

— Тебе противогаза не дадут.

Ворчливо и негодующе:

— Как это не дадут? Это еще почему?

— Потому что ты и без противогаза страшилище, вот почему.

В следующую секунду Брайн уже мысленно клял себя: ему следовало знать, что такая безграничная свобода слишком хороша и не может длиться долго. В класс вошел мистер Джонс. Мистер Бейтс не убрал письма, как делал обычно, он оставил его лежать на пюпитре и, повернув стул, взглянул на маленького, поджарого, словно начиненного динамитом, школьного директора. Незачем было говорить мальчикам, чтобы они перестали болтать: даже море смолкло бы при появлении тени мистера Джонса. Подтянутый, пружинистый, он возник в пустоте молчания, а у Брайна зачесалась сзади шея, но он не шевельнул рукой, боясь привлечь к себе внимание. Джим Скелтон захлопал глазами, вызывая на матч, кто кого перемигает, однако Брайн не принял вызова, он видел, что уголок рта у Джима дернулся, будто Джим вот-вот улыбнется. Уж не смешил бы меня, гад. По улице прогромыхал грузовик и остановился у дверей школы. «Молоко привезли»,— подумал Брайн, но обычного стука проносимых затем по коридору ящиков не услышал. Он решил, что прибыла новая партия противогазов.

— Они вели себя не очень спокойно,— сказал мистер Джонс.

— Трудно заставить их быть спокойными в такой день,— ответил мистер Бейтс, небрежным жестом смахнув письмо в ящик кафедры.

Мистер Джонс принял саркастический тон.

— Я полагаю, что все же можно было добиться большего порядка.

— Они очень взбудоражены.

Мозг каждого мальчугана был затуманен картинами войны — аванпосты страха, предшествовавшие появлению мистера Джонса, были нейтрализованы ошеломляющей бомбой, курившейся с разной степенью силы и в сердцах мальчишек и в сердцах взрослых.

— Я все же полагаю, что не из-за чего быть взбудораженными,— отчеканил он.

«И когда он только уйдет, гад,—думал Брайн,—почему не даст нам поговорить? Или уж велел бы мистеру Бейтсу почитать вслух что-нибудь интересное. Если и в самом деле скоро война, хорошо бы старый подлюга оказался первым, кого она прихлопнет здоровенной бомбой, да еще притом самой огромной, какая только бывает, чтобы бухнула прямо на его злющую седую башку. Или чтоб немец прикончил его из винтовки, когда их снайперы начнут палить из-за труб на крыше. В такие дни все может статься».

— Не были бы так взбудоражены, если б знали, что такое война.

— Мальчики никогда не знают, что такое война.

— Очень жаль, что им не смогли этого разъяснить и утихомирить их пустое волнение.

У мистера Бейтса блеснули глаза, будто он сейчас заплачет, но он улыбнулся, чтобы сдержать слезы.

— Для будущих войн не было бы пушечного мяса, если бы это случилось.

Мистер Джонс посмотрел на него пристально, в упор, затем повернулся лицом к классу.

— Все здесь?

— Десять человек отсутствует.

— Вот даже как, настолько взбудоражены, что не явились в школу! — Кто-то из смельчаков начал шушукаться, свистящий шепот пронесся по классу, словно струйка вырвавшегося пара.— Молчать! — загремел мистер Джонс, и его анемичная физиономия вспыхнула.

Воцарилось молчание.

— Что вы намерены делать? — обратился он к мистеру Бейтсу.— Война или не война, им нельзя вот так бездельничать.

— Я, вероятно, почитаю им.

Мистер Джонс фыркнул.

— Позвольте мне занять ваше место.

Он шагнул к кафедре и сел перед ней на стул; за его затылком лежала стопка «Основ истории».

— Полагаю, каждому из вас известно, что сегодня вам раздадут противогазы.

«Гад, будто сам не знает!»

— Кто-нибудь имеет представление о том, что такое противогаз?

«Пока еще нет, но скоро узнаем, будь спокоен».

— Я опишу вам его устройство —обрисую словами.

Брайн опять подумал: «Да пусть первый же немец, который будет стрелять из-за дымовых труб, всадит пулю в его четырехглазую рожу».

— Прежде всего это резиновый шлем-маска и в ней очки из целлулоида. По бокам ремешки, за них надо тянуть, когда надеваешь шлем на голову. Все очень тщательно и точно продумано. Под подбородком имеется то, что называется фильтром. Через него вы дышите. Там ядовитый газ обезвреживается, прежде чем попасть вам в нос и в рот. Нехитро, не правда ли? Есть вопросы?

Вопросов не оказалось.

— Так я и думал. У вас у всех пустые головы. Казалось бы, пустой голове противогаз ни к чему, но нет, нужен, видите ли.— Несколько подхалимов засмеялись. Мистер Джонс усмехнулся своей шутке.— Ну вот, пустоголовые, я вам объяснил, как устроен противогаз. А теперь расскажу, для чего он. Он должен быть применен в случае, если — или, быть может, мне следовало сказать «когда»? — немецкие самолеты начнут сбрасывать на Ноттингем бомбы с ядовитым газом.— Он помолчал, возможно, ожидая вопросов, какой-нибудь реакции, но класс хотел услышать еще, этого было недостаточно.— А что такое затемнение, кто-нибудь знает? — Ответа не последовало.— Ну, пустоголовые, это значит, что в городе нельзя зажигать огни, что все должно быть погружено в абсолютную тьму, чтобы немецкие пилоты, летящие над городом, не знали, где они находятся. И вам придется рано ложиться в постель, все равно нет никакого смысла играть на темных улицах. А когда пойдете спать, не забудьте прихватить с собою противогаз, только обращаться с ним следует осторожно, не ронять, не портить. Не то в хорошеньком положении вы окажетесь, когда начнут падать бомбы, понимаете? Поэтому выньте противогаз из коробки и положите возле кровати на слу-

чай, если завоет сирена, предупреждающая о воздушном налете.— Он уселся поудобнее, опершись на кафедру.

«Теперь на весь день»,— застонал про себя Брайн.

— Но когда услышите сирену и гул бомбардировщиков, противогазы надевать еще незачем. Это надо делать, когда на улицах начнут давать особые сигналы — значит, газ сброшен. Тут, помните, все вы действуете очень быстро — все, кроме пустоголовых, конечно,— и натягиваете маску на лицо. Само собой разумеется, если у вас есть младшие братья и сестры, вы сперва должны помочь надеть противогазы им, а уж потом надевать свой.

Его бескровная физиономия поворачивалась из стороны в сторону, и, когда она оказывалась прямо перед классом, оба глаза его были закрыты кружками света размером со стекло очков.

— Еще вот что,— проговорил он.— Знает кто-нибудь из вас, когда ядовитые газы были впервые применены в большом сражении?

Поднялась одна рука.

— В мировой войне.

— А, значит, не все тут пустоголовые. Да, совершенно верно. Пятьдесят тысяч французов и немало англичан были отравлены газами, которые принес слабый ветерок с Ипра. Все, что увидели войска, был лишь зеленовато-желтый туман, двигавшийся к ним в сумерках, и вскоре тысячи людей задыхались от газа. Те, кому удалось выбраться из траншей, оказались слепыми или покалеченными на всю жизнь — длинные вереницы протянулись на мили, когда они один за другим двинулись к госпиталям за позициями. Да, война — прискорбный факт, и нечего из-за нее приходить в такой раж, не так ли? *Не так ли, вы, пустоголовые!* — заорал он, и голос его, как пушка, пробудил даже самых сонных, видевших сны наяву.

Несколько голосов составили хор из «нет» и «да».

— Трудно растолковать вам, что такое война, но в одном могу вас заверить: страданий и боли вокруг будет достаточно. Пожалуй, самые легкие муки во время войны — это необходимость стоять весь день на холоде в очередях за едой и коксом, а к концу войны есть конину; и еще слушать вой сирен. Эти муки не столь уж велики, не правда ли? Однако вполне возможно, что война еще не кончится, когда вы станете мужчинами, и, быть может, самые страшные муки на войне — это когда ты остался на поле сражения раненый и у тебя нет ни воды, ни пищи. В настоящее время идет война в Китае и война в Испании, и не так давно она велась в Эфиопии, так что то, о чем я говорю, не так уж невероятно, хотя, судя по вашим лицам, вы недостаточно сообразительны и не очень многое поняли из того, что я вам сказал.

«Ведь знает, что мы ждем перемены, чтобы идти пить молоко,— говорил себе Брайн,— но нарочно, со злости держит нас, хитрый гад».

— Понимает ли кто-либо из вас по-настоящему, что такое страдание, боль? Наверно, воображаете, что это когда мои кулаки молотят по вашим пустым головам, чтобы вы были внимательнее. Так вот, позвольте вам сказать, это ничто по сравнению с теми страданиями, какие бывают на войне. Ну да, конечно, вы беснуетесь от радости потому, что вам дадут противогазы и скоро война. А вам надо бы молить бога, чтобы он сотворил чудо и войны не было, потому что она несет с собой только страдания. Кое-кому удавалось избежать их, но пусть это вас не утешает — во время этой войны весь земной шар будет корчиться в муках, и никого она не пощадит, доберется и до вас и до меня. Поэтому не будем приходить в восторг при мыслях о войне.

Он резко оборвал свою речь и вышел из комнаты, и они слышали, как все вдруг стихло в соседнем классе, куда он вошел.

«Брехня,— думал Брайн.— А если даже и правда, все равно брех-

ня». Но он высмеял и свою фантазию о баррикадах на булыжной мостовой, о пирамидах из трупов. Ни в чем он теперь не был уверен, кроме того, что вот сейчас, на перемене, держит бутылку молока, вскрыл ее, сунул в горлышко соломинку и втягивает в пересохший рот прохладную жидкость; но она отдавала чем-то похожим на медленную, щемящую боль, о которой трепался старый Джонс.

В четыре часа он побежал домой, крепко держа картонную коробку, и ворвался в комнату, где сидел отец и пил чай. В классе, пока им раздавали противогазы, прошел слух, что за противогаз надо выплачивать столько-то в неделю, и Брайн был приятно удивлен, когда ему передали коробку прямо в руки, ни слова не сказав об оплате. Из этого он заключил, что приобрел ценное снаряжение совершенно даром.

— Смотрите, что мне дали! — крикнул он, вертя коробку на развязавшейся веревке.

Но никто не проявил интереса, и он увидел в углу еще три противогаза; коробки их были уже согнуты и помяты, из одной торчал ремешок, и Артур изо всех сил старался разломать вторую. Мать читала «Ивнинг пост».

— В наше время мира не будет,— сказала она с горечью и отложила газету, чтобы налить Брайну чашку чая.

— Да,— ответил Ситон ворчливо и изрек блестящее пророчество: — Ни в наше, ни в какое другое, черт бы их всех подрал!

10

Мистер Джонс вошел сразу, без предварительной разведки — быстрый, ловкий, челюсть как у куклы чревовещателя. Держа в руке листок бумаги, он вызвал не слишком громко:

— Робертсон, выйди вперед.

Брайн услышал позади себя шорох — длинный одиннадцатилетний мальчуган вылез из-за парты и встал перед классом. Мистер Джонс стоял у доски, закрывая Цейлон головой, такой же яростно угрожающей, как у кобры, обитательницы этого острова.

— Так это ты Робертсон?

Тот признался, что да, он, хотя и неохотно. Не зная, куда девать руки, он пытался засунуть их в карманы штанов и был озадачен, когда карманные отверстия как будто закрылись перед ним.

— Держи руки по швам, когда разговариваешь со мной! — гаркнул мистер Джонс, ударив его по уху. Он совал грозный листок бумаги прямо ему под нос, щекоча, словно муха, и Робертсон получил затрещину по второму уху за то, что пытался отмахнуться от листка.— На тебя жалоба от одной особы, живущей неподалеку. Она утверждает, что ты разбил ей стекло футбольным мячом, а когда она вышла, осыпал ее грязной бранью.

Робертсон смотрел в сторону и молчал.

— Нн-у? — Мистер Джонс заорал так, что всей школе стало известно: старый Джонс опять разбушевался. Жилки на его лице тянулись крохотными лиловыми полосками, будто речки на тонко вычерченной карте, губы были совершенно бескровны.— Тебе нечего сказать, оболтус?

— Я не ругался, когда она говорила, сэр,— еле выдавил он из себя шепотом.

Бац!

— А это тебе за ложь. Я отучу тебя от грязной брани и лжи.— Он повернулся к учителю, неподвижно сидевшему за кафедрой на своем высоком стуле.— Дайте мне вашу указку, мистер Бейтс.

Виновному было приказано вытянуть вперед руку, но тот не шелохнулся.

— Ты оглох? — взвизгнул мистер Джонс.

«Он псих,— повторял себе Брайн.— Если б нам всем сразу на него наброситься, мы бы его в порошок стерли».

Робертсон слегка повернулся к классу, но никто не мог ему помочь, все сидели за своими партами среди мертвой тишины.

— Если не вытянешь руку сам, я тебя заставлю.

Он взмахнул указкой, изо всей силы обрушил ее на плечо Робертсона, но тот увернулся, бросился прочь, с неожиданной ловкостью открыл дверь и захлопнул ее за собой. Слышно было, как он стучит ботинками по улице — бежит под защиту своего безработного отца. Мистер Джонс швырнул указку и крупными шагами вышел из класса.

Брайн не слышал стихов и главы из Библии, которые затем читались на уроке. Когда играешь после уроков на улице, почти что у себя дома, до тебя все равно дотянется длинная рука мистера Джонса — кажется, его ярость способна настичь тебя даже за несколько миль от школы в спокойных полях за зелеными оградами кустов. На следующее утро появится перед тобой с палкой и листком бумаги, на котором стоит твое имя, и начнет выспрашивать, почему это вчера вечером ты разгуливал в поле, хотя на доске у ограды совершенно ясно сказано, что ходить здесь нельзя и нарушители караются законом, вернее, такими вот гадами, как старый дохлый Джонс.

■

Ноук был единственным местом, где Брайн чувствовал себя в безопасности. Всю осень в конце каждой недели он отправлялся туда, шагал через новый бульвар и поля. После уборки урожая закололи свинью и засолили к рождеству. На задней обложке старой тетради для записи белья, отправляемого в прачечную, Мэри составила список тех, кто выразил желание купить свинины. Брайн потом таскал нагруженную мясом корзину под железнодорожный мост, доставлял покупки и в дома в Рэдфорде.

Мертон назначил день, когда надо закалывать свинью.

— Пэрси приедет в три, так что я отдыхать наверх не пойду.

Брайн сидел за столом, лущил горох в миске.

— Дедушка, какую свинью будут резать?

— Пойдем со мной и увидишь.

Выходя, он взял свою палку, и когда шел по двору, Брайн впервые заметил, что плечи у деда слегка сгорблены. Может, ему уже очень много лет, подумал Брайн, вспомнив, что отец за глаза называл Мертона старым стервецом.

Уже в свинарнике Мертон сказал:

— Вот эту, пострел. Видишь ее?

Свиньи, розовые с черными пятнами, сбились в кучу подле корыта, повизгивая в ожидании, когда откроется дверка и внесут ведра с едой.

— Видишь? Жирная стерва, еле двигается.

Он отвернулся от них, стал крутить сигарету.

— Ей будет больно, дедушка, когда ее станут резать?

— Нет,— ответил Мертон, лицо его было скрыто табачным дымом.— Колоть будет человек, в этом деле понимающий. Сам я не могу, разрешения нет.

Он обернулся и двинул по заду одну из свиней за то, что та слишком настойчиво тыкалась пятачком в загородку, затем снял со стены стальную лопатку и помешал в большой лохани месиво из корок, старого картофеля, муки и отрубей. Брайн отодвинул задвижку, и свиньи, почуяв еду, завизжали и сгрудились возле пустого корыта, так что Мертон не мог до него добраться. Он поставил ведра.

— Дай-ка мне палку. Я отгоню этих тварей.

Месиво выплеснули в корыто, свиньи сбились в плотную кучу и, хрюкая, фыркая и сопя, принялись громко чавкать. Брайн смотрел как завороженный на корыто, пойло в котором убывало на глазах.

Мертон палкой отогнал от корыта ту свинью, которую предполагалось заколоть; она дико озиралась и визжала в углу, а остальные уже прикончили еду и поглядывали, нет ли еще. Казалось, для нее все вдруг померкло. В то время как остальные были вполне счастливы тем, что их не выделили в эту одиночку смертника, намеченная жертва ходила по свинарнику, опустив пятачок в землю, часто и нервно пофыркивая. Ее серо-стальные заплывшие глазки смотрели прямо перед собой, на загородку, о которую оперлись Мертон и Брайн. Затем она опять вернулась к корыту, все еще не веря, что ее обделили, надеясь, что ей только померещилось, будто ее отогнали для какой-то непонятной цели. Она все бродила, то и дело подходя к корыту и не переставая громко визжать от страха.

Приехал мясник, человек лет сорока, не шибко рослый, с коричневым сморщенным лицом и седыми усами. На нем была плоская засаленная кепка. Остановившись у двери в кухню, он закурил сигарету. Через раму его велосипеда был перекинут небольшой мешок, в нем он держал ножи и фартук.

— Особо торопиться некуда,— сказал Мертон.— Сперва чайку попьем.

Брайн пошел за ними в кухню.

— Дедушка, можно я буду смотреть?

— Ну что ж, смотри.

Бабушка это услыхала.

— Не надо, не пускай его, нехорошо это. Вырастешь, достаточно на кровь наглядишься.

— Ничего с ним не станется,— сказал Мертон.

Но Мэри не хотелось, чтобы Брайн видел. Ему потом будут сниться страшные сны, уверяла она, и Мертон согласился: может, что и приснится. Мэри предпочла бы, чтобы свиней закалывали на бойне, а не дома, ее пробирала дрожь, когда она слышала предсмертный поросячий визг. Поэтому она оставалась в гостиной и белела как мел, когда наносили смертельный удар. Она просто не могла не дрожать от жалости.

— Бедняжка,— бормотала она,— бедняжка...

На большой стол во дворе поставили широкую жестяную лохань. Пэрси разобрал ножи и сказал Брайну, чтобы тот потуже завязал ему тесемки фартука.

Из свинарника непрерывно неслись хрюканье и визг, будто свиньи каким-то образом учуяли кровь, уже смытую с ножа мясника. Из котла в прачечной натаскали несколько ведер кипящей воды и наполнили ею лохань на две трети.

— Если на эту будет много заказов, в следующем месяце заколю еще одну.

В этом году мяса требовалось больше, снова начинался спрос на рабочие руки.

— Вы знаете, где меня сыскать,— сказал Пэрси.

В лохань опрокинули последний столб пара.

— Я не обижу,— пообещал Мертон.— Для тебя хороший кусок найдется.

В курятнике было необычайно тихо. И даже собаки и кошки все куда-то исчезли — позже, когда начинали резать тушу, они обычно возвращались за подачками.

Брайну стало жутко от этой немой и непостижимой предопределенности. Каждая веточка на дереве рядом казалась значительной и будто

жила сама по себе, как это бывает перед грозой. Бабушка забыла, что он во дворе, и ушла в гостиную переждать там, пока все будет кончено. В том углу двора, где стоял Брайн, было пусто. Пэрси и дедушка ушли за свиньей. От тучи, надвинувшейся стеною, во дворе потемнело, и, как это ни странно, даже свиньи теперь уже больше не визжали. Брайн понимал, что сейчас самый удобный момент, чтобы улизнуть и в то же время не оказаться дураком в глазах деда, но он не в состоянии был зайти в дом, его приковала к себе мертвенная неподвижность поля, которое он видел через широкий просвет в зеленой изгороди.

Из-за угла послышался визг, возня, удар дедовой палки по спине свиньи. И тут двор наполнился хрюканьем и визгом всех свиней сразу.

Дед и Пэрси проволокли по земле обезумевшее от ужаса животное. Глаза свиньи, похожие на подшипники, уставились на то место, куда ее тащили, но глаза эти ничего не видели, собственный визг ослеплял ее. Свинья дергала ногами, скрытыми тучным телом. Мертон выругался и огрел ее палкой, которую все не выпускал из рук, но удары лишь убеждали животное, что инстинкт подсказывает верно, что оно идет навстречу страшной судьбе, и визг его стал еще пронзительнее. Всем остальным свиньям передался страх жертвы, они присоединились к ее воплям, словно ждали, что тут же последует и их черед.

Одним сильным рывком свинью подняли на стол. Мертон держал ее за задние ноги, Пэрси — за передние. Она смотрела неподвижно на клочок голубого неба, проглядывавший сквозь ветки ольхи. Затем вдруг повернула голову в сторону, и одновременно Брайн услышал шум проходящего поезда — будто это она обернулась, прислушиваясь к шуму. Пэрси потянулся к ножу с деревянной ручкой и занес его над горлом свиньи. Лезвие было изогнутое, напоминало серп. «Вот такой же был у Шейлока на той картинке»,— подумал Брайн. Рука мясника с силой опустилась, пронзила свиное горло и рванула нож в сторону. Отчаянный, режущий уши, почти человеческий крик пронесся над домом, заполнил собою все вокруг и мгновенно смолк, как свисток паровоза.

Кровь лила в подставленное ведро и почти наполнила его. Они подняли тушу, ставшую тяжелой, словно чугун, и опустили в лохань; вода, над которой клубился пар, тут же, как по волшебству, стала розовой.

— Ну вот, готово,— сказал Мертон.

Пэрси вытер нож о тряпку.

«Да, для того свиньи и существуют на свете»,— сказал себе Брайн. Ее тыкавшаяся в корыто морда теперь всего лишь мясо, которое сварят и съедят. Он вспомнил, как отчаянно свинья сопротивлялась. К горлу его подступили слезы. Но таков удел свиньи, он же сам это видел. Он зашел в дом.

— Уже закололи? — спросила Мэри.

Мертон разозлился, увидев, до чего она бледна.

— Ну, ясно, закололи. А что такое?

— Ничего.

Она налила в чайник воды.

— Вот опять старая история! — воскликнул Мертон.— Можно подумать, что я злодей, убийца. Столько аханья из-за такой ерунды. Ты что, не знаешь, что надо резать свиней, если хочешь, чтобы было мясо, а?

Брайн слыхал от матери, что подобный разговор повторялся каждый раз.

— Да знаю я. Но они так кричат...

Мертон взял с полки пачку «Малиновки» и протянул одну сигарету Пэрси.

— Пусть уж на себя пеняют. Мы режем их аккуратно, лучше некуда. Одно могу сказать: я бы сам не прочь помереть вот так же, раз — и нету.

После чая, когда уже зажгли керосиновую лампу, Мэри стояла в кладовке и солила свинину. На кухонном столе лежала огромная глыба соли, Мертон откалывал от нее куски, скалкой растирал их в порошок и насыпал в миски, которые Брайн забирал и относил в кладовку. С потолка свисали большие куски мяса такого чистого, что, казалось, жизнь в нем еще присутствует. Тазы были наполнены кровью и длинными кишками — на кровяные колбасы к завтрашнему дню. Вся жалость к свинье у Брайна исчезла, и только когда он ложился спать, ему вдруг послышался слабый отголосок тех предсмертных визгов, и они все время смешивались с паровозными гудками, вошедшими в его сны в ту ночь.

■

По всей окрестности рассыпались новые розовые дома. Люди с черно-белыми шестами и тетрадками в руках шагали через новые бульвары, по проулкам и полям, ставили теодолиты и нивелиры под хитрыми замысловатыми наклонами, направляя их на дальний лес, на Вишневый сад и дальше, туда, где жили Арлингтоны и Лейкеры, вторгались в потайные укрытия Брайна, стирая дорожки и скрытые тропки, по которым он срезал путь к Ноуку.

После геодезистов явились рабочие — целая толпа землекопов — и принялись сокрушать кусты изгородей, копать сразу же от бульвара прямые траншеи. Дорога от Рэдфорда перестала быть пустынной, теперь здесь корчевали деревья, рыли дренажные канавы, и первые вехи будущего шоссе прошли мимо Ноука на расстоянии в несколько сот ярдов.

Как-то Брайн вышел из дому вместе с Мертоном.

— Зачем они все это делают, дедушка? — Похоже было на кино, когда показывают картину о мировой войне: открытая местность, изрытая траншеями, протянувшимися до черной стены Змеиного бора.

— Надумали строить дома и лавки,— сказал Мертон, и по голосу его чувствовалось, что все это ему не слишком по душе.

— А почему они строят здесь, у нас?

— Видать, потому, что больше строить негде.

Он в сердцах двинул палкой по корневищу и ободранным веткам куста, словно злясь, что тот позволил вытащить себя и погубить так легко. Брайну нравилось, что вокруг идет стройка. Приедут люди с машинами, целые вереницы грузовиков привезут кирпич и известь. Вместо лесов и полей вдоль новых дорог появятся дома, они изменят всю карту местности, которую Брайн составил для себя в уме. При этой мысли он так и загорелся.

— Когда начнут строить?

— Еще не скоро, пострел. Сперва надо очистить землю. Потом небось проложат сточные трубы. Пройдет, пожалуй, не один год, прежде чем соберут первый дом.

Но Мертон ошибался. Сады и огородики, футбольная площадка, хлебные поля — все очень быстро исчезало, побежденное силами разрушения. Однажды в субботу Брайн выглянул из окна спальни и увидел, что неподалеку от Ноука с огромных грузовиков сбрасывают на землю канализационные трубы. Возле бульвара уже виднелись кирпичные фундаменты будущих построек.

Ситону удалось наняться на строительство фабрики у окраины города. Требовалась даже сверхурочная работа, и в хорошую погоду его не бывало дома по двенадцати часов. В первый же день Брайн понес ему бидон с чаем и увидел, как Ситон вместе с остальными рабочими лопатой ссыпает песок с грузовика. Отец помахал ему рукой и подошел к забору, где ждал Брайн. Черные волосы Ситона были упрятаны под новую кепку, одет он был в слишком просторную для него рабочую

куртку. Ему удалось вырвать у десятника плату вперед, целый фунт, и он сунул деньги в руку Брайна.

— На, милок. Передай маме и скажи, что в пятницу будет еще целая куча денег.

Он вернулся к работе. Брайн крикнул ему на прощание и ушел, не стал смотреть на отца в то время, когда тот работал: еще, чего доброго, рассердится.

Из властелина, каким он был дома, отец стал вдруг рабом, которого схватили и поставили в толпу посторонних людей, и для Брайна он как будто утратил свою значительность.

И все-таки оно стоило того, соглашались все, потому что теперь в доме бывало больше еды. И больше денег. Но хотя прежде предполагалось, что именно отсутствие их и вызывает ссоры между отцом и матерью, вскоре стало ясно, что ссоры не прекратятся: ругались уже по привычке. Ситон как родился с тяжелым характером, так с ним и умрет, а Вера никогда не могла настоять на своем, была беззащитна перед мужем, как прежде перед отцом. Единственное, что она действительно умела, это тревожиться и тосковать, считая, очевидно, что не очень-то много хорошего получила от жизни и никогда ничего от нее не получит. Если не было конкретного повода для тревоги, она скучала, искала его, и почти всегда находилось что-то, из чего можно было сделать проблему. Дом был совсем невелик, у нее оставалось свободное время. Но вместо того, чтобы шить самой или чинить старую одежду, она считала, что проще пойти и купить дешевенькую новую. Руки у нее были неловкие, неуклюжие. Дыры и прорехи, требовавшие заплат, она кое-как стягивала ниткой. Хотя нужно было и постирать и приготовить еду, все-таки оставалось время для тревог, часто по самому ничтожному поводу. Иногда все члены семьи оказывались вовлеченными в бурную ссору из-за пустяков. Летели кастрюльки, шли в ход кулаки, и каждый, начиная от отца и матери, замыкался в себе, преисполненный обиды и горечи, но через несколько часов пыл в крови остывал и все опять оказывались вместе, одной счастливой семьей.

Брайн вторично долго откладывал деньги, на этот раз уже почти не таясь, и купил еще одну книгу, «Отверженные». Он прежде слушал, когда ее главами передавали по радио, и был потрясен грандиозными неожиданностями сюжета. «Девятнадцать лет за одну булку!» — эта вопиющая правда жизни вознеслась над мирными водами и непотревоженными джунглями, скрывавшими кровожадных искателей удачи «Острова сокровищ», и заглушила дурацкий крик попугая: «Пиастры! Пиастры!» Полный борьбы жизненный путь и смерть Жана Вальжана, преследуемого полицией, неуязвимого под пулями на баррикадах, пронесшего на своих плечах раненого через весь лабиринт парижской клоаки, казались Брайну реалистическим эпосом. Это была борьба между простым человеком и полицией, державшей его в тюрьмах за то, что он когда-то украл булку для детей своей нищей сестры. И после всех ужасных мытарств для человека, не желавшего быть отверженным, смерть была той единственной свободой, которую позволил ему найти автор этой горькой и мрачной книги. Хороших от дурных отделить было просто. На одной стороне Тенардье и инспектор Жавер — оба против равенства людей, потому что Тенардье нужны богачи, чтобы он мог их обкрадывать, а Жаверу — бедняки, чтобы их преследовать. На другой стороне — Козетта, Фантина, Гаврош, Жан Вальжан, Мариус Понмерси — юные, угнетаемые и революционеры,— все те, кто не принимал жизнь, где хозяйничают Тенардье и Жавер. Баррикады подвергались штурмам, повстанцев убивали, а книга читалась и перечитывалась снова и снова.

На этот раз дома встретили книгу миролюбиво.

— Как! — сказал Ситон со смехом.— Вот сукин сын, опять купил книжку. Ну и ну. Мне бы стать таким умником-разумником. Ну прямо-таки кладет меня на обе лопатки своей ученостью!

Он дал Брайну четыре пенса, чтобы тот посмотрел фильм, сделанный по этой книге, и, когда Брайн вернулся домой, заставил его все пересказать.

Ситон сидел у огня, и на загнетке перед ним стояла кружка чая. По радио передавали репортаж о футбольном матче — Вера выключила приемник, чтобы не мешал шум, и снова принялась за штопку носков. Горел свет, и слышно было, как в спальне Артур играет молотком.

— И когда Жан Вальжан вернулся к мосту, потому что хотел сдержать свое обещание,— рассказывал Брайн отцу,— Жавера там уже не было. А когда он заглянул с моста в воду, то увидел, что Жавер (его играл Чарлз Лаутон) сиганул вниз и утопился. Тут картина и кончается, а в книге после этого еще много всего написано. Рассказать, как кончается в книге?

— Он больше слушать не хочет,— сказала Вера, и тон ее смутил Брайна, он не понял, серьезно она говорит или шутит.

— Ну как, пап, а?

— Конечно хочу, сынок. Говори.

Брайн досказал все до конца. Он тщательно выговаривал французские имена, а Маргарет стояла перед ним и насмешливо улыбалась. Ее язвительный взгляд скоро достиг своей цели.

— Можно со смеху помереть, когда слышишь, как Брайн выговаривает все эти чудные слова.

— Посмейся только, я тебе так всыплю,— сказал Брайн.

— Получишь сдачи, дам как следует папиным велосипедным насосом, увидишь.— Она подобралась поближе к окну и уже оттуда, в большей безопасности, наблюдала за его растущей яростью.— Воображает, что умеет говорить по-французски. Я могу еще получше тебя.

Она затараторила, изображая иностранную речь.

— Слушай, ты это лучше оставь,— сказал Брайн угрожающе.

— Будет вам,— сказал отец.

На минуту Маргарет умолкла, но чем страшнее ей становилось, тем отчетливее какой-то внутренний голос говорил: Брайн знает, что ты испугалась, а ты дразни его, докажи, что не боишься.

— Подумаешь, ученый! — крикнула она.— Только и умеет, что книжки читать.

— Оставь его,— вмешалась Вера,— не то сейчас встану и...

Брайн почувствовал, как у него задергался рот — он даже подумал, что все это видят. Может, и в самом деле есть нечто постыдное в том, что он читает и старается правильно произносить по-французски, умеет писать, чертить карты — будто этим он ставит себя выше остальных. Он понимал, что ему следует отнестись равнодушно к поддразниваниям, но они задевали его слишком глубоко. Он стоял возле стола, в нескольких шагах от своей мучительницы.

— Глядите-ка, сейчас заревет! — протянула Маргарет.

— Сейчас ты у меня сама будешь реветь, если не заткнешься.

Ситон встал со своего уютного места возле камина.

— Хватит, не то обоих отправлю спать, с глаз долой! Вечно вы двое грызетесь.

— Она первая,— сказал Брайн с горечью.— Всегда заводит ссору.

— Нет, папа, не я первая,— возразила она.— Это он. Все читает без конца свои книжки, скоро совсем спятит.

Она слышала, что так говорили родители, и слова ее как ножом резанули Брайна.

Он подбежал, быстро ударил ее и помчался к двери, прежде чем отец успел схватить его. Он был уже на улице и, проходя мимо окна, слышал, как плачет Маргарет, а отец говорит:

— Ну, пусть только вернется, сукин сын, я ему покажу.

Но Брайн не возвращался целых два часа, и за это время все успели забыть его выходку — все, кроме самой Маргарет. Родителей не было дома, она показала ему угрожающе сжатый кулак с противоположного конца стола, когда он отрезал себе хлеба. Вскоре они вместе играли в игру «дальше всех».

Иногда утром Ситон оставался глухим к стуку в дверь, предупреждавшему, что пора на работу, и даже к Вериным попыткам поднять его.

— Вставай же, Хэролд, ведь опоздаешь. В дверь уже давным-давно стучали.

При третьем толчке он бубнил из-под одеяла, что сегодня он не пойдет.

— Ну, брось лодырничать,— уговаривала Вера.

Он снова засыпал, бормоча:

— Не пойду я, к чертям...— Он хотел показать, что уж если лишился дневного заработка, то во всяком случае насладится тем, что будет валяться в постели, сколько влезет. Позже, уже за завтраком внизу в кухне, он говорил:— Шесть лет без меня обходились, обойдутся теперь один-то день. Я под их дудку плясать не стану.

— Вытурят тебя — и все,— отвечала Вера, убирая со стола посуду.

— Не вытурят. Скоро война. И принеси-ка обратно мою кружку, хочу еще чаю.

Подобные случаи повторялись не настолько часто, чтобы вызывать тревогу. Вера знала, что Ситон не лодырь, знал это и он сам. Трудолюбие было у него в крови, но с того времени, как его приговорили к пожизненному пособию, ему не так-то легко было начинать другую жизнь. В те дни, когда Ситон не выходил на работу, Брайн, возвращаясь из школы домой, заставал отца в более мрачном, злобном и свирепом настроении, чем это бывало с ним даже в дни самой отчаянной нужды, когда они жили на пособие.

■

Как-то в понедельник утром мистер Джонс не пришел в школу: из класса в класс передавали весть, что он болен, простудился, когда в пятницу, возвращаясь домой, попал под дождь. Занятия шли как обычно, только без всегдашнего нервного напряжения. «Почему бы ему вот так не сидеть себе дома? — рассуждал Брайн.— Совсем и не нужен никакой директор». Уроки проходили приятно, но в течение этой свободной недели Брайн иногда все же ждал, что вот сейчас, собрав всю свою злобу, появится, как привидение, мистер Джонс, еще больной, и сразу спугнет радость в классе уже одним тем, что вдруг покажется за стеклянной дверью его страшная рожа. Во всяком случае, Брайн побаивался, что после драки, происшедшей в конце недели, кто-нибудь из родителей, чей сын явился домой с рассеченной бровью, донесет об этом в школу. И тогда мистер Джонс ворвется в класс во время урока закона божия и начнет вычитывать имена в списке, размахивая им перед классом. И первым в этом списке будет Брайн Ситон.

Но мистер Джонс не показался и на следующей неделе. Во время перемены во дворе не слышалось всегдашнего оглушительного гомона, больше было смеха и меньше расквашенных носов. Один раз Брайн пришел в школу раньше обычного — была его очередь вносить показания термометра и барометра в диаграмму на стене. В классе уже сидело несколько учеников, они негромко разговаривали между собой, но, как

видно, что-то случилось, потому что двое из них, казалось, вот-вот заплачут, а у одного и в самом деле текли беспомощные слезы, будто ему пустили в глаза папиросный дым. Это был староста, и остальные тоже все любимчики мистера Джонса, ни разу не испытавшие на себе его ярости. Они, впрочем, терпели общество Брайна — на экзаменах его отметки часто бывали не ниже их собственных.

— Что там такое, Джонсон? — спросил Брайн, трудясь у диаграммы.

— Мистер Джонс умер,— ответил Джонсон.

При мысли о такой возможности Брайн просиял — ему сразу представилась длинная вереница легких уроков.

— Брось меня дурачить!

— Я не дурачу. Он правда умер.

— Да, это верно,— сказал кто-то еще.— Умер прошлой ночью от воспаления легких.

Покончив с диаграммой, Брайн кинулся из класса и встретил Джима Скелтона, когда тот входил во двор. Брайн принялся тискать Джима, обнимать, пустился в пляс.

— Что такое? — спрашивал Джим.— Что стряслось?

— Джонс окачурился,— сказал Брайн.— Сдох, честное-пречестное слово, провалиться мне, если вру.

Рыжие волосы Джима развевались от ветра.

— Ах ты брехун несчастный! Заткнись, все равно не поверю.

Брайн рассмеялся.

— Вот и я им в классе так же сказал, но это правда, правда. Схватил воспаление легких и окачурился. Мне только что сказал Джонсон. Не веришь, так зайди в класс, увидишь и его и всех его дружков, как они там все хнычут.

Джим наконец поверил. Оба были готовы плакать от добрых вестей точно так, как те в классе плакали от дурных.

— Ну, Брайн, давно ему пора, верно? — Он вытащил из кармана пакетик с шариками.— Давай поделим их и сыграем, а?

Были прочитаны молитвы, устроили сбор пожертвований на подобающий венок; Брайн опустил в кружку полупенсовик. Затем объявили, что каждого школьника, желающего присутствовать на похоронах мистера Джонса, освободят от половины уроков. Брайн мысленно все взвесил и решил, что не стоит. На похороны ушли трое учителей, и в школе чувствовалось сдержанное ликование.

II

Похожая на пушечное жерло пасть бетономешалки заглотнула воду, гравий, цемент и песок. Когда эти составные части были тщательно перемешаны и превращены в серую массу, пасть, не переставая вращаться, поднялась кверху и некоторое время оставалась там, словно машина раздумывала: не выплюнуть ли все это в безоблачное небо? Затем, будто вспомнив о своей скромной и твердо закрепленной обязанности, досадливо дрогнула, обратилась пастью в сторону, противоположную той, где был Брайн, и послушно вывернула свое цементное нутро в громадный чан.

Брайн продолжал шагать, сгибаясь под тяжестью четырех синих бидончиков с обжигающе горячим чаем. Дверные и оконные косяки из новых, только что выструганных досок пахли скипидаром и смолой, источали свежесть, которую плоть, оживающая весной, вбирала в себя с особой жадностью. Рабочий, поливавший из шланга кирпичи, сложенные штабелем, крикнул:

— Эй, мальчуган! Мне чай принес?

Брайн остановился.

— А как твоя фамилия, приятель?

— Мэтью. Вон мой бидон, вот этот.

Поначалу Брайну было нелегко удержать в памяти, кому какой бидончик принадлежит. Собирая порожние посудины, он запоминал три-четыре лица их владельцев, но когда снова приходил на участок, стоял, мучительно пытался разобраться в синих бидончиках, делая вид, будто остановился только на минутку взглянуть, как продвигается работа. Тут кто-нибудь окликал его, требовал свой чай, и он отдавал бидон: ошибки быть не могло. Но к тому времени, когда Брайн постиг удобство такой системы, он уже почти всех рабочих знал в лицо.

Мэтью стянул с руки Брайна свой бидончик.

— Скажи бабке, что уплачу в ту пятницу.

— Ладно. Только если она не согласится ждать, я вернусь за деньгами.

Он огляделся.

— Вот как! А ты, я вижу, малый не промах, свое не упустишь.

— Приходится, что поделаешь.

— Это верно, с некоторыми, скажу я тебе, иначе нельзя. А сколько сам ты получаешь с этого, а?

— Бабушка каждую субботу дает мне шиллинг.

— Неплохо в твои годы.

Так все летние каникулы Брайн и таскал взад и вперед бидончики, бегал в Вудхауз за чаем и сахаром, а по пятницам собирал со всех деньги. Границы полей исчезали под колеями автомобильных колес и грудами кирпича, за весну дома так поднялись от земли, будто росли вместе с травой. Некоторые, стоявшие возле бульвара, были почти достроены, только чердаки все еще были распахнуты, словно палатки. Казалось, их побуждают расти фабричные трубы в дымном городе позади — высокие шесты-тотемы. Трескучий стук бетономешалок сливался в жарком летнем воздухе с криками горластых петухов в Ноуке, и зелень живых изгородей у калиток была покрыта цементной пылью.

Ноук вдруг засиял электричеством, получил и другое благо — водопровод вместо колодца. Коромысло теперь бесполезно висело на стене прачечной, став лишь напоминанием о прошлом. Поверхность земли в округе менялась, покрываясь, как память, новым слоем, хотя Брайн, шагая по только что вымощенной дорожке, подумал, что земля-то вот она, хоть и скрыта под бетоном, и не так уж трудно добраться до нее.

На заработанные деньги он накупил романов, словарей и карт, перерыв все ящики с трехпенсовым товаром в подвале лавки букиниста. Отец сколотил полку и повесил в спальне, чтобы книги не захламляли кухню. Книги составляли особую часть жизни Брайна, отделенную от действительности щелью, узкой, как острие перочинного ножа: он мог без труда перешагивать через нее туда и обратно. Мир книг было легко защищать, Брайн был в нем один, без соперников, хотя этому миру иногда угрожал возмущенный взгляд отца, если книжки валялись на столе, когда подходило время пить чай или ужинать.

От площадки, где закладывали фундамент, Брайн с последним бидончиком в руке прошел дальше. Наконец он добрался до того места, где стены были уже возведены и стояли в лесах. Он смотрел, как по шаткой лесенке поднимается с лотком кирпичей высокий, худощавый рабочий — ловкий, с отличным чувством равновесия и, по-видимому, бесстрашный. Кто-то с верхней площадки крикнул ему, чтобы он был осторожнее, но тот в ответ только помахал рукой и, пройдя последние несколько ступенек уже не держась, в заключение выкрикнул несколько крепких словечек. Брайн силился вспомнить, где он слышал этот голос, видел эту тощую фигуру. Он стоял и глядел, как рабочий разгружает

лоток и дружелюбно, несмотря на то что минуту назад бранился, переговаривается с каменщиками наверху. Вот он снял кепку, почесал затылок и начал спускаться по лестнице, вертя, словно булавой, пустым лотком. Один из каменщиков крикнул другому:

— Уж очень наш Эгер жаден на работу. Первого такого вижу, чтоб так ловко шагал по лестнице, а ты?

— Пусть все-таки не очень-то храбрится. Говорят, на прошлой неделе на стройке возле Билборо один парень сломал себе обе ноги. Ну уж, конечно, сорвет неплохую компенсацию.

Эгер направился к штабелю дымящихся кирпичей, и Брайн решил подойти поближе, заговорить.

— Здорово, Эгер.

— Здорово, малыш.

Только глянул, и все. Эгер был такой же бодрый и тощий, его изрезанное морщинами лицо носило следы тяжелой работы на открытом воздухе, но внутреннюю его сущность она изменила мало. Впрочем, теперь он держался как-то свободнее, увереннее, чем год назад на свалке Санпасти — на поле битвы, более суровом и сулившем меньше побед. Ироническое, а порою загнанное выражение лица почти исчезло, но глаза остались такими же проворными и живыми, как его руки и ноги, когда он взбирался по лестнице.

— Ты уже больше не ходишь на свалку?

У Брайна мелькнула мысль: как бы не получить сейчас затрещину — ведь Эгер мог подумать, что это он, Брайн, а не Берт утащил у него в тот давно прошедший день лучший его скребок.

— Нет, с тех пор как нашел работу, не хожу. Мне, малыш, не хотелось всю жизнь торчать на помойке. Да и жена у меня умерла.— Он разговаривал с Брайном, как с взрослым. Брайн удивился: какое отношение имеет смерть жены Эгера к тому, что он достал работу? Брайн поглядел на лоток и подсчитал, что на него уложилось двенадцать кирпичей.— Так я уж решил: пора с этим кончать. Теперь выколачиваю шиллингов пятьдесят в неделю, не меньше.— Брайн услышал гордость в его голосе. Отец Брайна теперь тоже не безработный, а раньше сидел без дела — на рабочие руки спроса не было. Почему Эгер не сказал этого? — На свалке рыться — это, малыш, дело нелегкое, а здесь можно наскрести побольше.

Вот и все, что он сказал.

■

Мертон был недоволен тем, что приходилось выбираться из Ноука, он так и сказал Тому, квартирному агенту, когда тот явился за квартплатой. Мэри приготовила на столе расчетную книжку и на открытую страницу под чертой, подводящей итог, положила четыре кроны и шесть пенсов.

— Я думала, нас еще год или два не тронут,— сказала она.— Столько хлопот было проводить электричество и воду, и все зря.

Том сгреб деньги и записал внесенную сумму в книжку.

— Площадь им нужна, вот в чем дело. До самой железной дороги и дальше за лесом.

— Да, аппетиты у этих стервецов ничего себе,— проворчал Мертон.

Он стоял у окна — высокий, с коротко остриженными седыми волосами худой старик в черных брюках от старого костюма и тщательно начищенных высоких сапогах на шнурках. Он уже покончил со своей почтенной работой кузнеца, длившейся пятьдесят с лишком лет, и теперь всю энергию отдавал другому: возился в саду, колол дрова, ходил за свиньями и птицей и, по его словам, не очень себя утруждал. Для Брайна

работы не оказалось, Мертон сам хватался за все, как будто на протяжении полусотни лет тяжкого труда еще не изжил яростного буйства, как будто рожден он был не для того, чтобы жить, но чтобы атаковать жизнь, усмирять ее киркой и молотом, проламывать себе через нее путь и в конце его свалиться, завидев факел смерти, горящий ярче света дня. Но впереди у него были еще долгие годы жизни. Он стоял не горбясь, голубые глаза его не отрываясь смотрели в окно, они видели все, ничего не пропуская. Их злобный, недоверчивый взгляд был прикован к доскам, кирпичу и мешкам с цементом, валявшимся неподалеку как попало, прямо на земле. Он снова повернулся к чашкам, в которые Мэри уже налила чай.

— Да, я, признаться, ожидал этого,— проговорил он.

— Дела обстоят не так уж скверно,— ответил Том, который отказался присесть и пил чай стоя.— Для вас приготовлен другой дом в Вудхаузе на Уэйн-стрит.

— Что ж, спасибо и за это,— сказала Мэри.

— И к тому же он в двух шагах от пивной.

У Тома было лицо карлика, на голове форменная фуражка. Казалось, по щекам у него бегут вниз высохшие русла рек и сходятся вместе у острого подбородка. С лица Тома не сходило озабоченное выражение, он старался всем угодить — был самолюбив и хотел, чтобы его считали славным малым и не потешались над ним. Он застегнул макинтош.

— Спасибо за чай, миссис Мертон. Еще месяц-другой поживете тут, о переезде подумать время есть .

И Мертон думал, и, поскольку давно предвидел необходимость переселяться, это задевало его не так уж сильно, как он всем давал понять. Жить среди лавок и пивных, поближе к автобусным станциям, откуда идут автобусы в город,— все это обещало приятные перемены. Лидия была того же мнения: хватит с нее шлепать по грязному проулку и под пустынным мостом в темные ночи. Мэри говорила, что их дом всю зиму стоит, как на кладбище, а теперь все ж таки заведутся соседи, знакомые. Мертона больше всего раздражало то, что при новых домах малы участки.

— Видел я их,— ругался он.— За нуждой выйти некуда.

Новый дом стоял посреди длинной улицы, населенной главным образом шахтерами, работавшими на шахтах Уоллатона. Мертон распродал все, что можно, и перебрался в новое жилье. Джордж и Лидия радовались не только тому, что здесь жить удобнее, ближе к городу, но и тому, что теперь Мертон не сможет наваливать на них столько поручений, как в Ноуке. В конце дня Брайн отправился в первый раз навестить всех их на новом месте, прошел по шоссе, спустился вниз и двинулся дальше вдоль канала. Он не застал дома никого, кроме бабушки, дремавшей у огня. Он сел на диван и стал дожидаться, пока она проснется. В кухне все было расставлено в точности так, как в Ноуке, и носился такой же смешанный запах чая, пряностей, лучины для разжигания камина, табака, печеного хлеба и тушеного мяса. На полке возвышались медные подсвечники рядом с двумя черными с белым фарфоровыми собачками, которые напомнили Брайну Джипа, каким тот был прежде, до того, как дедушка его убил; между сувенирами из курортных городков — Кромера, Скегнесса, Клиторпса и Лоустофта — разместились белые кувшинчики и вазочки. На стене висела на гвоздике лупа, поджидая, когда Мертон вернется с прогулки и, низко склонившись над столом, будет рассматривать через нее фотографии в свежем номере «Ивнинг пост». Брайн давно лелеял мечту одолжить у деда эту лупу, чтобы, пропуская через нее луч солнца, зажечь кусок бумаги. На другой стороне комнаты стоял буфет со стеклянными дверцами, там был расставлен чайный сервиз.

Бабушка чихнула и проснулась.

— А, Брайн, я и не слышала, как ты вошел. Здравствуй.

— Я стучал, бабушка.

Она взглянула на часы.

— Пора готовить чай, скоро все придут. Не то еще, пожалуй, получу расчет.

Брайн отпихнул ногой кошку, усевшуюся поближе к огню.

— Бабушка, принести угля из подвала?

— Да, вот это ты можешь сделать, принеси. И уж сразу два ведра возьми, будь умником, дедушке не придется потом таскать.

Насвистывая, гремя по ступенькам, он бегом спустился в подвал. Сквозь решетку пробивалось солнце, освещая множество кусочков угля на полу возле аккуратно сложенной угольной кучи, но Брайн потянул сверху здоровенную, не легко поддавшуюся глыбу весом в полсотни фунтов и расколол ее молотком на куски. Наполнил ведра углем и потащил наверх.

— Мой руки, сейчас угощу тебя пирогом с вареньем, — сказала бабушка.

По стенкам белой раковины текли черные ручьи, от рук приятно пахло карболкой. Стол уже был накрыт, Брайна ждала чашка чая и большой кусок пирога.

— Подвигай стул, садись и угощайся,— сказала Мэри. На двери загремел почтовый ящик, в который только что упала «Ивнинг пост». Мэри пошла за газетой.

Брайн прервал ее чтение:

— Хочу завтра пойти в Ноук, погляжу, что там делается. А потом в Вишневый сад, повидать Кена и Альму Арлингтон.

Газета с шуршанием опустилась к Мэри на колени.

— Увидишь, как там все теперь по-другому. Дом наш уже сломали. Я слыхала, что и Арлингтоны скоро будут перебираться.

На этот раз он ночевал дома, и, когда на следующее утро проснулся, с одного бока у него лежал Фред, с другого — Артур. Брайн спихнул со своей спины коленку Артура и вспомнил, что собирался пойти в Вишневый сад. Час спустя он уже шагал по улице, прошел поле и свернул к Новому мосту. Он поглядел с него вниз и увидел, что, кроме поля у самого моста, все прежнее исчезло. Все стало иным. За широким новым бульваром стояли дома — в этой стороне продолжать исследования, очевидно, смысла уже не было. Можно идти и идти и так и не встретить никого из тех, кого Брайн знал,— он мог плутать в горах Дербишира, дойти до Уэльса, до Атлантического океана и не увидеть ни одного знакомого, дружеского лица, чтобы было кому сказать: «Привет!» или спросить: «Где дорога обратно в Ноттингем?»

На том крохотном лоскутке земли, который оставался еще нетронутым, он перепрыгивал через ручьи, перелезал через низенькие изгороди. В ложбинах и зарослях кустов прятались цветы, иногда они стояли под ветром на холмиках. Ветер трепал волосы Брайна, небо было почти все голубое. Вдалеке щипала клевер лошадь, и Брайн подумал, что, наверно, это та же самая, которая паслась здесь все эти четыре года, когда он проходил через поле в Ноук.

Он пересек бульвар и вышел на улицу с новыми домами: с того места, откуда надо было сворачивать к Ноуку, он не увидел ни дыма, ни крыши. Кусты изгороди были сломаны, калитка сорвана с петель, и вместо стен цвета охры глаз его встретил пустое пространство, а за ним — густую черную тень еще не тронутого леса. Крапива и колючие кусты хватали Брайна за ноги, от дома осталась только фундаментная кладка. Брайн вошел туда, постоял и посмотрел, потом стал ходить от кухни к гостиной, спустился в кладовку — все было завалено кирпичом, грязью и осколками стекла тех окон, из которых Брайн видел чудесные поля и сады. «Немного времени понадобилось, чтобы разорить Ноук»,—

подумал он и представил себе, как это происходило: начали с труб и крыши, все сплошным потоком летело вниз во двор, затем, уже медленнее, принялись разваливать стены, и грузовики увезли весь хлам прочь.

Сад превратился в джунгли. Брайн дошел до колодца у самой изгороди — колеса, такого, как на картинках в сказках, у колодца уже не было. Брайн стал бросать камешки в непотревоженную глубину. Шум падающих камней заворожил его, он лег грудью на край колодца,— миром и покоем дышали секунды, пока камешек, выскользнувший из руки Брайна, успевал удариться о водную глубь внизу.

В Вишневом саду все оставалось по-прежнему, город сюда еще не добрался. Шум машин уступал место птичьему свисту и шелесту клонящихся под ветром кустов. Тишина испугала Брайна. Вдалеке он различил два домика, Лейкеров и Арлингтонов, но, подойдя ближе, не услышал привычного скрипа насоса у водокачки.

И здесь калитки были сломаны, двери заколочены досками. Трубы свалились набок, будто это мальчишки подбили их, запустив кирпичом. Брайн стоял, не шевелясь, не в силах разобраться в своих мыслях, слишком глубоких, чтобы можно было их выудить крючком сентиментальности. Исчезновение друзей встревожило Брайна. Из леска неслись птичьи голоса, но нигде не хрустнула ветка под ногой кого-нибудь из ребятишек.

Брайн вошел в лес. Куда девались Лейкеры и Арлингтоны? Он знал Ноттингем и окрестности на несколько миль вокруг, но дальше все оставалось неисследованным. Мысль его скользнула куда-то за край света, как то бывало в старые дни с моряками, не имевшими карт. «Но ведь есть еще и другие фермы,— думал Брайн,— другие города, леса и поля, горы и океаны, простирающиеся все дальше и дальше, и, если идти и идти, в конце концов вернешься к тому самому месту, где сейчас стоишь».

Вода в ручье была прозрачна. Брайн перепрыгнул через него. Куда уехали его друзья? Когда ему было три года, он ездил поездом в Скегнесс и смутно помнил ритмичный стук колес и зеленый туман полей за окном. А потом вдруг на песок ринулось серое бурлящее море. Брайн проводил пальцами по желтым шишечкам сладко-горького паслена, не замечая, что топчет вику. Наверно, перебрались в новую деревню. «Вот бы мне уехать далеко-далеко, в джунгли, в горы, на острова. А дома потом нарисовать карту». Он рвал листья с куста бузины и растирал их в руках, окрашивая соком ладони.

Он улегся на траву, чтобы как следует напиться из ручья, раскинул ноги и уперся голыми коленками в сухие земляные кочки. На дне лежали всякие разноцветные камешки, а между ними — песок и зеленые листья водорослей. Похоже, как наверху на земле,— миниатюрный мирок под стеклом, не населенный ни пескарями, ни плотвой. Идеальная страна для тебя одного — только и ждет, чтобы ее исследовали и заселили. Брайн глотнул воды и выпучил глаза, почувствовав, как в желудок ему скользнули холодные, как камень, водяные струйки.

Он вышел на тропу и пошел, поддавая ногой камни, лихо забивая гол за голом в воображаемые, лишенные защиты футбольные ворота. И вдруг выскочил из леса, кинулся к новой дороге и оттуда через поле к железнодорожному пути — сел на пень и стал смотреть, как мчится, пролетая мимо, экспресс. «Наверно, в Скегнесс,— подумал Брайн, забыв пересчитать вагоны.— Вот бы мне сейчас ехать в этом поезде».

Фундаментная кладка Ноука еще долго оставалась под открытым небом: не хватало рабочих рук и материалов продолжать стройку новых домов — началась война. Кладка была отчетливо видна до конца войны. Брайн только тогда увидел, что она скрылась под грудами строительного материала, когда вернулся из Малайи, но к этому времени исчезновение следов старого воспринималось им как нечто положительное.

(Продолжение следует)

Песни гнева

Вступление и перевод с вьетнамского
МИХ. МАТУСОВСКОГО

Американские солдаты в железных касках, с автоматами в руках стоят, широко расставив ноги, в классических позах завоевателей. А у их ног лежит полуголый юноша, почти мальчик, убитый этими чужими солдатами, пришедшими на землю Южного Вьетнама. Сколько мы видели таких фотографий за последние годы? Профессиональные убийцы любят фотографироваться рядом со своими жертвами. Разве не напоминают эти страшные снимки карточки, которые мы находили на фронте у пленных гитлеровских солдат в военное время? Почти каждый день читаем мы в газетах телеграммы, рассказывающие о том, как американцы и солдаты временщика Нго Динь Дьема бесчинствуют в Южном Вьетнаме — сжигают селения и посевы, убивают стариков, детей и женщин.

Но удивительное чудо свершается на наших глазах: хорошо обученные и обмундированные солдаты Нго Динь Дьема и их опытные инструкторы, вооруженные современной техникой, передвигающиеся на вездеходах по земле и спускающиеся с неба на вертолетах, не могут справиться с воинами южновьетнамской Армии Свободы.

Что же придает силы этим людям, терпящим во всем нужду, скрывающимся в глухих чащах и в складках гор и внезапно обрушивающим на врага свой огонь? Вера в правоту своего дела, вера в то, что весь Вьетнам должен стать свободным.

Наряду с самодельными гранатами и старыми простыми винтовками есть у этих людей еще одно оружие — стихи и песни, сложенные поэтами и самим народом.

Где-то в тенистых чащах, дышащих влагой и зноем, вполголоса поют люди песни о быстрых и смелых птицах, охраняющих их родные леса, о неувядающем красном цветке, о сильном дереве ко-ниа, питающемся живительными соками северных рек. Вместе с певцами Южного Вьетнама посвящают ему свои лучшие строки и поэты Севера — То Хыу, Те Хань и другие.

Так складывается эта замечательная поэзия наших дней — поэзия Сопротивления.

Мог ли я без волнения переводить эти строки, с которыми люди совершают походы, переправляются через быстрые реки, идут в трудные бои? Это ведь больше, чем стихи,— это свидетельство того, что человека нельзя запугать, заставить согнуть спину, отказаться от права называться человеком. Давайте же прислушаемся. Тише! Вы слышите, как сыны Южного Вьетнама поют свои песни — песни гнева, мужества и борьбы.

ТО ХЫУ

Как быть спокойным?

Я хотел бы писать спокойно и плавно,
но как же я смогу,
Если строки мои, объятые пламенем,
спотыкаются на бегу?
Как спокойным быть, если даже ночами
не приходит ко мне забытье,
Если боль и тревога не утихая
раздирают сердце мое?
Ах, какое сегодня свежее утро,
как был ясен вчера закат,
Как беспечно алеют цветы фыонга,
как цикады в траве трещат!
Как шумит толпа на проспектах Ханоя,
как он летним лучам открыт!
Но опять я слушаю вести с Юга,
и опять мое сердце горит!

Как спокойным быть, если каждый выстрел,
прогремевший в той стороне,
Поражает меня прямым попаданьем,
убивает что-то во мне?
Вот опять меня будит голос радио,
и гадаю я в этот миг:
Кто из близких убит, кто исчез бесследно,
кто остался еще в живых?
«Снова грохотом вертолетов
был встревожен ночной покой —
Снова высадился южнее Сайгона
батальон пехоты морской.
Вновь на запад от города Хюэ
батальон совершил бросок...»
Снова с Юга приходят вести...
Снова кровь течет на песок.
Как могу я писать о деревьях и птицах,
сохраняя спокойный вид,
Если даже травинка и та трепещет,
когда ветер с Юга летит?
И когда я слушаю вести с Юга,
я надолго лишаюсь сна.
О земля, что вошла глубоко в мое сердце,
о небесная голубизна!
О кокосовых пальм поникшие листья,
о знакомой реки поворот,—
Там, где лодочник, переправляясь украдкой,
нашу старую песню поет.
Чья там лодка скользит осторожно
через заросли тростника,
Кто плывет с винтовкой наизготове,
чья лежит на весле рука?
Эй, дружище, веди осторожнее лодку —
в этих плавнях коварен рассвет.

Знай же, лодочник, наши сердца повсюду
за гобою спешат вослед.
Помоги нам вернуться на эту землю,
пробиваясь сквозь тростники,
Захвати нас, лодочник, вместе с собою
к берегам Ароматной реки.
Помоги нам причалить к берегу Бо,
чтоб увидеть родной простор,
Чтобы снова обнять своих матерей
и утешить своих сестер.
Помоги нам добраться к складам врага
и взрывчаткою их рвануть
И к далеким тропинкам ущелья Хай-ван
укажи нам надежный путь.

О земля моя, Родина! Имя твое,
как молитву, твержу я вслух.
Я не знаю чудеснее края, чем ты,
мой несчастный, мой гордый Юг.
Там, где наши отряды спускались с гор,
не страшась на пути преград,
Там сегодня обломки сгоревших стен
в грозовой тишине стоят.
И к любым испытаниям я готов,
к самым трудным готов делам,
Когда вижу Отчизны моей чело,
рассеченное пополам.

ТЕ ХАНЬ

Трудно честному человеку

Белое
Там называют черным,
Черное
Там называют белым.
Мрак
У них именуют светом.
Свет у них называют мраком.
Самых отпетых убийц и бандитов
Там выдают за народных героев.
А подлецов, продающих Отчизну,
Там объявляют людьми доброй воли.
Даже последнюю потаскуху
«Вашим сиятельством» называют...

В том краю, где сегодня в силе
Власть американцев и Дьема,—
Трудно, невероятно трудно
Выжить честному человеку!

ЗИАНГ НАМ

Мы нашу плоть и нашу кровь в обиду не дадим!

В тот вечер наши малыши из школы не пришли.
Напрасно, ожидая их, костер пылал вдали.
Напрасно факелы во тьме им освещали путь.

Никто всю ночь не мог прилечь, никто не мог уснуть.
Они им не дали сложить учебников и книг,
Они, оружием грозя, с урока взяли их.
Бессильна чем-нибудь помочь притихшей детворе,
Учительница вся в слезах металась во дворе.
В ее испуганных глазах сменялись свет и мгла,
Она то падала, то вновь вставала и брела.
Когда она добралась к нам, в толпе раздался вздох.
Казалось, яростный огонь сердца людей обжег.
Казалось, чувствовали мы подземные толчки.
Мы молча слушали ее, сжимая кулаки.
Братишки и сестренки,
Я словно вижу вас,—
И стриженые челки,
И свет лукавых глаз,
Ясны улыбки ваши,
И ваша речь нежна.
Круглы ребячьи лица,
Как полная луна.
Беспечны ваши игры,
И помыслы чисты.
Недаром вы похожи
На ранние цветы.
Мне чудилось, что вся земля кричит в минуты эти:
Убийцы, руки прочь от них — ведь это дети, дети!
Куда колонна их бредет и ей вослед другая?
Зачем они стоят в строю и смотрят не мигая?
Зачем они должны ползти, как под огнем на фронте?
Ведь это только малыши. Не троньте их, не троньте!

Давно уснула вся земля, лишь я сижу в тиши.
Всю ночь я думаю о вас, ребята-малыши.
Ведь вы нуждаетесь в тепле отеческих забот.
Вам клубни сладкие нужны, вам нужен рис и мед.
Не взрывы рвущих землю бомб, не дым пороховой —
Кусочек неба нужен вам с прозрачной синевой.
Ведь от любви и для любви к нам в мир приходят дети,
И ради завтрашнего дня они живут на свете.
Вы в том виной, что их глаза всегда полны печали.
Вы даже запах молока у них сейчас украли.
Вы их хотите окружить решетками стальными,
Везде глазами мертвецов следите вы за ними.
Вы в руки им хотите дать оружие и яд.
Вы их хотите превратить в покорных вам солдат.
Вы их пошлете жечь поля и грабить города.
Но вашей дьявольской мечте не сбыться никогда.
На ваши происки всегда готов один ответ,
Из всех на свете слов у нас одно лишь слово: «Нет!»

Учительница, как забыть ее тревожный взгляд,
Наседку он напомнил мне, лишенную цыплят.
С той самой ночи трудный путь ей был судьбою дан:
Она ушла в далекий лес тропою партизан.
Но что б ни думали враги — народ непобедим.
Мы нашу плоть и нашу кровь в обиду не дадим.
Отныне тысячи отцов пусть встанут под ружье.
Ребята, близится гроза. Вы слышите ее?

ТХАНЬ ХАЙ

Марш повстанческих войск

Вы землю отняли у нас,
Лишили нас родимых стен.
Вы их разрушили дотла,
Построив крепости взамен.

Слезами горя не залить,
Грозу мольбой не отвратить,
Мы избираем путь иной,
Чтоб вашу силу сокрушить.

Нет, нам не по сердцу война,
Железом взрытые холмы.
По вашей собственной вине
Оружье взять решились мы.

И так пошли мы сквозь огонь,
Не прячась от своей судьбы,
Чтоб доказать своим врагам,
Что мы не жалкие рабы.

Мы взяли колья и ножи,
К плечу притиснули приклад,
Чтоб все, что нам принадлежит,
По праву возвратить назад.

Ты будешь, друг мой, отомщен,
Все должен враг вернуть с лихвой.
Он нам за голову твою
Своей заплатит головой.

Когда в тени высоких пальм
Мы переходим реки вброд,
Мы слышим, как сама земля
К себе на помощь нас зовет.

И проясняются глаза,
И сердце с сердцем говорит,
И словно в ясных небесах
Звезда на знамени горит.

И все сильнее гул шагов,
И мы уходим в путь опять,
Чтоб кровь свою и жизнь свою
До капли Родине отдать.

КШОН БЛЕУ

Поэт народности зио-рай

Тео-жео, мой край родной...

Тео-жео, мой край родной,
Очей моих краса.
Там реки есть и пашни есть,
Там горы есть и леса.
Там мать собирала хворост сухой.
Там дом мой, моя судьба.
Тео-жео, мой край родной,
Могучие воды Ба.

Ровна и просторна земля вокруг,
Посевы со всех сторон.
Немало живет хороших людей
В деревне По-лой-нгон.
Вершины Тьы-мо и Тьы-тиа,
Склоны Тьы-се и Тонг-а —
Здесь партизаны, нагрянув с гор,
Громили не раз врага.

Тео-жео, мой край родной,
Дедов моих земля.

Вот буйволы снова идут к реке,
Дорогой сухой пыля.
Вот женщины, собирая рис,
Шагают, построясь в ряд.
Вот птицы встречают песней зарю,
Вот где-то слоны трубят.
Яростней, сердце мое, стучи,
Лживым словам не верь.
Раньше французы грабили нас.
Янки грабят теперь.
Кто тяжкою податью душит нас,
Жизнь превращая в ад?
Кто хочет детей украсть у нас,
Сделав из них солдат?
Кто не дает нам землю пахать,
Ей отдавать свой труд?
Американцы и Нго Динь Дьем
Нас за глотку берут.
Давайте же встанем, друзья, тесней,
Гибель врагам суля.
Тео-жео, мой край родной,
Родная земля моя.

Еще не все хорошо понимают...

Песня народности ка-ту

Дует ветер с Запада, дует с Востока —
По листьям проходит дрожь.
Еще не все хорошо понимают,
Где правда и где ложь...

Старый Дьем и его хозяева
Смерть и бесправье несут.
И падают ими убитые люди,
Как деревья, срубленные в лесу.

Он расставляет капканы и сети,
Чтоб извести нас до одного,
Он себя называет «отцом народа»
И «избранным властелином» его.

Кем этот дом разбит и обшарен?
Американцем с автоматом в руках.
Кем на пороге убит этот парень?
Американцем с автоматом в руках.
Кем убита эта девочка-школьница
И эта седая мать?
Еще неизвестно, кто будет завтра смеяться,
А кто рыдать.

Они повсюду следят за нами,
Не отходя ни на шаг.
Они в нас целятся из автоматов,
Но и мертвые, в них мы вселяем страх.
Когда мы выходим утром на пашню,
Мы чувствуем на себе их взгляд.
Когда мы склоняемся над водою —
Они нам в спину глядят.

Ты напрасно петляешь, хищная рыба!
Дикий зверь, от капкана ты не уйдешь!
Очень жаль, что еще не все понимают,
Где правда и где ложь...

Птица го-лунг

Песня народности е-де

Мы входим в Восточный лес
И слышим: го-лунг поет.
Мы входим в Западный лес,
Там павлин кого-то зовет.
Но мы узнаем и крик совы
Средь всех лесных голосов.
И мы научились давным-давно
Не верить заклятьям сов.

Мы с вами умеем с давних времен
Их узнавать на лету —
По клюву, загнутому крючком,
По серому их хвосту.

У нас в лесу есть птица мо-ланг —
Клюв ее как копье.
У нас в лесу есть птица тян-жан —
Все знают силу ее.

Не бойтесь, пернатые наши друзья,
Пусть страшен ваш недруг и лют,—
Есть птицы, которые в этом лесу
В обиду вас не дадут.
На крыльях крепких умеют они
Подняться до облаков.
И в пору цветенья умеют они
Вредных ловить жуков.
Строить дома умеют они
И любят свой добрый труд...

Девушка входит в Восточный лес
И слышит — птицы поют!

Тень дерева ко-ниа

Песня народности хо-ре

Молодая женщина встала рано
И рано тронулась в путь —
И тень от дерева ко-ниа́
Легла на ее грудь.
Тень от дерева ко-ниа
Легла на ее грудь.
И долго она вспоминала мужа
И не могла заснуть.

А потом пришла сюда старая мать,
Здесь в полдень вода светла.
И тень от дерева ко-ниа
На спину ее легла.
Тень от дерева ко-ниа
На спину ее легла.
И долго она вспоминала сына
И глаз сомкнуть не могла.

И спросила женщина:— Куда дует ветер,
В какие он мчит края?
— В ту сторону, где восходит солнце,—
Отвечало ей ко-ниа.
И спросила мать: — Где берешь ты соки,
Откуда сила твоя?
— Из северных рек я пью эти соки,—
Отвечало ей ко-ниа.

Как птицы, покинув родимый лес,
Все помнят поляну одну,
Так помнят мать и жена
солдата,
Ушедшего на войну.
Ведь корни самого крепкого дерева
Поит родная струя.
Так вот откуда вся твоя сила,
Дерево ко-ниа!

Мы отстоим свой лес

Песня народности ка-зонг

Люди Тай-нгуена,
Мы отстоим свой лес!
Ведь если гнездо разрушить, птица не запоет.
Если подрублена пальма, на ней не родится плод.
Если вода иссякла, ручей не станет журчать.
Если трава завяла, ей не шуметь опять.

Люди Тай-нгуена,
Мы отстоим свой лес!
Сделаем так, чтоб кобра от нас не ушла в траву,
Чтоб, слыша рычанье тигра, телок не дрожал в хлеву,
Чтоб к нам крокодил не крался, раскрыв ненасытную пасть,
Чтоб коршун, кружащий в небе, не мог на цыплят напасть.

Люди Тай-нгуена,
Мы отстоим свой лес!
Пусть будет звериная хитрость отныне нам не страшна.
Не бойтесь когтей тигриных, не бойтесь клыков слона.
Пусть смерть их везде и всюду преследует по пятам.
Они заберутся в чащу — их встретят капканы там,
Они свернут к водопою — там вздыбится кольев ряд,
Они забредут в деревню — там ждет их свинца заряд.

Люди Тай-нгуена,
Мы отстоим свой лес.
Ведь коршунам долго уже не кружить, их гибели близок срок,
Ведь есть на свете дядюшка Хо и красный его цветок.
И пусть, нас зовя за собою, отныне и навсегда,
Восходит над Тай-нгуеном Северная звезда!

ЖОРЖИ АМАДУ

Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода

САТИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с португальского
ЮРИЯ КАЛУГИНА

«Каждый сам заботится о своем погребении, и невозможного на свете нет».

(Последние слова Кинкаса Сгинь Вода, по свидетельству Китерии, находившейся возле него)

I

Обстоятельства смерти Кинкаса Сгинь Вода остаются до сего дня не вполне ясными. В рассказах очевидцев, полных противоречий и странных подробностей, кое-что сомнительно, а о многом вообще умалчивается. Относительно часа и места смерти, а также относительно последних слов покойного показания расходятся. Семья Кинкаса при поддержке соседей и знакомых упорно отстаивает версию, согласно которой он скончался утром, тихо, без свидетелей, и при этом не произносил никаких громких фраз. Эта смерть произошла почти за двадцать часов до той нашумевшей, вызвавшей столько толков романтической гибели ночью при свете луны, поднимавшейся над морем, когда таинственные события разыгрались у входа в гавань Баии. Последние слова Кинкаса, при произнесении которых присутствовали заслуживающие доверия свидетели, обсуждались по всем уголкам и закоулкам; люди говорили, что это было не обычное прощание с миром, а проклятие — полное глубокого смысла пророчество, как выразился один молодой современный писатель.

Несмотря на свидетельства людей, заслуживающих доверия,— в том числе рулевого Мануэла и Пучеглазой Китерии, женщины отнюдь не болтливой,— находятся все же лица, подвергающие сомнению достоверность не только великолепной предсмертной фразы, но и всех остальных событий той памятной ночи, когда Кинкас Сгинь Вода в час, который трудно определить с точностью, и при обстоятельствах, до сих пор вызывающих споры, погрузился в пучину моря, отправившись в вечное странствие, откуда никто не возвращается. Таков наш мир, населенный скептиками и маловерами; подобно быку в ярме, эти люди сгибаются под

игом порядка и законности, им понятны только заурядные поступки, они верят только бумаге с печатью. С торжествующим видом показывают они свидетельство о смерти Кинкаса, подписанное врачом около полудня, и этой жалкой бумажкой — только потому, что на ней напечатаны буквы да налеплены гербовые марки,— хотят умалить значение предсмертных часов Кинкаса Сгинь Вода, столь ярко им прожитых, перед тем как отправиться в последний путь по своей доброй воле, о чем он громко и отчетливо объявил друзьям и всем присутствовавшим.

Семья покойного — его достойная дочь, добропорядочный зять (чиновник с перспективой хорошей карьеры), тетя Марокас и младший брат, торговец со скромным кредитом в банке,— утверждает, будто вся эта история — просто грубое надувательство, выдумка мошенников и горьких пьяниц, негодяев, стоящих вне закона и выброшенных из общества. Всех этих приятелей Кинкаса следовало бы упрятать за решетку, вместо того чтобы разрешать им ночами шататься в порту, бродить по улицам, пляжам. Родственники Кинкаса без всяких оснований сваливают на его друзей всю ответственность за его нищенское существование в последние годы, когда он стал позором для семьи и доставлял всем одни огорчения. Дошло до того, что в семье вообще перестали упоминать его имя, о его похождениях никогда не говорили в присутствии детей — для невинных крошек блаженной памяти дедушка Жоакин давно уже скончался, и притом вполне благопристойно, окруженный почетом и всеобщим уважением. Отсюда можно сделать вывод, что впервые Кинкас умер (если не физически, то по крайней мере духовно) еще несколько лет назад и, следовательно, в общей сложности умирал трижды. Последнее позволяет считать его своего рода рекордсменом, так сказать, чемпионом по части перехода в лучший мир и в то же время дает право предполагать, что все последующие события, начиная с засвидетельствования смерти и кончая моментом погружения тела Кинкаса в море, представляют собою комедию, разыгранную им с целью еще больше испортить жизнь родственникам, отравить им существование, опозорить их и сделать предметом уличных пересудов. Кинкас отнюдь не был человеком уважаемым и достойным уважения, хотя партнеры по картам и окружали его почетом, отчасти потому, что ему отчаянно везло в игре, отчасти ввиду его способности потреблять в неограниченных количествах кашасу *, сопровождая возлияния усладительной беседой.

Не знаю, удастся ли мне полностью раскрыть тайну смерти Кинкаса Сгинь Вода (или, точнее, нескольких его смертей). Однако я, следуя и его совету, попытаюсь это сделать, ибо главное — попытаться что-то сделать, даже если речь идет о невозможном.

II

Негодяи, болтавшие везде и всюду — на улицах, в переулках и на самом базаре Агуа-дос-Менинос — о последних минутах Кинкаса, тем самым оскорбляли память умершего. Появилась даже книжонка бездарных стишков, сочиненных местным импровизатором, в которых воспевалась его смерть, и на эту книжонку долгое время был большой спрос. А ведь память об умершем, как известно, священна и существует вовсе не для того, чтобы пьяницы, игроки и контрабандисты, торгующие маконьей **, пятнали ее своими грязными языками, как и не

---

* Кашаса — водка из сока сахарного тростника.

** Маконья — разновидность европейской конопли, листья и цветы которой употребляются как наркотик.

для того, чтобы служить темой пошлых куплетов уличным певцам у входа в подъемник Ласерды *, которым пользуется столько приличных людей, включая сослуживцев Леонардо Баррето, скромного зятя Кинкаса. После смерти человек вновь обретает всеобщее уважение, каким некогда пользовался, даже если потом он и совершал в своей жизни безумства. Невидимая рука смерти стирает все пятна, и память покойного сверкает, как брильянт. Таково было мнение семьи Кинкаса, и его всецело одобряли соседи и друзья. Они считали, что Кинкас Сгинь Вода после смерти снова стал прежним, всеми уважаемым Жоакином Соарес да Кунья — человеком из хорошей семьи, с размеренной походкой и гладко выбритой физиономией, образцовым чиновником налоговой конторы штата, в черном альпаковом пиджаке и с портфелем под мышкой. Соседи почтительно выслушивали его мнения о погоде и политике, в баре его никогда не видели, ибо пил он только дома, и то весьма умеренно. Проявив усердие, достойное всяческих похвал, семья Кинкаса сумела добиться того, чтобы в обществе в течение последних лет его считали умершим и поэтому сохранили светлую память о нем. Если кому-нибудь приходилось почему-либо вспоминать Кинкаса, о нем и говорили как об умершем. Однако, к несчастью, время от времени кто-то из соседей — сослуживец Леонардо или болтливая подруга Ванды (его опозоренной дочери) — встречали живого Кинкаса или слышали россказни о нем. Словом, он как бы вставал из могилы, чтобы запятнать собственную память: валялся пьяный среди бела дня у входа на рынок; грязный и оборванный, склонялся над засаленными картами на паперти церкви Пилар; бродил по Ладейра-де-Сан-Мигел в обнимку с бесстыжими негритянками и мулатками, распевая хриплым голосом бог знает что. Какой ужас!

Но вот однажды утром торговец изображениями святых с Ладейра-до-Табуан пришел в небольшой уютный домик семьи Баррето и с грустью сообщил дочери Кинкаса Ванде и его зятю Леонардо, что старик в своей жалкой конуре окончательно протянул ноги. У обоих супругов вырвался дружный вздох облегчения. Наконец-то бродяга Кинкас перестанет безобразничать и позорить память отставного чиновника налоговой конторы Жоакина Соарес да Кунья, втаптывать в грязь его имя. Настало время заслуженного покоя. Теперь можно свободно говорить о Жоакине Соарес да Кунья, воздавать ему хвалу как образцовому чиновнику, супругу, отцу и гражданину, приводить детям в пример его добродетели, учить их уважать память деда, не опасаясь какого-либо подвоха.

Торговец изображениями святых, худой старик с седыми волосами, пустился в подробности: некая негритянка, продавщица мингау **, акараже ***, абара **** и других яств, пришла в то утро к Кинкасу по важному делу. Он обещал ей раздобыть редкие травы, крайне необходимые для кандомблэ *****. Негритянка явилась за травами, они ей были очень нужны, так как приближалось время священных празднеств в честь Шанго ******. Дверь комнаты на верхней площадке крутой лестницы была, как обычно, не на запоре. Кинкас давно уже потерял свой огромный старый ржавый ключ. Говорили, впрочем, что в один из злополучных дней, когда ему не везло в карты, он продал его туристам, выдав за священный ключ от какой-то церкви и рассказав при этом длинную историю с точным соблюдением хронологии и многими живописными деталями.

---

* Подъемник Ласерды — большой лифт, служащий для подъема пешеходов в верхнюю часть города Баия.

** Мингау — сладкая каша из пшеничной или маниоковой муки.

*** Акараже — блюдо из вареной фасоли.

**** Абара — блюдо из вареной фасоли, приправленной перцем и маслом.

***** Кандомблэ — негритянский ритуальный обряд, сопровождаемый танцами и пением.

****** Шанго — могущественное божество негритянской мифологии.

Негритянка окликнула Кинкаса, но не получила ответа и, решив, что он еще спит, толкнула дверь. Кинкас лежал, вытянувшись на койке, простыня у него была черная от грязи, в ногах — истрепанное одеяло. Он, как всегда, приветливо улыбался, и негритянка не заметила ничего особенного. Она поинтересовалась, достал ли он обещанные травы. Кинкас все так же улыбался и молчал. Из дырявого носка выглядывал большой палец, рваные ботинки стояли на полу. Негритянка хорошо знала Кинкаса и привыкла к его чудачествам. Она уселась к нему на кровать и сказала, что торопится. Старик не протянул руки, чтобы ущипнуть или погладить ее, и это негритянку удивило. Она взглянула еще раз на торчащий палец... и ощутила какое-то беспокойство. Потом дотронулась до Кинкаса, взяла его руку — она оказалась холодной как лед,— вскочила и в тревоге выбежала на улицу рассказать о случившемся.

Дочь и зять без всякого удовольствия слушали всю эту историю. Негритянка, травы, щипки, кандомблэ... Они качали головами и торопили торговца, однако тот был человек обстоятельный и рассказывал со вкусом, вдаваясь в подробности. Он один знал о существовании родственников Кинкаса — как-то вечером во время большой попойки тот рассказал ему о себе, и вот теперь торговец пришел сюда. Он сделал сокрушенное лицо, выражая тем самым свое «глубокое соболезнование».

Леонардо пора было идти на службу. Он сказал жене:

— Иди туда, я зайду в контору и тотчас же приду. Надо только расписаться в табельной книге. Я поговорю с начальником...

Торговца изображениями святых ввели в гостиную и усадили на стул. Ванда пошла переодеться. Торговец принялся рассказывать Леонардо о Кинкасе — на Ладейра-до-Табуан все любили его, как родного. Но все-таки почему же он, человек из хорошей обеспеченной семьи (в этом торговец получил теперь возможность убедиться лично, удостоившись знакомства с его дочерью и зятем), предпочел жизнь бродяги? Какая-нибудь неприятность? Должно быть, так, без сомнения так. Может быть, супруга наставила ему рога, это ведь нередко случается... Тут торговец приложил пальцы ко лбу и развязно осведомился, верна ли его догадка.

— Дона Отасилия, моя теща, была святой женщиной!

Торговец поскреб подбородок: тогда в чем же дело? Но Леонардо не ответил. Ванда окликнула его из спальни:

— Послушай, надо сообщить...

— Сообщить? Кому? Зачем?

— Тете Марокас и дяде Эдуардо... Соседям. Пригласить на похороны...

— Зачем же сразу сообщать соседям? Люди сами им скажут. А то начнутся еще всякие разговоры...

— Но тетя Марокас...

— Я зайду поговорю с ней и Эдуардо... На обратном пути из конторы. Иди скорее, а то этот тип, что пришел известить нас, начнет болтать без разбору...

— Подумать только... Умер внезапно... и совсем один...

— А кто виноват? Он же сам, безумец...

В гостиной торговец изображениями святых любовался написанным масляными красками портретом Кинкаса, сделанным лет пятнадцать назад: хорошо одетый, розовощекий сеньор, в высоком воротничке и черном галстуке, с лихо закрученными усами и напомаженными волосами. Рядом, в такой же раме,— дона Отасилия, в черном платье с кружевами: взгляд пронзительный, губы сурово поджаты. Торговец долго вглядывался в ее строгую физиономию.

— Нет, она не из тех, что обманывают мужей... Наоборот, крепкий это был, видно, орешек... Святая женщина. Просто не верится...

III

Когда Ванда вошла, несколько обитателей Ладейры стояли вокруг койки и глазели на покойника. Торговец сообщил шепотом:

— Это его дочь. У него ведь есть дочь, зять, брат и сестра. Приличные люди. Зять — чиновник, живет на Итапажипе. Один из лучших домов...

Они пропустили ее вперед, с любопытством ожидая трогательного зрелища: дочь бросится на труп отца, обнимет его и, может быть, даже зарыдает. Кинкас Сгинь Вода лежал на койке в старых, заплатанных штанах, рваной рубашке и необъятном засаленном жилете. Он улыбался, точно ему было очень весело. Ванда стояла неподвижно и смотрела на небритое лицо старика, на его грязные руки, на палец, вылезавший из дырявого носка. Рыданиями она не в силах была разразиться. Слез не было, она пролила их достаточно в прежние годы, когда без конца пыталась вернуть его домой. Она стояла и смотрела на труп, сгорая от стыда.

Вид у покойника и вправду был весьма непрезентабельный — настоящий бродяга, умерший внезапно: ни благопристойности, ни внушительности. И при всем том он еще цинично смеется, конечно же над нею, над Леонардо, над всей семьей. Труп для морга. Таких обычно отправляют на полицейском катафалке в университет, где на них практикуются студенты-медики, а потом труп закапывают без отпевания, без креста, без надписи. Кинкас Сгинь Вода, пьяница, скандалист и игрок, у которого не было ни семьи, ни дома, лежал мертвый, и около него — ни цветов, ни плакальщиц. Ничего общего с Жоакином Соарес да Кунья, благообразным чиновником налоговой конторы штата, вышедшим на пенсию после двадцати пяти лет беспорочной и честной службы, образцовым супругом, которому каждый, сняв шляпу, спешил пожать руку. В пятьдесят лет покинуть семью, дом, старых знакомых, нарушить привычный уклад жизни и начать скитаться где попало, обрасти грязью, пьянствовать в дешевых кабаках, посещать публичные дома, спать на жалком топчане в сырой конуре! Ванда не находила этому объяснения. После смерти Отасилии — даже по поводу такого важного события Кинкас не согласился увидеться с родственниками — они с мужем больше не говорили об отце, пытаясь понять, что же с ним происходит. Кинкас не был помешанным, во всяком случае не настолько, чтобы можно было поместить его в сумасшедший дом,— врачи на этот счет держались единодушного мнения. Чем же тогда объяснить все происшедшее?

Но теперь все позади, многолетнему кошмару, тяготевшему над семьей, пришел конец, пятно с их имени смыто. Ванда унаследовала от матери известный практицизм, способность быстро принимать решения. Разглядывая покойника, эту отвратительную карикатуру на отца, она в то же время соображала, как действовать дальше. Прежде всего надо позвать врача, чтобы тот выписал свидетельство о смерти. Затем следует прилично одеть покойника, перевезти домой и наконец похоронить рядом с Отасилией. Похороны надо устроить не слишком пышные — времена ведь нынче тяжелые,— и все-таки церемония не должна произвести дурного впечатления на соседей, знакомых и сослуживцев Леонардо. Тетя Марокас и дядя Эдуардо, вероятно, помогут. Размышляя таким образом, Ванда не сводила глаз с улыбающегося лица Кинкаса. Потом она вспомнила об отцовской пенсии. Перейдет ли она к ним по наследству, или они получат только страховку? Леонардо, наверно, знает...

Она оглянулась — все эти людишки по-прежнему глазели на нее. Жалкий сброд. И Кинкас находил удовольствие в их компании. Что они тут делают? Неужели им непонятно, что с Кинкасом Сгинь Вода навсегда покончено, как только он испустил последний вздох? Он был просто дья-

вольским измышлением, наваждением, дурным сном! Жоакин Соарес да Кунья возвращается в свою семью, туда, в комфортабельный приличный дом, где он снова обретет прежнюю респектабельность. Час настал, и на этот раз Кинкас не рассмеется в лицо родной дочери и зятю, не пошлет их ко всем чертям, не раскланяется с издевкой и не уйдет из дому, насвистывая. Теперь он неподвижно вытянулся на койке. Кинкасу Сгинь Вода пришел конец.

Ванда подняла голову, обвела присутствующих высокомерным взглядом и спросила голосом, напоминавшим голос Отасилии:

— Вам что-нибудь нужно? Если нет, можете идти.

Затем обратилась к торговцу святыми изображениями:

— Не можете ли вы оказать мне услугу — позвать врача? Надо засвидетельствовать смерть.

Торговец кивнул, он был ошеломлен. Все тихонько вышли, и Ванда осталась наедине с покойником. Кинкас Сгинь Вода улыбался, из дыры в носке торчал палец, и казалось, он на глазах увеличивался...

IV

Она поискала глазами, куда бы сесть. В комнате, кроме койки, стоял лишь пустой бидон из-под керосина. Ванда перевернула его, смахнула пыль и уселась. Сколько времени придется ждать врача? А Леонардо, как он там? Она представила себе мужа. Нелегко ему, наверно, приходится: ведь он вынужден сообщить шефу о внезапной кончине тестя. Начальник Леонардо знал Жоакина еще в те добрые времена, когда тот служил в налоговой конторе. Да и кто тогда не знал его, кто не питал к нему уважения? И кто бы мог подумать, что с ним такое будет? Леонардо не раз испытывал затруднение, когда ему доводилось беседовать с шефом о безумных выходках старика и придумывать какие-то объяснения. Хуже всего, если новость распространится среди сослуживцев: начнут шептаться, передавать ее от стола к столу с ехидными улыбочками, дурацкими подробностями, пошлыми остротами. Папаша — тяжкий крест, ниспосланный им судьбой,— превратил их жизнь в сплошную муку. Сейчас они дошли до вершины Голгофы, еще немного терпения — и все. Ванда искоса взглянула на мертвеца. Кинкас улыбался, он находил происходящее бесконечно забавным.

Грешно питать злобу к покойнику, особенно если это твой отец. Ванда сдержалась, она была набожной, аккуратно посещала церковь и верила во второе пришествие. И потом, какое значение имеет теперь эта усмешка Кинкаса? Наконец-то власть у нее в руках, и в самом скором времени Кинкас вновь станет Жоакином Соарес да Кунья, самым безупречным обывателем.

Вошел торговец, он привел врача — молодого человека, видимо, только что окончившего университет, судя по тому, как старательно он изображал опытного специалиста. Торговец указал пальцем на мертвеца, врач поздоровался с Вандой и открыл кожаный чемоданчик. Ванда поднялась с бидона.

— Отчего он умер?

Объяснять взялся торговец:

— Его нашли уже мертвым.

— Он чем-нибудь болел?

— Не могу сказать, сеньор. Я его знаю лет десять, и всегда он был здоров, как бык. Только, может, вы, доктор...

— Что такое?

— ...может, вы считаете это болезнью, если человек любит кашасу. Так вот опрокинуть стаканчик — это он действительно мог...

Ванда предостерегающе кашлянула. Доктор повернулся к ней.

Последовало короткое тягостное молчание, потом она глухо сказала:

— Это мой отец.

Доктор был молод и почти не обладал жизненным опытом. Он смотрел во все глаза на Ванду, на ее нарядное платье, на модные туфли, на всю ее опрятную подтянутую фигуру. Потом поглядел на отрепья покойника, на жалкую конуру...

— И он здесь жил?

— Мы сделали все, чтобы вернуть его домой. Он был...

— Помешанный?

Ванда растерянно развела руками, она готова была заплакать. Врач не стал продолжать. Он сел на край кровати и начал осмотр. Потом поднял голову и сказал:

— Поглядите, ведь он смеется, а? Вот озорник...

Ванда закрыла глаза и сжала руки, лицо ее пылало.

V

Семейный совет длился недолго. Все случившееся обсудили за столиком в ресторане в Байша-до-Сапатейро. Веселые, оживленные люди спешили в кино напротив ресторана.

Покойника поручили заботам похоронного бюро, владельцем которого был друг дяди Эдуардо (двадцать процентов скидки).

Дядя Эдуардо пояснил:

— Один гроб стоит бог знает сколько! А если нанять автомобили и устроить большую процессию — на это надо целое состояние. В наше время помереть спокойно и то невозможно.

Тут же поблизости купили новый черный костюм (материал не ахти какой, но, как сказал дядя Эдуардо, червям на закуску и этот слишком хорош), пару черных ботинок, белую рубашку, галстук и пару носков. Эдуардо записал все расходы в книжечку. Он был мастер экономить, и его магазин процветал.

Покуда родственники лакомились в ресторане особо приготовленным блюдом из рыбы и обсуждали церемонию погребения, Кинкас Стинь Вода превратился в ловких руках служащих похоронного бюро снова в Жоакина Соарес да Кунья. Спор возник только по поводу того, откуда нести гроб на кладбище.

Ванда намеревалась привезти покойника домой, поставить гроб в гостиной и устроить бдение с пирожками, кофе и ликером. Позвать отца Роке для отпевания. А похороны назначить на утро, чтобы могло прийти побольше народу — сослуживцы Леонардо, старые знакомые, друзья семьи. Но Леонардо воспротивился. Зачем привозить покойника домой? Зачем приглашать соседей и друзей, причинять беспокойство стольким людям? Лишь для того, чтобы снова все стали вспоминать о безумных выходках умершего, об его недостойной жизни в последние годы? Зачем выставлять себя на позор перед всем миром? Хватит с него сегодняшнего утра в конторе. Ни о чем другом и разговору не было. Все знали историю Кинкаса и на все лады обсуждали ее под сплошной смех. Он, Леонардо, и не представлял себе, что тесть натворил столько всяких дел. Прямо дрожь пробирает... А потом — многие ведь думали, что Кинкас умер и давно похоронен, а некоторые считали, что он живет себе преспокойно где-то в провинции. А дети? Они ведь чтут память добродетельного дедушки, почившего в мире, и вдруг родители явятся с трупом бродяги под мышкой и сунут его прямо под нос невинным малюткам. Не говоря уже о хлопотах, о расходах, которые придется нести...

Как будто мало того, что они оплатили похороны, и новый костюм, и ботинки. Ему, Леонардо, давно уже самому нужны новые ботинки, а он вынужден экономить и без конца отдавать в починку свою единственную пару. И вот, когда он наконец может купить себе ботинки, появляются неожиданные расходы.

Тетя Марокас, весьма пышная дама, отличавшаяся особым пристрастием к заказным рыбным блюдам, придерживалась другого мнения:

— Самое лучшее говорить всем, что он умер где-то в провинции, мы-де получили телеграмму. А на седьмой день пригласить всех на панихиду. Кто захочет — тот и придет, и нам не надо будет никого везти за свой счет на кладбище.

Ванда подняла вилку:

— Как бы то ни было, он все же мой отец. И я не желаю, чтобы его закопали, как какого-нибудь бродягу. Если бы речь шла о твоем отце, Леонардо, тебе бы это понравилось?

Дядя Эдуардо был не слишком сентиментален:

— А кто же он, по-твоему, если не бродяга? И притом самый поганый во всей Баие. Хоть он мне и брат, я не могу это оспаривать...

Тетя Марокас икнула, желудок ее был переполнен, сердце тоже.

— Бедняга Жоакин...— промолвила она.— Хороший у него был характер. И если он поступал дурно, то без злого умысла. Просто ему нравилась такая жизнь: у каждого своя судьба. Он и в детстве был чудной. Один раз — помнишь, Эдуардо?..— он чуть не убежал с бродячим цирком. Ну и выдрали же его тогда! Едва шкуру не спустили...— Марокас похлопала сидевшую рядом Ванду по колену и как бы в оправдание покойника добавила: — Ведь твоя мать, дорогая моя, была немного деспотична. Вот он в один прекрасный день взял да и ушел из дому неизвестно куда. Мне он сказал, что хочет стать свободным, как птичка. По правде сказать, он не был лишен остроумия.

Однако никто не счел поведение Кинкаса остроумным. Ванда нахмурилась:

— Я не стану его оправдывать. Он причинил нам много страданий, мне и моей матери, которая была порядочной женщиной. И Леонардо тоже. И все же я не хочу, чтобы его похоронили, как бездомную собаку. Что скажут люди? И потом, раньше ведь он был уважаемым человеком. И похоронить его надо как полагается.

Леонардо смотрел на нее умоляюще. Он не умел спорить с Вандой, она всегда брала над ним верх и поступала по-своему. Так было и у Жоакина с Отасилией до того дня, когда Жоакин бросил все и вырвался на волю. Неужели нет другого выхода и надо тащить покойника к себе домой, ходить извещать знакомых и друзей, созывать их по телефону, потом сидеть весь вечер и слушать всякие истории о Кинкасе, сопровождаемые приглушенными смешками и подмигиванием, пока наконец не приступят к похоронам? Тесть отравил ему существование, причинил массу неприятностей. Леонардо жил в вечном страхе, каждую минуту ожидая, что кто-нибудь возьмет и расскажет об «очередном трюке» Кинкаса, он боялся раскрыть газету: а вдруг увидит в ней сообщение об аресте тестя, что уже было однажды? Ему не хотелось даже вспоминать о том дне, когда он по настоянию Ванды ходил из одного полицейского участка в другой, пока в конце концов не обнаружил Кинкаса в подвале центральной тюрьмы, где тот преспокойно играл в карты с ворами и мошенниками. И после всего этого, когда Леонардо мог наконец вздохнуть свободно, ему еще надо в своем собственном доме сидеть у трупа тестя целый день и целую ночь...

Эдуардо тоже не соглашался с Вандой, а, поскольку он вызвался разделить с ними расходы по погребению, с его мнением приходилось считаться.

— Все это очень хорошо, Ванда. Надо похоронить его по-христиански, со священником, в новой одежде, с венком из цветов. Нечего и говорить, что всего этого он, конечно, не заслужил, но как-никак он твой отец и мой брат. От этого никуда не уйдешь. Зачем же, однако, тащить его в дом?..

— Зачем? — как эхо, отозвался Леонардо.

— ...причинять людям беспокойство, нанимать вереницу машин для похоронной процессии? Знаешь, сколько все это будет стоить? А перевозка покойника из Табуана в Итапажипе? Да это же целое состояние! Почему бы не устроить вынос тела прямо из его конуры? Провожать на кладбище будем мы, значит, обойдемся одной машиной. Потом, если сочтете нужным, можно будет на седьмой день пригласить всех на панихиду.

— Объявите, что он умер в провинции.— Тетя Марокас никак не хотела расстаться со своей идеей.

— Можно и так. Почему бы нет?

— А кто будет дежурить у гроба?

— Да мы же! Зачем тебе еще кто-то?

Кончилось тем, что Ванда уступила. Действительно, подумала она, везти его к себе домой — это уж слишком. Столько труда, расходов, возни... Не лучше ли похоронить Кинкаса как можно скромнее, а потом сообщить об его кончине друзьям и пригласить их на панихиду на седьмой день? На том и порешили. Где-то поблизости надрывался громкоговоритель, прославляя необычайные выгоды, которые сулит каждому приобретение земельного участка через посредство компании по продаже недвижимого имущества.

VI

Дядя Эдуардо вернулся в магазин: нельзя ведь полагаться на приказчиков — все они жулики. Тетя Марокас обещала прийти попозже: ей надо побывать дома, там все вверх дном — так она спешила узнать новости. По совету Ванды Леонардо решил, раз уж он не пошел в контору, воспользоваться свободным временем и зайти в компанию по продаже недвижимости, чтобы кончить с приобретением участка в рассрочку. Настанет день, когда у них с божьей помощью будет свой дом. У гроба договорились дежурить по очереди: Ванда и Марокас — днем, Леонардо и дядя Эдуардо — ночью. Ладейра-до-Табуан не то место, где приличная женщина может появляться вечером: улица эта пользовалась дурной славой, здесь жили воры и проститутки. Утром же вся семья соберется на похороны.

Вот почему вышло так, что после обеда Ванда оказалась одна возле тела отца. Отголоски шумной уличной жизни едва доносились сюда, на третий этаж. Кинкас лежал у себя в каморке и, казалось, отдыхал после утомительной процедуры переодевания. Служащие похоронного бюро оказались мастерами своего дела. Перед ней лежал, как выразился заглянувший на минутку торговец, «словно бы и не тот покойник». Гладко выбритый, причесанный, в черном костюме, белоснежной рубашке и галстуке, в новеньких ботинках, Жоакин Соарес да Кунья покоился в великолепном гробу, с золочеными украшениями и кистями. Ванда была удовлетворена. Гроб поставили на импровизированный стол, сколоченный из досок, и выглядел он весьма эффектно и солидно. Две огромные свечи — совсем как в алтаре, с гордостью подумала Ванда,— горели слабым, почти невидимым пламенем. Буйное солнце врывалось в окно, заливая комнату ярким светом. Этот блеск, это радостное сверкание казались Ванде каким-то неуважением к смерти: при свете

солнца сияние свечей теряло свою торжественность, они были просто не нужны. Она хотела было из экономии погасить их. Но подумала, что похоронное бюро все равно возьмет те же деньги, сгорят ли две свечи или десять, и решила лучше закрыть окно и опустить штору. В комнате воцарился полумрак, пламя свечей вытянулось высоко вверх. Ванда уселась на стул, который одолжил все тот же торговец, она была довольна. И не просто тем, что выполнила свой дочерний долг. Нет, Ванда ощущала глубокое внутреннее удовлетворение.

Она пригладила свои каштановые волосы. Вздох облегчения вырвался у нее из груди. Теперь она окончательно справилась с Кинкасом, снова надела на него узду, которую он вырвал когда-то из сильных рук Отасилии, рассмеявшись ей прямо в лицо. Легкая улыбка заиграла на губах Ванды, на ее красивых полных губах, которые портили только жесткие складки в углах рта. Она отомстит ему за все, что он сделал, за все их страдания — и ее, и Отасилии, и всей семьи. За многолетнее унижение. Десять лет вел он эту нелепую жизнь. «Король босяков Баии»,— так называли его в полицейской хронике. Десять лет он был героем очерков всех этих писак, падких на трущобную экзотику, десять лет обливал он грязью семью, позорил ее своей скандальной славой. «Первый пьяница квартала», «Кинкас Сгинь Вода», «философ в лохмотьях», «король отверженных», «прирожденный бродяга»,— так именовали его газеты, а иногда даже печатали его фотографию. Отец пренебрегал своими обязанностями, и, бог ты мой, сколько страданий выпало на долю дочери, которой судьба послала такой крест!

Но теперь она чувствовала себя счастливой. Она смотрела на покойника, он лежал в роскошном гробу, одетый в черный костюм, со скрещенными на груди руками, с выражением благочестивого раскаяния на лице. Поблескивали новые ботинки, пламя свечей отражалось в них. Все было вполне прилично, за исключением, конечно, комнаты. Довольно они настрадались и натерпелись издевательств! Ванда подумала об Отасилии: вероятно, она теперь тоже радуется, там, на небесах. Ее воля наконец-то исполнена, благочестивая дочь опять превратила Кинкаса Сгинь Вода в Жоакина Соарес да Кунья, в доброго, робкого, послушного Жоакина, на которого, бывало, стоило только прикрикнуть, и он тут же на все соглашался. Вот он и лежит тут, смиренно скрестив на груди руки. И нет больше бродяги, «короля отверженных», «патриарха нищей братии».

Жаль, что он умер и не может посмотреть на самого себя в зеркало, пусть бы увидел победу дочери, победу всей оскорбленной семьи.

Чувство глубокого удовлетворения сделало Ванду доброй и великодушной. Ей захотелось забыть эти последние десять лет, вычеркнуть их из памяти, смыть, как смыли грязь с тела Кинкаса служащие похоронного бюро. Она стала вспоминать детство, школьные годы, свою помолвку и свадьбу. И над всем этим стоял кроткий образ Жоакина Соарес да Кунья. Она видела его сидящим в брезентовом шезлонге с газетой в руке. Отасилия раздраженно окликала его:

— Кинкас!

И тот вздрагивал. Таким она любила отца, чувствовала к нему нежность, ей даже показалось, что она скорбит об его смерти. Стоит еще немного напрячь воображение, и она окончательно расчувствуется, представит себя несчастной, безутешной сиротой.

Жара в комнате усиливалась. Морской бриз не проникал через закрытое окно. Да Ванде этого и не хотелось: море, порт, бриз, узкие улицы, бегущие в гору, разноголосый шум набережной — все это принадлежало ему, Кинкасу, было частью его беспутной позорной жизни. Со всем этим покончено навсегда. Здесь место только ей и ее покойному отцу Жоакину Соарес да Кунья, которого она горько оплакивает и ко-

торый оставил по себе самую добрую память. Ванда вспоминает давно забытое прошлое. Отец повел ее в цирк, сооруженный на Рибейре в праздник вознесения. Кажется, отца еще никогда не видели таким веселым — высокий мужчина, посадив девочку себе на плечо, хохотал громко, от всей души, он, который так редко улыбался. Потом она вспомнила праздник, устроенный в его честь друзьями и коллегами в связи с повышением по службе. Дом был полон гостей. Ванда в то время уже вышла из детского возраста, за ней начали ухаживать. В этот день Кинкасу преподнесли вечную ручку, и Отасилия сияла от удовольствия, она стояла посреди гостиной, где произносили речи, пили пиво. Казалось, это чествуют ее, а не мужа. Жоакин слушал речи, пожимал руки и принял подношение, не проявив, однако, при этом никакого восторга. Похоже, что все это его раздражало, но у него не хватало духу сказать правду.

Ванда вспомнила также лицо отца, когда ему сообщили о предстоящем визите Леонардо, решившегося наконец просить ее руки. Жоакин покачал головой и пробормотал:

— Бедняга...

Ванда не допускала критики по адресу жениха:

— Почему это бедняга? Он из приличной семьи, у него хорошая должность, не пьет, не скандалит...

— Знаю... Знаю... Я имел в виду совсем другое...

Любопытная вещь — она не помнила никаких подробностей, связанных с отцом. Будто он и не принимал участия в жизни семьи. Вспоминать Отасилию, отдельные сказанные ею слова, различные эпизоды, сцены, события, в которых фигурировала мать, она могла часами, а вот Жоакин — тот стал что-то значить в их жизни лишь с того злополучного дня, когда обозвал Леонардо болваном, а потом посмотрел на нее и Отасилию и вдруг бросил им в лицо:

— Гадюки!

И с полнейшим спокойствием, будто в его поступке не было ничего из ряда вон выходящего, встал, вышел из дому и больше не возвращался.

Нет, об этом Ванда не хотела думать. Она снова погрузилась в воспоминания детства. Лучше всего она помнит отца именно в ту пору. Однажды у пятилетней Ванды (она была тогда капризной девчонкой с локонами) вдруг поднялась температура. Жоакин целыми днями не выходил из ее комнаты, сидел у постели, держал ее руки в своих, давал лекарства... Да, он был хорошим отцом и хорошим мужем. Ванда настолько растрогалась, что могла бы даже заплакать (как и полагается хорошей дочери), если было бы кому на нее в эту минуту посмотреть.

Она снова с грустью взглянула на покойника. В блестящих ботинках отражались огоньки свечей, складки на брюках лежали безукоризненно прямо, черный пиджак отлично облегал фигуру, руки благочестиво сложены на груди. Она смотрела на его гладко выбритое лицо и вдруг вздрогнула, словно ее ударили.

Мертвец улыбался. Насмешливая, саркастическая, издевательская улыбка застыла на его губах. Служащие похоронного бюро ничего не могли с ней поделать. И как это Ванда забыла! Надо было попросить их придать физиономии покойного достойное выражение, соответствующее торжественности момента. А Кинкас Сгинь Вода улыбался, как при жизни. И эта улыбка, полная иронии и неистребимого жизнелюбия, лишала всякого смысла и новые ботинки — новые, в то время как бедному Леонардо пришлось уже вторично отдать в починку свои,— и черный костюм, и белую рубашку, и гладко выбритый подбородок, и напомаженные волосы, и даже руки, сложенные, как для молитвы! Кинкас смеялся над всем этим! Улыбка его все ширилась и ширилась, еще немного —

и смех зазвенит в пустой комнате. Губы улыбаются, улыбаются и глаза, устремленные куда-то в угол, где кучей лежит его грязная заплатанная одежда, забытая служащими похоронного бюро. Кинкас Сгинь Вода смеется и после смерти!

И вдруг в мрачной тишине прозвучало слово, оно было сказано по слогам, с оскорбительной четкостью:

— Га-дю-ка!

Ванда испугалась, глаза ее сверкнули, совсем как в свое время глаза Отасилии, она побледнела. Это слово он бросил, точно плевок, прямо им в лицо — ей и Отасилии — в ответ на их попытки вернуть его к домашнему очагу, к размеренному ходу жизни, в ответ на попытки образумить его. Даже сейчас, когда он лежит в гробу, тихий, хорошо одетый, а в ногах у него стоят зажженные свечи, он все-таки не сдается! Он улыбается во весь рот, и ничего не будет удивительного, если он сейчас свистнет. Даже большой палец его левой руки слегка приподнят — Кинкас не сдается, он не желает смиренно скрестить руки на груди.

— Гадюка! — послышалось снова, и он насмешливо свистнул.

Ванда провела рукой по лицу — уж не сходит ли она с ума? Жара становилась невыносимой. Ванда задыхалась, у нее кружилась голова. На лестнице послышалось пыхтенье, и тетя Марокас с трудом протиснула в комнату свою жирную тушу. Ванда сидела на стуле бледная, растерянная, не сводя глаз с покойника.

— Ты чем-то расстроена, девочка? Ну и жара же в этой конуре...

При виде мощной фигуры своей сестры Кинкас улыбнулся еще шире, Ванда хотела зажать уши — она знала по опыту, какими словечками он имел обыкновение награждать тетку Марокас,— но разве это поможет, если имеешь дело с покойником?

— Вонючка жирная! — услыхала она.

Тетка Марокас отдышалась после подъема и подошла к окну. Открывая его, она спросила, не глядя на покойника:

— Его, верно, надушили. От этого запаха просто голова кругом идет.

Разноголосый шум ворвался в открытое окно. Морской бриз погасил свечи и облобызал лицо Кинкаса. Голубоватый, праздничный свет залил комнату. Кинкас все с той же торжествующей улыбкой поудобнее устроился в гробу.

VII

А в это время весть о неожиданной кончине Кинкаса Сгинь Вода уже разнеслась по улицам Баии. Правда, ни одна из лавчонок не закрылась в знак траура, но цены на украшения, соломенные сумки и глиняные фигурки, которые обычно покупают туристы, сразу подскочили. Люди сновали по улицам, собирались группами, судили и рядили, новость распространялась все дальше и дальше, поднималась по лифту Ласерды, трамваи довезли ее до Калсады, автобусы — до самой Фейраде-Сантана. Огромная негритянка Паула расплакалась над своим лотком с бейжу *. Сгинь Вода больше не придет к ней, не будет, как прежде, говорить ей замысловатые комплименты, любоваться высокой грудью, смешить ее своими не слишком пристойными шутками.

На рыбачьих лодках приспустили паруса. Однако загорелые подданные Йеманжи ** не скрывали своего разочарования и удивления: как мог «старый моряк» испустить дух в постели, где-то в каморке на

---

* Бейжу — пирожок, сделанный из муки маниоки или тапиоки.

** Йеманжа — по негритянской мифологии богиня вод.

Табуане? Ведь Кинкас Сгинь Вода не раз заявлял решительно и так убедительно, что не поверить ему было нельзя, будто он не может умереть на суше, ибо только одна могила достойна его: бесконечные просторы моря, залитые лунным светом.

Когда он в качестве почетного гостя участвовал в пиршестве на борту какого-нибудь баркаса по случаю небывалого улова и из глиняных горшков поднимался ароматный пар, а бутылка с кашасой переходила из рук в руки, в какую-то минуту у Кинкаса под рокот гитар начинала говорить кровь древних мореходов. Он поднимался из-за стола, чуть пошатываясь — это делало его еще более похожим на моряка,— и называл себя во всеуслышание «старым морским волком». На суше, без судна и без моря, он-де стал подонком, но не по своей вине. Он родился для того, чтобы ставить паруса, управлять баркасом и бороться с волнами в бурю. Жизнь сломила его, а ведь он мог бы стать капитаном, в синей форме, с трубкой в зубах. Но он все равно остался моряком, таким родила его мать, Мадалена, внучка морского капитана. Прадед его был моряком, и, если ему сейчас дадут этот баркас, он сумеет вывести его в открытое море и благополучно прибудет не только в Марагожипе или Кашоэйру — до них рукой подать! — а даже к дальним берегам Африки, хотя ему до сих пор ни разу не случалось ходить в плаванье. Но учиться ему незачем, он рожден моряком. И если кто-либо из почтенных слушателей сомневается, пусть скажет прямо... Запрокинув голову, он пил большими глотками. Но никто не сомневался в том, что все это — правда. Ведь портовые мальчишки привыкают к морю чуть ли не со дня рождения, и никто не удивлялся такому чуду. И тут Кинкас Сгинь Вода торжественно поклялся: только морю будет принадлежать честь присутствовать при его последних минутах. Не надо ему трех аршинов земли. Нет, не надо! Когда придет его час, он выйдет в открытое море, отправится в плаванье, которого так и не совершил при жизни, в небывалый, героический, беспримерный по смелости поход! Только так он встретит свою смерть! Рулевой Мануэл, самый храбрый из всех рыбаков, человек без нервов и возраста, одобрительно кивал головой. Остальные сделали еще по глотку кашасы и тоже не выражали никаких сомнений. Жизнь научила их верить в человека и его силы. Звенели гитары, воспевая ночи на море, полные соблазнов, роковую магию Йеманжи. «Старый моряк» пел громче всех.

Как же после всего этого могло случиться, что он, Кинкас, внезапно умер в комнатушке на Ладейра-до-Табуан? Невероятно! Рыбаки никак не соглашались этому верить. Кинкас Сгинь Вода любил дурачить людей. Весьма возможно, что он и на этот раз всех надул.

Бурные партии в порринью, ронду и семь с полтиной * были прерваны — ошеломленные вестью игроки потеряли всякий интерес к картам. Сгинь Вода был их главарем. Вечерний сумрак спускался на землю, как траурный флер. В барах, тавернах, у прилавков магазинов и лавчонок — всюду, где пили кашасу, воцарились печаль и уныние по случаю невозместимой потери. Кто умел пить лучше Кинкаса? Он никогда не бывал пьян, и чем больше кашасы вливал в свою глотку, тем яснее становился его разум, живее и остроумнее речь. Он обладал поразительной способностью безошибочно определять марку и место изготовления любого вина, умел различать малейшие оттенки его цвета, вкуса и аромата. Сколько лет он не дотрагивался до воды? С того самого дня, как его прозвали Сгинь Вода.

В этой истории нет ничего особенно примечательного или необычайного. Но все же стоит ее рассказать, так как именно с того далекого дня прозвище Сгинь Вода навсегда пристало к имени Кинкаса. Как-то раз

---

* Порринья, ронда, семь с полтиной — азартные карточные игры.

Кинкас зашел в таверну одного славного испанца по имени Лопес, что держит заведение неподалеку от рынка. Кинкасу, как завсегдатаю, разрешалось самому наливать себе вино, не пользуясь услугами официанта. На прилавке стояла бутылка, полная чистой, прозрачной, отличной на вид кашасы. Кинкас налил себе стакан, сплюнул и разом опрокинул его в рот. Нечеловеческий рев, рев раненного насмерть зверя огласил поутреннему тихий рынок; казалось, даже подъемник Ласерды зашатался на своем прочном фундаменте. Это был вопль человека, которого предали и погубили:

— Сгинь, вода-а-а!

Подлый, мерзкий испанец, недаром о нем ходит дурная слава! К таверне со всех сторон бежали люди — никто не сомневался в том, что произошло убийство, посетители же таверны корчились от хохота. Об этом вопле Кинкаса «Сгинь, вода» тут же принялись рассказывать повсюду: на базаре, на площади Позорного столба, на площади Семи ворот, на молу, от Калсады до Итапоа. С тех пор все стали называть его Кинкас Сгинь Вода, и Пучеглазая Китерия в минуты наибольшей нежности шептала ему: «Сгинь Водичка».

А в самых убогих дешевых публичных домах, где бродяги, воры, мелкие контрабандисты и списанные на берег матросы в глухой ночной час находили кров, семейный очаг и любовь, а усталые от безрадостной торговли своим телом женщины жаждали хоть немного нежности, известие о смерти Кинкаса Сгинь Вода вызвало горькие безутешные слезы. Его оплакивали, как самого близкого родственника, женщины вдруг почувствовали себя одинокими и беззащитными. Некоторые пожертвовали все свои сбережения, чтобы купить вскладчину самые прекрасные цветы Баии и положить их на гроб. Пучеглазая Китерия, окруженная рыдающими верными подругами, издавала душераздирающие вопли, разносившиеся по всей Ладейра-де-Сан-Мигел до самой площади Позорного столба. Она вынуждена была искать утешения в вине и то прикладывалась к бутылке, то снова разражалась рыданиями, без конца восхваляя своего незабвенного возлюбленного... такого нежного и озорного, такого веселого и мудрого.

Стали вспоминать разные случаи, привычки, выражения, в которых так хорошо отразилась душа Кинкаса. Разве не он больше двадцати дней ухаживал за трехмесячным сынишкой Бенедиты, когда ей пришлось лечь в больницу? Ведь только что не кормил ребенка грудью... и пеленки менял, и купал малыша, и давал ему соску...

А совсем недавно, во время кутежа в доме свиданий Вивианы, разве не он, старый и пьяный, бесстрашно бросился на защиту Клары Боа, когда два молодых развратника, негодяи из хороших семей, хотели избить ее? А каким приятным гостем бывал он за большим столом в полуденные часы... Кто еще умел рассказывать такие забавные истории, кто лучше мог утешить в страданиях любви, словно отец или старший брат? Под вечер Пучеглазая Китерия свалилась со стула и, будучи уложена в постель, заснула одна со своими воспоминаниями. Большинство девиц решило по случаю траура не принимать в этот вечер ни одного мужчины. Словно в четверг или в пятницу на страстной неделе.

VIII

К концу дня, когда в городе зажигались огни, а люди возвращались с работы, четверо самых близких приятелей Кинкаса Сгинь Вода — Курио, Прилизанный Негр, Капрал Мартин и Ветрогон — шагали вниз по Ладейра-до-Табуан к дому покойного. Чтобы не погрешить против истины, следует отметить, что в то время они еще не были пьяны. Правда, взвол-

нованные полученным известием, они все-таки слегка хлебнули, но красные глаза, запинающаяся речь и нетвердая походка — все это было, без всякого сомнения, следствием тяжких страданий и обильно пролитых слез. Может ли не помутиться рассудок, если умер старый друг, верный товарищ, самый заядлый бродяга во всей Баие? Что же касается бутылки, которая якобы была спрятана под рубашкой у Капрала Мартина, то это ведь не доказано.

В этот сумеречный час, час таинственного приближения ночи, покойник, как показалось Ванде, выглядел немного усталым. Да и было от чего: весь день он смеялся, бормотал ругательства, строил ей гримасы. Не унялся он даже тогда, когда Леонардо и дядя Эдуардо пришли, чтобы сменить Ванду. Она слышала, как он честил Леонардо, насмехался над Эдуардо. Но когда сгустились вечерние тени, Кинкас забеспокоился. Казалось, он чего-то ждет. Ванда, стремясь забыться и отвлечься, оживленно разговаривала с мужем, дядей и теткой Марокас и старалась не смотреть на покойника. Ей хотелось поскорее вернуться домой, отдохнуть, принять снотворного. Почему это Кинкас все водит глазами, будто смотрит то на окно, то на дверь?

Четверо приятелей узнали о смерти Кинкаса не все сразу. Сначала новость дошла до Курио. Человек этот применял свои многочисленные таланты в лавках в Байша-до-Сапатейро, где работал зазывалой. Надев старый, поношенный фрак и нарумянив лицо, он становился на пороге лавки и за ничтожное вознаграждение прославлял дешевизну и высокое качество товаров — он останавливал прохожих, выкрикивая всякого рода остроты, приглашал их во что бы то ни стало зайти, а некоторых затаскивал чуть ли не силой. Время от времени, когда его донимала жажда — ведь от такой работы пересыхает в горле,— он забегал в соседнюю таверну и опрокидывал стаканчик для усиления звучности голоса. В одно из таких посещений его и настигло известие о смерти Кинкаса. Курио лишился дара речи, словно кто-то двинул его кулаком в грудь. Грустный, повесив голову, возвратился он в лавку и предупредил хозяина, чтобы тот на него больше в этот день не рассчитывал. Курио был еще молод, радости и печали глубоко потрясали его юную душу. Он не мог перенести такое страшное горе в одиночку. Он нуждался в поддержке друзей, жаждал очутиться поскорее в своей компании.

Под откосом, в том месте, где по субботам причаливали рыбачьи лодки, прибывшие на вечерний базар в Агуа-дос-Менинос, всегда собиралось много народу. Многолюдно бывало и на площади Семи ворот, на улице Свободы, где толпились любители капоэйры * — моряки, рыночные торговцы, знахари, мошенники. Здесь болтали, заключали всякого рода сделки, резались в карты, ловили при лунном свете рыбу и устраивали веселые попойки. В этих местах у Кинкаса Сгинь Вода было немало поклонников и приятелей, но с этими четырьмя — Курио, Прилизанным Негром, Ветрогоном и Капралом Мартином — он почти не разлучался. Много лет подряд они ежедневно встречались и проводили вместе все вечера. Иногда у них водились деньги, иногда приходилось туго; случалось, что они объедались, а нередко и голодали, но выпивку всегда делили поровну и держались все вместе — в дни веселья и в дни печали. Только теперь Курио понял, как крепко они были связаны друг с другом. Смерть Кинкаса представилась ему чем-то вроде ампутации — будто у него отняли руку, ногу или выкололи глаз. Тот самый «глаз сердца», о котором говорила сеньора Мать бога **, а уж мудрее ее вряд ли можно и сыскать. Курио решил, что с Кинкасом надо всем вместе и попрощаться.

---

* Капоэйра — атлетическая игра-танец.

** Мать бога — жрица в негритянском религиозном обряде макумба.

Он отправился на поиски Прилизанного Негра. Конечно, тот сейчас на площади Семи ворот помогает знакомым маклерам жого до бишо *, чтобы раздобыть пару монет на вечернюю выпивку. Ростом Прилизанный Негр чуть ли не два метра, а когда расправит плечи, то похож на памятник — такой он огромный. И если разозлится, то тут уж никто с ним не справится. К счастью, злится он редко. Прилизанный Негр — человек веселый и добродушный.

Как и рассчитывал Курио, Негр оказался на площади Семи ворот. Он сидел на тротуаре возле рынка и всхлипывал, держа в руке бутылку. Вокруг стояло несколько человек, деливших с ним его горе и его кашасу. Они хором вторили воплям и вздохам Негра. Увидев эту сцену, Курио понял, что Негр уже знает о несчастье. Тот отхлебнул из бутылки, утер слезу и отчаянно завыл:

— Скончался отец наш...

— ...отец наш...— простонали другие.

Бутылка-утешительница ходила по рукам, но все обильнее текли слезы из глаз Негра, и все безутешнее становилось его горе.

— Умер хороший человек...

— ...хороший человек...

Время от времени кто-нибудь присоединялся к толпе, зачастую даже не зная, в чем, собственно, дело. Прилизанный Негр протягивал ему бутылку и вновь испускал дикий вопль:

— Он был добрый...

—...добрый...— повторяли все, за исключением вновь прибывшего, который никак не мог понять, почему его бесплатно поят кашасой и чем вызваны столь горестные завывания.

— А ты что молчишь, несчастный? — Прилизанный Негр, не вставая, протягивал могучую руку и, сверкнув глазами, как следует встряхивал вновь прибывшего.— Может, ты считаешь, что он был не так уж хорош?

Тут кто-нибудь спешил объяснить, пока дело не приняло дурной оборот.

— Умер Кинкас Сгинь Вода.

— Кинкас?.. Он был добряк,— соглашался новый участник хора то ли по убеждению, то ли со страху.

— Еще бутылку! — рыдая, требовал Прилизанный Негр.

Кто-нибудь из мальчишек сразу же вскакивал и мчался в соседнюю таверну.

— Прилизанный заказал еще бутылку.

Всюду, где узнавали о смерти Кинкаса, потребление кашасы резко возрастало. Курио издали наблюдал за этой сценой. Известие опередило его. Увидев Курио, Негр издал еще один страшный вопль, простер руки к небу и поднялся:

— Курио, братец, умер отец наш.

—...отец наш...— повторил хор.

— Заткнитесь вы, черти! Дайте мне обнять моего братца Курио.

Нет на свете людей более вежливых, чем баиянские бродяги. Хоть они и чудовищно бедны, но зато на редкость учтивы. Поэтому «черти» тотчас же «заткнулись». Полы фрака Курио развевались на ветру, по его румяному лицу текли слезы. Горько рыдая, он трижды обнял Прилизанного Негра и в поисках утешения отпил из новой бутылки. Негр же был безутешен:

— Погас светильник...

— ...светильник...

Курио предложил:

* Жого до бишо — в переводе «звериная игра» — популярная в Бразилии подпольная лотерея.

— Найдем остальных и пойдем к нему.

Капрал Мартин мог находиться только в трех или четырех местах. Либо он спал у Кармелы, еще не придя в себя после вчерашней попойки, либо сидел на откосе и болтал с приятелями, либо играл на базаре Агуа-дос-Менинос. Ибо с тех самых пор как лет пятнадцать назад Капрал Мартин покинул армию, он занимался только любовью, беседой с друзьями и игрой в карты. Никто никогда не видел его за каким-либо иным делом — женщины и дураки давали ему вполне достаточно средств на безбедное существование. Для человека, носившего когда-то военный мундир, труд, по мнению Капрала Мартина, дело попросту унизительное. Величественная осанка, красота и ловкость рук в карточной игре завоевали ему популярность. Не говоря уже о том, что он прекрасно играл на гитаре.

Свои многообразные способности Капрал проявлял большей частью на базаре Агуа-дос-Менинос. Он занимался шулерством с поразительной легкостью, чем доставлял высокое наслаждение шоферам автобусов и грузовиков, а также способствовал воспитанию двух мальчишек, начинавших под его руководством практическое знакомство с жизнью. Кроме того, он часто помогал многим рыночным торговцам спускать деньги, нажитые за день. Таким образом, как видим, его деятельность заслуживала всяческих похвал. И поэтому довольно трудно понять, отчего один из торговцев без всякого восторга смотрел, с какой виртуозностью Мартин мечет банк, и даже пробормотал сквозь зубы, что «такое везение пахнет жульничеством». Капрал Мартин поднял на клеветника свои невинные голубые глаза и протянул торговцу колоду — пусть, мол, мечет сам, если ему угодно и если он обладает достаточным умением. Что же касается его, Капрала Мартина, то он предпочитает попросту пойти ва-банк, сорвать его и разорить банкомета в пух и прах. И он не допустит сомнений в своей честности. Как бывший военный, он особенно чувствителен ко всякого рода намекам, подрывающим его репутацию порядочного человека. Его щепетильность в этом вопросе настолько велика, что при любой провокации он будет вынужден набить кое-кому морду. Воодушевление ребятишек росло, шоферы в волнении потирали руки. Что может быть приятней неожиданного и бесплатного зрелища — доброй потасовки. Но именно в этот момент, когда все радостно предвкушали начало драки, появились Курио и Прилизанный Негр с печальным известием и бутылкой, на дне которой, впрочем, оставалось совсем немного жидкости. Еще издали они закричали:

— Он умер! Умер!

Капрал Мартин взглянул на них, опытным глазом безошибочно измерил содержимое бутылки и сказал, обращаясь к окружающим:

— Случилось что-то невероятное, они выпили уже целую бутылку. То ли Прилизанный Негр выиграл в жого до бишо, то ли у Курио помолвка.

Курио, неисправимый романтик, частенько становился жертвой безумной страсти и устраивал помолвки. Каждая помолвка соответствующим образом отмечалась, но дело, обычно начатое столь весело, завершалось весьма прискорбно и быстро, а жених впадал в меланхолию и предавался философским размышлениям.

— Кто-то умер...— произнес один из шоферов.

Капрал Мартин напряг слух.

— Он умер! Умер!

Два приятеля приблизились, шатаясь под тяжестью случившегося. Они шли от площади Семи ворот до базара Агуа-дос-Менинос, мимо откоса, где пристают рыбачьи лодки, мимо дома Кармелы и всюду сообщали печальную новость. Узнав о кончине Кинкаса, каждый считал своим долгом откупорить бутылку. Разве виноваты они — вестники смерти и горя — в том, что столько народу встретили на пути и что столько

друзей и знакомых было у Кинкаса? В этот день в Баие начали пить гораздо раньше обычного. Ничего удивительного: не каждый же день умирает Кинкас Сгинь Вода.

Забыв о драке и все еще держа колоду карт в руке, Капрал Мартин внимательно всмотрелся в лица друзей. Они плакали — это было ясно. Послышался сдавленный голос Прилизанного Негра:

— Умер отец наш...

— Господи боже, уж не губернатор ли? — спросил один из мальчишек, имевший склонность к юмору.

Негр поднял руку, и мальчишка полетел на землю.

Все поняли, что произошло нечто серьезное. Курио, подняв в воздух бутылку, объявил:

— Умер Сгинь Вода!

Карты выпали из рук Мартина. Подозрительный торговец увидел, что худшие его опасения подтвердились: карты рассыпались, тузов и дам в колоде почему-то оказалось чрезмерное количество. Но, услыхав имя Кинкаса, торговец понял, что сейчас не до споров. Капрал Мартин взял у Курио бутылку, выпил все, что в ней было, и отбросил ее в сторону. Долго стоял он молча и смотрел на базар, на снующих взад-вперед людей, на улицу с ползущими по ней грузовиками и автобусами, на бухту с рыбачьими лодками... Внезапно ощущение пустоты охватило его, он ничего не слышал, даже пения птиц, распевавших в клетках в соседней лавке.

Мартин был не из тех, у кого глаза на мокром месте, военным людям плакать вообще не пристало, даже если они вышли в отставку. Он сощурился, в голосе его больше не слышалось обычного бахвальства, а слова прозвучали чуть ли не с детским недоумением:

— Как же это могло случиться?

Он поднял карты и пошел вслед за приятелями. Теперь предстояло разыскать Ветрогона. У того вообще не было определенного местопребывания, только по четвергам и воскресеньям его наверняка можно было застать на улице Свободы, где он неизменно принимал участие в капоэйре. Ветрогон занимался ловлей мышей и лягушек и продавал их в лаборатории для медицинских целей и научных опытов. К нему относились поэтому с большим уважением и высоко ценили его суждения. Ведь он тоже был немного ученым, беседовал с образованными людьми и знал всякие непонятные слова.

Побродив по городу немало времени, выпив изрядное количество кашасы, друзья наконец наткнулись на Ветрогона. Тот шел, наглухо застегнув свой широкий пиджак, будто ему было холодно, и что-то бормотал про себя. Он уже знал печальную новость из других источников и тоже искал друзей. Увидев их, он сунул руку в карман. «За платком, чтобы утереть слезы»,— подумал Курио. Но Ветрогон извлек из глубины кармана маленькую зеленую лягушку, блестящую, словно изумруд.

— Я припрятал ее для Кинкаса, никогда не встречал такой красивой.

IX

Они остановились в дверях, и Ветрогон вытянул руку. На ладони, выпучив глаза, сидела лягушка. Прилизанный Негр приподнялся на носки, чтобы лучше все видеть. Ветрогон смутился и спрятал лягушку в карман.

Семейство Кинкаса прервало оживленную беседу, четыре пары глаз злобно впились в незваных гостей. «Только этого не хватало»,— подумала Ванда.

Капрал Мартин в отношении воспитания уступал только Кинкасу. Сняв потертую шляпу, он раскланялся:

— Добрый вечер, дамы и господа. Мы хотели его увидеть...

И шагнул в комнату. Остальные последовали за ним. Родственники отошли в сторону, и приятели окружили гроб. Курио подумал сначала, что произошла ошибка: у покойника не было ничего общего с Кинкасом Сгинь Вода. Только по улыбке можно было узнать его. Все четверо стояли пораженные — никогда не могли они представить себе Кинкаса таким чистым, хорошо одетым, шикарным... В один миг они растеряли всю свою смелость, даже опьянение прошло, как по волшебству. В присутствии родных Кинкаса — особенно женщин — все четверо оробели, растерялись, не знали, что делать, куда девать руки, как стоять.

Курио, нарумяненный, комичный в своем изношенном фраке, смотрел на друзей, как бы умоляя их уйти отсюда возможно скорее. Капрал Мартин колебался и, будто генерал перед сражением, стремился детально изучить силы противника. Ветрогон сделал шаг к двери. Один только Прилизанный Негр, все еще стоявший, вытянув шею, позади других, не колебался ни секунды. Кинкас улыбался ему, и Негр улыбнулся тоже. Нет на свете такой силы, которая заставила бы его уйти отсюда, от папаши Кинкаса. Он взял Ветрогона за руку и взглядом ответил на просьбу Курио. И тогда Капрал Мартин понял: солдату не к лицу бежать с поля битвы. Все четверо отошли от гроба в глубину комнаты.

Так они и стояли молча: в одном конце комнаты — семья Жоакина Соарес да Кунья, его дочь, зять, брат и сестра, в другом — друзья Кинкаса Сгинь Вода. Ветрогон держал руку в кармане, поглаживая испуганную лягушку; ему так хотелось показать ее Кинкасу! Они двигались словно в каком-то странном танце — едва приятели отошли от гроба, к нему сразу же приблизились родственники. Ванда бросила на отца взгляд, полный презрения и упрека. Даже после смерти он предпочитал общество этих оборванцев.

Конечно, он ждал их, его волновало их опоздание, он хотел видеть у своего гроба этих бродяг. Именно тогда, когда она думала, что победила, что Кинкас сдался, так как он наконец перестал ругаться, когда она решила, что он сражен тем преисполненным достоинства молчанием, каким она встречала все его фокусы, на лице у него вновь засияла улыбка. И сейчас он больше чем когда-либо был Кинкасом Сгинь Вода. Если бы не боязнь оскорбить память Отасилии, Ванда отказалась бы от борьбы, возвратила бы гроб в похоронное бюро, продала бы новую одежду за полцены какому-нибудь бродячему торговцу и оставила бы на произвол судьбы этот мерзкий труп. Молчание становилось невыносимым.

— Вам пора уходить,— заметил Леонардо, обращаясь к жене и тетке.— А то стемнеет.

Несколько минут назад Ванда только этого и хотела — пойти домой и отдохнуть. Но теперь она стиснула зубы: нет, она не хочет сдаваться.

— Уйдем немного попозже.

Прилизанный Негр уселся на пол, прислонив голову к стене. Ветрогон толкнул его ногой — неприлично так рассаживаться в присутствии родственников покойного. Курио все порывался уйти, Капрал Мартин укоризненно смотрел на Негра. Но Прилизанный оттолкнул рукой ногу приятеля и взревел:

— Он был нашим отцом! Папаша Кинкас...

Ванда была ошеломлена, Леонардо и Эдуардо чувствовали себя так, словно получили пощечину или плевок в лицо. Одна только тетя Марокас заколыхалась от смеха.

— Какой забавный!

Прилизанному Негру страшно понравилось это восклицание, и он перешел от рыданий к смеху. Хохот Негра был еще ужаснее его воплей. Он гремел, заполняя всю комнату, но сквозь этот гром до Ванды доносился чей-то смех. Кинкас веселился от всей души.

— Какое святотатство! — Ее сухой голос разрушил зародившуюся было сердечность в отношениях.

Услыхав упрек, тетя Марокас поднялась со стула и принялась ходить по комнате. Прилизанный Негр с восхищением следил за ней глазами. Он осмотрел ее с ног до головы и пришел к заключению, что это женщина в его вкусе; конечно, она уже немного старовата, бедняжка, но зато до чего крупна, полна... Он ценил таких женщин. Не то что теперешние — худосочные, их и обнять-то нельзя как следует! Вот бы встретиться с этой дамочкой на пляже, уж они бы не соскучились вдвоем. Стоит только на нее поглядеть, сразу видно, на что она способна. Тетя Марокас заявила, что хочет уйти, она переутомилась, да и нервы... Ванда молча заняла ее место у гроба. Она сидела, выпрямившись на стуле, будто часовой.

— Все мы устали,— сказал Эдуардо.

— Женщинам действительно лучше уйти...— Леонардо боялся вечерней Ладейра-до-Табуан, когда закрываются все магазины и улицей овладевают бродяги и проститутки.

Вежливый Капрал Мартин, движимый стремлением к мирному сотрудничеству, предложил:

— Может, господа устали и хотят малость вздремнуть, так мы за ним присмотрим.

Эдуардо прекрасно понимал, что не следует этого делать: нельзя, чтобы все родственники ушли и покойник остался на попечении незваных посетителей. Но до чего же ему хотелось принять их предложение, ах, до чего хотелось! Целые дни расхаживал он по своему магазину, обслуживая покупателей, распоряжался, как же тут не устать! Он привык рано ложиться, а вставал на рассвете и никогда не отступал от этого правила. Обычно, возвратясь из магазина, Эдуардо принимал душ и обедал. После обеда садился в шезлонг, вытягивал ноги и в ту же минуту засыпал. Братец Кинкас без конца доставлял ему неприятности. В течение целых десяти лет он только этим и занимался. Вот и теперь Эдуардо вынужден не спать из-за него целую ночь, да еще за весь день ему удалось съесть лишь несколько бутербродов. А почему бы, собственно, не оставить Кинкаса с этой компанией бродяг, ведь это его приятели, он водил с ними дружбу в течение целых десяти лет?.. А им — членам почтенного семейства — совершенно нечего делать в этой грязной дыре. Это какая-то крысиная нора, и ни ему, ни Марокас, ни Ванде с Леонардо вовсе не место здесь. Однако у него не хватило духа сказать все, что он думает: Ванда так дурно воспитана, она еще может напомнить ему, Эдуардо, о тех временах, когда он, только начинавший свою карьеру, не раз пользовался щедростью Кинкаса. Он посмотрел на Капрала Мартина довольно благосклонно.

Ветрогон, убедившись в бесплодности попыток заставить Прилизанного Негра встать, уселся с ним рядом. Ему очень хотелось вытащить лягушку — пусть она попрыгает. В жизни еще не встречал такой красивой! Курио в детстве провел несколько лет в иезуитском приюте и теперь силился извлечь из ослабевшей памяти хоть какую-нибудь молитву. Он не раз слышал, что по покойникам полагается молиться. И в приюте отцы иезуиты... Да, а священник уже был, или он придет завтра? Этот вопрос вертелся у Курио на языке, и он не выдержал:

— А что, падре уже был?

— Придет завтра утром,— ответила Марокас.

Ванда укоризненно взглянула на нее: зачем она разговаривает с этим типом? Но все же теперь Ванда чувствовала себя лучше: ей удалось загнать бродяг в угол, она заставила их молчать. Достоинство восстановлено. В конце концов нельзя ей и тете Марокас сидеть здесь всю ночь. Вначале она смутно надеялась, что безобразные приятели Кинка-

са не станут долго задерживаться, поскольку тут не было ни выпивки, ни закуски. Она не понимала, почему они все еще торчат здесь, не из дружеских же чувств к покойному, ведь эти люди вообще не знают, что такое дружба. Но в общем-то даже присутствие таких приятелей не имеет значения. Лишь бы они не вздумали принять участие в похоронной процессии. Завтра утром она, Ванда, об этом позаботится, вернется сюда и распорядится как следует. Возле покойного будут только его родственники, они и похоронят Жоакина Соарес да Кунья скромно и прилично. Она встала и позвала Марокас: — Пойдем.— И добавила, обращаясь к Леонардо: — Не задерживайся особенно поздно, тебе вредно не спать всю ночь. Ведь дядя Эдуардо обещал остаться до утра.

Эдуардо согласился и уселся на стул. Леонардо пошел проводить женщин до трамвая. Капрал Мартин отважился сказать им вслед: «Доброй ночи, мадам»,— однако не получил ответа. Комнату освещали только свечи. Прилизанный Негр уснул и отчаянно храпел.

X

В десять часов вечера Леонардо поднялся с бидона из-под керосина и подошел поближе к свечам, чтобы взглянуть на часы. Эдуардо с открытым ртом спал на стуле. Леонардо разбудил его:

— Я ухожу. В шесть утра приду тебя сменить, ты успеешь сходить домой переодеться.

Эдуардо вытянул ноги и вспомнил свою удобную кровать. Болела шея. В углу негромко, но горячо спорили о том, кто из троих — Курио, Ветрогон или Капрал Мартин займет место Кинкаса в сердце и на ложе Пучеглазой Китерии. Капрал Мартин проявил возмутительный эгоизм, не соглашаясь вычеркнуть себя из числа наследников Кинкаса, хотя ему уже принадлежало сердце стройной негритянки Кармелы. Когда на улице смолкли шаги Леонардо, Эдуардо посмотрел на друзей Кинкаса. Они замолчали. Капрал Мартин улыбнулся коммерсанту. Эдуардо с завистью глядел на сладко спавшего Прилизанного Негра. Попытался было устроиться получше, положив ноги на бидон. Невыносимо ныла шея. Ветрогон наконец не выдержал, вынул лягушку из кармана и посадил на пол. Лягушка запрыгала, такая забавная, будто маленький гном. Эдуардо никак не мог уснуть. Застывшим взглядом смотрел он на мертвеца в гробу. Вот кому удобно лежать! И какого черта он, Эдуардо, сидит здесь, как сторож? Разве мало того, что он взял на себя часть расходов и пойдет на похороны? Он выполнил свой долг по отношению к брату, даже с лихвой, если учесть, каков этот братец. Ведь подобного скандалиста и безобразника свет не видал!

Он снова встал, размялся немного и громко зевнул. Ветрогон держал в кулаке маленькую зеленую лягушку. Курио думал о Пучеглазой Китерии. Вот это женщина!.. Эдуардо подошел к ним:

— Скажите-ка...

Капрал Мартин, психолог по призванию и по необходимости, вытянулся перед ним:

— К вашим услугам, начальник.

Как знать, а вдруг коммерсант распорядится послать за бутылкой, чтобы быстрее прошла длинная ночь?

— Вы останетесь здесь до утра?

— С ним? Да, сеньор. Мы его друзья.

— Тогда я пойду домой отдохну немного.— Он вытащил из кармана бумажку. Капрал, Курио и Ветрогон напряженно следили за его жестами.— Вот вам, купите себе бутербродов. Но не оставляйте его одного. Ни на минуту, слышите!

— Можете отдыхать спокойно, мы составим ему компанию.

Прежде чем приступить к выпивке, Курио и Ветрогон закурили, Капрал Мартин тоже вынул сигару в пятьдесят сентаво, черную, крепкую,— только настоящий курильщик может понять, что это за сигара. Он пустил сильную струю дыма Негру в нос, но тот даже не шевельнулся. Однако стоило им откупорить бутылку, ту самую, которую, как утверждают родные Кинкаса, Капрал принес под рубашкой, Негр почуял запах кашасы и тотчас проснулся. Он открыл глаза и потребовал, чтобы дали глотнуть и ему.

С первого же глотка в друзьях проснулся дух критицизма. Эти родичи Кинкаса задирают нос, а сами, сразу видно, подлые скряги. Ничего не сумели сделать как следует. Где стулья для посетителей? Где выпивка и угощение, как полагается даже в самых бедных домах? Капрал Мартин не раз бывал на похоронах, но ничего подобного никогда не видел. Все сделано небрежно, кое-как, без всякого старания. Последние бедняки в таких случаях все-таки считают своим долгом подавать хоть чашечку кофе и рюмочку кашасы. Кинкас не заслужил подобного унижения. Важничают, чуть не лопаются от спеси, а сами даже не угостили ничем друзей покойного! Курио и Ветрогон отправились на поиски чего-нибудь съестного. Кроме того, им было велено раздобыть какие-нибудь ящики, чтобы можно было сидеть. Капрал Мартин решил провести поминовение более или менее прилично. Он уселся на единственный стул и начал командовать: принести ящики, купить кашасы... Прилизанный Негр одобрительно кивал головой.

Надо признать, что сам покойник выглядел достойно, тут родня постаралась. Костюм новый, туфли тоже, все очень даже шикарно. И свечи красивые, из церкви. Ну а цветы? Забыли? Где же это видано, чтобы покойнику не принесли цветов?

— Вид-то у него что надо! — сказал Прилизанный Негр.— Настоящий сеньор.

Кинкас улыбнулся, и Негр ответил ему улыбкой.

— Папаша...— сказал он растроганно и ткнул Кинкаса пальцем под ребро, как делал это обычно, когда слышал удачную остроту.

Вернулись Курио и Ветрогон и принесли несколько ящиков, кусок колбасы и пару бутылок. Все уселись в кружок возле покойника, и тут Курио предложил всем вместе прочитать «Отче наш». Ценой неслыханного напряжения ему удалось припомнить молитву почти целиком. Остальные неуверенно поддержали. Читать молитву было делом нелегким. Прилизанный Негр знал несколько заклинаний, обращенных к Ошуму и Ошале *,— этим и ограничивалось его религиозное образование. Ветрогон не молился уже лет тридцать. Капрал Мартин полагал, что ходить в церковь и молиться — значит проявлять слабость, мало приличествующую человеку военному. Однако все честно старались. Курио начинал, остальные подхватывали как могли. В конце концов Курио, стоявший на коленях с уныло склоненной головой, не выдержал:

— Стадо ослов!

— Тренировки не хватает...— пояснил Капрал.— Все-таки кое-что получилось. Остальное сделает завтра падре.

Кинкас остался равнодушным к молитве, наверно, ему было жарко в плотном костюме. Прилизанный Негр смотрел на друга: надо все-таки что-то для него сделать, раз молитва не получилась. Может быть, спеть? Что-то они ведь должны сделать. Он обратился к Ветрогону:

— Где твоя жаба? Дай ее Кинкасу...

— Это не жаба, а лягушка. Только зачем она ему теперь?

— А может, ему понравится.

---

* Ошум и Ошала — негритянские языческие божества.

Ветрогон осторожно достал лягушку и положил на скрещенные руки Кинкаса. Мерцающее пламя свечей осветило лягушку, зеленоватые отблески вспыхнули на лице трупа. Лягушка прыгнула и спряталась в глубине гроба.

Капрал Мартин и Курио снова заспорили из-за Пучеглазой Китерии. Выпив, Курио сделался воинственнее и уже стал возвышать голос в защиту своих интересов. Прилизанный Негр возмутился:

— Не стыдно вам спорить тут, у него на глазах? Он еще не остыл, а вы, как урубу*, набросились на падаль.

— Пусть он сам решит...— предложил Ветрогон. Он надеялся, что Кинкас выберет его своим наследником и именно ему завещает Китерию, свое единственное достояние. Разве не он принес Кинкасу лягушку, самую замечательную из всех, что ему приходилось видеть?

— Гм! — послышалось из гроба.

— Видите? Ему этот разговор не по душе,— рассердился Негр.

— Дайте и ему глотнуть,— сказал Капрал, которому очень хотелось заслужить благодарность покойника.

И они принялись вливать Кинкасу в рот кашасу. Жидкость потекла по пиджаку, по рубашке...

— В жизни не видал, чтобы кто-нибудь пил лежа...

— Надо его посадить. Так он и нас будет лучше видеть.

Кинкаса усадили на ящик, голова его качалась из стороны в сторону. После глотка кашасы он заулыбался еще шире.

— Хороший пиджак...— Капрал Мартин пощупал материю.— Глупо надевать новый костюм на покойника. Кормить червей хорошей одеждой! А ведь скольким людям нечего носить...

Вот это — чистая правда, поддержали все. Кинкасу дали еще глоток, он качнул головой, конечно он тоже не возражал — ведь он всегда соглашался с разумными доводами.

— И потом, он испортит костюм кашасой.

— Лучше снять с него пиджак.

Казалось, Кинкасу стало легче, когда с него стянули тяжелый, плотный черный пиджак. Но он все выплевывал кашасу, пришлось снять и рубашку. Курио загляделся на блестящие ботинки покойника: его собственные были все в дырах.

— Ни к чему покойнику новые ботинки, не правда ли, Кинкас? А мне они как раз по ноге.

Прилизанный Негр притащил из угла старую одежду друга, Кинкаса одели, и тогда все воскликнули хором:

— Вот это действительно наш старый Кинкас!

Друзья повеселели. Кинкас, казалось, тоже был доволен, в старой одежде ему было куда удобнее. Особенно благодарен он был Курио — проклятые ботинки так жали ноги! Но этот дурак вздумал полезть к Кинкасу с разговорами насчет Китерии. Он стал шептать ему что-то на ухо. Разве можно так делать? Ведь говорил же Прилизанный Негр, что все это раздражает Кинкаса! Покойник рассердился и выплюнул струю кашасы прямо в лицо Курио. Приятели задрожали от страха.

— Он взбесился.

— Я же говорил!

Ветрогон надел новые брюки, пиджак достался Капралу. Рубашку Прилизанный Негр выменяет в знакомой таверне на бутылку кашасы. Капрал Мартин вежливо сказал Кинкасу:

— Я не хочу никого обижать, но, говоря откровенно, твоя семейка довольно скуповата.

— Сквалыги...— уточнил Кинкас.

---

* Урубу — южноамериканский гриф.

— Раз ты сам так говоришь, значит, это правда. Мы боялись оскорбить их, в конце концов ведь они — твои родственники. Но что за скряги!.. Даже выпивка за наш счет, где такое видано!

— И ни одного цветка...— поддержал Прилизанный.— Чем иметь таких родственников, лучше бы их уж совсем не было.

— Мужчины — болваны. Женщины — гадюки,— четко произнес Кинкас.

— Но послушай, папаша, толстуха все-таки кое-чего стоит...

— Вонючка жирная!

— Не говори, папаша. Немного перезрела, но не так-то уж она плоха. Я встречал и похуже.

— Ты, Негр, осел. Ничего не смыслишь в женщинах.

Ветрогон совсем некстати вставил:

— Вот Китерия хороша, верно, старик? Что она теперь будет делать? Я даже...

— Заткнись, несчастный! Не видишь, он злится?

Но Кинкас не слышал Ветрогона. В эту самую минуту Капрал Мартин попытался обделить Кинкаса и пронести мимо него кашасу. Тот мотнул головой и так стукнул по бутылке, что чуть не разбил ее.

— Дай папаше кашасы,— потребовал Прилизанный Негр.

— Он проливает,— возразил Капрал.

— Пусть пьет, как хочет. Имеет право.

Капрал Мартин сунул бутылку прямо в рот Кинкасу:

— Успокойся, приятель. Не хотел я тебя обижать. Пей на здоровье. Ведь нынче твой праздник...

Они перестали говорить о Китерии. Было совершенно ясно, что Кинкас не разрешает касаться этого вопроса.

— Хороша кашаса!— похвалил Курио.

— Барахло! — отрезал Кинкас, который был знатоком в этом деле.

— Ну так ведь и цена...

Лягушка прыгнула Кинкасу на грудь. Он полюбовался ею и тут же спрятал в карман старого засаленного пиджака.

Луна поднималась над городом и над морем, луна Баии лила в окно серебряное сияние... Ветер с моря погасил свечи, гроба больше не было видно. С улицы доносились звуки гитары, женский голос пел о муках любви. Капрал Мартин тоже запел.

— Он обожает песни...

Они пели вчетвером, бас Прилизанного Негра заполнял всю улицу и замирал далеко в бухте, где стояли баркасы. Кинкас пил вместе со всеми, а теперь слушал пение — он ведь так любил задушевные песни.

Наконец они устали петь, и Курио сказал:

— Кажется, сегодня вечер мокеки * у рулевого Мануэла?

— Конечно, мокеки из ската,— прибавил Ветрогон.

— Никто не готовит ее лучше Марии-Клары,— заявил Мартин.

Кинкас прищелкнул языком. Прилизанный Негр рассмеялся:

— Он до смерти любит мокеку.

— А почему бы нам не пойти? Мануэл может даже обидеться.

Приятели переглянулись. Немного поздно, да придется еще заходить за женщинами. Курио колебался:

— Мы же обещали не оставлять его одного.

— А почему одного? Он пойдет с нами.

— Я хочу есть,— заявил Прилизанный Негр.

Посоветовались с Кинкасом:

— Хочешь пойти?

— А что я — калека, что ли, почему я должен оставаться здесь?

---

* Мокека — жаркое из рыбы или моллюсков с оливковым маслом и перцем.

Еще глоток, бутылка пуста. Кинкаса поставили на ноги. Прилизанный Негр заметил:

— Он так пьян, что не держится на ногах. С годами он становится слаб. Пошли, папаша!

Курио и Ветрогон зашагали впереди. Кинкас, довольный жизнью, шел танцующей походкой между Прилизанным Негром и Капралом Мартином, а те вели его под руки.

XI

По-видимому, этой ночи суждено было стать незабываемой. Кинкас Сгинь Вода переживал лучшие минуты своей жизни. Необычайное воодушевление охватило всю компанию — эта небывалая ночь принадлежала им, для них стоит над Баией полная луна, заливая город таинственным светом. Под столетними порталами на площади Позорного столба прятались парочки, мяукали на крышах коты, стонали гитары. Ночь была полна очарования, издали неслись звуки атабаке *, все казалось призрачным, нереальным...

Кинкас Сгинь Вода веселился вовсю: он подставлял ножку Капралу и Негру, показывал встречным язык, сунулся в какой-то подъезд посмотреть, что делает укрывшаяся там парочка. На каждом шагу он валился с ног и чуть было не растянулся на мостовой. Друзья не торопились, время принадлежало им. Они не чувствовали его власти над собой и верили, что эта волшебная ночь будет длиться долго, может быть, целую неделю. Ибо, как утверждал Прилизанный Негр, нельзя же день рождения Кинкаса Сгинь Вода отпраздновать за каких-нибудь несколько часов. Кинкас не отрицал, что сегодня день его рождения, хотя никто не помнил, чтобы его вообще праздновали когда-нибудь прежде. Случалось им отмечать многочисленные помолвки Курио, дни рождения Марии-Клары и Китерии, а иногда даже какое-нибудь научное открытие, сделанное одним из клиентов Ветрогона. На радостях ученый вручал своему «скромному сотруднику» бумажку в пятьсот крузейро. Но день рождения Кинкаса праздновался впервые, и надо было отметить его как полагается. Они шли к площади Позорного столба, к дому Китерии.

Странно, в бараках на Ладейра-де-Сан-Мигел не было обычного шума. В эту ночь все выглядело по-особому.

А может быть, полиция устроила облаву, и бары закрыты, а Китерию, Кармелу, Доралисе, Эрнестину и Маргариту увели? Как бы и им не попасть в ловушку! Капрал Мартин принял на себя командование, Курио отправили вперед.

— Иди в разведку,— приказал Капрал.

Остальные сели на паперти и стали ждать. Оказалось, что у них есть еще бутылка. Кинкас лег, он смотрел в небо и улыбался.

Курио вернулся в сопровождении шумной компании, вопившей «Вива» и «Ура» Впереди всех, поддерживаемая двумя приятельницами, величественно выступала безутешная вдова Пучеглазая Китерия, вся в черном и в кружевной мантилье.

— Где он? Где он? — кричала она взволнованно.

Курио поспешно взбежал по ступеням. В своем потертом фраке он походил на митингового оратора.

— Пронесся слух, будто Сгинь Вода протянул ноги, и все погрузилось в траур.— Все рассмеялись. Кинкас смеялся тоже.— Так вот, он здесь, люди добрые, сегодня день его рождения, и мы отпразднуем его на баркасе у рулевого Мануэла.

Пучеглазая Китерия высвободилась из объятий своих приятельниц Доралисе и толстой Марго и хотела было кинуться к Кинкасу, который

* Атабаке — барабан.

теперь сидел на ступеньке рядом с Прилизанным Негром. Но, видимо, потрясенная всем происходящим, она не смогла удержаться на ногах и уселась прямо на мостовую. Ее тотчас же подняли и повели к Кинкасу.

— Бандит! Собака! Негодяй! Ведь взбредет же на ум такое — распускать слухи, будто ты умер, и пугать людей?

Она села возле улыбающегося Кинкаса, взяла его руку и положила себе на грудь— пусть он почувствует биение ее встревоженного сердца.

— Я чуть с ума не сошла, а он, оказывается, веселится, окаянный. Ну что с тобой делать? Дьявол ты, а не человек, вечно что-нибудь придумаешь! Какой ты бесчувственный, Сгинь Водичка, совсем ты меня не жалеешь, ведь ты меня просто убил...

Все смеялись, шутили, в тавернах вновь зашумел народ. Ладейра-де-Сан-Мигел ожила. Компания направилась к дому Китерии. Она была в этот вечер очень хороша: в черном платье, такая соблазнительная...

Они шли по Ладейра-де-Сан-Мигел и всюду встречали привет и дружелюбие. Немец Хансен, хозяин бара «Цветок Сан-Мигела», пригласил их выпить по рюмке кашасы. Француз Верже подарил дамам африканские амулеты. Он не мог присоединиться к ним, так как ему надо было выполнить обет, данный святому. Двери домов открывались, женщины выглядывали из окон, выходили на улицу. Имя Кинкаса слышалось повсюду, ему кричали «Ура». Кинкас кивал головой в знак благодарности, словно король, возвратившийся на трон. В доме Китерии все было погружено в траур. В спальне на комоде, между литографией, изображающей Христа, и глиняной статуэткой Кабыкло Ароэйры, ее покровителя, красовался портрет Кинкаса, вырезанный из газеты, из серии очерков Джованни Гимараэнса «Баиянское дно». По обе стороны портрета горели свечи, а перед ним лежала красная роза. Доралисе, ближайшая подруга Китерии, откупорила бутылку и разлила кашасу в синие рюмки. Китерия погасила свечи, Кинкас свалился на постель. Гости перешли в столовую. Вскоре Китерия присоединилась к ним.

— Он заснул, бедняга...

— Перепил...— пояснил Ветрогон.

— Пусть поспит,— сказал Прилизанный Негр.— Он имеет право...

Но поскольку они и так уже опаздывали к рулевому Мануэлу, то вскоре пришлось разбудить Кинкаса. Китерия, негритянка Кармела и толстая Маргарита отправились вместе с ними. Доралисе пришлось остаться: ей сообщили, что нынче вечером придет доктор Кармино. Ну, а доктор Кармино, сами понимаете, он ведь дает ей деньги каждый месяц, нельзя же обидеть такого человека.

Они надеялись, что застанут баркас еще у причала. Теперь они спешили, Кинкас шел в обнимку с Китерией и Прилизанным Негром, он спотыкался о камни и тяжело виснул на своих спутниках.

По дороге пришлось все же остановиться в баре Казузы, старого друга. У бара была дурная слава, каждый вечер здесь что-то случалось. У Казузы собирались курильщики маконьи. Он был приветлив и всегда давал в долг несколько рюмок, а иногда даже целую бутылку. Неловко было явиться на баркас с пустыми руками, решили потолковать с Казузой — не удастся ли раздобыть у него литра три кашасы. Капрал Мартин, отличавшийся редким дипломатическим даром, подошел к стойке и шепотом начал переговоры с хозяином, который никак не мог прийти в себя от изумления, увидев Кинкаса Сгинь Вода в великолепном настроении. Остальные уселись, чтобы опрокинуть за счет заведения по рюмке аперитива в честь дня рождения Кинкаса. Бар был полон: хмурые курильщики маконьи, веселые моряки, женщины, болтавшие о последних новостях, шоферы...

Драка вспыхнула внезапно и оказалась чрезвычайно эффектной. Похоже, что и в самом деле во всем виноват был Кинкас. Он сидел,

склонив голову на грудь Китерии и вытянув ноги. Как утверждают, один из курильщиков маконьи, проходя мимо, споткнулся о ноги Кинкаса и чуть не упал. Парень разразился градом ругательств. Прилизанному Негру это не понравилось. В этот вечер Кинкас имел право делать все, что угодно, в том числе вытягивать ноги, как ему заблагорассудится. Негр высказал свое мнение вслух. Парень промолчал. Казалось бы, тем все и кончилось. Однако через несколько минут еще один тощий тип из той же компании курильщиков маконьи тоже пожелал пройти. Он попросил Кинкаса подвинуться. Но Кинкас сделал вид, что не слышит. Тощий парень рассвирепел и, бешено ругаясь, толкнул Кинкаса. Тот ударил его головой, и драка началась. Прилизанный Негр поднял парня вверх и, по своей обычной манере, швырнул его на стол. Разъяренные приятели парня кинулись в атаку. Невозможно передать, что было дальше. Прекрасная Китерия, вскочив на стул, размахивала бутылкой. Капрал Мартин принял на себя командование баталией.

Побоище завершилось полной победой друзей Кинкаса, на помощь которым пришли шоферы. Ущерб, нанесенный неприятелем, оказался значительным: у Ветрогона под глазом красовался синяк, Курио оторвали полу фрака. Кинкас лежал неподвижно: ему, как видно, здорово досталось, и к тому же он сильно ударился головой о каменный пол. Курильщики маконьи бежали. Китерия склонилась над Кинкасом, пытаясь привести его в чувство. Казуза философски созерцал перевернутую стойку, опрокинутые столы и разбитые стаканы. Дело привычное, и потом, ведь это реклама, после такого сражения в баре будет больше посетителей. Он и сам знал толк в доброй драке.

От глотка кашасы Кинкас пришел в себя. Он все еще как-то странно пил: часть жидкости выливалась обратно, словно бы он ее выплевывал. Если бы не день его рождения, Капрал Мартин в деликатной форме обратил бы на это его внимание. Все направились в порт.

Рулевой Мануэл не ждал их в этот час. Угощение было уже готово, Мануэл не собирался выходить в море, поскольку гости не явились, и вокруг глиняного горшка сидели одни рыбаки. В глубине души Мануэл ни на минуту не верил в смерть Кинкаса. Не мог же «старый моряк» умереть на суше, да еще в постели. Поэтому он ничуть не удивился, увидев Кинкаса под руку с Китерией.

— Скатов много, хватит на всех...

Вытянули большой камень, служивший якорем, подняли парус. Серебрилась на воде лунная дорожка. Вдали, на горе, чернела Баия. Баркас медленно отчалил. Мария-Клара громко запела морскую песню:

На дне моря тебя я нашел...
В ожерелье из раковин нежных...

Все окружили дымящийся горшок. Глиняные миски быстро наполнялись. Мокека из ароматного ската, с перцем. Бутылка кашасы ходила по кругу. Капрал Мартин всегда зорко смотрел в будущее и обладал даром провидения. Поэтому, руководя побоищем в баре, он в то же время ухитрился стянуть в суматохе несколько бутылок, которые дамы укрыли под одеждой. Кинкас и Китерия ничего не ели: они лежали на корме, и под звуки песни Марии-Клары пучеглазая красавица шептала старому моряку слова любви:

— Зачем ты так напугал меня, противный Сгинь Водичка? Ты ведь знаешь, у меня слабое сердце, врач не велел мне волноваться. Неужели ты думаешь, что я могла бы жить без тебя, мерзкий ты человек? Я привыкла к тебе, к твоим проделкам и к твоей мудрости, к твоим дурным манерам и к твоему добродушию. Зачем ты так поступил со мной?— Она обнимала его раненную в драке голову и целовала его лукавые глаза.

Кинкас не отвечал, он впитывал в себя морской воздух, рука его

свешивалась за борт, от нее по воде тянулся след. Вначале все шло хорошо: голос Марии-Клары, чудесное угощение, свежий бриз, свет луны и шепот Китерии. Но неожиданно с юга надвинулись облака. Луна скрылась, звезды погасли. Поднялся ветер, который все крепчал и становился опасным. Рулевой Мануэл сказал:

— Будет шторм, лучше повернуть назад.

Он хотел вернуться в гавань до начала бури. Но так хороша была кашаса, так приятна дружеская беседа, а в горшке плавало еще так много скатов в масле! И голос Марии-Клары навевал тихую грусть. Не хотелось расставаться с морем. И потом, разве можно было нарушить идиллию — разлучить Кинкаса с Китерией в эту праздничную ночь?

Вот почему случилось так, что буря застигла их в пути. Ветер выл, волны пенились, молния прорезала темноту. Начался дождь. Вдали сверкали огни Баии. Мануэл стоял у штурвала, посасывая трубку.

Никто не видел, как Кинкас поднялся. Он стоял, прислонившись к мачте. Китерия не сводила влюбленных глаз с фигуры «старого моряка». Кинкас улыбался волнам, швырявшим баркас, и молниям, сверкавшим во мраке. Мужчины и женщины хватались за канаты, цеплялись за борт... Ветер свистел, гибель угрожала суденышку каждую минуту. Мария-Клара больше не пела, она стояла у штурвала рядом с возлюбленным.

Волны перекатывались через палубу, ветер рвал паруса. В темноте по-прежнему светился огонек трубки рулевого Мануэла, и Кинкас, «старый моряк», все так же неподвижно и величаво стоял среди бушевавшего шторма. Баркас медленно, с трудом входил в тихие воды защищенной от ветра бухты. Еще немного — и можно будет снова начать веселье.

Но как раз в эту минуту небо прорезали одна за другой пять молний, гром загрохотал с такой силой, будто возвещал конец света, и огромная волна подняла баркас. Все вскрикнули, а Марго завопила:

— Пресвятая дева, спаси и помилуй!

Баркас накренился. В шуме разъяренных волн послышались последние слова Кинкаса, и при свете молний видно было, как он бросился за борт. Парусник вошел в спокойную бухту, а Кинкас погрузился в бурную пучину вод, закутавшись в белый саван из морской пены. Он всегда мечтал умереть именно так!

XII

Похоронное бюро не приняло гроб обратно даже за полцены. Пришлось за него заплатить. Свечи Ванда сумела использовать в хозяйстве. Гроб же до сего дня находится в магазине Эдуардо, который не теряет надежды продать его для какого-нибудь второсортного покойника. Что касается последних слов Кинкаса, то здесь имеются самые различные версии. Да и кто мог ясно расслышать их в такую бурю? Если же верить рыночному трубадуру, то дело было так:

Вдруг среди суеты и смятения
раскрывается Кинкаса рот:
«Я менять не желаю решенья —
только море меня погребет.
Мой же гроб и к нему оснащение
пусть родня для себя заберет.
Мне в земле не снести заточения —
там и мертвый со скуки помрет».
Жаль, что речи его заключение
не узнал развеселый народ.

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР

ОСЕННИЙ ДЫМ

РОМАН

Перевод с немецкого
И. МЛЕЧИНОЙ и В. СТЕЖЕНСКОГО

26

В тот же день Шиндель решил созвать после обеда всех членов небольшой партийной группы Шварцвальде. Первыми пришли Конрад Шпрингер и кругленький Калер, немного позже явился учитель Экельман, высокий худощавый человек, который несмотря на свои тридцать лет уже заметно облысел. Вольни и Цанка все еще не было. Конрад уселся у кафельной печки, он то и дело подкладывал уголь, хотя чугунная дверца уже раскалилась докрасна. Калер, не любивший ждать, нетерпеливо спросил:

— Ведь всех оповестили? Чего ж мы ждем?

— Подождем! — мрачно сказал Шиндель: не мог же он открыть собрание без Вольни и Цанка, из-за которых оно и было созвано.

— Ну хорошо, тогда я доложу вам обстановку,— предложил Калер, затянувшееся молчание действовало ему на нервы. — Обстановку в Лангенбахе, я там недавно был. Вот Конрад в курсе. Я позволил себе пропустить маленькую. Вот столечко, как полагается. Во всяком случае, дыру эту теперь не узнать, будто муравейник разворотил. Все бегают и галдят наперебой. Я их после восьмой рюмки предупредил: «Подождите, вас тоже возьмем за жабры, недолго вам осталось прибедняться, наденем и на вас узду, так что зубы заскрипят! Мы вам не позволим себя дурачить. Даже и не думайте! Если уж социализм, говорю, то повсюду, и в Лангенбахе тоже. Ясно?»

— Нельзя сказать, что очень умная речь,— буркнул себе под нос Экельман.

— Может, мне нужно было подлаживаться к ним, к этим болванам? Так вот, значит, читаю я им нотацию, как вдруг появляется Анерт, бургомистр, тот самый, у которого бабий голос и белая, как молоко, борода. Ну да вы его знаете, у него не все в порядке по мужской линии, как говорят те, кому это, должно быть, виднее. Подходит он, значит, и тоненьким голоском говорит: «Мы живем за лесом. В этом наше счастье!»

Калер обладал удивительным даром подражать всяким голосам, и даже Конрад Шпрингер, которому было совсем не до веселья, расхохотался.

Окончание. Начало в №№ 3, 4.

— Не смейся,— продолжал Калер уже своим обычным голосом.— Сейчас начнется самое веселое.— И вновь перешел на фальцет:— «Лес — это наша защита. Когда Наполеон уходил из России, где ему изрядно намяли бока, попал он и в наши места. Стащил все, что плохо лежало, ведь ему после поражений надо было поправить свои дела. В Шварцвальде, Цабице, Лунквице — повсюду только рыданья слышались. Но в Лангенбах Наполеон не вошел. Лес защитил наших отцов. Они перебили всех собак и всем петухам свернули шею, чтобы ни одного подозрительного звука не раздавалось, и Наполеон прошел мимо».

— Это весьма интересно,— заметил Экельман,— весьма интересно.— Он торопливо снял очки, и лицо его вдруг сделалось по-детски беспомощным.

Калер с удивлением посмотрел на него.

— Ну, что ж,— пробормотал он.— Значит, находишь это интересным, так я и думал! Но я им быстро заткнул глотки. Нет, говорю, мой дорогой Анерт, ничего у вас не выйдет. Можете, говорю, учинить своим собакам и петухам кровавую расправу. Это как вам угодно. Мы все равно до вас доберемся — и точка! Если Наполеон прошел мимо вашей деревни, это лишь доказывает, что он был растяпа, а не такой храбрец, как о нем рассказывают учителя. Ясно?

Экельман нервно закашлялся.

— Странная интерпретация исторических фактов! — заметил он.

— Единственно правильная, учитель...

Шиндель остановил его решительным жестом. Он ни разу за все это время не улыбнулся и теперь твердо заявил:

— Классово сознательный ответ, Калер! Высказал то, что я думаю. Я бы и сам не смог так ловко взять быка за рога!

Эта история лишь убедила Шинделя в собственной правоте. Привыкнув идти напролом, он повел собрание без всякого снисхождения к Вольни.

— Зачем его сюда прислали, если он ничего не умеет делать, кроме как затевать драки? Бить мы и сами умеем, даже получше его. Всегда бьем в нужную цель. А он калечит наших партийцев. До чего же мы дойдем, товарищи?

— Не спросить ли нам сначала его самого? — осторожно предложил Экельман.— Да и Цанка пока нет.

— Чего же еще спрашивать? У Цанка, вероятно, все лицо в синяках. Вольни просто увиливает. Иначе давно был бы здесь. Разыгрывает из себя невесть кого, а доходит до дела — он сразу в кусты. А как говорит о Гриммбергере! Если его послушать, можно заплакать от умиления. Знают друг друга двадцать лет, прошли, дескать, через всякие испытания. Ну, если я знаю кого-нибудь двадцать лет, то уж приведу его в христианскую веру. Вот так обстоит дело!

Конрад, не забывший, как Гриммбергер сбил его с ног, закричал:

— Правильно! Мы ждали большего! Цанк не самый лучший работник, но он наш человек, и к тому же старается. Пусть Вольни изменит свое отношение к Гриммбергеру.

Калер невозмутимо крутил сигарету. И прежде чем поднести ее ко рту, сказал:

— Толчете воду в ступе! — Он окинул всех презрительным взглядом, задержался на Конраде и съязвил:— А свадьбу свою надо самому устраивать. Вольни тебе в этом не поможет, приятель. Ты не болтай, а действуй!

Конрад вскочил с места.

— Чего я только не пробовал — вы даже не представляете себе! — Размахивая руками, он откровенно признался в своем поражении у Гриммбергера.

Калер, улыбаясь, с интересом слушал Конрада, а Шиндель назидательно сказал:

— То-то и оно! Но это может ему дорого стоить. На этом деле и не такие, как Гриммбергер, ломают себе шею. И ему не миновать!

— Да вы с ума все посходили,— возмутился Калер и, стукнув ладонью по столу, вышел из комнаты. С улицы донеслась его ругань. Через некоторое время все разошлись по домам, так и не придя ни к какому решению.

■

А в это время Вольни был в городе; он, волнуясь, сидел в приемной Виттига и курил сигарету за сигаретой. Вольни никому не сказал, что едет в город. Он собрался в путь внезапно, подавленный происшедшим, твердо решив вернуться к своему конвертеру. И в дороге с болью думал о том, что ничего в деревне не достиг, а главное, его дружбе с Гриммбергером пришел конец. Он чувствовал, что не в состоянии привлечь на свою сторону человека, с которым его связывало столь многое и на которого он возлагал такие надежды. Именно поэтому пребывание в Шварцвальде казалось ему бессмысленным. «В отчаянии ты наделаешь еще больше ошибок,— говорил он себе,— натворишь еще больше бед. Не будь ты в расстроенных чувствах, может быть, не сорвался бы с Цанком. Ты его взял бы, конечно, как следует в оборот, объяснил бы ему всю мерзость его поступка — без всякого снисхождения, разумеется, так, чтобы его проняло. А ты вместо этого хватаешь человека за горло и чуть ли не душишь. Если так к этому подходить, то надо передушить половину народа и даже больше. Чуть ли не у каждого на руках кровь убитых рабочих. Но кто в этом виноват? Ведь ты уже столько раз думал обо всем этом, столько раз мысленно говорил об этом со всеми. И все-таки история с белым жеребцом опять задела тебя за живое. Ты вдруг сразу позабыл, что с тех пор прошли годы, и прошли не бесследно, для Цанка тоже. Ведь на заводе поначалу было так же. В первые годы иные пропустят стаканчик и начинают молоть всякий вздор о своих похождениях во Франции так, что у тебя от ярости горло перехватывало. Но работа шла своим чередом. Эти люди постепенно стали твоими товарищами по заводу, товарищами по партии; семнадцатого июня они не отошли от печей. Да, в последние годы действительно можно было собственными глазами наблюдать, как залечивались раны в самых сокровенных тайниках человеческих душ».

Ход его мыслей прервал Виттиг. Появившись в дверях, он бросил на Вольни взгляд и хмуро сказал:

— Ну, входи. Задержались мы тут. На все требуется слишком много времени, понимаешь? Ты по какому делу? — Он закрыл за собой обитую, хорошо смазанную дверь, и она издала как бы едва слышный вздох. Виттиг нервно постучал карандашом по руке. Лицо его было усталым и изможденным. Под глазами синели болезненные мешки, а обширная лысина неестественно побагровела. Вольни, значительно более худой — кожа да кости,— выглядел рядом с ним гораздо здоровее.— Не возражаешь, если я буду ходить по комнате? Целый день сижу. Прямо кровь густеет. Ну, рассказывай, что привело тебя сюда.

Заложив руки за спину, опустив голову, Виттиг тяжело расхаживал по комнате. Вольни вскоре перестал следить за ним взглядом. Он смотрел в окно. Перед его глазами пестрым, беспорядочным пятном лежал город; Вольни начал говорить. Он не заметил, как вскоре Виттиг остановился позади него.

— Все?— спросил секретарь, когда Вольни кончил.

Вольни кивнул и смущенно поправил воротник рубашки.

— Цанк сегодня вышел на работу? Ах, не вышел! Где же он? Так, этого ты тоже не знаешь. А драться ты умеешь. Что же ты предпримешь, если он перейдет на ту сторону Эльбы? Не уступать ни одного человека, который может быть полезен нам,— так нас учит партия. А ты своей дракой, возможно, толкнул этого Цанка в руки Шрёдера, который сделает из него законченного преступника. Что ты об этом думаешь, говори! Они там дойдут до того, что будут убивать наших людей прямо на улице. Напомнят такому Цанку об его прошлом, он сразу и забудет, чему научился за последние годы. Но тебя это ведь не интересует, а? Избавился от него — и точка. Все равно толку немного было. Так ты думаешь или нет? Ну, говори же наконец!

Виттиг тяжело опустил руку ему на плечо. Бледность разлилась по лицу Вольни. Посеревшие губы его дрожали.

— Убить надо было эту сволочь! Тогда все было бы в порядке!

— Подумай еще над этим! — Виттиг отпустил плечо Вольни. Тон его вдруг переменился, в голосе появился оттенок тревоги.— Думаешь, у меня не бывает таких мыслей? Все мы, брат, одинаковые: схватили бы лом — и всякий шлак долой. Только этак и к черту в кухню угодишь. Можешь быть уверен. Нам такие вещи практиковать нельзя. Если левая рука чешется, правая пусть не дает ей расходиться. Терпение должно быть, как у учителя для глухонемых, понимаешь? Тяжело это, а для нас, стариков, особенно! Нам не так-то уж много времени отпущено, потому нам и не терпится. Ну, об этом не стоит. Ответственность на нас лежит большая. Тебе можно этого не объяснять. Сплошная коллективизация в деревне — вот наша цель! Освобожусь на несколько дней и приеду к вам. Согласен?

На обратном пути, немного поостыв, Вольни упрекал себя за недавнее малодушие. «А все-таки хорошо, что я поехал,— решил он под конец.— Кто знает, во что еще это выльется». Мысли его стремительно понеслись навстречу Шварцвальде: глубоко въелась ему в душу эта деревня со всеми ее волнениями, разочарованиями, надеждами, отчаянием, печалями и радостями.

Иногда у Вольни создавалось ощущение, что он живет на каком-то затерянном острове, отданном на растерзание всем штормам. Ему казалось порой, что Шварцвальде оторвано от остального мира и потому здесь труднее, чем в любой другой деревне. Земля тут была хуже, ветер суше, чем во всех других краях республики, дожди реже, зато управляющий погодой на небе позаботился о том, чтобы самый страшный град всегда поражал именно Шварцвальде. И даже люди тут обладали какими-то особенно трудными и сложными характерами. Рассказывали, что тюринжцы более приветливы, саксонцы — более душевны, мекленбуржцы отличаются более высокой сознательностью. Что же касается жителей Шварцвальде, то они, наверно, в последний момент соскочили у черта со сковороды.

При этих мыслях веселая улыбка осветила лицо Вольни. «Они будут так долго убеждать тебя, пока ты сам в это не поверишь»,— ухмыльнулся он. Увидев с проселка неяркие огни деревни, Вольни присвистнул, как мальчишка.

27

Обогнув лавку Штанге, Вольни вышел на узкую улочку и, уже почти добравшись до дома Клейнмана, вдруг услышал позади быстрые шаги. Он обернулся и узнал Лидию Крамер.

— Видишь, бегаю за тобой,— смущенно сказала она, слегка коснувшись его руки.— Я жду в переулке, а ты проходишь мимо, как будто

тебя кто подгоняет. Даже не заглядываешь за угол, где я стою. А сердце у меня бьется так, что кажется, весь свет слышит. Только ты не слышишь и не видишь, и вообще ты не очень-то чувствителен, кажется.

— Ну, не скажи,— весело возразил Вольни, и в глазах его, как всегда, когда он был чем-нибудь очень доволен, вспыхнули веселые огоньки.

— Обо мне и не вспоминал, наверняка весь день не вспоминал!

— Нет, не пришлось,— честно признался он,— некогда было.— Он слегка приподнял пальцем ее подбородок.— Не надо сердиться!

Лидия принужденно засмеялась. Она вдруг почувствовала себя униженной и пошла прочь, сначала медленно, потом все убыстряя шаг. Но Вольни быстро догнал ее.

— Ну, остановись же наконец,— глухо сказал он и положил ей руку на плечо.— Просто невозможно. Если бы нас кто-нибудь увидел! Ты совсем с ума сошла. Такие фокусы уже не для меня! — Он попытался заглянуть ей в лицо.— Да и оба мы, я думаю, вышли из того возраста. Ну, скажи что-нибудь!

Она нехотя позволила ему повернуть себя. Теперь Вольни смог разглядеть ее лицо, при свете луны казавшееся бледным, и с огорчением воскликнул:

— Еще и слезы! Ты для этого меня ждала? — Он разочарованно снял руку с ее плеча.— Тебе надо выспаться. А завтра поговорим. Так будет лучше!

И она действительно пошла, покорно, как ребенок, которого только что отчитали. Плечи ее опустились. А Вольни, не отрываясь, глядел ей вслед.

Он снова догнал ее как раз в том месте, где тропинка ответвлялась от проселка к хутору Гейзера, и, с трудом переводя дыхание, сказал:

— Я поступил неправильно. Только не надо обижаться. Еще раз тебе говорю: это было глупо и неправильно. Давай поговорим обо всем спокойно. Но без слез!

В тот же миг она повернула к нему лицо, сорвала с головы платок, и ее черные, как смоль, волосы упали на бледный лоб. Вольни испугался.

— Ни слезинки по тебе не пролью, чурбак,— пронзительно закричала она.— Очень нужно! Ты не стоишь даже доброго слова, потому что у тебя нет сердца! Меня всю жизнь счастье стороной обходило. Но за тобой все равно гоняться не буду! Лучше умереть, чем вешаться тебе на шею. Не прикасайся ко мне! Не то я тебе глаза выцарапаю!

— Тише, прошу тебя! Всю деревню перебудишь! — смущенно пробормотал Вольни.

Но его слова только подлили масла в огонь.

— Буду кричать, сколько влезет! Я тебе не принадлежу, и нечего мной командовать. Я все про тебя знаю!

Она ухватилась за его плечо, ища опоры; потом припала к нему и хрипло прошептала:

— Где ты был сегодня? Скажи правду. Чует мое сердце, у тебя в городе зазноба.

Вольни видал в жизни всякое, но тут попросту растерялся. Одной рукой он обнял Лидию, другой неловко гладил ее густые жесткие волосы. Вольни говорил, что приходило в голову, не вдумываясь в слова:

— Ну что ты сочиняешь? Конечно же никого у меня нет! Ты и в самом деле сумасбродка! Считаешь меня хвастуном и гулякой. Думаешь, пока я тебя тут обхаживаю, по мне другая слезы льет? Ведь я, как и ты, один-одинешенек. А ты мне сцены устраиваешь. Живу, как монах, честное слово. Сколько было раньше — не записывал, да только с тех пор много воды утекло. Уж не помню, когда обнимал женщину, вот как тебя сейчас. Кажется даже, что и вовсе этого не было. Так что незачем тебе, как фурии, набрасываться на меня. Я, конечно, чудаковатый малый, это

верно. И, может быть, сам никогда не пришел бы к тебе. Ходил бы вокруг да около и спрашивал себя: «И чего тебе, старик, не хватает, что тебя гложет?» Может, я бы даже понял, что мне не хватает тебя. Но вот стал ли бы я говорить об этом, не знаю!

Вслушиваясь в эти слова, Лидия Крамер все крепче прижималась к нему, а когда он замолчал, поднялась на цыпочки и, как одержимая, стала целовать его лицо.

Им так надо было побыть вместе, поговорить, что они дошли по проселочной дороге почти до самой железнодорожной станции, на которой Вольни не так давно сошел с поезда. Сегодня многое предстало перед ним в ином свете, и он сказал:

— От такой жизни становишься каким-то одноколейным, и не всегда все понимаешь. Жизнь многого недодала мне. Ребенка, например. Я часто думал: когда-нибудь отгремит последний бой, и тогда у меня будет ребенок, и я с ума сойду от счастья. Но жизнь решила по-иному!

Он замолчал, она тоже ничего больше не сказала. На какой-то миг промелькнули в его памяти глаза той, первой. Но все это было так далеко. Воспоминание почти не отозвалось в душе болью.

Когда они дошли до деревни, первые петухи уже пробовали голоса. Но луна все еще расточала свой холодный, безупречно белый свет, широко отбрасывая по проселку почти до ближних деревенских домов их слившиеся воедино тени.

■

На хуторе Гейзера беззвучно закрылось окно. Это было то самое окно кучерской, из которого можно было видеть часть гейзеровских полей и тропинку, ведущую к проселку, где прозвучало своеобразное объяснение в любви Вольни и Лидии Крамер.

Гейзер прислушался к звукам, доносившимся из хлевов. Он уже много дней не заглядывал туда, выходил из своей каморки только по нужде и чувствовал, как постепенно теряет силы. «Ты опускаешься все больше и больше,— признался он себе.— В твоей жизни было время, когда ты любил работу, когда ты мог прийти в ярость от того, что скотина не ухожена как следует, или от того, что в октябре хлеб не посеян. Тогда ты еще читал газеты, по крайней мере, и тебе хотелось разговаривать с людьми, спорить о боге, о жизни на земле, и радость охватывала тебя, когда ты видел, как утренний ветер треплет зазеленевшую озимь. Ты брался за плетку, со свистом взмахивал ею, и ее пронзительное щелканье испуганной птицей разлеталось по всем уголкам двора. Тогда ты любил, и тебя любили, еще задолго до поездок в Берлин, задолго до того, как смерть подкралась к твоему дому».

Гейзер почувствовал нечто вроде умиления, ему захотелось видеть людей. Но он перевернулся на живот и, как безумный, заговорил, уткнувшись в подушку:

— Я расправлюсь с этим псом. Сначала с ним, потом со всеми остальными, и напоследок с этой бабой, когда она уже будет чуть жива от страха.

Бессильная ненависть и необходимость ждать — изо дня в день, из месяца в месяц — окончательно истрепали его нервы, и воображение рисовало ему картины, одну страшнее другой.

Едва забрезжило утро, Гейзер отправился в деревню. Он побрился, надел свежую рубашку и старался шагать бодро. Заглянув к Штанге и Куглеру, он сказал:

— Вольни — многоженец. В городе у него жена и дети, а здесь он завел шашни с Крамершей. Вот что он за субъект!

■

Вольни проснулся утром от шума. Короткий, без сновидений, сон не сразу выпустил его из своих цепких объятий. Он с трудом сообразил, что происходит. В этот момент с грохотом упал чугунный горшок; он еще долго позвякивал о каменный пол. Потом Вольни отчетливо услышал слегка приглушенный голос Клейнмана и поднял голову с подушки.

— Я тебе заткну глотку передником, змея ты подколодная, или потеряю терпение и устрою такую взбучку, что ты света белого не взвидишь! Да я за него голову на отсечение дам! И требую, чтобы ты его уважала, не то дубинка так пройдется по твоей спине, что ты «Отче наш» забудешь. Я этого не потерплю!

Вольни в раздумье свистнул сквозь зубы, соскочил с кровати и быстро оделся. Ему было неприятно, что он подслушал ссору стариков. «Таким разгневанным ты еще старика Клейнмана не видел»,— подумал он. Но не успел одеться, как до него снова донеслись голоса. Невольно он услышал весь разговор, впрочем, это имело свою положительную сторону.

— Попробуй только, я в долгу не останусь,— невозмутимо ответила Амалия.— А что правда, то правда. Я сама видела фотографию в чемодане. И взгляд у той, бедняжки, такой, что жаль ее делается, сердечную.

— А какое тебе дело до чужих чемоданов? И что ты вообще повторяешь всякие сплетни? Вечно тебе надо совать нос во всякую грязь.

— В один прекрасный день он еще притащит эту католичку сюда,— закричала она,— и разврат совьет себе гнездо в моем доме. Если ты можешь спокойно переносить это, то я не могу!

Затем последовал продолжительный вопль, и тут же во всю силу прозвучал голос Клейнмана:

— Молчи, не смей говорить со мной о разврате! Или я тотчас сведу тебя к судье, и он глазом не моргнув разведет меня с тобой, дракон несчастный, разведет после сорока лет супружеской жизни, потому что это просто уму не постижимо, сколько раз ты мне изменяла! Пореви еще! Я ничего не забыл, ни жандарма, ни торговца скотом, и я тебе это еще припомню, если ты не оставишь других в покое. Чтоб ты не смела мне говорить про разврат! Да ты меня оскорбляла больше, чем может выдержать любой человек, даже такой добродушный, как я. Меня по сю пору червь точит. Как вспомню, готов тебе все волосы выдрать. Так что замолчи и подумай о собственных прегрешениях. Трех незапятнанных жизней не хватило бы, чтобы спасти тебя от ада. Да, да, бог мне свидетель!

Старуха словно онемела. Было слышно, как Клейнман поднял чугунок и поставил его на конфорку.

Вольни неподвижно сидел на краю кровати. Сначала ему хотелось запустить сапогом в дверь. Но теперь он чувствовал, как комок подступает к горлу. Он вспомнил о жене, фотография которой лежала в чемодане. «Даже тебя не оставили в покое. Будят после двадцатипятилетнего сна, потому что ты нужна им для грязных сплетен». Вольни вынул фотографию из чемодана и пошел в кухню.

Амалия Клейнман сидела между плитой и кухонным столом. Увидев жильца, она виновато втянула голову в плечи.

Хитрые глазки Клейнмана со злорадством посмотрели на жену, но тут же в них появился испуг: он почувствовал необычный холод, исходивший от Вольни. Хотя Вольни заговорил спокойно и беззлобно, старик уловил в его голосе, жестком и остром, как лезвие ножа, какие-то непривычные нотки.

— Как только представится возможность, я перееду,— закончил Вольни.— Для двоих будет слишком тесно. А теперь хватит об этом!

Во дворе его нагнал Клейнман.

— Ты не должен уходить. Она подхватила эту сплетню у лавочника. Ты же ее знаешь. Но я выбью из нее все ханжество. Ни перед чем не остановлюсь! Дай срок!

— Посмей у меня только,— предостерег его Вольни.— Если тронешь ее хоть пальцем, получишь взбучку на глазах у всей деревни, смотри!

— Я не хочу ни с кем враждовать,— с видимым облегчением произнес старик, доверчиво заглянув Вольни в глаза.— Когда живешь с такой вздорной бабой, хочется, по крайней мере, сохранять мир и дружбу со всем остальным светом. Ты должен это понять! Скажи, что мы сегодня вечером выпьем по одной, и я буду знать: между нами все остается по-старому!

— Приготовь по одной, выпьем,— сказал Вольни и ушел.

■

В то же утро возле правления кооператива заскрипели тормоза подъехавшей «Волги». Из машины с трудом вылез Виттиг. Пружины сидений облегченно вздохнули и выпрямились.

Шиндель стоял у окна.

— Ну, теперь держись! — сказал он, глядя во двор, потом обернулся и посмотрел на Вольни, листавшего какие-то бумаги.— Я его знаю как свои пять пальцев: он не признает снисхождения. Честно говоря, мне тебя жаль, Вольни! — Потирая руки, он выжидательно смотрел на дверь.

Виттиг вошел без стука. У порога он поставил чемоданчик.

— Ну так вот,— сказал он.— Начнем. Цанк в коровнике?

— В коровнике? — злорадно усмехнулся Шиндель.— Чего он там не видел — хочет, чтоб его еще раз избили?

— Кого вы предлагаете в коровник?

— Лаппе,— сказал Вольни и медленно встал.

Но Шиндель подскочил на месте, словно его ужалила змея.

— Спятил ты, что ли? Лаппе, которого я выгнал ко всем чертям, потому что он крал, как сорока! Только через мой труп!

— А кого, по твоему мнению, стоит взять? — холодно спросил Виттиг.

— Цанка! Пусть Цанк вернется в хлев!

— Нет, его к скотине не тянет, иначе он был бы здесь!

Шиндель поперхнулся. У него сразу пересохло во рту. Он лихорадочно искал слова.

— Послушай, ты приехал, чтобы выпрямлять линию. Ты не можешь становиться на сторону того, кто эту линию перегнул. А иначе я плевал на все!

Виттиг слегка наклонил голову и расстегнул ворот рубахи. Глубоко вздохнув, он кивнул Вольни.

— Пойди позови его!

Через несколько дней Виттиг навестил Лаппе за работой. Лаппе, не отрываясь, развешивал на весах какой-то белый порошок. Окончив, он подошел к Виттигу, густые усы его топорщились, на губах сияла торжествующая улыбка.

— Вот экономия будет, скажу я вам! Ложка кельпана дает по примерному подсчету ведро самого лучшего молока. Это грубо говоря. Я вот читал, что сталелитейщики сочиняют стихи и вешают их над заводскими

воротами, так это или нет? Вот видите! Мы, крестьяне, тоже можем стихи писать. Послушайте:

Мы, чтобы не было войны,
Скоту кельпан давать должны!

Виттиг оглушительно расхохотался.

— Смейтесь, смейтесь! Я эти стихи повешу в коровнике. Чтобы и люди и животные радовались. Немножко культуры никогда не повредит. Знаете, мало-помалу накапливается опыт обращения с предметами домашнего обихода. Вот вчера осматриваю я больных рысаков. «Надо их в отдельный загон»,— думаю. Так я и делаю. Потом подкладываю им корма поаппетитнее. А они едва прикасаются, жуют нехотя. И тут меня осеняет. В кормовой кухне у меня есть довольно большое зеркало, усы перед ним подстригаю. Притаскиваю я его в конюшню и ставлю перед кормушкой. Убогие-то мои роются в корме, видят себя в зеркале и думают: «Черт побери, у нас новые квартиранты!» Потом приглядываются еще раз, повнимательнее, и принимаются закладывать за обе щеки, да так, что хруст стоит. Что ты на это скажешь?

Виттиг только пробормотал:

— Интересно, интересно! — Он задумчиво посмотрел на Лаппе и легонько похлопал его по плечу.

Виттиг беседовал со многими, чтобы выяснить, как они относятся к назначению Лаппе. Убедительнее всех ему ответил Бергер. Это был тот самый приземистый крестьянин с румяными, как персик, тугими щеками, с которым несколько месяцев назад Вольни познакомился в трактире.

— Ну,— сказал он Виттигу,— раз уж вы меня спрашиваете, я отвечу. Вам нелегко в такой деревне, как наша. Что люди говорят, вы слышите. Но что они думают, от вас скрыто. Вольни в этом отношении так же трудно. А вот ко мне люди приходят и выкладывают все начистоту. «Видишь,— говорили они, когда Лаппе пришлось уйти,— Лаппе дали от ворот поворот, на теплое же местечко посадили своего, партийного. Он без роду, без племени, никто не знает, чего он стоит, но у него где-то рука есть. Если удои понизятся, коровы будут виноваты, это мы знаем. А откроешь глотку, тебе ее тут же заткнут. «Ты против партии, приятель»,— и кончено!» Но я вам скажу, у нас такая работа, которую одним языком не сделаешь. Поэтому хорошо, что Лаппе опять взяли. Люди видят, что теперь дело пойдет!

Виттиг записал что-то в своем блокноте и задумчиво попрощался с Бергером.

28

Ранним утром все вокруг покрылось ослепительным инеем, окна запотели, утренний холод проникал в каждую щель, и даже в кухне в доме Гриммбергера у Эммы изо рта шел пар. Хозяйка принялась за свою обычную работу: разожгла сосновую лучину, сунула ее в печь, торопливо подбросила несколько поленьев. Весело и задорно заплясал огонь, кухня сразу прогрелась. Ставя на плиту воду и нарезая хлеб, женщина боязливо прислушивалась к звукам, доносившимся со двора, где Гриммбергер запрягал в пролетку лошадь.

— Я тоже только человек,— пробормотала она, словно извиняясь за собственную слабость.

Давно уже не было такого утра, чтобы, услышав потрескивание дров в печи, она порадовалась предстоящему дню. Тревога нависла над домом, отбрасывая тень на все и всех.

Вошел Гриммбергер и позавтракал на ходу, даже не присев за стол.

— Я поехал,— сказал он.— Если удастся, сразу привезу Эгона для первого знакомства. Приготовь закуску.

— Отец,— Эмма умоляюще посмотрела на мужа,— еще раз прошу тебя!

Брови Гриммбергера взметнулись.

— Ну ладно! С девчонки глаз не спускай!

Эмма услышала, как пролетка выехала со двора, и дала волю слезам.

Когда они еще жили в лачуге и ничего у них не было, кроме каморки и кухоньки, он часто сидел у плиты при чадящей керосиновой лампе, держа малышку на коленях. Своими большими руками он грел ей ножки, которые прятались в них, как в родном, надежном гнезде, а если это не помогало, согревал их дыханием. Девочка, повизгивая от восторга, отдергивала ножки, потом игра начиналась снова и, наверно, никогда бы не кончалась, если бы мать не отнимала ребенка. По утрам, весело подмигнув ей, муж уходил в поле, и она долго глядела ему вслед, стоя с дочкой на руках. «Много ли ему довелось побыть с ребенком? Да и всем нашим мужчинам. Были на войне и теперь ничего не видят, кроме работы и хлопот». Она прижимала к себе девочку так крепко, что та тихонько вскрикивала.

Эмма вспомнила и те дни, когда они с мужем утром, днем и вечером процеживали молоко от собственной коровы. Это делалось необычайно бережно, почти торжественно. Гриммбергер натягивал большой кусок марли над горшком — бидонов у них еще не было — и взволнованно шептал:

— Смотри не пролей, жена. Каждая капля — денежки!

Тогда им приходилось думать о куске хлеба. Но с каждым годом все яснее становилось, что их усилия окупаются. Бесконечными хлопотами были заполнены дни, и дочку уже в десять лет заставляли заниматься хозяйством.

— Мы строим собственный очаг,— говорил Гриммбергер.— Тут не жалеют ни труда, ни пота. Девочке все это когда-нибудь пригодится. С собой в могилу ничего не возьмем.

Когда они переселились в новый дом, Гриммбергер в первый же день срезал ореховый прут и обошел хутор с важным видом, словно инспектируя его. Тыча прутом в разные стороны, он громко, весело говорил:

— Вот здесь поставим забор повыше, чтобы не всякий мог к нам заглядывать. Там построим амбар. Лес я стяну у тех чертовых ротозеев из-под носа, балочку за балочкой. Вот смеху будет! Через несколько лет, мать, отстрою хутор, как крепость. Крепость Гриммбергера! И если кто-нибудь из этих дармоедов попробует заявиться сюда, я из него выбью охоту воровать.

Он заливался раскатистым смехом, а она только ежилась: «Цыплят-то по осени считают. Может, ты и прав. Только зачем так хохотать и бахвалиться? Как бы не пришлось тебе потом плакать горючими слезами».

— Всего он добился,— продолжала бормотать женщина.— Все его желания исполнились. А нет в доме мира. Друга выгнал, теперь хочет дитя унизить, отдать чужому, постылому человеку...

■

Гнедая стремительно вынесла Гриммбергера из лесу. Перед ним расстилался Лангенбах со своими двадцатью домами. Первый из них, с остроконечной двускатной крышей, принадлежал Гёблеру. Гриммбергер дал лошади перевести дух, а потом лихо осадил ее перед домом Гёблера.

Его приняли холодно и сдержанно. Хозяйка дома, плоскогрудая и изможденная, подвинула гостю стул, предварительно обмахнув его передником, хотя нигде не было ни пылинки. Сам Гёблер, еще небритый в такой ранний час, провел рукой по колючему подбородку и уставился в потолок.

Они беседовали о всяких пустяках, потом Гриммбергер сказал:

— Я приехал по важному делу. Как вы знаете, у меня дочь.

Гёблер впервые взглянул на него. То был простодушный, наивный взгляд, казалось, говоривший: «Всего ожидал, только не этого». Он повел разговор так обстоятельно и витиевато, что чуть было не испортил все дело. Но тут вмешалась хозяйка.

— Болтает и болтает,— нетерпеливо перебила она мужа, усевшись напротив Гриммбергера.— Каждый желает добра своим детям. Вот наш Эгон — ему надо бы на следующий год в училище, чтоб зарабатывать поприличнее. Сейчас едва ли найдешь двор, куда парня взяли бы в зятья.

— Я предлагаю двор, и очень неплохой!

— Не часто предлагают двор парню, который так тянется к хозяйству!

— Видел, как он орудует. Руки у него не дырявые.

— Слава богу, приучен свое беречь, как зеницу ока. Бережлив по примеру усердных родителей. Только долго ли ему еще радоваться своему хозяйству? Ведь со всех сторон нас прижимают!

Гриммбергер недовольно прервал ее:

— Раз я к вам приехал, значит, совесть у меня чиста. Я хочу выдать дочь за крестьянина, чтобы хутор остался в хозяйских руках.

Слова эти музыкой прозвучали в ушах женщины. От волнения у нее запылали щеки.

— Говорят, вы там, в России, курсы проходили. Так что вы, конечно, образованней нас. А мы из деревни почти никуда не уезжали. Представления не имеем, куда мир движется. Видим только, что с каждым днем нам все труднее становится. Недели не пройдет, чтобы не явился какой-нибудь агитатор и не заговорил про объединение. Пока еще держимся, а что дальше будет?

Гриммбергер самодовольно откинулся на стуле.

— Нет такого закона, чтоб насильно объединяли,— заявил он.— Кто не захочет, того не заставишь. Тут и толковать нечего. А кто будет чрезмерно усердствовать, тот свое получит.

Он начал рассказывать про Шварцвальде:

— Кооператив трещит по всем швам. Они уже пускают в ход кулаки, хватают друг друга за глотку. Все идет, как должно. Приехал один из самой высшей инстанции, разумный человек, заходит в дома, беседует даже со стариками и больными, выслушивает, записывает и головой кивает, говорит немного, но со смыслом и понятием.

Женщина только раз перебила Гриммбергера, сварливо обратившись к мужу:

— Чего сидишь? Лучше побрейся и приведи мальчика. Надо присмотреться друг к другу.

Вскоре появился молодой Гёблер. Прищурив глаза, Гриммбергер смерил его взглядом с ног до головы, словно покупал лошадь. «Силен,— подумал он,— работать может. Глаза нахальные, значит, за словом в карман не полезет. Ну, да мы его научим придерживать язык». Прислонившись спиной к косяку двери, Эгон слушал Гриммбергера.

— Но и Вольни недолго уже оставаться в деревне. Распустил нервы, сумасшедшая голова, и избил дояра. Теперь поплатится. Этого и надо было ожидать. Нарушения закона они не прощают. Не терпят рукоприкладства. Начальник из города это подчеркивает.

— Подобных типов, что крестьян обманывают, надо выпроваживать, близко не подпускать к деревне,— заговорил Эгон.— Тогда бы не было такой свистопляски!

— Это кого же надо выпроваживать? — хмуро спросил Гриммбергер.

— Да вот таких, как ваш Вольни. Собак на них натравливать, чтобы убирались в свой город. Что они здесь потеряли?

У Гриммбергера вытянулось лицо.

— Советую тебе, парень, не рассуждать о людях, которых не знаешь. Не то можешь кое с кем испортить отношения!

— Я этих типов достаточно знаю. Прислужники русских. Гордости нет у них никакой!

Гриммбергер круто повернулся на стуле и тяжело оперся обеими руками о колени.

— Послушай, ты,— начал он неторопливо,— я бы сейчас с удовольствием съездил тебе по морде. Да, да. Не люблю, когда оскорбляют близких мне людей!

— Ради бога, он совсем другое имел в виду,— озабоченно вмешалась мать.

Но настроение Гриммбергера резко переменилось. Он негромко проговорил:

— Надеюсь, мы поняли друг друга. Я в этом вопросе очень чувствителен. Что́ между мной и Вольни — вас не касается. Но горе тому, кто хоть одно дурное слово о нем скажет! — Гриммбергер тяжело дышал. Вспомнив, что́ его привело сюда, он добавил:— Юношеский задор — это можно понять. Но во всем, я думаю, должна быть ясность.

После этого инцидента беседа протекала очень холодно. Еще два-три раза они выпили за здоровье друг друга, но так и не решили, смогут ли породниться. Уже сидя в пролетке, Гриммбергер увидел, как Эгон подбирает сено, оставшееся от гнедой. «Этот умеет беречь добро,— подумал Гриммбергер,— скуп, как дьявол». С наигранным дружелюбием он предложил:

— Если хочешь, приезжай взглянуть на даму сердца.

Мать незаметно толкнула парня в бок.

— Если вам удобно,— сказал Эгон,— я приеду сегодня. Тут на мотоцикле рукой подать.

— Торопиться, конечно, не обязательно. Впрочем, милости просим.

Гриммбергер ухарски прикрикнул на гнедую. Отдохнувшая лошадь рванула что было сил, куры и гуси, загалдев, метнулись в сторону. Над дорогой еще долго клубилось легкое облачко пыли.

Доехав до леса, который служил границей между Лангенбахом и Шварцвальде, Гриммбергер посмотрел на часы: до обеда еще было время. Лошадь пошла спокойной рысью.

— Нам спешить не к чему,— негромко проговорил он.— Ставь свои копыта размеренно, как полагается порядочной лошади, и давай-ка все обдумаем.

Гриммбергеру было не по себе. И когда после неторопливой езды он добрался до дома и увидел испуганные, бегающие глаза жены, в душе его сразу вспыхнуло подозрение.

— Что с тобой? — спросил он.— Почему ты молчишь? Что произошло, хочу я знать?

Словно ища защиты, женщина прижалась к лошади, которая настороженно прядала ушами и безуспешно пыталась ослабить узду.

Гриммбергер закинул вожжи на спину лошади и ринулся к дому. Он бросился вверх по лестнице, перескакивая через три ступеньки. У входа в мансарду его охватил страх — сейчас подтвердятся все опасения. Но он все-таки распахнул дверь и увидел открытый шкаф, в котором

на перекладине болтались пустые вешалки. Гриммбергер схватился за голову и закрыл глаза. Так он стоял довольно долго, растерянный и беспомощный. Потом буквально сполз вниз, тяжело опираясь на перила и с трудом передвигая ноги, словно они были налиты свинцом. Но, когда он вышел во двор, увидел ослепительный солнечный свет, ощутил порывы ветра, услышал ржание лошади, все еще запряженной в пролетку, мгновенная слабость его сменилась бешеной яростью. Он вспрыгнул на козлы, оттолкнул жену, пытавшуюся остановить его, и помчался в деревню.

Жена кинулась за ним по улице, но удержать не смогла. Она прислонилась к холодному столбу у ворот и всхлипнула.

— Правильно девочка поступила. Убежала от безрадостной жизни.

Эмма вдруг выпрямилась и погрозила вслед Гриммбергеру:

— Не смей тянуть ее назад, в свое проклятое болото! Топчи меня, навали еще больше работы, заставь плуг тащить — я все сделаю, но оставь в покое дитя! Пусть у нее будет лучшая жизнь, чем та, которую ты дал мне!

На этот раз Эмма была полна решимости пойти против мужа.

■

Гриммбергер остановил лошадь возле правления кооператива и вбежал в комнату Конрада. Она была открыта. Кругом валялись вещи Хельги. Он схватил все, что мог, и потащил к пролетке. А когда повернул обратно, из конторы, широко распахнув дверь, вышел Вольни и преградил ему дорогу.

— Ну, вот что, старик, хватит! Возврати-ка вещи.

Он как клещами сжал руку Гриммбергера. Но тот вырвался.

— Я шмякну тебя об стену,— прошипел Гриммбергер,— да так, что ты никогда больше не встанешь.

Он оттолкнул Вольни плечом и, наклонив голову, пошел к конторе. Там он и увидел их: Виттига, Шинделя, Конрада и рядом с ним свою дочь. Бледная, со сжатыми губами, она сидела спокойно и прямо, сложив руки на коленях, и не спускала глаз с отца.

Гриммбергер махнул ей рукой.

— Идем, обед на столе. Ну, пошли же!

Он хотел сказать это громко, но голос ему изменил. Отца и дочь разделяло всего несколько шагов. Рука Гриммбергера бессильно опустилась.

— Если хочешь, я откажу Гёблеру. Пойдем, мать ждет. Вещи я уже погрузил.

С улицы донеслась детская считалка:

Лошадь Лиза так ленива.
Миле, меле, прямо, криво.

Гриммбергеру казалось: это дочь говорит с ним. Давным-давно, много трудных лет назад он слышал эту считалку из уст девочки. В ушах звенел детский голос:

Ест овес всегда в охотку,
Но узнает скоро плетку...
Если можешь, то беги,
Лена Мюллер, выходи...

Лица сидевших перед ним людей словно вдруг расплылись. Он отвернулся, и все увидели, что Гриммбергер плачет. Плачет, как плачут мужчины, скупыми, трудными слезами.

Проводив взглядом Гриммбергера, Вольни вошел в контору и хлопнул дверью.

— Все, больше палец о палец не ударю! — крикнул он Виттигу.— Делайте со мной что хотите. Я в любую минуту готов драться со всяким, кто стоит на нашем пути. Но то, что творится здесь, выше моих сил!

Он резко повернулся, стал у окна и торопливо заговорил:

— Трижды избивали меня — ни звука не проронил. Под виселицей стоял — похолодело все внутри, но не испугался. А то, что делается со стариком, душит меня. Понимаете, душит! Вы представления не имеете, что это за человек! Он хлеб разламывал и в рот мне клал, когда я слаб был и сам не мог откусывать.

— Что ты нас пичкаешь слащавыми историями? — закричал Виттиг.— Ты дело говори: возвращаться девушке или нет? Говори же наконец!

Вольни скрипнул зубами.

— Не каменный я. Любое другое задание выполню, но это — не могу! Я знал другого Гриммбергера, другого! Вы ему, как жернов, землю на шею повесили, согнули вы его, а я должен выпрямлять? Не могу!

Тяжело дыша, Виттиг прошелся по комнате. Он остановился перед Шинделем, который за все время не произнес ни слова, и через силу улыбнулся.

— Отмалчиваешься, а? Коня не без твоей помощи загнали, а теперь молчишь, мудрец?

Шиндель ничего не мог ответить, что случалось с ним редко. Он покосился на Вольни, и ему показалось, что он впервые по-настоящему понял этого человека. В груди его поднялась теплая волна. «А ты тоже не святой,— подумал Шиндель миролюбиво,— тоже откалываешь номера, вроде нашего брата. Из нас еще выйдет неплохая упряжка, дай только срок!»

Для молодого Конрада Шпрингера это были минуты тяжелого испытания. Хельга взяла его руку и нежно пожала. Она сидела какая-то расслабленная, едва прислушиваясь к разговору, и только удивлялась, что Конрад не проявляет ни малейшего желания остаться с ней наедине. Когда они наконец пришли в его комнату, она с упреком сказала ему об этом, но по его отсутствующему взгляду поняла, что он не слушает.

В тот же день после полудня Конрад поехал на мотоцикле в Лангенбах. Едва он миновал церковный холм и поравнялся с одиноким хутором Хагена, навстречу выехал другой мотоцикл. Конрад узнал в мотоциклисте того, кого искал, стал поперек дороги и вынудил его остановиться.

Они оглядели друг друга, как люди, которые знают, что одному придется уступить.

— А ну, пройдемся до леса,— потребовал Конрад.

— Мне от тебя ничего не надо,— возразил Эгон Гёблер и невольно ухватился за свой широкий расплющенный нос.

— Но мне от тебя надо!

— Некогда, я спешу к Гриммбергеру!

— Вот этому-то как раз я и собираюсь помешать.

Гёблер уперся короткими ногами в разрытый песок полевой дороги. Мотоцикл качнулся у него между колен.

— А ну, поворачивай!— приказал Конрад.

Гёблер с надеждой посмотрел на хутор Хагена. «Здесь он не рискнет,— подумал он,— здесь он ко мне не прикоснется».

— У вас не любят драк,— сказал он нагло.— Вспомни своего Вольни. Тебе это тоже с рук не сойдет!

— Молчи и проваливай!

— Ты же не захочешь из-за меня получить взбучку!

— Ничего. Я готов к любой неприятности!

Он ударил только раз. Из носа Гёблера брызнула черная кровь.

Это выглядело опасней, чем было на самом деле. Конрад приподнял его и с отвращением оттолкнул.

— Не стоит о тебя руки марать! Катись домой, паршивая собака!

Гёблеры безуспешно искали свидетелей. Хаген все видел из окна своего дома, но не стал вмешиваться. Когда же мать Эгона приперла его к стенке, он сказал:

— Одному помогает дружеское слово, другому — хорошая взбучка. Каждому пусть достается то, чего он заслужил. А видеть мы ничего не видели. Лучше помалкивать. Так спокойнее!

На этом и кончились тщетные усилия Гёблеров.

■

С того дня Гриммбергер стал потихоньку пить. Его снедала тоска. В ящике с овсом возле стойла он хранил бутылку хлебной водки. Была она тепловатая, горькая на вкус. Гриммбергер пил торопливыми глотками. Он сидел, уставившись в одну точку, ласково трепал по спине лошадь, вполголоса разговаривал с ней и пил. Через несколько дней лицо его распухло, глаза налились кровью, желудок горел от нестерпимой боли, потому что водка, хоть и хлебная, не может заменить хлеб даже такому здоровому человеку, как Гриммбергер. Услышав однажды утром у калитки голоса Вольни и Виттига, он спустил с цепи собаку.

Во дворе становилось все тише и тише. Лишь иногда хлопала дверь конюшни, доносилось приглушенное лошадиное ржание, и снова все замирало. Иной раз тяжелыми шагами к воротам подходила хозяйка, она прислушивалась и, казалось, хотела впустить кого-то, но не решалась.

29

После того как Лаппе принял скотный двор, Цанк перестал появляться на работе и однажды исчез совсем.

Розыски ни к чему не привели. Виттиг, продливший свое пребывание в Шварцвальде еще на несколько дней, трижды безуспешно наведывался к Цанкам. Прежде чем он успевал раскрыть рот, жена Цанка захлопывала перед ним дверь. Но Виттиг был человек упрямый, в Шварцвальде это поняли все. Хаген как-то обронил фразу: «Виттиг — словно коробейник. Выгонишь в одну дверь, он входит в другую. Молотит языком, как цепом, но не зря. Что верно, то верно».

Виттиг решил навестить семью Цанка в четвертый раз, тем более что на вечер он созвал партийное собрание, где хотел поделиться своими впечатлениями.

Перед домом Цанка возился шумный выводок ребятишек, по холодным цементным ступенькам ползал малыш, еще не умевший ходить. Виттиг осторожно поднял его. Ребенок посмотрел доверчивыми карими глазами.

— Да ты же мокрый по горло,— усмехнулся Виттиг,— и зубов у тебя еще нет. А язык-то хоть есть?

Ребенок радостно что-то лепетал и неуклюжими ручонками хлопал его по лицу. Виттиг улыбался. Когда открылась дверь, он протянул матери крошечное барахтающееся тельце.

— Вот, ползает по ступенькам один-одинешенек!

— Дайте его сюда,— резко сказала женщина.— Старшие дети всегда норовят от него отделаться.— Она взяла ребенка, свободной рукой сдернула с груди передник. Хотела отвернуться, но Виттиг удержал ее.

— А где муж? — спросил он с улыбкой.— С ним действительно нельзя поговорить?

Она окинула Виттига презрительным взглядом.

— Поговорить? Ну и чудак! — Но сразу как будто смягчилась: — Войдите, что же вы? Поговорите с ним, если сможете.

Он вошел в кухню, и в глаза ему бросилась бедность. Краска со стола и со шкафа облезла, обнажив голое дерево, стулья скрипели при малейшем прикосновении, а у окна стоял зеленоватый плюшевый диван, из которого торчали пружины, как ребра старой тощей клячи.

Женщина без всякого стеснения рассматривала Виттига.

— На большее у нас никогда не хватало,— равнодушно сказала она.— А то, что осталось, тоже придется продать.

Желтоватое, отечное лицо незнакомца свидетельствовало о том, что и он прожил нелегкую жизнь. Это лицо вызывало у женщины доверие, и ее тонкие, с горько опущенными уголками губы слегка приоткрылись. Она взяла со шкафа открытку и положила ее на стол перед Виттигом. Он вопросительно взглянул на женщину.

— Прочтите,— сказала она.— Или боитесь правды? Читайте, читайте! Я не побоялась.

Виттигу незачем было читать. Случилось то, чего он опасался с первой минуты.

— Вы заставили его сделать такой шаг,— сказала женщина.— Всему виной ваш Вольни. Это он лишил его покоя. А муж годами стремился к спокойной жизни. Когда мы сюда приехали на телеге, разнесся слух, что появились цыгане. Но он мне обещал, что это будет наш последний переезд. Я поверила, и он действительно старался. Долгие месяцы не пил. Честно работал. Тяжело ему приходилось, потому что он неученый. Но он делал свое дело. А теперь — вот!

Женщина села напротив Виттига. Была она худенькая, с узким, костистым лицом и очень тонкой шеей; ее неестественно большие, красные и распухшие руки лежали на столе в непривычном бездействии. Сама того не желая, она начала рассказывать, не чувствуя ни малейшего стеснения перед этим чужим человеком, словно желая вдосталь наговориться.

— Он годами нигде не оседал, все его куда-то несло, будто кто подгонял. «Что с нами будет?» — спрашиваю я после второго ребенка. Мы тогда все еще ютились в каморке. Тяжелые были времена, для всех тяжелые — ни пеленок, ничего не было. А он все сидит, уставившись в одну точку. Словно ему до нашей нищеты и дела нет. Сломается стул — садится на пол. Вот он какой. «Что с нами будет?» — спрашиваю. «Да ничего не будет,— отвечает,— где один прокормится, там и двое с голоду не помрут». То же самое он мне сказал, когда третий родился. После родов я ему не давала подойти ко мне, словно у меня все умерло внутри, так я боялась. Только прижимаю к себе детишек, всю любовь, какая есть в сердце, им отдаю. «Даже если он меня насмерть забьет,— думаю,— все равно не позволю ему прикоснуться к себе. Я должна это сделать ради троих детей, чтобы хоть немножко облегчить им жизнь». Но он меня и пальцем не тронул. Только сидит да ноет. «Гонишь от себя,— говорит,— толкаешь меня в пропасть». Стал исчезать на целые недели из дому, а придет — в карманах пусто, вид как у чахоточного. Я в полном отчаянии, думаю: «Может, будет еще и на нашей улице праздник, может, остепенится. Надо ему помочь, чтоб успокоился. У тебя от него трое детей, и надо выбиваться вместе. Куда ты денешься, нет уже ни молодости, ни красоты». И тогда появился четвертый. Но ничего в нашей жизни не изменилось. Муж оставался таким же, как был. А когда пятому, вот этому, младшему, пришло время родиться на свет, я все старалась сдержать схватки, вся сжималась в судороге, чтобы он задохнулся там, внутри. Акушерка дергает меня за волосы, кричит: «Ты детоубийца, хочешь убить собственного ребенка!» Я разодрала подушку и все-таки выпустила его.

Был он весь синий, человечек этот маленький, и словно неживой. Акушерка принялась его шлепать, пока он не начал дышать и жалобно кричать. А когда я его потом к груди приложила, я старухе руки целовала, так была ей благодарна. Потом мы приехали сюда. Я решила, что уж здесь-то я должна повлиять на него. Накрыла стол скатертью, поставила цветы, купила пиво и водку — все сделала, чтобы ему уютнее было в доме. Он и посиживает, вытирает детям носы, купает младшего, даже поет. Я думаю: «Ну, теперь-то наконец успокоится». А когда он перешел работать на скотный двор, еще более обходительным стал, взял меня однажды на танцы, впервые за много лет. Я себя чувствовала неловко, уж очень на мне все было изношенное. Видела, как бабы перешептывались, поглядывая на нас. А ночью он сказал: «Ты бы тоже обзавелась чем-нибудь новым, ну, например, юбку купила бы с блузкой, сейчас уже кое-что в продаже появилось, а на ферме можно неплохо заработать». Я и подумала: «Ну, каторжные годы позади». Кажется, я никогда не была так ласкова с ним, как в ту ночь. А теперь вы его прогнали!

Виттиг молча слушал ее рассказ. История эта не удивила его. Много всяких историй слышал он на своем веку, много пережил сам, сталкивался в жизни и с судьбами, куда более трагическими, чем эта, с людьми одинокими, лишенными дружеской поддержки,— с людьми, которым не у кого было спросить совета, которым в одиночестве приходилось побеждать свой страх, свои слабости, сомнения, если они не хотели сдаваться. Такие люди не позволяли себе вымолвить ни единого слова, потому что каждое слово могло стать началом предательства. «А она может хоть говорить,— подумал Виттиг.— Это очень хорошо, потому что облегчает человеку душу».

Виттиг не стал докучать ей долгими разговорами.

— Что вы намерены делать? Он уехал. Судя по тому, что вы мне рассказали, этого не должно было случиться. Но гораздо важнее теперь другое: что вы собираетесь делать?

— Работать, что же еще? Не могу ведь я допустить, чтобы дети голодали.

— Вы хотите остаться здесь?

— У меня нет времени разъезжать по белу свету. Самое главное для нас сейчас — деньги. Иначе крышка!

Виттиг пожал ей руку — не сильно, но энергично, так что она вздрогнула с непривычки.

— Посмотрим. А может быть, он еще одумается там, по ту сторону границы.

И тотчас мысленно добавил: «Во что я абсолютно не верю. Похоже, что он теперь увязнет в этом болоте. Мы его потеряли».

Виттиг кивнул женщине. В конторе он взял у бухгалтера Земмеля списки на зарплату.

— Придется кое-что выделить для семьи Цанка,— сказал он, медленно водя пальцем по списку.— И не какую-нибудь мелочь.

— Вряд ли что-нибудь удастся сделать,— проскрипел Земмель.— Цанки всегда жили скромно. Не надо их баловать. Это к добру не приведет.

— Что именно? — спросил Виттиг.

— Бережливость — основа успеха, вот мое мнение,— невозмутимо продолжал Земмель, поглаживая сухое желтое лицо.

— Это был девиз графа? — поинтересовался Виттиг.

— Вы, ради бога, мне таких вещей не приписывайте. Просто я все время читаю об этом в газетах.

— Мы экономим, но не жадничаем,— отрезал Виттиг.— Найдем какой-нибудь выход.

Он отправился искать Вольни и нашел его в доме Клейнмана. Они долго разговаривали почти шепотом, но друг друга не щадили и в выражениях не стеснялись.

Наконец Виттиг потерял терпение.

— Пойми же, так не годится. У нас есть оружие лучше...

— Надо было убить его,— упрямо пробурчал Вольни.— Одним мерзавцем было бы на земле меньше.

Виттиг подошел к занавеске, отделявшей комнату Клейнманов от угла, занимаемого Вольни, и, не оборачиваясь, сказал:

— Поразмысли обо всем. У тебя есть время до вечера. Партия справится и с тобой, Вольни.— Он помедлил, потом все-таки обернулся и мрачно посмотрел на Вольни.— Она и не с такими справлялась. Запомни это.

Когда Вольни через некоторое время вышел из комнаты, Клейнман пробормотал ему вслед:

— Кажется, уже с утра пропустил стаканчик. Еле на ногах держится. Подумать только, месяцами живет, как святой, и вдруг с раннего утра...

С трудом волоча ногу, Вольни направился через церковный холм к полям. Но вскоре пошел своим обычным быстрым шагом, и было почти незаметно, что он хромает.

30

Еще перед началом собрания Шиндель узнал о бегстве Цанка. Растерянная улыбка промелькнула на его лице. Ему сразу вспомнилась трудовая книжка Цанка, пестрая, как чемодан туриста, объехавшего весь свет. В памяти всплыли слова Клейнмана: «Избавь меня от этих перелетных птичек. Не жалую я их! Так и норовят повсюду зернышки склевать, а как застрянет телега, так их и след простыл. В городе это, может, и сходит, а в деревне нужны оседлые люди. Почему он перелетает из Тюрингии в Мекленбург, из Саксонии под Магдебург, оттуда к нам? Или там солнце по-другому светит? Нет, нет, голубчик! Я таких типов не выношу, и баста!»

«Не послушали тогда Клейнмана,— вспоминал Шиндель,— дали Цанку жилье и работу, так и не выяснив до конца, что он за человек. А поскольку никто больше не высказывал сомнений, подозревать его не было оснований. В жизни приходится сталкиваться с разными людьми — с одними ненадолго, с другими оказываешься иногда связан до конца дней своих. И если тебе не нравится чей-то нос, ничего не поделаешь. Рабочих рук не хватает, особенно сейчас, когда повсюду идет строительство. Все мы откуда-нибудь приехали, все мы в своей жизни делали не одно только добро, бывало, что блуждали и окольными путями. У каждого из нас были моменты, которые хотелось бы вычеркнуть из жизни, если бы только было возможно. Да, жизнь штука не сладкая. Иные так до самой смерти и не знают, зачем родились на свет. Может, и Цанк такой, оставит несколько отпрысков — и только. Но с отпрысками уж надо обходиться повнимательней. Они-то поймут, зачем существуют на белом свете, потому что уж они не будут у нас пришельцами. Нет, не будут!»

Пускаясь в философские рассуждения, Шиндель никак не мог свести концы с концами. «Разные люди бывают. Одному не сидится, все его куда-то тянет. А у другого душа спокойна, только когда он на своем привычном месте, как собака, которая все крутится да вертится, пока не найдет, где ей удобней улечься. Я бы свою деревню не покинул ни за какие коврижки: здесь я родился, вырос и не могу жить среди чужих людей, без нашего ручья, без ив и леса. Что и говорить, ручьи есть повсю-

ду, ивы и лес — тоже. Но только это все уже другое, чужое. Конечно, интересно поглядеть, что кругом делается. Коли человек любознательный, ему хочется увидеть новые места. Но только увидеть — и сразу обратно. Еще немало придется пережить, потому что предстоит много всяких событий. Леший его знает, вдруг ольденбуржцы возьмутся за ум — что было бы желательно! — и прогонят свою банду к чертовой бабушке. Тогда придется помочь им там, по ту сторону границы. Потом, глядишь, в Вестфалии понадобится поддержка или еще где. Надо людям поспособствовать, пока они сами не найдут свое место в социализме. И уж, конечно, немало будет всяких нытиков и маловеров. Ведь не всякий может, как Вольни: собрал свои монатки — и на новое место. Дорожная пыль уже так въелась в его легкие, что без нее и не проживешь. И все-таки придется сниматься с насиженного места, если понадобится. Но все это еще надо продумать. Иной замечает только то, что у него под ногами. А другой по единственному облачку угадывает надвигающуюся грозу».

Размышляя над этими сложными проблемами, Шиндель незаметно для себя давно уже оставил позади деревню и вышел к лесу. В перепутанных ветвях уходил на покой короткий день. Солнце заметно опускалось все ниже и ниже. Казалось, чтобы ему не мешали спать, оно натягивает на свое раскрасневшееся лицо темное лесное покрывало. Лишь одно огненное облако осталось на небе. Порыв ветра налетел на него, растянул и разодрал в мелкие клочья, они быстро угасли и черными, таинственными птицами уплыли в желтоватую даль горизонта.

Когда Шиндель вернулся домой, до собрания оставалось совсем мало времени. На скорую руку он закончил работу в хлеву и на ходу перекусил.

— Смотри чахотку наживешь,— с упреком сказала Анка.

Она сидела за столом, положив отекшие ноги на низенькую скамеечку.

— Я чувствую себя превосходно,— пробормотал Шиндель с полным ртом.— А ты?

— Последние деньки дохаживаю. Ни с одним так трудно не было. Не задерживайся долго! — Она озабоченно сложила руки на животе и вздохнула: — Господи, стучится, словно там двое.— Она посмотрела на мужа с усталой улыбкой.— Ну, иди, а то опоздаешь.

Он на ходу погладил ее по голове и сказал с наигранной веселостью:

— И с этим мы управимся, вот увидишь.

■

Придя на собрание, Виттиг кивком подозвал Вольни.

— Что решил? — тихо спросил он.

— Остаюсь,— ответил Вольни, глядя мимо Виттига и разглаживая морщинки на полотнище знамени, положенном на стол вместо скатерти.

Виттиг тяжело дышал. Видно, он изрядно устал от ходьбы, пот лил с него ручьями. А когда ему дали слово, бодро заговорил:

— Получил громадное удовольствие сейчас, совершил чудесную прогулку. По дороге мне пришла в голову идея: буду каждый день ходить пешком километра два-три. Это увеличивает возможность прожить года два лишних. Здесь, знаете ли, жадность уместна. Сколько ни живи — все равно не наживешься.

Виттиг вытащил из кармана маленькую записную книжку, испещренную пометками, и перешел к самым наболевшим вопросам. За несколько дней ему удалось больше побеседовать с людьми, чем Вольни за все прошедшие месяцы. В его речи поражало знание фактов. Только фамилии он припоминал не сразу и заглядывал в свою книжечку.

Жесты у него были скупые, как у каменщика, который с силой кладет раствор и сглаживает пазы. Он похвалил состояние полей и особо отметил работу Лаппе. Потом заговорил о Цанке и его семье, обрисовал сложившееся положение короткими, но меткими штрихами, которые сразу дали собравшимся точную картину, и продолжал, не спуская глаз с Вольни:

— Мы, коммунисты, помимо всего прочего, отличаемся тем, что никогда не сходим с дистанции. Стремимся к финишу, чего бы это ни стоило. И исправляем ошибки, допущенные в пылу сражения. Вот так, товарищи!

Он вытер пот со лба и затылка.

Упершись локтями в колени и прижавшись лбом к горячей влажной ладони, Вольни внимательно прислушивался к голосу Виттига, в котором, казалось ему, звучали мрачные ноты.

— Голову даю на отсечение,— говорил Виттиг,— что скоро все ваши крестьяне станут членами кооператива. Но для этого предстоит разрубить еще не один узел. Я не хочу предвосхищать события. Но одно скажу: вы мало делаете для укрепления кооператива и почти ничего — для привлечения на свою сторону единоличников. За примерами ходить недалеко. Возьмем хотя бы Гриммбергера. Вольни прекратил осаду крепости после первой же перестрелки. А ведь такая крепость стóит самых ожесточенных боев. Какой же вывод? Надо прежде всего поддерживать тесный контакт с людьми, знать, чем они дышат, понимать их и направлять. Крестьянин колеблется. Это значит, что мы должны использовать любую возможность для разъяснительной работы и не отступать ни на шаг. Если слова не помогают, необходимо прибегать к иным методам, более, так сказать, осязаемым — методам, которые откроют людям глаза на истинное положение вещей, убедят их, покажут, куда движется наш корабль, заставят понять, что на этом корабле стоит плыть. Короче говоря, надо открыть перед людьми перспективу! Ну, вы народ смекалистый. Вы такие методы найдете. Это ясно. Только вот что — с ножом к горлу не подступать! Действовать убеждением. Не то берегитесь! Спросите Шинделя, у него есть кое-какой опыт в этом деле.

Виттиг внимательно посмотрел на Шинделя, потом неожиданно улыбнулся и почти весело сказал:

— Недавно один такой прыткий арестовал церковный хор, погрузил на телеги и повез на строительство дороги. Пришлось певчим так попотеть, что у них от усталости языки до пупа отвисли. А когда надо было петь, они забастовали. Могу вас заверить: есть другие средства склонить людей к участию в строительстве. Вы это понимаете. Мне незачем вам их называть. Вы уже вышли из младенческого возраста.

Виттиг испытующе посмотрел на Шинделя. Тот нетерпеливо ерзал на стуле, раздираемый множеством противоречивых мыслей и чувств.

Виттиг снова отер пот со лба и шеи. Он упомянул еще Гейзера и Хагена и закончил словами:

— Гейзер, видимо, прячется от нас. На его дворе надрывается несчастный человек, бедняга дошел до полного истощения. Но от него не добьешься ничего вразумительного. На поля Гейзера просто смотреть страшно, они в катастрофическом состоянии, товарищи, озимые не посеяны. Вам надо было бы взять его за жабры, но, конечно, не переходя границ. Что касается Хагена, то он, напротив, человек обходительный, немножко обиженный еще с прежних времен, чувствуется в нем этакий налет мировой скорби. Рассказывает про трактор, который сам собрал в сорок пятом. Помогал всем, у кого не было тягловой силы. Ездила эта штука без всяких шин, тряслась так, что он себе какую-то болезнь

позвоночника заработал. А когда заболел, никто о нем, говорит, не позаботился. Это вполне вероятно, всем нам пришлось отучаться от волчьих привычек. А в общем человек обходительный. Шутник! «Мой зад состоит из двух половин,— говорит.— Одной половиной я сижу в Шварцвальде, другой — в Лангенбахе. Если мне в Шварцвальде станет слишком жарко, я повернусь к Лангенбаху — там пока не припекает». Мелет еще какой-то вздор о Наполеоне. Ну, думаю, вправить ему мозги, зад его сразу успокоится. Так что нет ни малейших оснований унывать. Вот, собственно, и все, товарищи! Спасибо за внимание!

После этого начались прения. Экельман, держа в руках очки, еще раз вернулся к делу Цанка и обстоятельно описал те опасности, которыми чревато для детей разрушение семьи. В первый раз за весь вечер лукавая усмешка сбежала с лица Калера, и, рассердившись, он воскликнул:

— Не пойму я тебя, учитель. Что это был за брак — он волк, а она овечка. В такой семье дети только и привыкают огрызаться, ясное дело! Ничего другого они, бедняжки, не знают, так что им некоторая перемена обстановки не во вред. Чего же ты хочешь? Чтобы они поехали за ним?

— Да что ты в самом деле,— пробормотал Экельман.

— Видишь ли, тут поможет только одно: надо нам пришпорить собственных жен, чтобы они ей помогли. Занавески там, мебель — все это найдется. Когда я еще был в Мекленбурге, произошла похожая история. Он — ну, того же пошиба. Так вот, женщины разнюхали все это, конечно, раньше, чем мы, мужчины, и науськали замученную женщину на мужа так, что у нее вмиг когти и зубы появились — одним словом, можете себе представить! Ему попало от нее как следует, и он исчез. А она расцвела, как поздняя астра,— работает с улыбкой, чего прежде никогда не было. И вот в один прекрасный день он возвращается. По рубахе вши ползают, блох больше, чем у собаки, одним словом, опустился, дальше некуда. «Веди себя как человек, тогда можешь остаться»,— говорит она. И представьте, через полгода как два голубка. Такие-то дела, учитель. Так что нашим женщинам надо взяться за дело.

Было уже далеко за полночь, когда они разошлись.

Во дворе стояла машина Виттига. Утром ему надо было быть в городе, и он велел шоферу выехать на проселок.

— Пройдем немного пешком,— сказал он, взяв Вольни за руку. И, не отпуская его, продолжал уже другим тоном: — Я тебе не дал говорить, когда ты стал рассказывать про Гриммбергера, про хлеб, который он...

— Не будем об этом!

— Отчего же, теперь можно поговорить. А тогда не надо было. Тогда история эта не имела никакого смысла. Сейчас, когда ты преодолел свои сомнения и решил остаться, она опять обретает смысл, понимаешь?

Он помолчал, потом неожиданно спросил:

— Что там у тебя с Лидией Крамер?

Вольни рванул руку. Но Виттиг крепко держал ее.

— Я только хочу знать, не натворишь ли ты бед? Только это.

— Что, болтают уже? — спросил задетый Вольни.

— Поговаривают. Но мне интересно, что ты скажешь?

Вольни упорно молчал, и Виттиг добавил:

— Я хочу, чтобы голова твоя оставалась свободной для более важных дел. Порядок должен быть. Женись, это самое лучшее. А если что не будет клеиться — не жди, сразу приезжай!

Он отпустил руку Вольни. Молча они дошли до машины.

31

Среди ночи Гриммбергер проснулся и прислушался. Рядом плакала жена. Повернувшись на бок, он потряс ее за плечо. Но она не отозвалась. Он попытался заговорить с ней. И это не удалось. Гриммбергер дождался рассвета и принялся за работу в конюшне. Когда он взялся за ящик с овсом, пальцы его коснулись прохладной бутылки с водкой. Словно обжегшись, он отдернул руку. Потом вытащил бутылку и разбил ее о стену.

— Больше ни капли. Затуманивает рассудок и размягчает душу до слез, а слабости никогда нельзя себе позволять. Ночью сегодня думал, что можешь обо всем переговорить с женой. Черта с два! Лежит и молчит, как рыба. Дьявол ее знает, может, еще посмеивается над тобой: «Вот погоди, дочь ушла из дому, кто знает, что дальше будет». Ничего не будет, ровным счетом ничего. Вкалывать будем, пока сон прямо в борозде не сморит. Поняла ты меня, лошадка? — Как это часто с ним случалось, Гриммбергер размышлял вслух. Он украдкой оглянулся, никого в конюшне не было. Только гнедая прижималась к его руке мягкими влажными губами, весело фыркала и топталась после долгого отдыха в стойле.

Гриммбергер запряг лошадь и молча вывел ее во двор. Вдруг он услышал, как над сонной, окутанной утренней дымкой деревней зазвонил колокол — сперва робко и нерешительно, потом все гуще и громче. «Должно быть, сегодня воскресенье,— сообразил Гриммбергер,— ну и что же, мы и так долго прохлаждались, боженька должен возрадоваться, что люди жаждут трудиться, иначе пришлось бы вымаливать у бедняги господа хлеб насущный, и он не знал бы, где ему так много взять. Уж лучше каждый сам позаботится о себе. А бог пускай наслаждается заслуженным покоем и внемлет прекрасным хоралам, которые ему поют на земле. И вообще сегодня выдался чудесный денек для старика».

Во двор робко вышла жена. Через кухонное окно она увидела, как торопливо муж готовится в дорогу, и с затаенной радостью принялась помогать ему. «Когда он работает, ему все нипочем»,— подумала она и спросила:

— Ты что ж, так ничего в рот и не возьмешь? И горяченького не выпьешь при такой-то погоде?

— Заверни что-нибудь с собой и приходи в Воловью бухту.

— Сеять будешь?

— Пшеницу. Немножко поздновато. Но место это защищено от ветра. Там земля долго держит тепло. Бросай здесь все, как есть. Не уйдет от тебя! — Холодным пристальным взглядом он посмотрел на ее заплаканное лицо.— Сперва приведи себя в порядок, заколи волосы как следует. Ну, чего ты еще ждешь?

— Так ведь сеялку-то надо вытащить. Небось целую вечность стоит в сарае. Кто знает, будет ли она еще работать.

— Чепуха! Попридержи язык и действуй, а я займусь своим делом.

В тот же миг Гриммбергер забыл о жене. За работой он вновь обретал душевное равновесие. Дело так и спорилось у него в руках. Он взвесил протравленные семена, побросал на телегу мешки, а за ними — решето от веялки. Оно было нужно, чтобы засевать трудно доступные для сеялки участки.

Но вытащив сеялку из дровяного сарая, он увидел, что вся она в грязи и когда-то сверкавшая зеленая краска потеряла свой блеск, кое-где облупилась, рыжие пятна ржавчины с ухмылкой лезли в глаза. Колеса жалобно скрипели, а ведь сеялка стоила немалых денег — кровных, потом заработанных денег. «Вот, извольте радоваться,— подумал Гримм-

бергер.— Такая хорошая вещь, а постояла без дела — и стала старой, запущенной. С вещами происходит то же, что с людьми. А тебе и не жалко было. Купил, радовался, а все-таки бросил на произвол судьбы, потому что те вон, кооперативные, своими проклятыми машинами за тебя все дела делали. Надо было их сразу же гнать в шею, и Конрада заодно. Была бы теперь у тебя в полном порядке эта штука и служила бы тебе верой и правдой годков двадцать, а то и больше. А теперь? Какой вообще для человека толк от этих тракторов с их дурацкими прицепами? Ничего, кроме треска и вони. Так грохочут, черти, что собственного голоса не слышишь. Вся беда в этих дьявольских машинах; если бы не они, никому и в голову бы не пришло нарезать большие поля — даже Вольни, этому великому фантазеру».

Раньше Гриммбергер отгонял от себя такие мысли, считая их бесцельными. Но теперь они помогли ему как-то справиться со своим раздражением. Он принялся чистить и смазывать сеялку. Скоро она приобрела приличный вид, но при малейшем движении лишь хрипло стонала, а с места не трогалась.

Через некоторое время Эмма вновь вышла во двор.

— Может быть, подшипники совсем проржавели и нам придется идти к кузнецу, на машинную станцию? — робко спросила она.

Но Гриммбергер тут же одернул жену:

— К какому еще кузнецу! И думать не смей! Я сам себе кузнец, понятно?

В порыве ярости он пнул сеялку ногой и закричал:

— Кончено! Не поеду! Ну, чего уставилась? Не поняла, что ли? Не буду сеять, и точка!

Не сняв с лошади сбруи, он погнал ее в конюшню. Повеселевшая было после долгого безделья гнедая строптиво трясла головой и раздувала ноздри.

В кухне, торопливо прихлебывая кофе, Гриммбергер заявил жене, что сейчас же пойдет к Гейзеру одолжить на понедельник сеялку. Но у Гейзера настоящая, солидная крестьянская сеялка, поэтому придется запрягать двух лошадей. А поскольку Гриммбергер не привык одалживать у соседей, он купит жеребую кобылу, и в скором времени у него будут три лошади. Тогда ему наплевать и на МТС и на все остальное. Накопления, слава богу, есть, вовремя были сделаны, и, если прибавить к ним деньги, отложенные для дочери — она все равно позабыла родительскую любовь и ласку,— можно позволить себе такие траты, какие этим голодранцам и не снятся.

Не успела ошеломленная жена вымолвить слово, как Гриммбергер накинул куртку и зашагал так решительно, что каменные ступени, ведущие во двор, гулко зазвенели.

В закутах громко хрюкали голодные свиньи, мычали недоеные коровы, а из птичника доносился яростный гомон уток, кур и гусей, грозивших разнести тонкие деревянные стены. Тут уж хозяйке было не до причитаний. Она принялась за работу, а муж ее тем временем вышел на широкую, по-воскресному безлюдную деревенскую улицу и направился к хутору Гейзера.

32

В это утро Вольни проснулся, когда задребезжал колокол. Он отдернул занавеску и увидел в окно, как по двору промелькнула Амалия со своим Клейнманом. Оба были одеты во все черное и прижимали к груди молитвенники. Клейнман напоследок пыхнул трубкой и сунул ее за оконный наличник. Очевидно, ему было неприятно в воскресном

одеянии идти по деревне с трубкой, пропахшей плохим табаком; вот если бы у него была сигара, совсем бы другое дело, но такая штука не у каждого припасена, поэтому Клейнман решил идти к богу без дыма.

Вольни усмехнулся. На утро он назначил встречу с Шинделем, и ему надо было поторопиться. По дороге ему встретилась Лиза Цанк. Вольни замедлил шаг. Мысли о семье Цанка преследовали его упорнее, чем он мог ожидать. Повсюду ему попадались на глаза дети Цанка, и хотя взгляды их были невинными, как у всех детей, Вольни все равно казалось, что он читает в них немой упрек. Он старался незаметно узнать, не нуждаются ли дети в одежде, есть ли у каждого своя постель, и делал все, чтобы облегчить жизнь их матери. Чуждый всякой сентиментальности, Вольни делал это, побуждаемый каким-то неосознанным чувством вины, хотя и старался побороть в себе эти, как ему казалось, бессмысленные жалостливые раздумья. Вот и теперь он растерянно посмотрел на Лизу Цанк, которая явно хотела пройти мимо незамеченной. Вольни окликнул ее. И, подойдя ближе, увидел, что ее густые светлые волосы тщательно уложены. На него повеяло запахом душистого мыла.

«И не скажешь, что у нее пятеро детей,— подумал Вольни,— привлекательная еще баба, когда следит за собой».

— А что со щекой? — спросил он.— Опухла, или мне кажется?

Лиза Цанк кивнула и опустила глаза. На ее худой щеке выступили большие красные пятна. Но Вольни не заметил этого.

— Часто зубы мучают?

— Нет, только последнее время,— пробормотала она.

— Надо что-то предпринимать. Ничего нет хуже зубной боли. Мне она знакома,— непринужденно заговорил Вольни, хотя это было ему не свойственно. Он знал, что каждое утро, накормив детей и оставив самого маленького у соседки, Лиза Цанк отправлялась с женщинами в поле. Всю жизнь она прожила как-то в стороне, и теперь ее тянуло к людям.

— Сладкого не могу есть,— виновато прошептала Лиза и призналась, что, с тех пор как работает в женской бригаде, сгрызла больше конфет, чем за всю свою жизнь.

— Каждый день то одна, то другая приносит с собой кулек в поле, в конце концов у всех испортятся зубы. Уж и сейчас многие жалуются,— вздохнула она.

Вольни весело, от всего сердца рассмеялся и, сам того не замечая, погладил ее руку.

— Зубы к этому привыкнут.

Подойдя к дому Шинделя, Вольни услышал низкий, многозначительный голос пастора.

— Кто не внемлет гласу всевышнего, тот восстает против его воли. Но он поднимет свою десницу и разнесет непокорных в прах. Аминь!

Вольни отчетливо слышал каждое слово. Ему даже казалось, что он различает молчаливые вздохи молящихся. И вдруг тишину разорвало громкое блеяние, донесшееся со двора Шинделя.

В церкви заиграла фисгармония. Но заглушить блеяние овец было невозможно. Вольни посмотрел наверх, и скулы его тревожно дрогнули. Он вошел во двор Шинделя, и ему показалось, что его сейчас хватит удар.

Около кладбищенской стены были привязаны две овцы. Ни травинки не было вокруг, ни одуванчика — голая, чисто подметенная земля. Дети Шинделя, девочка и двухлетний мальчик, размахивали перед мордами овец пучками морковной ботвы, но стоило овцам потянуться к ботве, дети отдергивали руки, и овцы требовательно блеяли.

Онемевший Вольни и не заметил, как к ограде подошла Анка.

— Вот уж чего никак не ожидала,— тяжело дыша, сказала она.— Новые методы? Глупо и низко! — Болезненная краснота залила ее лицо.— Считайся, по крайней мере, с моим состоянием! — Она вырвала у детей из рук морковную ботву.— Кончайте представление! Нельзя так!

На пороге появился Шиндель в рубахе, еще не заправленной в штаны, со спутанными после сна огненными волосами. Он заговорил почти торжественно:

— Будь благоразумна, жена, и не вмешивайся в это дело, потому что ты в нем ничего не смыслишь. Мы переходим в наступление различными способами!

С торжествующей улыбкой он посмотрел вниз на Вольни, застегнул ворот и, с важностью откинув голову, продолжал поучающим тоном:

— Не могу же я сам вот так встать и заблеять, когда пастор говорит «аминь», это был бы правый уклон, как совершенно логично подчеркнул товарищ Виттиг. Но овцы могут блеять, когда и где хотят. Они рождены для блеяния, как пастор для произнесения проповедей. Так чего же ты хочешь? Оставь овечек на свежем воздухе и сама садись завтракать. У меня все готово. Тебя, Вольни, я тоже приглашаю, будь нашим гостем, давай спокойненько побеседуем о формах борьбы. Моя жена — верный и преданный человек, только немного стеснительна, как большинство сельских жителей, и, к сожалению, слишком заигрывает с тем, наверху! — Шиндель показал пальцем на небо.

Анка растерянно следила за каждым его движением. «Вот у тебя наверху действительно не все в порядке»,— подумала она, но сказать это вслух не решилась.

Волоча ногу, Вольни подошел к Шинделю. Лицо его побагровело.

— Ты в самом деле невыносим! — прошипел он.— А ну, быстрее в дом! — И подтолкнул обалдевшего Шинделя к двери.

Вольни не мог сдержать потока ругательств — что бывало с ним редко,— но с огромным трудом боролся со смехом. Он расхаживал по комнате, не глядя в зеленые сверкающие глаза Шинделя.

— Ты добьешься, приятель, что тебя снимут, снимут — и все, потому что ты превращаешься в помеху. Молчи — сейчас говорю я. От твоих методов смердит, и самый строгий выговор будет для тебя лишь наградой. Это я тебе говорю как рабочий, который переболел не одной такой детской болезнью. «Нейес Дейчланд» возьмет тебя за жабры да в передовицу — это так же точно, как то, что меня зовут Вольни. Все нарушения партийной линии станут в республике известны под названием «методы Шинделя», и даже для братских стран ты станешь примером того, как нельзя вести борьбу. Благодаря тебе мы приобретем широкую популярность, и экскурсанты двинутся в Шварцвальде нескончаемым потоком.

Губы Шинделя вздрагивали, даже веснушки его стали пепельно-серого цвета. Слегка пригнувшись, он подскочил к Вольни, повернул его к себе и сказал сдавленным голосом:

— Погляди на меня, погляди мне в глаза. Я хочу видеть, что ты думаешь на самом деле!

Вольни схватил Шинделя за руки. Так они стояли, вперив взгляды друг в друга, подталкивая один другого, как два козла: сильный коренастый Вольни и длинный, худой, но очень ловкий Шиндель. Оба оказались возле стола. Зазвенела посуда. Вольни вдруг обхватил Шинделя за пояс, приподнял и швырнул на середину стола. На пол покатились черепки.

Кровь отхлынула от лица Шинделя. Сидя на столе, он с искренним восхищением сказал:

— Неплохо, Вольни, честное слово, неплохо! Снимаю шляпу.

А теперь помоги-ка слезть, не то без трагических последствий не обойдется.

Они быстро навели порядок в комнате, и Вольни спросил:

— Ну, понял наконец? То и дело затеваешь скандалы.

Но тут пришла Анка и уже в сенях принялась рассказывать, как жена Штанге спросила пастора, угодно ли богу, чтобы она все-таки сдала в аренду лавку, потому что ее вынуждает к этому старость и болезнь мужа.

Шиндель снова почувствовал себя хозяином положения, прыгал по комнате, как кенгуру, потирал руки и гремел:

— Вот вам, пожалуйста! Еще несколько месяцев назад это был левый уклон, а сейчас?

Он изо всей силы ударил Вольни по плечу и торжествующе воскликнул:

— Даем сигнал к штурму!

33

Лаппе нахлобучил черную фетровую шляпу, подкрутил свои густые усы, и глаза его заблестели, словно их тоже почистили в этот воскресный послеобеденный час.

За весь день солнце так и не выглянуло. Все новые стада облаков проносились от горизонта к горизонту — то серые, похожие на ленивых волов, то белоснежные, легкие, как горные козы, они торопливо плыли по небу, порой распадаясь и обнажая бесконечную, бездонную синеву.

Лаппе, прямой, как свеча, сидел в пролетке рядом с Вольни, который, слегка наклонившись вперед, держал в руках вожжи и задумчиво улыбался, словно прислушиваясь к чему-то. Возле дома Лаппе они остановились.

Кругом стояла тишина, нарушаемая только звуком копыт, нетерпеливо роющих землю, да фырканьем откормленных кооперативных лошадей. Перед кузницей громоздилась гора старого железа: лемехи, сеялки, облезлая, покрывшаяся ржавчиной молотилка, которой уже не суждено было держать в своих зубьях сноп, распылители, соломорезки, дырявые глушители, бесчисленные колеса — рухлядь, оставшаяся с прошлых времен.

Кузница была погружена в сон. И Вольни вдруг представилась его юность: вот в такой прокопченной халупе и началось его учение много лет назад. Но воспоминания эти тут же сменились настойчивыми мыслями о стали: он не мог видеть ржавеющий металл, потому что знал, как жадны и ненасытны сталеплавильные печи. Лаппе тоже по-своему сердился, если добро покрывалось ржавчиной. Он искоса глянул на Вольни: «Пожалуй, надо бы ему рассказать, как я помог кузнецу. Он ведь тоже работал по этой части, хорошо знает людей, имеющих дело с железом, прокопченных, со свинцово-серыми руками, которые никак не отмоешь, сколько ни три пемзой». Но вместо этого Лаппе вернулся к неоконченному разговору:

— Вот ты меня спрашиваешь насчет церкви. И я тебе скажу. Почему я каждое воскресенье езжу с моей мадам на прогулку? Все очень просто: она в женской бригаде, получает, как и я, заработную плату, вот и навешивает на себя бог весть что. Ей, голубушке, хочется пощеголять, чтобы люди видели, какие у нее наряды. Но где, черт побери, она может все это показать? В церкви, дружище! Это единственная возможность выставить на всеобщее обозрение свои шляпы и туфли, пальто и платья. Каждая новая шляпа означает еще один поход в церковь. Вот так и понимай!

— Это одна из твоих бесчисленных историй,— сказал Вольни, наморщив лоб.— Я тебя знаю.

— А вот и ошибаешься! Как только создали женскую бригаду, в церковь ринулись все бабы, даже те, кто давным-давно туда дорогу позабыл. Святая правда! Народу набралось столько, что, того гляди, храм божий развалится. Кто внутри не уместился, столпились у входа и ну вертеть бедрами, как молодицы. А у Шинделя нашего в тридцать лет желчь разлилась. В это время как раз сирень цвела. Но если ты думаешь, что пахло сиренью, то ошибаешься, голубчик. От всех милашек такие ароматы исходили, что другие запахи исчезали. Ну и моя мадам, конечно, там была, без нее не обошлось. Разве это помело удержишь? Вот с тех пор я и отправляюсь каждое воскресенье на прогулку, потому что, ей-богу, не согласен с тем, чтобы на наших успехах пастор наживался. Прав я или нет?

Это объяснение несколько озадачило Вольни. Все оказалось простым и понятным.

Лаппе наклонился к его уху и зашептал:

— Видишь, вон она идет всем на удивление, как лошадь в парадной сбруе. Нехватает только, чтобы накрасилась!

Маленькая и кругленькая Ирма Лаппе, гордо подняв голову, шариком перекатилась через улицу к пролетке.

— Подожди, еще не то будет,— шепнул Лаппе.— По деревне поедем, как на похороны, медленно, чтобы все успели на нее насмотреться!

— Ну что же ты мне сегодня не помогаешь? — воскликнула Ирма низким мужским голосом.

— Как же, как же, сию минуту, дорогая,— залебезил Лаппе и без особого труда подсадил жену в пролетку.

Вольни напряженно смотрел вперед. Увидев Лидию Крамер, стоявшую перед трактиром Куглера, он вздохнул с облегчением. Лидия сверкнула на него глазами и уселась позади, рядом с женой Лаппе. Как было условлено, Вольни неторопливо двинулся вверх по улице, изо всех сил стараясь придать лицу торжественное выражение, но это никак ему не удавалось. Он примечал, как отодвигались на окнах занавески, видел приплюснутые к стеклу побелевшие носы и с трудом сдерживал пританцовывавших лошадей.

Когда они перевалили через церковный холм, перед ними открылись необозримые поля под тяжелым сводом ноябрьского неба. Лошади пустились резвой рысью, из-под копыт взлетали комья черной сырой земли. Крепкие руки Лидии цепко держались за Вольни. Свистел колючий холодный ветер.

Вольни всегда был жизнерадостен. Сейчас он ощущал все: женщину, которая держалась за него, сонно размышлявшего о чем-то Лаппе, бесконечные, пролетающие мимо поля, затянутые нежно-зеленым пушком озими, солнце, похожее на латунь, начищенную до блеска, расстилающуюся впереди дорогу с задумчивыми лужами, в которых дремало небо, даже сверкающие круглые копыта лошадей. Все, все радовало Вольни, и он запел, сперва чуть слышно, потом свободнее и громче.

Он пел о маленьком барабанщике, это была для него песнь песней. Понемногу все сидевшие в пролетке начали подпевать. Лаппе была знакома эта мелодия, и он напевал вполголоса. Ирма, совершенно лишенная слуха, не обращая ни на кого внимания, гудела своим низким мужским голосом. У Лидии Крамер от смущения сдавило горло, ей казалось, что ее знобит, и она еще крепче прижималась к Вольни.

Для Вольни эта песня была как жизнь: в ней слились боль и радость, поражение и победа, прощание и встреча. При последних словах «...погиб наш юный барабанщик, но песня о нем не умрет» на глазах его выступили слезы. Но встречный ветер быстро высушил их, и когда Лап-

не испытующе поглядел Вольни в лицо, оно, как всегда, было спокойным и светилось улыбкой.

Через некоторое время блуждающий взор Вольни приметил в низине пашущего крестьянина. Он прищурился, чтобы лучше разглядеть, и подтолкнул Лаппе.

— Ну-ка взгляни, никак это Гриммбергер пашет?

— Что там такое? — спросил Лаппе, словно просыпаясь.— И правда, кто-то пашет. Ну и пусть пашет, мученик! — Он нахмурил брови.— Да, это Гриммбергер. Силен, однако! Да ты только посмотри — с двумя лошадьми, черт бы его побрал!

— Лучше бы на боковую отправился, неугомонный,— подала голос Ирма Лаппе.— Разумные люди в воскресенье отдыхают, а этому все мало!

— У всякого барона своя фантазия,— пробурчал Лаппе. Слова жены пришлись ему не по душе, но в спор вступать он не стал, его клонило ко сну.— Нам тут ничего не изменить.— Он обернулся к Вольни: — Как постелешь, так и поспишь. Наш Гриммбергер не ходит по земле, как пристало всякому порядочному человеку. Нет, ему обязательно надо в нее зарыться, как кроту. Но земля ему за это особой любовью не отплатит. Я уж его сколько раз предупреждал. «Ты, говорю, раб земли. Смотри, проглотит она тебя!» Но что с ним поделаешь?

Вольни остановил лошадей и принялся наблюдать за Гриммбергером, который направлялся вверх по холму, к лесу и не мог видеть пролетку. Низким глуховатым голосом он подгонял лошадей, в звуках этих, одиноко прокатывавшихся над полем, слышалась какая-то бесконечная тоска.

— Смотри с утра до вечера на лошадиный хвост,— продолжал свои размышления Лаппе,— и тебе придут в голову самые странные мысли. Начал я как-то пробирать нашего Гриммбергера, а он и говорит: «Я даю государству, что оно требует. И делаю это сколько уж лет. Я хороший крестьянин — так ведь?» «Клянусь всевышним,— говорю,— это правда»,— и начинаю его так нахваливать, что другой со стыда бы сгорел. Он же только отмахивается. «Садовник,— говорит,— своими трудами на маленьком клочке земли доставляет людям много радости. А я, знаешь, чувствую, что у меня душа садовода. И хочу на своем участке принести государству пользу». Говорит он мне это, как святой, глаза закатывает, не хватает еще, чтобы свои загребущие руки молитвенно сложил. «Социализм победит во всем мире,— говорит он мне, который на пол-эпохи впереди него,— и я не против. Но я хочу остаться тем, что я есть, человеком, который производит хлеб и мясо, сколько хочет. Ведь этого социализм не может мне запретить, так или нет?» Вот какие орешки он меня заставляет разгрызать, осел! Ну, скажи на милость, как тут не потерять терпение?

Вольни неожиданно хлопнул Лаппе по плечу.

— Что я еще хотел сказать? Ах да, не забудь кончить свою речь, старик... Я мигом вернусь!

Он вылез из пролетки, подмигнул Лидии и зашагал напрямик по вспаханному полю. Местами ноги его по щиколотку проваливались в поблескивавшую жирную землю, а на особенно неровных местах, чавкая, увязали, как в болоте. Перед ним лениво взлетали вороны и в трех-четырех метрах снова опускались. Они прилежно копались дымчато-серыми клювами в комьях земли, удовлетворенно кивали бархатными головками и больше не обращали внимания на пришельца.

Дойдя до опушки леса, Гриммбергер повернул. Поглощенный своим делом, он направил лошадей в оставленную плугом борозду. Гнедая не упускала случая показать шедшей рядом лохматой сивой лошади свою откровенную неприязнь. Она откидывала гордую голову,

разъяренно скалила зубы и трубными звуками возвещала миру о своей строптивости. А сивая с провисшей спиной и огромным брюхом всхрапывала при малейшем прикосновении, и шерсть у нее вставала дыбом, как у загнанной в ловушку крысы. Она издавала противно тонкие, истошные звуки, похожие на жалобные стоны и недостойные настоящей лошади. У Вольни от гнева на шее и висках набухли вены, и, когда отчаявшийся Гриммбергер хлестнул плеткой нетерпеливую гнедую, он не выдержал.

Подбежав к Гриммбергеру, Вольни вырвал у него из рук плетку, разломал ее о колено и отшвырнул метров на двадцать в сторону. Растерявшийся Гриммбергер вытаращил глаза, не понимая, призрак перед ним или действительно Вольни, появившийся неизвестно откуда, как это уже с ним не раз бывало. Ну конечно же он — его короткая сильная шея, крутые плечи, его недобро поблескивающие сейчас глаза и зловеще тихий, с каким-то острым, режущим оттенком голос.

— Что ты делаешь, сумасшедший? Хочешь, чтобы твоя гнедая держала шаг с этой жалкой развалиной? Избиваешь лошадь за то, что у нее больше гордости, нежели у тебя? Черт побери!

Вольни поднес кулак к осунувшемуся, сразу постаревшему лицу Гриммбергера и тут же отвернулся. Спотыкаясь, прошел мимо сивой кобылы и на сбруе увидел круглую белую табличку с именем владельца: «Готтхельф Гейзер — Шварцвальде».

Лаппе и обе женщины в пролетке наблюдали за происходящим, но слов не слышали. Они видели, как мелькнула в воздухе плетка, и опасались, что сейчас начнется драка. Усы Лаппе топорщились, как иголки у ежа. Жена, которая хорошо знала, что это означает, схватила его за руку:

— Ради бога, сиди на месте! Вольни сам справится, он не из слабосильных. Ишь, загривок, как у быка, и хребтина тоже подходящая. Ему твоя помощь не нужна. Не двигайся с места и жди!

Когда Вольни подошел к пролетке, Лаппе, не решаясь взглянуть своему другу в глаза, молча протянул ему вожжи. Лидия Крамер пытливо всматривалась в лицо Вольни, но оно казалось замкнутым и мрачным. Ни слова не говоря, Вольни пустил лошадей во весь опор. Пролетка угрожающе закачалась из стороны в сторону, проваливаясь в лужи, так что до самых сидений долетали комья липкой грязи. Ирма Лаппе возмутилась:

— Ну, это уж слишком! Я сейчас же вылезаю! Дайте мне слезть! — Она пыталась приподняться, но ее отшвырнуло на сиденье. Стук и грохот колес, дребезжание цепей, глухие удары копыт заглушали ее истошные протесты.

Вольни искоса взглянул на Лаппе.

— Вот это, по крайней мере, лошади! — крикнул он громко.— Лошади, говорю, усач, мировые!

Они не проехали и ста метров по размякшей от дождей лесной дороге, как Лаппе скомандовал:

— Ну вот, здесь мы остановимся, надо поразмяться.— Несмотря на свой огромный вес, он проворно соскочил с пролетки.— Можешь подержать вожжи, дорогая. Ведь это твоя давнишняя мечта — держать вожжи в руках.

Он решительно подкрутил усы и скрылся в невысоком кустарнике. Вольни не знал намерений Лаппе, но двинулся за ним следом. Липкая паутина обволакивала губы, он отплевывался и отирал ее руками. Уже через несколько метров показалась прогалина, заросшая высоким, по колено, кое-где примятым тростником. Посреди прогалины стоял

Лаппе, довольный, как полководец, знающий, что его армия хорошо замаскирована. Внезапно он принялся, словно конь, разрывать ногами землю.

— Что ты делаешь? — изумился Вольни.

Он оглядел прогалину долгим взглядом. Это был довольно обширный участок, неизвестно когда и зачем отнятый у леса. Со стороны Шварцвальде его отгораживал лишь узкий пояс деревьев. Сквозь стволы уже оголенных дубов, вязов и берез просвечивали луга, и можно было догадаться, что невдалеке течет ручей, потому что тут и там виднелись сгорбленные суковатые силуэты древних ив. Взгляд Вольни задержался на одной особенно высокой березе, которую вороны избрали местом ночлега. Их острые глаза давно уже приметили людей, тяжело взмахивая крыльями, они кружились над деревом. Со всех сторон неожиданно начали слетаться тучи ворон. Трещали сучья, хриплое карканье заполнило воздух. Вольни казалось, будто черная тень упала на сонный лес.

— Какая мерзость,— сказал он.— Хорошо бы сюда дробовик. Иначе эта пакость расплодится, только держись.

— Пусть орут,— заметил Лаппе.— Кто ничего не понимает, тот обычно и шумит. Посмотри лучше, что я тебе хочу показать. Сам ты не сообразишь, судя по всему. Я тебя переоценил, думал: «Как он это увидит, от радости в пляс пустится». Иди, поковыряй сапогом. Замечаешь что-нибудь? — Он выжидательно смотрел на Вольни.— Подумать только, ничего не замечает!

Лаппе нагнулся и стал выдергивать тростник. Делал он это удивительно быстро: тростник легко вырывался из земли, казалось, у него не было корней.

— Бетон,— протянул Вольни, начиная понимать, в чем дело.— Дорога, что ли?

— Фундаменты для цехов, целых три, каждый в пятьдесят метров длины и десять ширины, добрых лет двадцать так лежат, а гладкие, как детская попка, никаких дыр или трещин!

Лаппе говорил, задыхаясь от возбуждения.

Это было в начале войны. Граф через своих посредников добился, чтобы военное командование купило у него громадный участок леса для строительства военного завода: на полученные деньги он рассчитывал спасти пришедшее в упадок хозяйство. В ту же зиму лес был вырублен. На следующее лето залили первые фундаменты, но со строительством не торопились, а через короткое время, когда окончательно выяснилось, что место здесь неподходящее, и вовсе прекратили работы. Шли годы, никто не вспоминал о фундаментах. Просека заросла тростником. И только грибники, приходя на прогалину, дивились, что шаги их вдруг становились звонкими, лишь слегка приглушенными тростником. Многие обращали на это внимание, например, Лаппе, а однажды и Гриммбергер. Приходя сюда, Лаппе думал: «Счастье, что они так и не построили эту штуковину, кто знает, что было бы тогда с деревней!» Гриммбергера интересовало другое: «Да ведь это неиспользованный клад. Только неприменим для наших условий». Такие мысли, по-видимому, занимали его давно, потому что еще в то время, когда всем приходилось туго, он сказал как-то Лаппе:

— Там в лесу не просто фундаменты, это хлева, мой милый, и главное — чертовски дешевые. Я видел такие на Украине. Только для нашего десятка хвостов стоит ли это затевать.

Лаппе бросал на Вольни торжествующие взгляды.

— Ну, что? Погоди, то ли будет!

И Лаппе, не сходя с места, стал рассказывать о возможности устройства здесь фермы. Вихрь мыслей пронесся в голове Вольни, он отчетливо представил себе, как все будет выглядеть. Сила воображения была так велика, что он не только начертал мгновенно план строительства, но даже ощутил запахи, услышал звуки, перед его мысленным взором развернулись пестрые картины жизни: белые дома под высоким куполом неба, коровы, пьющие из ручья, красная дымовая труба над молочным пунктом, отливающее черным блеском асфальтированное шоссе к деревне, лучи света, падающие сквозь листву вязов, яркие солнечные пятна на лесной земле и тень, дышащая прохладой. Внезапно он перебил Лаппе:

— Вокруг деревьев надо ограждения сделать, не то коровы обглодают. Самые красивые деревья могут погибнуть!

Это восклицание совершенно сбило Лаппе с толку.

— Странный ты человек,— не выдержал он.— Что за мысли приходят тебе в голову. Меня совсем другое угнетает. У деревьев души нет. Если их и обглодают, то, в худшем случае, кора отвалится, и только. А вот если меня мадам за жабры возьмет, плохо будет дело. Стоит ей узнать, что тут не обошлось без моего участия, подаст на развод. Такие перемены не по ее нежному характеру. Она, как наседка, не хочет расстаться с насиженным гнездом. Ее из деревни сюда не пересадишь ни за какие коврижки. Вот в чем вся загвоздка. Так что главное — не проговориться! — Он снял с головы мятую фетровую шляпу и вытер промокшую от пота ленту.— Я долго колебался: показывать, думаю, Вольни или не показывать? Ну, теперь я это сделал, с риском для жизни. Моя мадам хоть и маленькая, но если войдет в раж, ее не остановишь.

Лаппе уже не походил на величавого полководца. И тут раздался похожий на скрип ржавого железа голос Ирмы:

— Если вы сейчас же не появитесь, сами будете до дому добираться. Мы поехали!

Лаппе покорно пробормотал:

— Вот видишь, какая она властолюбивая. Уедет, а нас заставит плестись пешком.

Вольни толкнул его локтем в бок. Он был в очень хорошем настроении и весело сказал:

— Не вешай голову, старик. Будем строить.

Но Лаппе возразил шепотом:

— Потом поговорим сколько хочешь. А теперь надо сделать вид, будто ничего не произошло.

Когда они подошли к пролетке, Лаппе решительно поменял всех местами.

— Теперь ты будешь править, милая,— пропел он.— Пожалуйста, вот вожжи. Я совершенно спокоен, передавая их тебе!

Вольни сел на заднее сиденье рядом с Лидией. Она положила ему на ладонь свои холодные, как лед, пальцы. Он крепко сжал их. Рука Лидии, согреваясь, притихла в его сильных руках, как спящая птица. Так они и ехали обратно в деревню. Склонившись, над ними плыл серп ущербной луны. Небо еще было матово-голубым. В том месте, где солнце скрылось за горизонтом, желтела прозрачная полоса облаков. Ивы над ручьем оделись в легкое покрывало тумана и раскачивались, словно пританцовывая в такт неслышной музыке. Изо всех углов пристально смотрели черные глаза темноты.

На полпути они обогнали печально скрипевшую телегу. Вольни, погруженный в свои мысли, заметил ее лишь тогда, когда она уже была позади. Он поспешно обернулся и увидел сидевшего на козлах неподвижного, сгорбившегося Гриммбергера.

34

В этот вечер Гриммбергер поехал в объезд деревни. Гнедая, почуяв близость конюшни, все пыталась свернуть на знакомую дорогу. Между человеком и животным вспыхнула ожесточенная борьба, в которой лошадь в конце концов оказалась побежденной. Покрытая пеной, с налитыми кровью глазами и дрожащими ногами, она остановилась перед хутором Гейзера. Сивой эта гонка стоила последних сил, она плелась, как пришибленная.

У Гриммбергера остро щемило сердце. Бесконечно уставший, он сполз с телеги и кнутовищем постучал в ворота.

Вскоре появился Антон.

— Хозяина нет? — хрипло спросил Гриммбергер.

— Как же, как же, дома. Спит уже,— ухмыльнулся Антон.

— Разбуди его!

Гриммбергер поспешно выпряг сивую и брезгливо подтолкнул едва державшуюся на ногах лошадь во двор.

— Вот, возвращаю тебе,— крикнул он Гейзеру, который появился в четырехугольнике света, падавшего через раскрытую дверь кучерской во двор.— Укрой ее попоной, не то она сегодня же сдохнет!

— Да что ты! Погляди ей в пасть, увидишь, что зубы еще крепкие,— пытался пошутить Гейзер. Он прошел мимо дремавшей на ходу лошади, но и пальцем не прикоснулся к ней, а только внимательно посмотрел на задние копыта, медленно волочившиеся по двору; Антон изо всех сил тащил лошадь за уздечку.— Ты ее слишком взял в оборот. Знаешь ведь, что она на последнем месяце!

— Коли окачурится, я отвечаю!

— Она твоя. Хочешь, учи ее даже говорить или петь. Чему угодно!

— Я отказываюсь от покупки. Моя гнедая вытряхнет из нее душу. Терпеть ее не может, да и мне она не по сердцу!

— Намажьтесь все трое керосином, тогда от всех будет одинаковый запах, и станете жить, как братья!

— Я отказываюсь покупать. Передумал, понимаешь?

Гейзер уловил раздражение в голосе Гриммбергера и понял, что дело серьезное.

— Откуда вдруг такое непостоянство? За тобой вроде бы раньше такого не водилось,— сказал он с легким упреком, положив руку на плечо Гриммбергеру.— Я ее тебе не навязывал, ты сам выбирал, мой милый, а что куплено, то назад не возвращают.

Гриммбергер сбросил руку Гейзера со своего плеча и произнес с угрозой:

— Ты эти разговоры лучше брось. Я ошибся. Ничего из этой торговли лошадьми не получится!

Брови Гейзера недовольно взметнулись. «Развязно себя ведешь, приятель,— подумал он.— Кто же это тебя с толку сбил, а?» Он прищурил свои холодные серые глаза и примирительно заметил:

— Ну, ладно. Не хочешь — не надо, я шума подымать не буду. В случае крайней нужды одолжу тебе упряжку.

— Если лошадь сдохнет, я, разумеется, ни за чью спину прятаться не собираюсь. Ты знаешь, где я живу.

— Да нет, об этом и говорить нечего. Стоит ли из-за таких пустяков ссориться? У меня есть страховка.

— Тем лучше,— холодно закончил разговор Гриммбергер.

Не прощаясь, он повернулся к своей лошади, взял ее под уздцы и повел со двора. Так они и шли рядом до самой деревни. И только спустя некоторое время со скрипом закрылись ворота, щелкнул метал-

лический замок. Через окно кучерской Гейзер глядел вслед удалявшемуся Гриммбергеру. Он не мог предполагать, что это была их последняя встреча.

■

На дворе Гриммбергер осторожно снял с гнедой уздечку. Он отвел ее, устало переставлявшую ноги, в конюшню и растер шерстяной попоной. Лошадь, фыркая, сунула морду в сено. «Ты не обидчива,— подумал Гриммбергер,— отдохнешь и завтра все забудешь. Труднее нам становится, моя милая. Но это уж не твоя забота. Ты животное умное, а вот помощи от тебя ждать нечего. Не обижайся, что я заставил тебя идти рядом с той кобылой. Я поступил несправедливо. И очень хорошо тебя понимаю. Ты кое-что унаследовала от меня, это точно. Но когда Вольни сказал, что у тебя гордости больше, чем у меня, он ошибся. У нас обоих своя гордость, а с сивой покончено раз и навсегда».

Гриммбергер прервал свой безмолвный разговор с гнедой. Когда он принес воды для лошади, мысли его приняли иной оборот: «До сих пор не было никакого кооператива, и мы с голоду не умерли. Почему же они так нажимают? Почему навязывают нам этого Вольни? Зачем сперва дали мне землю и пробудили любовь к ней?» Он стал вдруг удивительно спокоен. Сердце стучало ровно, не было в нем ни гнева, ни ненависти, только желание получить ответ.

«Ты же не хотел этого — ни вражды, ни бегства дочери из дома, ни сделки с Гейзером. Ты хотел только хорошего, а вместо этого выходило одно плохое. Как это могло произойти?»

Гриммбергер понимал, что в последнее время он только спорил с Вольни, не получалось у них спокойного разговора, когда можно было бы отвести душу и откровенно все обсудить. «Ведь он же человек со смекалкой. Всегда знал, к чему стремится, даже тогда, когда наш брат, словно бык с завязанными глазами, маршировал прямо на бойню». Гриммбергер готов был признать, что Вольни никогда не делал ему зла. И если бы он остался там, где его место,— в городе, у печей, то и сегодня все было бы по-старому.

— Потерпи,— снова обратился Гриммбергер к лошади.— Такой жизни, как у меня, тебе нигде не будет. Это уж точно. Те, кооперативные,— ни рыба, ни мясо. Большинство, во всяком случае! — Гнедая покачивала головой, словно понимая речь хозяина.— Ах, ты мне не веришь! В этом ты похожа на Вольни. Он тоже мне не верит. Стоит наверху, не то, что я, видит все главное, целиком видит, а мелочей не примечает. А из мелочей, лошадка, и состоит жизнь, так-то. Если я тебе не смочу сечку да овес, ты, пожалуй, весь корм из кормушки выдуешь. Смочить сечку — казалось бы, мелочь, а если про нее забыть, ты останешься голодной.

Гриммбергер уже давно перестал говорить вслух. Он только едва заметно шевелил губами. «Наш брат землю, как постель, оправляет, не пожалеет лишний раз нагнуться. А эти словно в бирюльки играют. Когда они сено возят, прямо избить их хочется. Сыплется и сыплется сено с телег, клок, охапка — что им до таких пустяков! А потом затаптывается в землю — и конец! Идут в кооператив, чтобы угодить тому или другому, а сердце дома оставляют! Какая польза государству от такого человека, который в собственном хлеву соломинки считает, а в кооперативе и охапок не жалеет!»

Скрипнула калитка, Гриммбергер услышал тяжелые шаги жены и, пригнувшись, вышел из конюшни.

— Ну, где тебя носит? — спросил он.

— Я думала,— растерянно сказала женщина,— я думала...

— Ты думала, что у меня ночная смена? Тебе только того и надо. Я спину гну, надрываюсь, дело идет к ночи, а ты где-то шатаешься.— Он с шумом задвинул тяжелый засов на двери конюшни и прошел мимо жены. Перед крыльцом еще раз обернулся.— Приросла ты, что ли? Я есть хочу!

Эмма засуетилась.

— Вода уже на плите, и ужин готов! Что же тебе подать? — Она говорила без умолку, металась по кухне, и подол ее платья мелькал то здесь, то там.— У нас есть еще копченый окорок, а ведь со дня на день опять резать скот. Нам уж всего этого не осилить, зубы не те. Отрезать тебе окорока или хочешь колбасного фарша? Ну, скажи же что-нибудь! Все у нас есть. Могу тебе зажарить яичницу и заварить крепкого чаю, и рюмочка рому найдется, если замерз.

Гриммбергер усердно мыл руки. «Я хорошо тебя знаю,— думал он,— мелешь языком, словно хочешь что-то зализать».

— Ну, так где же тебя носило? — спросил он громко.— Выкладывай!

Он уселся поудобней, облокотился на стол и холодно, выжидательно посмотрел на жену.

Женщина выдержала его взгляд. «Он никогда не бил меня, нет, никогда руки не подымал»,— думала Эмма.

— Сперва я была у Вольни,— произнесла она.— Он уже знал про лошадь. И сказал, что ты еще наверняка передумаешь!

— Так-так, значит, он это сказал? — Грубый, с жесткими нотами голос Гриммбергера звучал как-то непривычно протяжно, словно он хотел выиграть время.

Жена смотрела на него без страха. Она подтвердила, что Вольни действительно сказал это. И, когда муж замолчал, налила ему чаю и добавила столько рома, что перелила через край. Он пил большими глотками, громко прихлебывая горячий напиток. Потом обеими руками поставил пустую чашку на стол. Этим он выиграл достаточно времени, чтобы преодолеть растерянность и собраться с мыслями.

— Так-так, а где ты была потом?

— У девочки,— сказала она.— Пуховик ей отнесла и постельное белье. Что ей полагается, то и отнесла! — Она говорила торопливо, словно боялась, что ее остановят.— Не может же она спать на голой земле, а у Конрада всего имущества-то — еле на одного хватит.

— Значит, попустительствуешь греху?

Лицо ее задрожало, она готова была заплакать, но поборола слабость. Каждый ее жест, каждое движение выражали материнскую заботу.

— Не смеешь ты говорить таких слов, не смеешь. Они живут не в грехе. Они поступают по справедливости. Грех ищи в другом месте!

— Где же нужно искать грех, по-твоему?

Жена промолчала. Однако Гриммбергер понял, о чем она думала.

— Я хорошо знал твоего отца. Он бы тебя в бараний рог согнул, если бы ты... Без его воли...

— Он уважал свою дочь,— перебила она.— Он-то уважал! Все он в дочери уважал. И с желаниями ее сердца считался. Как часто он говорил: «Нелегко тебе будет, дочка. Его вспыльчивость — тяжелый крест. Но вольному воля, спасенному рай».

Она сама не знала, откуда набралась такой смелости. Может быть, это была и не смелость, а просто отчаяние, когда человек готов все поставить на карту. Она разразилась потоком слов, которые никогда не посмела бы сказать раньше.

Может, он думает, что она еще дорожит этой жизнью? Нет, она и гроша ломаного за нее не даст! Лучше уж сразу с ней покончить! Все

устроили свою жизнь, устроили разумно, чтобы в доме был мир и покой. Только у них ничего не получается. А если он думает, что может тронуть ее хоть пальцем, то и она уйдет из дому. Уж, во всяком случае, кусок хлеба она себе всегда заработает и без него... Прошли времена, когда женщина должна была ждать, пока муж кинет ей кость. Слава богу, эти собачьи времена канули в вечность. Это видно по Лизе Цанк и по многим другим, которых раньше жизнь не особенно баловала. Ей уж до смерти опротивело ползать на коленях по свекольному полю. Это хуже, чем покаяние у католиков. Хватит с нее плясать под его дудку. Она долго молчала, дольше, чем надо, а теперь язык сам заговорил, потому что муж довел до этого, бесчувственная деревяшка и та бы завопила.

Случилось нечто странное: Гриммбергер ни разу ее не прервал. Он все глубже погружался в свои мысли. Впервые за все годы он подумал, что не знает жену, что его ввели в заблуждение ее терпеливость, покорность, что она, собственно, оставалась для него загадкой. «Другие находили время для любви, а мы не нашли его даже для того, чтобы как следует узнать друг друга,— подумал он.— Жил подле нее, слышал ее слова, а сам не подозревал, какие мысли ее одолевали».

В кухне стояла гробовая тишина, лишь слышно было взволнованное дыхание женщины. Произнося свою обвинительную речь, она расхаживала по кухне, переставляла кастрюли, сдвигала конфорки на плите, вешала на место кухонные полотенца или просто делала какие-то ненужные движения. Остановившись за спиной мужа, она ждала возражений. Но их не последовало. Скрипнул стул, Гриммбергер поднялся и прошел мимо жены, словно не видя ее.

Гриммбергер спал эту ночь в конюшне, пригревшись возле лошади, как когда-то, в бытность батраком. Ему снилось, что на него опрокидывались горы черной, мокрой от дождя земли. И он с трудом выбирался на свет. К утру ногти у него были ободраны, кончики пальцев кровоточили.

Когда Гриммбергер выехал со двора, он издали увидел на одном своем поле трактор с многорядной сеялкой. За рулем, слегка согнувшись, сидел Конрад Шпрингер. Гриммбергер вздрогнул. Он тотчас же мысленно связал появление трактора со вчерашним походом жены, и не ошибся. Он мог бы со скандалом прогнать Конрада со своего поля — день назад, безусловно, так бы и поступил. А он направил лошадь мелкой рысцой к той делянке, которую вчера вспахал и которую теперь надо было боронавать. Его одолевала усталость. Под скрип колес Гриммбергер заснул. Когда скрип прекратился, он открыл глаза. Гнедая стояла как раз у того края поля, где надо было начинать.

— Ну, примемся за дело, что ли,— сказал Гриммбергер, но в голосе его не было ни энергии, ни пыла.

Гнедая даже не повела ушами.

35

В понедельник, когда над землей забрезжило серое утро, пронизанное сырым северо-западным ветром, в Шварцвальде произошли два важных, хотя и совершенно различных по своему характеру, события, которым суждено было сыграть в будущем весьма значительную роль.

Ранним утром на хутор Гейзера явился пастор. В руках он держал кожаный чемоданчик, какие обычно бывают у деревенских акушерок и ветеринаров, и длинный черный зонт с крепкой рукояткой. Казалось, вечность прошла с тех пор, когда пастор в последний раз уезжал из Шварцвальде. Его маленькие глазки лихорадочно поблескивали. Две

минувшие ночи он провел почти без сна, и его вчерашняя проповедь из-за предстоящего отъезда была путаной и бессвязной.

— В моем возрасте трижды подумаешь, прежде чем предпримешь такое путешествие,— сказал он Гейзеру, который без всякого стеснения застегивал брюки.— Но если тебя призывает богобоязненный человек, ему нельзя отказать. Я готов вынести всяческие лишения, в надежде что господь поможет нам выбраться из этой неопределенности.

Гейзер вывел из амбара мотоцикл и прицепил к нему коляску.

— Чего вы еще ждете, пастор? — сказал он.— Можно ехать!

— Холодно будет. Нет ли у тебя одеяла, сын мой, или двух?

Гейзер кликнул батрака и велел принести две попоны. Пастор не без опасения уселся в коляску, думая: «Теперь ты зависишь от него, хоть он тебе и неприятен».

Вниз по тропинке Гейзер ехал медленно. Но выбравшись на проселок, дал полный газ. У пастора замерло сердце, встречный ветер словно хватал его своими когтями и выбивал из глаз слезы, светлыми ручейками катившиеся по багровым щекам.

Когда они подъехали к станционному зданию, пастор чувствовал себя совершенно разбитым. Он понимал, что взвалил на свои плечи тяжелую ношу, но надеялся на помощь всевышнего.

— Ну, оставайтесь с богом,— сказал он Гейзеру.— В субботу вернусь.

Он взял чемоданчик и, пошатываясь, пересек привокзальную площадь — старик, который уже не может скрыть свою дряхлость, человек, который, несмотря ни на что, верит, что совершает богоугодное дело.

Гейзер мрачно смотрел пастору вслед. «Как раз подходящий посланник,— подумал он с горькой усмешкой.— У них там сразу сложится наилучшее впечатление о нашей силе и решимости».

На обратном пути Гейзер чуть не раздавил выскочившую на дорогу бездомную кошку. Прыжок оказался слишком коротким, ее задело коляской и отшвырнуло в сторону, кошка пронзительно завизжала. Гейзер сразу затормозил. Подошел ближе. Перед ним был черный, как смоль, крупный кот с необычайно толстым хвостом и янтарными глазами. Он яростно фыркал, обороняясь зубами и когтями. Но Гейзеру удалось схватить его за загривок. Он отнес животное в коляску и завернул в попону, которой недавно укрывался пастор. Кот от страха стал мочиться, распространяя омерзительный запах. Гейзер медленно поехал домой, огибая неровности на дороге и не спуская глаз с коляски.

В кучерской Гейзер с удивительным терпением взялся накладывать шину на сломанную лапу кота. В это время перегорела лампочка, и он зажег керосиновую коптилку. Свет ее казался матово-желтым и теплым.

— Останемся с коптилкой,— сказал Гейзер сонно жмурившемуся коту, которому его ловкие руки принесли облегчение.— Так уютнее, толстохвостик!

«Толстохвостик» стало кличкой кота. Гейзер давал коту самую лучшую пищу — парное молоко с двумя желтками — и укладывал спать вместе с собой, чтобы тот грел его измученные ревматизмом ноги. Ему казалось, что он нашел себе терпеливого собеседника, который разделит с ним одинокие дни и ночи.

Он посадил кота на колени. Рука его ласково гладила бархатную шкурку и нащупала несколько рубцов, по-видимому, от дроби.

— Ты на своем горьком опыте убедился, что такое люди,— сказал Гейзер и подумал, искренне растроганный: «Ах, как я тебя понимаю, как понимаю».

■

Тем временем происходило и другое событие. Вольни стоял в открытых сенях Клейнмана и с досадой говорил себе: «Пора бы наступить зиме. От этой проклятой мокрети руки и ноги будто свинцом наливаются». Он мечтал о трескучем морозе, о хорошем восточном ветре. «Озимь уже достаточно сильная, может вынести и холода, корнеплоды все в овощехранилище. Чего же зима ждет?»

До Вольни донеслось хриплое покашливание Клейнмана. Он быстро пересек двор и, не постучав, вошел.

В амбаре было тепло, пахло свежими сосновыми щепками и плохим табаком. Гнилая погода каждый год сказывалась на ушах Клейнмана, и осенью он всегда страдал глухотой. Но когда ночи начинали звенеть от мороза, Клейнман слышал даже, как трещат, замерзая, деревья. Зимний ветер будто выдувал из него простуду. Не удивительно, что старик с нетерпением ожидал зимы.

Клейнман не слышал, как вошел Вольни. Он неторопливо возился с каким-то куском дерева. По-видимому, деревяшке надлежало превратиться в христовы ясли или еще во что-то в этом роде. Вольни плохо разбирался в таких вещах, но заметил, как споро идет работа у старика.

— Ловкие у тебя руки,— громко сказал он.

Клейнман вздрогнул от неожиданности, но, увидев Вольни, улыбнулся.

— Здоро́во! Это хорошо, что зашел в мою мастерскую. Всем интересуешься.

Вольни не без умысла вновь упомянул об умелых руках старика, и Клейнман весело воскликнул:

— Руки, почтенный, бедняка кормят.

— А если голова помогает, то еще лучше,— заметил Вольни и мысленно рассмеялся над своим поучающим тоном.

Клейнман молча нахмурил брови.

— Не найдется ли у тебя табачка получше? У моей старухи не разживешься. Как об этом подумаю, из себя выхожу. Конечно, кошель мог бы быть полнее. Приходится кое в чем себе отказывать. Из-за паршивых грошей ссоримся со старухой, того и гляди, в волосы друг другу вцепимся. А так не годится!

Когда старик садился на своего излюбленного конька, он не знал удержу, и прошло много времени, прежде чем Вольни смог объяснить, зачем он пришел.

До самого рассвета смотрел он в окно и курил, не чувствуя ни малейшей усталости. И у него возникла идея, которую можно было претворить в жизнь с помощью опытного и умелого Клейнмана.

— Этак мы ничего не добьемся,— перебил он Клейнмана,— у нас есть зерно — хорошо! Свекла, картошка — все хорошо! Но людям надо открыть горизонты, вывести их за церковную ограду. Понимаешь?

— Чего ж тут не понимать? Выше взлетишь — ниже падать придется,— сказал Клейнман, с сожалением поглядев на Вольни.— А из вола не сделаешь верховую лошадь. Это тебе надо бы знать. Я уж давно за тобой наблюдаю, в голове у тебя всего полно, как в Библии. Ну что ж, выкладывай! Я умею молчать, как могила.

— Потому я к тебе и пришел.— Вольни провел пальцем извилистую линию по пыльному верстаку.— Это ручей. Здесь ива, здесь еще одна. А кругом луга, насколько хватает глаз. Ну, я вижу, ты знаешь, о чем идет речь. Луга кончаются, начинается лес. Всего несколько деревьев — дубы, березы,— а потом прогалина, довольно большая!

— Вороний угол! — воскликнул старик.

— Да, да, Вороний угол! А я даже не знал, как это место называется.—Вольни задумчиво посмотрел на Клейнмана.— Хорошее название, подходящее.

— Есть и получше. Не у нас, правда. Наши названия, почтенный, похожи на ругательства: Воловья бухта, Бычий выгон, Поросячья площадка. Какой-нибудь аристократ и не выговорит таких слов, поверь мне. Вот в Тюрингии названия куда деликатнее: Гнездо дрозда, Прыжок скакуна, Оленья тропа. Говори, что хочешь, а там совсем другие люди, куда более тонкие натуры.

— Оставим пока названия,— нетерпеливо сказал Вольни.— Меня интересует та прогалина, фундаменты. Вот построим загоны для скота. Справа и слева столбики, над ними крыша, и готово дело. Выход к лугам, водопой у ручья. В засушливое время можно из ручья орошать луга.

Он хватал куски дерева, инструменты, все, что попадало под руку. Два рубанка изображали новые дома для дояров и скотников, напильники и рашпили — загоны для скота. Прямая полоска опилок означала новую асфальтированную дорогу к деревне, деревянный кружок — спортивную площадку и бассейн для молодежи; Клейнман как завороженный следил за руками Вольни.

— С нашей стороны ручья, вокруг хутора Хагена, то есть ближе к деревне, создадим рай для стариков: пасеку, белые скамейки в помещичьем парке и все прочее,— закончил Вольни, отступил на шаг и посмотрел на дело своих рук. Он почесал затылок и, недовольный собой, спросил: — Понимаешь, о чем я толкую?

— Ты поешь неплохо, золотце мое,— пробормотал Клейнман, не сводя глаз с верстака.— Я всегда говорил: Вольни — это наш человек, он не только кудахтать горазд, но еще и яйцо снесет!

Вольни бесцеремонно схватил старика за плечи и притянул к себе.

— Попробуй разбери тебя. Ты прямо говори: ясно тебе или нет?

— За кого ты меня принимаешь? — обиженно сказал Клейнман.— Я к осени становлюсь туговат на ухо. Это верно. Но понять — все понял.

— Тогда строй!

Клейнман в ужасе посмотрел на Вольни.

— А как, черт побери?

— Из фанеры, старик!

— Из чего?

— Из фанеры, чтобы люди видели, чего мы хотим. Возьми учителя и ребятишек в помощь. Поторопись, нам нельзя терять времени. Мы должны увлечь людей, Гриммбергера и других, чтобы у них аппетит пробудился!

Старик потрогал куски дерева, расставленные Вольни на верстаке.

— Все так и должно остаться, как ты изобразил?

...Некоторое время спустя Вольни вышел из сарая в полном убеждении, что Клейнман воодушевился его идеей. Он поговорил еще и с Экельманом. Это было значительно труднее, потому что учитель вместе со школьниками репетировал к рождеству представление. Вольни был в затруднении. «Нельзя же выступать против культуры,— сказал он себе.— Но, черт возьми, макет — это тоже культура, да еще какая!»

— Разве все дети репетируют? — спросил он недоверчиво.

— Остальные готовят сцену!

— Клейнман поможет тебе со сценой,— решил Вольни.— Мы его освободим. А вы ему поможете делать макет.— Вольни облегченно вздохнул. «Странный человек,— подумал он.— Если не считать очков и тронутых молью волос, выглядит, как мальчишка, а во всем другом похож на старого деда, одряхлел, видно, так и не узнав молодости».

Ему было очень радостно: наконец-то нашел, за какой рычаг ухватиться. Макет был для него тем же, чем конвертер в литейном цехе. «Когда все будет решено,— подумал он,— поеду на завод и попрошу помочь нашему комбинату».

36

Обо всем этом Гриммбергер ничего не знал. Он бороновал одноконной упряжкой, и это было мукой. Он снова чувствовал себя, как несколько лет назад, когда в МТС было мало машин; в следующий раз Гриммбергер решил запрячь и корову, точно так же, как тогда. «Правда, молока станет меньше, удои снизятся. Досадно, конечно, но ничего не поделаешь. С одной лошадью при такой земле пропадешь». Он снова очутился у тропинки. Из дома Хагена, стоявшего под могучими, уже потерявшими листву красными буками, вышел дородный хозяин. До сих пор они избегали друг друга, но, встречаясь иногда на дороге или в деревне, обменивались несколькими словами. Они ни разу не ссорились, однако в гости друг к другу не ходили. Поэтому Гриммбергер сейчас даже и не подумал, что Хаген направляется к нему. Он спокойно начал новую борозду, но тут услышал голос Хагена:

— К чему такая спешка? Все равно уже поздно!

Гриммбергер рывком натянул поводья и остановил лошадь. «Этакий нахал,— подумал он,— годами не обращает на меня внимания, а теперь вдруг у него язык зачесался».

— Да, конечно, поздно. Но если зима будет мягкой, есть еще надежда!

Он с любопытством взглянул на Хагена. Красное, полное, всегда ухмыляющееся лицо с дерзко торчащим носом едва виднелось из-под вылинявшей шляпы с отвислыми полями.

— Пусть лошадям останется овес, а людям надежда,— подмигнув, сказал Хаген и протянул ему кисет.— Бери, не стесняйся, это голландский, сестра прислала.

Гриммбергер не заставил себя долго просить.

— Коли уж ты подошел, давай закурим. А раз это голландский табачок, выкурим и по две!

Хаген засмеялся сытым, утробным смехом.

— Вот это правильно!

Он хлопнул Гриммбергера по плечу. «Не такой уж он колючий, этот парень, как казалось»,— решил Хаген.

Пока гнедая подремывала шагах в пяти от тропинки, а между ее ногами степенно разгуливали вороны, мужчины молча наслаждались первыми затяжками. Гриммбергер думал при этом: «Сила солому ломит», а Хаген: «Ни одной собаке не прожить столько лет, сколько мы сторонились друг друга».

Их взгляды встретились, и оба остались довольны друг другом. Хаген принялся рассказывать анекдоты. На это он был мастак. В деревне подозревали даже, что некоторые из анекдотов он выдумывал сам. Вполне возможно, ведь такой человек — толстый и добродушный, любитель выпить и поесть, знающий на память рецепты приготовления множества блюд, как иные знают изречения из Библии,— такой человек способен на все.

Хаген оглушительно хохотал, а Гриммбергер лишь кривил лицо в смущенной усмешке.

— Тут не до смеха,— сердито сказал он,— плакать хочется, Хаген! У меня все нутро переворачивается.

— Ну, ну, не злись, старик. Да ты вовсе не Гриммбергер, а настоящий Злобергер. Плюнь на все! Бери пример с меня и глуши досаду

смехом. Заходи ко мне. Мой дом всегда для тебя открыт. И еще об одном я хотел тебя спросить: ты что, повздорил вчера здесь на поле с этим приезжим?

— С Вольни? Откуда ты знаешь?

— У меня есть подзорная труба. Ну, что уставился? Кто живет так далеко, как я, должен иметь подзорную трубу. Из-за чего вы поссорились?

— Мы не ссорились,— сухо сказал Гриммбергер.— А если бы и поссорились, тебе-то что?

— Ничего! — расплылся в ухмылке Хаген.— Ты сопротивляешься, а мешок для тебя давно сшит. И не успеешь опомниться, будешь уже в нем. Ну, пока, Злобергер!

Весь день у Гриммбергера не выходили из головы туманные намеки Хагена. Он никак не мог раскусить этого человека; мысли о Хагене настолько занимали его, что он забыл о собственных невзгодах.

Гриммбергер решил поймать Хагена на слове и зашел к нему в гости. Это был совершенно незнакомый ему мир, мир книг и картин, старинной резной мебели, ковров на полу и на стенах, стульев с высокими спинками, мягких скамеек у печки, пепельниц из оленьих рогов, кованых подсвечников, расшитых одеял и гардин из тяжелого бархата; мир старых вин в подвале, выдержанных сигар, гаража с автомобилем — и вместе с тем мир, наполненный мыслями, которые вскоре привели Гриммбергера в полное смятение. С недавних пор Хаген носил дома на своей круглой, как шар, лысой голове турецкую феску с кисточкой. Когда он смеялся, кисточка задорно приплясывала, а так как он редко не смеялся, то кисточка почти никогда не висела спокойно.

Гриммбергер пристально смотрел на стол, но от него ничего не ускользало. Время от времени он прикладывался к бокалу из граненого стекла и не знал, куда деть руки. Почувствовав себя чуть ли не батраком, он горько задумался: «Зачем я сюда пришел? Они крали дни у господа бога и жирели, когда я надрывался на работе. Нет, здесь мне не место! С ними меня ничто не связывает!»

Седая, как лунь, рослая жена Хагена молча подавала кушанья и вина.

Хаген, словно прочитав мысли гостя, сказал:

— Не беспокойся, старина, мы с тобой найдем общий язык, найдем и будем жить мирно, можешь не сомневаться! Не веришь? Ну, подожди. Мы еще поговорим. Может, скоро, а может, не очень скоро, но мы договоримся. Ведь ты из тех, кто поплатился своей шкурой. Но это никого не интересует. Они толкают тебя вперед, хочешь ты или нет. Был бы у тебя хвост, как у теленка, они бы тебе его так накрутили, что ты бы сам побежал. Но раз у тебя нет хвоста, они хватают тебя за нос и ведут, как упрямого вола. Им-то в конце концов все равно, так или иначе ты идешь вперед. Разве я не прав?

Болтовня Хагена становилась нестерпимой. В голове у Гриммбергера засвербило, будто туда заползли муравьи.

— И что ты болтаешь? — пробурчал он.— Слушать тошно. Мне не до твоих шуточек. Я сплю в конюшне, потому что Вольни взбаламутил мою жену. Единственная дочь от меня ушла. У меня меж пальцев ускользает все, что я с таким трудом сколачивал, а ты шутки шутишь. Чего тебе от меня надо? Мы с тобой разного поля ягоды, это я тебе прямо скажу. Терпеть тебя не могу.

Гриммбергер жаждал затеять ссору. Ему хотелось показать этому толстяку в феске, где раки зимуют. Но Хаген был невозмутим.

Хаген знал, чего хочет. За последние годы он стал еще богаче, теперь он владел двадцатью гектарами земли, и каждый из них дал ему

по пять тысяч марок дохода. Его племенные коровы и бычки на ежегодных аукционах приносили бешеные деньги. Хаген жил, ни в чем себе не отказывая. Оба его сына были женаты на работящих женщинах. В своей округе Хаген был королем, всем распоряжался и спокойно ждал того, что неотвратимо должно было произойти. Он не испытывал ни скорби, ни гнева и желал лишь одного: чтобы это не произошло неожиданно, не свалилось как снег на голову, а было подготовлено осторожно и с умом.

— А разве может быть иначе? — Он хитро подмигнул Гриммбергеру и откровенно поведал ему свои мысли: — Вершин мы с тобой достигли. Правда, моя повыше, твоя — всего лишь холмик по сравнению с моей. Но какое это имеет значение? Важно то, что выше мы уже не поднимемся. Тот, кто не хочет топтаться на месте, должен искать новые пути. Загляни в книги красных — там об этом все написано. Ты спроси у Вольни, он тебе их покажет. Нашему брату не очень-то легко было подружиться с коммунистами. Да и сегодня о любви к ним не может быть и речи. Это брак по расчету: у тебя одно, у меня другое, давай, значит, объединимся. Каждый получит свою выгоду. Что в этом бесчестного? Живешь ведь на земле, нужно ладить друг с другом. Если б они разрешили прикупить за свои деньги поля и луга, дело существенно изменилось бы, но на это не приходится рассчитывать, об этом еще Ленин писал, а они следуют каждому его слову. Они не позволят, чтобы появились новые помещики, и их даже нельзя упрекнуть за это. Не по нутру им такое, хотят, чтобы земля принадлежала всем.

— В жизни всякое приходилось видеть,— говорил Хаген.— Бывал я и на Западе, в Ганновере навещал сестру. В свое время она уехала туда, прихватив на продажу племенного бычка, а оказалась сама проданной. Живется ей несладко, не думай, что там райская жизнь. Там нужно уметь защищаться от сильных и топтать тех, кто внизу, кто еще слабее. Жить, как хищные звери, а если придет беда, рассчитывать только на свой урожай. Даже самые выносливые не выдерживают. У нас яйца покупают, едва курица успеет их снести. Так никогда раньше не бывало, знавали мы другие времена. А там, на Западе, нашему брату трудно приходится. Разве что перестать быть крестьянином, как произошло с теми двумя из нашей деревни, которые в свое время тайком бежали на Запад. Теперь они ковыряются под землей в Рурской области. Нет уж, если есть у кого свое гнездо и он его покинет, пороть такого мало. Конечно,— продолжал он,— и здесь бывают осложнения, но с этим государством можно договориться, оно справедливое, не уклоняется от ответа, как граф, а говорит прямо: вот моя цель, и придерживайся ее. Чем кликать на свою голову кого-нибудь из-за океана, лучше договориться со своими. Так обстоит дело. Можно лишь пожелать, чтобы здесь положение упрочилось, чтобы у них было что предложить людям. Вольни человек неугомонный, одни объединенные поля его не удовлетворят. Ему нужно бы кое на что намекнуть, но пока нашему брату лучше повременить, посмотреть, чем все это кончится. Вот когда вся рота будет шагать в ногу — тогда уж и присоединиться. Где я в конце концов обрету покой, самому господу богу неизвестно, это зависит от того, чего они добьются. Ихнее гнездо я строить не буду. Пусть сами ломают себе голову. Но если я к ним приду, то уж не с пустыми руками. Я приведу свое стадо, а оно стоит целого состояния. Пусть же они мне покажут, на что способны, пусть приоткроют хоть краешек своего рая, и тогда я, можешь быть уверен, не замешкаюсь ни на секунду. Я везде побывал — на побережье, на Одере, на равнинах, где самые плодородные земли,— ко всему пригляделся, ведь я не из тех, кто покупает кота в мешке.

Для такого тугодума, как Гриммбергер, сидевший напротив человек был словно красный платок для быка. И пока Хаген соображал, что еще выложить Гриммбергеру, тот с неприязнью думал: «Ну и тип! Попадешь тебе в лапы, живым не выберешься, это уж как пить дать. Хочешь заморочить мне голову, приятель!»

— Для социализма ты чистая находка,— начал Гриммбергер,— смотреть на тебя тошно. Всю жизнь знаешь только это! — Гриммбергер пошевелил пальцами, будто считая деньги.— Вот твой бог! И ты не хочешь с ним расставаться!

— Ты тоже, Злобергер. Иначе давно бы уже был в кооперативе. Я знаю тебя сорок лет. Всегда был среди первых. И вдруг очутился в обозе. С чего бы это? — Хаген хитро подмигнул.— Семь марок на трудодень тебе слишком мало. Пятнадцать, двадцать — и с тобой уже можно договориться, так же как и со мной.

— Я всю свою жизнь ничего не получал даром,— запальчиво возразил Гриммбергер.— Тебя родили для сытой жизни, меня для голодухи. Я клянчил работы у твоих дверей, когда у тебя глаза уже заплыли жиром!

— Охотно бы нанял тебя тогда, но граф да и старик Гейзер были настороже. Ты ведь знаешь. Я числился у них в черном списке.

— Ворон ворону глаз не выклюет. Бедняки потеряли все, у тебя же ни один волос с головы не упал. Уж лучше дьяволу продамся, чем возьму тебя в товарищи. По крайней мере, буду знать, на что иду.

Хаген снисходительно взглянул на него. «К счастью, не все так получается, как тебе хотелось бы»,— подумал он.

Они продолжали спорить; когда же Хаген снова завел речь о Вольни, Гриммбергер оборвал его:

— Советую тебе на Вольни не рассчитывать! У него в мизинце больше ума, чем в твоей башке. Он терпеть не может таких, как ты, и борется с ними уже не первый год. Он не будет с тобой долго церемониться, я-то его знаю. В сорок шестом ты сумел от нас улизнуть, но в пятьдесят девятом это не удастся. Тебе Вольни не построит гнездышко, кому-кому, а тебе — нет. А начнешь мешать — приготовит комнатку с решетками.

Кисточка хагеновской фески взлетела в воздух — толстяк неудержимо расхохотался.

В деревне ходил слух, что прадед Хагена умер от приступа смеха. Говорили, что это случилось за обедом, когда он подавился куриной косточкой, а все думали, что он хохочет. Ни мазями, ни массажем улыбку не удалось убрать с лица. Так он и смеялся в гробу, как сатана.

— Смотри не подавись,— сердито буркнул Гриммбергер.— У вас ведь это в роду. Ну, будь здоров!

Они расстались врагами. Но Гриммбергера почему-то тянуло к Хагену. Уже на следующий вечер он снова оказался под красными буками, и Хаген пригласил его в дом, будто ничего между ними и не произошло. Они грызлись до полуночи. Гриммбергеру эти споры были необходимы, как верующему вечерняя молитва. Каждый вечер они затевали перебранку и не щадили друг друга. То, что не удалось ни Вольни, ни Лаппе, удалось Хагену. Изо дня в день Гриммбергер все глубже вникал в проблемы кооператива, и, хотя он иногда не мог переспорить своего противника, мысли его уже были направлены на то, что так долго было ему непонятно и ненавистно.

37

Когда пастор сошел на маленьком полустанке с поезда, стояла прохладная звездная ночь. Земля в лесу была покрыта гнилыми опавшими листьями, из свежих ран деревьев сочился дурманящий аромат

смолы. К нему примешивались и другие запахи, выжатые из земли первым морозом.

Шаги пастора гулко звенели по замерзшей дороге, под его ногами с хрустом разбивались тонкие льдинки на лужах. Набежал ветер, и по лесу разнесся многоголосый шум. Пастор тяжело оперся на ручку зонтика. Что может здесь с ним случиться? Совесть его была чиста перед богом и людьми, прежде всего перед людьми. Но сердце у него екнуло — пастор все-таки побаивался, что угрозы графа когда-нибудь осуществятся,— он быстро зашагал к деревне, с которой был связан душой и телом и на которую призывал не гнев, а благословение божье. Бог не мог допустить, чтобы погибли творения его рук. Нет, они не должны погибнуть! Христос воскрес из мертвых. Воскрешением своего сына бог возвестил людям о вечной жизни на земле!

Пастор побрел дальше неуверенной старческой походкой. Он чувствовал себя смертельно усталым... Двадцать часов, ни минуты больше, пробыл пастор в Гамбурге. Он никогда раньше не бывал в этом городе, оставившем в нем чувство горечи, мрачной, как ноябрьский день. «Зачем я туда ездил? — снова и снова спрашивал себя пастор.— Что подсказывало мое старое сердце? Я в самом деле был полон ожидания. Он заехал за мной в роскошном автомобиле, постель в большом доме была удивительно мягкой и уютной. Но кому поведать о надеждах моих и кому рассказать о том, что говорил мне он? Глубоко в душе надо затаить все это, ведь никто не поймет, никто не захочет слушать».

Пастор вышел на опушку леса. Земля перед ним лежала в предрассветных сумерках. Сонно блеснул в деревне неяркий огонек.

«Он узнал меня по сумке,— думал пастор.— Лица моего не запомнил, лишь мою сумку. Вот как! Но я ничего не забыл — ни его лица со шрамом над правой скулой, ни налившегося кровью и гноем глаза, который из-за шрама кажется неестественно большим. Я не забыл ни его голоса, ни походки. Но и граф тоже многое помнит. Одна из его комнат в Гамбурге точно такая же, как кабинет в замке: письменный стол на резных львиных лапах, стул со спинкой в форме львиной головы, на стене возле окна герб с ястребом, который держит в когтистых лапах по два желудя; даже серо-зеленые обои, камин, книги на полках, охотничьи ружья справа от двери — все такое же, как прежде. И сам граф стоял, как раньше, прислонившись спиной к оконной раме, скрестив на груди руки, только взгляд его стал неуверенным...»

Прислушиваясь, пастор повернул голову. Будто по сигналу, во всей деревне сразу загорелись огоньки. Пастор испуганно вздрогнул. Он непростительно задержался, ему давно уже следовало быть дома. Только на рассвете он добрался до деревни. Во дворах уже кипела работа. Он встречал по дороге людей, с ним здоровались, он отвечал на приветствия, чувствуя на себе удивленные взгляды. На лице его сохранялась довольная улыбка, которая исчезла лишь тогда, когда он запер за собой ворота своего дома.

— Он выглядит так, будто приехал издалека,— заметил кто-то.

— Бодрый старик, еще крепко стоит на ногах!

— Похоже, что он откуда-то вернулся.

— Откуда ему возвращаться? За юбками наш пастор не гоняется. Вот лунквицкий, Юнгше, тот другое дело!

— Но откуда же он взялся в такую рань?

— Спроси его, если это тебя так волнует.

— Да, так он мне и скажет, где проводит ночи.

— Тогда узнай у его экономки, она все выложит.

— Не морочь мне голову! Леший его знает, что он задумал!

Две пары деревянных башмаков сосредоточенно застучали по ули-

це. Вскоре их стук затих. Другие звуки завладели деревней, и каждый из них был особенно звонок и отчетлив в этот первый зимний морозный день.

■

Пастор рьяно принялся за работу. Ему казалось, будто он целую вечность не был в Шварцвальде. На вечер он назначил репетицию церковного хора. Явились все, кроме четы Клейнман. Пастор нетерпеливо поглядывал на карманные часы.

— Что случилось? — забеспокоился он.— Может, болыны?

— Точно мы не знаем. Но о болезни ничего не слышали,— ответил один из хористов.— Конечно, всякое может случиться...

В эту минуту вошла Амалия Клейнман, еще с порога она крикнула:

— Вы думаете, я привела своего пузана? Он строит, господин пастор! Я говорю ему: ты наш главный бас, а он строит.

— Что строит? — не понял пастор.

— Какой-то паркет или макет, не знаю, как это называется. Вольни дал ему поручение, и вот теперь он возится до поздней ночи, полон амбар ребятишек, люди беспрестанно заглядывают через забор. Кончилась спокойная, тихая жизнь, господин пастор!

Репетиция не затянулась: сказывалось отсутствие ведущего баса. Пастор сердито захлопнул крышку фисгармонии.

— Продолжать не имеет смысла, господа. Таким пением мы привлечем только кошек. Нет, так не пойдет! Назначим новую репетицию!

На следующее утро пастор зашел в амбар к Клейнману. У дверей он повстречал Вольни. Пастор на мгновение остановился. Ему пришла в голову мысль поговорить с Вольни, но он тут же раздумал: «Не уйдет он от меня. Найдется более удобный случай».

Впервые за много лет пастор вновь ощутил потребность вступать в разговор с самыми разными людьми, как в ту пору, когда он был в расцвете сил. Раньше он мог часами беседовать с прихожанами на улице, на меже, в коровнике — всюду, где встречал их. «Наш пастор обходительный человек,— говорили крестьяне,— со всеми поговорит, хотя и ученый». Но с возрастом пастор почти утратил эту привычку.

В амбаре потянуло сквозняком, и Клейнман понял, что кто-то вошел. Он обернулся и, узнав гостя, любезно сказал:

— Прошу, господин пастор, подойдите ближе. Только закройте дверь, ведь на дворе зима.

Пастор медленно приблизился к Клейнману.

— Значит, трудимся, милейший. Это приятно. Усердных людей любит господь бог, ибо и сам он бодрствует денно и нощно!

— Именно так я и думаю, господин пастор. Я всегда говорю: всевышний допустил бы ошибку, если бы поддерживал бездельников. Всю свою жизнь я не боялся тяжелой работы. Наверно, это нравилось нашему господу богу: он разрешил мне дожить за работой до старости, и на здоровье я не могу пожаловаться. Если дальше так пойдет, проживу сто лет. Самое трудное для меня время — осень, но она уже миновала.

— Нельзя предъявлять к богу чрезмерные требования. Милость его безгранична. Но решения он принимает по своей воле. Он призывает нас к себе, когда сочтет нужным.

— Разве это такое уж чрезмерное требование, если я прошу у него тридцать лет отсрочки? — простодушно спросил Клейнман.— Ему это ничего не стоит, а мне доставит радость. Кто же станет призывать человека на небо, когда на земле начинается хорошая жизнь, господин пастор? Не думаю, чтобы бог этого хотел. До нынешней поры он не был

своенравным и очень хорошо знает, сколько горестных путей пришлось нам пройти, пока перед нами не открылся рай.

— Положимся на решения господа бога,— уклончиво сказал пастор.

Он уже успел своими острыми глазками разглядеть макет и догадался, что означают эти дома, коровники, ручей, луга и дорога. Но все же спросил:

— Что ты мастеришь в такую рань?

— Деревню, господин пастор!

— Деревня существует давно, пожалуй, ей больше лет, чем нам с тобою вместе, и в ней никому не было тесно.

— Я к старой пристраиваю новую, господин пастор.

— А я говорю, что и в старой для всех было достаточно места.

— Было. Но в будущем она станет уже тесной, господин пастор. Нужно строить, понимаете? Люди хотят жить просторнее, удобнее — вот в чем дело.

— Объясни мне поточнее.— Пастор выжидательно сдвинул брови.— Вот это что такое? — он кивнул на высокие строения.

— Новые жилые блоки, господин пастор.

— Но они выше церкви.

— Это из-за холма в Вороньем углу. Вы ведь знаете тот холм, господин пастор. Самый высокий во всей округе. Богу пришлось его особенно долго подпирать спиной.

— А на домах флаги красные!

— Ну что ж, на церкви крест, а на новых домах будут флаги, господин пастор. Все в свое время и на своем месте.

— Флаги загородят крест!

— Боже сохрани, я этого не думаю! Развеваться они будут, да, но загораживать? Ничуть.

— Макет должен служить приманкой для людей, так вы думаете?

— Что вы, господин пастор! Люди то и дело заходят, смотрят, высказывают свое мнение. Одним хочется того, другим — этого. Я никогда не закончу, если буду прислушиваться ко всем. Так что, пожалуй, придется запирать дверь.

— Люди заходят? — задумчиво спросил пастор.— Стало быть, хотят переехать в новые дома? Бросить деревню и переселиться в Вороний угол, где ни одна человеческая душа еще не жила?

— Одни готовы сделать это хоть сегодня, другие извиваются, как разрезанные черви. Всяко бывает, господин пастор.

— А ты сам переселился бы?

— Если придется — да! Но это не обязательно. Для стариков новые дома построим поблизости, господин пастор. По эту сторону ручья, там, где стоит дом Хагена, для них создадут настоящий рай с пасекой и шелковичной плантацией. Сегодня я это сооружу. Заглянете сюда завтра и скажете, что я был прав.

— Многое еще изменится,— пророчески изрек пастор.— Люди отходят от церкви. Их путь к богу становится все труднее!

— Вот уж не говорите, господин пастор! Мы построим асфальтированную дорогу от Вороньего угла к деревне. Она будет гладкой, как зеркало, никакого сравнения с нынешней. Вы сами знаете, в ноябре да и весной сколько приходится мучаться из-за грязи. Асфальт же ничего не боится, пусть хоть льет как из ведра!

— И все же то, что я говорю, верно. Ты сам отходишь от церкви и перестал петь в хоре, с тех пор как занялся этим делом.

— Как вы можете говорить такое, господин пастор! Я пою, как жаворонок. Даже вспоминаю песни, которые давно позабыл. Никогда в жизни не пел так много, как теперь, во время работы.

— Но что ты поешь, любезнейший, что ты поешь?

— Все песни, какие знаю, господин пастор. За долгую жизнь кое-что поднакопилось. Пою, что на ум взбредет, и редко за один день повторяю какую-нибудь песню.

У пастора выступил на лбу крупный пот — то ли от долгого стояния, то ли от ответов улыбающегося Клейнмана.

— Не хочешь ты меня понять,— вздохнул он.— Ты строишь и...

— Конечно! — не дал ему договорить Клейнман.— Я строю, господин пастор, ведь человеку нужно что-то для души.

— А церковный хор, разве это не благословенное дело?

— А я делаю и то и другое, господин пастор. Пою и строю. И это угодно богу, как вы сами сказали, ведь усердных людей любит господь.

— Твоими устами говорит кто-то другой,— с нескрываемым беспокойством сказал пастор.

— Кто бы мог заползти в мою старую шкуру, господин пастор?

— Пришелец, которого вы приютили.

— Ах, Вольни! Поговорите с ним сами, господин пастор. Он интересуется каждым человеком, и у него большое сердце, это я всегда готов повторить, такое сердце, что в нем найдется место даже для пастора.

— Он говорит твоими устами. Проверь себя хорошенько, милейший.— Пастор предостерегающе поднял палец.

С улицы донесся ребячий гомон.

— Помощники идут,— проворчал Клейнман и быстро собрал разбросанные на верстаке инструменты.— Нельзя, чтобы дети видели беспорядок. Я им всегда твержу: инструмент подстать человеку, если он не исправен, значит, и человек немногого стоит. Отодвиньтесь чуть-чуть, господин пастор. Вот так! А теперь помогите-ка мне поднять. Осторожно, макет тяжелый! Не споткнитесь, господин пастор! Достаточно. Большое спасибо. Пусть теперь ребятня входит.

В амбар гурьбой ввалились ребятишки, принеся с собой запах снега и мороза. Увидев пастора, они сняли шапки и поклонились. Тот погладил первого попавшегося паренька по кудрявой голове.

— Ну, работайте, дети,— сказал он,— работайте хорошенько, да пребудет с вами господь!

38

Опустив голову и засунув руки в карманы черного пальто, пастор вышел на деревенскую улицу. Он погрузился в воспоминания, думал о своей молодости, о времени, когда был еще студентом медицины. В военные годы он хотел своим искусством врача быть полезным человеку. Но на фронте увидел людей, которые с оторванной головой еще бежали два-три шага, и таких, которые ползли, сжимая руками живот, а из-под пальцев вылезали кишки. Он слышал, как за передним краем всю ночь кричали умирающие. Он видел мужественных людей, которые сходили с ума после десятого артиллерийского обстрела и выскакивали из укрытий. Он так часто встречался со смертью и жестокостью и так мало чем мог помочь, что обратился к богу. Десятки тысяч людей потеряли бога в этих боях, а он обрел его. Когда в операционной он чувствовал себя беспомощным, то бросал инструменты, уповая только на бога. Вернувшись с войны, он стал изучать теологию и был твердо уверен, что именно так сможет лучше всего служить людям. Он приехал в Шварцвальде и остался там навсегда. Он много видел и знал, что жизнь связана с землей. Одно причастие не помогает утолить голод. Пастор знал, что люди идут за теми, кто приносит им облегчение. Он

хотел приблизить людей к богу не только проповедями, но и делами. Угодный богу порядок не удовлетворял его. Он повздорил с графом и был выдворен обратно, на свою церковную кафедру: дескать, заботься о душах, а о земных делах позаботимся мы сами! Пастор стал фанатичным проповедником. В своей общине он не терпел ни малейшего сомнения в вере. Но вторая мировая война подорвала его силы. Пастор незаметно состарился. Лишь иногда он протестовал и возмущался, но вскоре опять впадал в состояние еще более глубокой апатии.

Пастор брел по улице, как слепой. Он не замечал людей, попадавшихся ему навстречу. Думал только об одном: «Ты проповедовал, а они действовали. А теперь, того и гляди, они тебя совсем задвинут в угол. В своем усердии они ни в коем случае не должны забывать бога. Они и не забыли бы его никогда, если бы мы созидали. Но мы никогда не использовали такой возможности или нам не давали ее использовать. Кто знает, как оно было на самом деле? Люди давно обращали свои взоры к богу и ждали. С рождества Христова ждали и надеялись, что судьба их переменится, что воцарится вечный мир, что хлеб будет дан тому, кто его выращивает своим трудом, что радость и благоволение сойдут на старую, достойную почитания землю. Но они устали ждать, поэтому пришли другие и сказали: не бог, а вы сами должны изменить свою судьбу. Сначала люди пугались таких слов, как конь — высокого барьера, но потом стали переходить на их сторону. А теперь ты стараешься плыть в общем потоке, чтобы не оказаться оттертым в сторону. Ведь твое место здесь, среди этих людей, которых тебе надо сопровождать от колыбели до гроба, пока это угодно богу, пока он не призовет тебя с этого клочка земли, который ты, как его слуга, хранил и возделывал и будешь дальше хранить и возделывать по мере своих сил. Тебе никак нельзя уклоняться от этого. Поездка в Гамбург была напрасной. После всего, что произошло, ты должен был бы знать, что там тебя не ждет ничего хорошего. Сказал же граф: «Бог проник во все уголки земли не без кровопролития. Мы тоже вернемся не без кровопролития. Мужайтесь, милый пастор, мужайтесь! Лучше короткая война, чем долгое господство безбожников. Мужайтесь, милый пастор, могилы зарастут травой!»

В немом протесте пастор покачал седой головой: «Бог хочет мира, и мы, люди, должны помогать ему в этом». Он с беспокойством оглядел деревню, словно стремясь проникнуть взглядом сквозь стены домов, где со своими желаниями и мечтами жили люди. Нет, никто из них не заслуживает меча господнего, никто! Все они живут ради посева и жатвы, усердно трудятся. И если даже отказываются от бога, всевышний не покинет их.

Пастор ни на секунду не сомневался в правильности тревоживших его догадок. Порой ему приходили в голову подобные мысли, но никогда они не изливались столь бурным потоком. Пастор горько сетовал на то, что во время ночного разговора с графом эти мысли не облеклись в слова. «Ты промолчал и на рассвете бежал из графского дома, а тебе надо было сказать то, что ты знал всю свою жизнь: «Я служу живым. Мертвым я помочь не могу!»

Он невольно сжал виски руками, борясь с наступающей слабостью, и несколько секунд стоял в каком-то оцепенении.

В кухне пасторского дома, где с шумом возилась глуховатая экономка, Гейзер нетерпеливо ждал прихода хозяина. Антон, ходивший к Куглеру за сигаретами, принес в кучерскую новость о неожиданном возвращении пастора. Гейзер тут же поспешил в деревню. Он сидел на стуле, почти не слушая болтовни старухи.

— Теперь, говорят, они строят, эти люди, в Вороньем углу. Опять строят военный завод, а граф-то уж недалеко. Так долго не восстанав-

ливали, а теперь все же строят. Если у них будет военный завод, недолго ждать и стрельбы. Перебьют все вдребезги. Боже мой, до чего же люди глупы! Господь должен взять их всех за шиворот и утопить. Слишком долго он с ними церемонится. Вы меня понимаете? Слишком долго с ними церемонится наш великодушный отец!

Когда пастор вошел во двор, в ушах его болезненно отдался визгливый голос экономки. «Чего она там стрекочет? — подумал он.— Ни слова не разумеет, а рассуждает!»

Куры во дворе неожиданно притихли. «Ястреб»,— подумал пастор и окинул взглядом высокое зимнее небо, но там было пусто, даже воробья не видно. Пастор постоял еще немного и не спеша очистил о железную скобу тяжелые башмаки. Случайно взглянув в кухонное окно и увидев сидящего на стуле Гейзера, он так и остолбенел. Кровь отлила у него от головы, но, собравшись с духом, пастор взялся за ручку двери.

Гейзер прошел за ним в соседнюю комнату и запер за собой дверь, хотя такая предосторожность не имела никакого смысла. Пастор жестом пригласил гостя сесть. Гейзер продолжал стоять, слегка сгорбившись и не сводя глаз с хозяина.

— Что нового, пастор? Давно вернулись? — спросил он.

— Уж скоро два дня, как приехал,— сдержанно ответил пастор.

Гейзер присвистнул.

— Но вы предполагали задержаться подольше!

— В этом не было необходимости.

Гейзер, с трудом волоча ноги, подошел к пастору.

— Что же случилось? Не разыгрывайте спектакль. Выкладывайте все по порядку!

Пастор тщательно пригладил седые волосы. Тишина тяжелым грузом придавила комнату. Солнечный луч, поймав бесчисленное множество пылинок, косо скользнул по стене над распятым Христом.

— Ведь должен же он был хоть что-то сказать,— начал Гейзер и тут же сорвался.— Черт подери, так что же он сказал? Хватит меня мучить! Я имею право...

Гейзер стукнул кулаком по столу.

Пастор медленно отошел в глубь комнаты.

— Меня просили передать тебе привет,— тихо сказал он.

— Спасибо, а еще что?

— Что еще? Не так уж много, сын мой!

— А мое предложение? — быстро спросил Гейзер.— Они пришлют людей?

— Не думаю. Они, видно, сами хотят приехать, если им никто не помешает!

— Граф сам хочет приехать?

— Да и он тоже. Но несколько позже. Когда воздух очистится, он приедет сюда и все возьмет в свои руки. Так он сказал. Межи восстанавливать не будут. Все отойдет к поместью. Твоя земля тоже.

— Вы лжете, пастор! — выкрикнул Гейзер.

Он готов был кинуться на старика. Но пастор, словно защищаясь, поднял руки и внятно произнес:

— Зачем мне лгать, сын мой? Могу сказать лишь одно: с той стороны нам ждать нечего. Наше место здесь. Мы вросли в эту землю, как вон те липы, как ивы у ручья. Нам нужна эта земля, чтобы мы могли жить дальше. Все прочее — безумие. Найди себе место в жизни и успокойся, сын мой. Возделывай землю отцов наших, не жалея сил, и дело твое благословит господь!

Бессмысленный, как у помешанного, смех вырвался из груди Гейзера. Пастора охватил внезапный страх. Но Гейзер даже не смотрел на него. Пошатываясь, он вышел из комнаты. Как пьяный, он пробирался

между липами, но потом вдруг выпрямился и зашагал к проселку, будто ничего и не случилось.

Пастор закрыл окно и бессильно прислонился к стене.

39

Мороз держался весь день. На деревню рано спустились сумерки. С низко нависшего светло-серого неба повалил снег, такой густой, что земля в мгновение ока побелела. Проворные зайцы испетляли проселочную дорогу стежками своих следов.

Гейзер лежал в каморке. Чадила керосиновая лампа, черный кот, примостившись в ногах у хозяина, беспокойно поглядывал на нее, но вскоре он зажмурился и замурлыкал. Гейзер, широко раскрыв глаза, не сводил их с какого-то пятнышка на оштукатуренном потолке. Он пытался привести в порядок мысли, но в голове у него только тупо гудело. Он думал о многом — и ни о чем.

Незадолго до наступления темноты небо снова очистилось. Заходящее солнце выглянуло из-за клочковатых облаков, озарило последние падающие хлопья снега и на какие-то секунды залило землю ослепительным светом. Потом из леса выползла ночь. Звенящая морозом пыльная от снега зимняя ночь. Но снег этот не задержался. Уже на следующий день он покрылся серыми морщинками и растаял под пролившимся теплым дождем. Дороги утонули в грязи. Лишь деревенская улица оставалась чистой. Порывистый юго-западный ветер поднимал на лужах мелкую рябь.

■

Клейнман был озабочен. Он не мог спокойно работать — дверь в амбар весь день не закрывалась. Одни входили, другие уходили. У каждого были свои пожелания и предложения. Кто-то даже заметил, что Клейнман забыл сделать модель домика с сердечком на двери. Старик так на него рассердился, что тут же выгнал шутника вон.

Под вечер он сказал Вольни:

— Они довели меня до белого каления. Я совсем уже голову потерял: не знаю, что нужно строить, а что нет. Одному хочется того, другому этого. Придется взять палку и всех гнать в шею. Пусть дерут себе глотку за забором.

— Слушай их советы, старина, и действуй! — сказал Вольни, не отрывая взгляда от книги.

— Не буду я строить всякую ерунду, даже если ты меня поколотишь! — рассвирепел старик.

Вольни удивленно поднял голову. Когда же старик, осторожно подбирая слова, объяснил, в чем дело, он серьезно сказал:

— Знаешь, старина, если будет необходимость, пристроим без лишнего шума. Согласен?

— Я тоже так считаю,— облегченно вздохнул Клейнман.

Он охотно поболтал бы еще часок, но не хотел мешать Вольни.

«Все читает и читает,— думал Клейнман, на цыпочках выходя из комнаты,— выписывает новые и новые книги. Ведь и так уж много знает, а про еду и про любовь совсем забыл. Я был другим в его годы, прости господи!» Он листал иногда книги Вольни, кое-что запоминал, а однажды даже попросил у него что-нибудь почитать. В определенный час, когда в нише слышались знакомые шорохи, Клейнман усаживался в уголке и тоже брался за книгу, надевая на нос очки жены. Он хмурил брови точно так же, как Вольни, время от времени поднимал глаза,

а потом со вздохом возобновлял чтение. Когда же Амалия с шумом вбегала в комнату, он бросал на нее из-под очков строгие взгляды, которые, впрочем, не могли остановить ее крика:

— Опять ты их стащил! Как я сразу не догадалась! Не могу вдеть нитку в иголку.

— Замолчи! — шипел он.— Мы читаем. Имей уважение и не мешай нам своей штопкой.

Но в этот вечер Клейнману так и не пришлось взять в руки книгу. В сенях кто-то постучал. Вошел Лаппе и сказал, что хочет посмотреть макет без спешки, чтобы никто ему не мешал. На это, дескать, он имеет полное право.

Все, что Лаппе увидел, ему понравилось. Он нашел, что его ожидания подтвердились, и не скрывал своего восхищения.

— Честно говоря, даже не думал, что ты на такое способен. Наверно, тебя Вольни надоумил, а?

— Он со мной советовался, это правда. Вообще он советуется со мной по всем важным вопросам.

Клейнман так напыжился, что Лаппе решил сбить с него спесь.

— Строить ты мастак. Что правда, то правда. Но о скотоводстве не имеешь ни малейшего понятия. Посмотри, каких коров ты выстругал. Просто ужас! Все похожи на волов, вымени нет, хвост как мочалка, а о рогах уж и не говорю!

— На коров ты не обращай внимания. Я считаю их вообще лишними и брошу потом в печку.

— Ты с ума сошел! Коровы — это самое главное! Только ради коров и затеяли строительство.

— Строить будут для людей. Уж поверь мне, я знаю, о чем думает Вольни. Если будешь такое болтать, он тебя быстро успокоит. Речь идет о людях. Коровы — дело третьестепенное, любезнейший!

— Одно связано с другим. Макет без коров — все равно что генерал без солдат. Надеюсь, это ты понимаешь. Я просто предлагаю тебе выстругать коров поизящнее, чтобы можно было определить породу.

— Тогда сам и выстругивай!

— Я скотовод, а не резчик. Вот ты...

— Если хочешь, я могу вырезать тебе младенца Христа и ангелов. Но коровы у меня не получаются.

— Какая нам польза от Христа и ангелов? Нам нужны коровы, хорошие коровы, иначе дело потеряет всякий смысл.

— Не получается у меня — и все!

— Попробуй еще разок. Ты душу вложи в это дело. Очень тебя прошу!

И Клейнман наконец согласился.

— Только мало времени остается,— вздохнул он.— Вольни все подгоняет.

■

Немного погодя Лаппе шлепал по грязи деревенской улицы. Дойдя до дома Гриммбергера, он остановился и решительно прошел в ворота. Как он и предполагал, Гриммбергер оказался в конюшне. Он возился со сбруей и очень удивился, увидев Лаппе.

— Это ты? Тебя и не узнаешь, столько времени мы не виделись!

— Я на минутку,— сказал Лаппе, стараясь не смотреть на него.— Пришел за тобой. На дворе уже ночь, темно, как в мешке. А на улице такая грязь, что ног не вытянешь.

— Куда это ты хочешь меня вести? — подозрительно осведомился Гриммбергер.

— К Клейнману. Слышал, что старик что-то мастерит. По твоему плану.

— По чьему плану?

Лаппе торопливо стал объяснять, не очень строго придерживаясь истины. Дескать, кто-то шепнул Вольни, что Гриммбергер много лет назад думал и говорил о Вороньем угле. Вольни загорелся и рассказал об этом Клейнману. А Клейнман, мастер на все руки, соорудил нечто вроде макета.

— На это, пожалуй, стоит взглянуть,— закончил Лаппе и прямо посмотрел Гриммбергеру в глаза.

— Живешь тут, как на луне. Ничего об этом не слышал,—растерянно пробормотал Гриммбергер.

— Ты не слышал, а вся деревня только и говорит об этом.

— Знаешь, не хотелось бы там показываться. Ведь я не какой-нибудь...

— Конечно, ты не какой-нибудь,— не дал ему закончить Лаппе.— Недавно рассказывал мне один, такой же крестьянин, как и ты. У него сын в армии. Ну, как полагается. Если бы у меня был сын, он тоже был бы сейчас в армии. Но ведь ты знаешь, моя мадам жару поддавала, а детей так и не родила. Так вот, командир роты то и дело спрашивает этого парня: «Ну как, решил твой отец вступить в кооператив или еще нет?» Что бедному парню делать? Бормочет что-то невразумительное. Наконец ротный теряет терпение и приказывает ему: «Восемь дней внеочередного отпуска для агитации. Когда вернешься, доложишь, что отец уже в кооперативе!» В общем, прошло пять дней, парень возвращается в часть и лепечет: «Не слушается меня старик, грозит отлупить. Поедемте вместе, товарищ командир». Едут вместе. И что ты думаешь — сразу все уладили. Старик растаял, как масло. Дело лишь за подписью. Парень сует ему свою ручку, а отец презрительно глянул на него и говорит: «Пусть офицер даст мне свою. Я не какой-нибудь...»

Гриммбергер ухмыльнулся. Он чувствовал, что камушек брошен в его огород.

— Хитрый ты, как лиса, болтаешь, болтаешь, а сам все косишься на цыпленка. Ну подожди у меня!

Но Лаппе своего добился — Гриммбергера задело за живое.

Они вышли на улицу, за лавкой Штанге свернули в проулок.

— Хорошо, что хоть темно,— проворчал Гриммбергер, то и дело оглядываясь по сторонам.

— Ты что же думал, я тебя поведу средь бела дня? Я ведь знаю тебя, как облупленного!

— Ты меня знаешь, это точно.— Волнение и любопытство вызвали у Гриммбергера желание поговорить.— Может, ты единственный человек, который меня действительно знает. Распознать человека куда труднее, чем спилить столетний дуб. Можешь мне поверить, ведь за последнее время мне немало пришлось пережить. Бывает, что даже собственную жену не разгадаешь.

— Ну, моя-то мадам как открытое окно. Посмотришь в него и все увидишь.

— Не радуйся раньше времени. Бывает, что и у человека, умудренного жизнью, волосы встают дыбом.

В эту ночь даже собаки не вылезали из конуры. Ничто не нарушало тихого разговора Гриммбергера и Лаппе. Было слышно лишь, как с деревьев падали капли растаявшего снега да чавкала под ногами грязь.

Они добрались до дома Клейнмана. Из окна амбара на дорогу падал бледный квадрат света.

— Никак он и по ночам работает? — удивился Гриммбергер.

— Как видишь.

Лаппе ликовал: он был уверен, что Клейнман мастерит коров.

— А где же Вольни?

— Да ты и впрямь ничего не знаешь? Наверно, у Лидии Крамер. Где же ему еще быть!

— А что у них?..

— Да считай, что поженились. Только вот квартиры пока нет.

— Вот это меня радует!

— Что тебя радует?

— Что они поженились. Ему давно не хватало жены. Я всегда говорил, что у человека должна быть семья, дом. А ему это особенно необходимо, ведь он нигде покоя не находит.

■

Незадолго до их прихода Вольни вышел во двор, чтобы перед сном подышать свежим воздухом. Заслышав голоса, он тихонько отошел в сторону. Он инстинктивно почувствовал, что в этот момент был бы лишним. Вольни ни на секунду не сомневался, что проныра Лаппе заманил сюда Гриммбергера хитростью. Глаза его свыклись с темнотой и все же никак не могли разглядеть вошедших. Он слышал их медленно приближающиеся шаги. Потом скрипнула дверь амбара, луч света упал на двор, но не коснулся Вольни. Дверь захлопнулась.

«Гриммбергер здесь»,— Вольни взволнованно провел рукой по лицу. Он знал — ничто не могло бы его так обрадовать. И с чувством благодарности он подумал о Лаппе: «Я в нем не ошибся».

Впервые за месяцы своего пребывания в деревне он понял, что нашел здесь, среди крестьян, родной дом, покинуть который ему было бы трудно.

Потом он услышал громкий и резкий голос Гриммбергера:

— Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем я стану делать что-нибудь сообща с этим Хагеном. Мы с ним мужики крепкие. Всегда ладили и будем ладить. Но он человек другой закваски. Когда он нагибается, у него штаны, того и гляди, сзади лопнут. Мне эта буржуазная сволочь никогда не нравилась, можете быть уверены.

Вольни улыбнулся, хотя его снова охватило легкое беспокойство. «Старые истории кончились,— подумал он,— начинаются новые». Вольни вспомнил далекое прошлое. Ему никогда не нравились люди, которые сразу соглашались впрячься в любую упряжку. Победа всегда на стороне стойких, а не покорных. Может быть, поэтому Вольни так крепко привязался к Гриммбергеру. Он не мог сердиться на старика. Он лишь чувствовал, что с ним предстоит трудная работа.

Вольни вошел в амбар, и его ослепил яркий свет лампы, раскачивавшейся на проводе. Гриммбергер оглянулся. Высокий и грузный, он стоял, слегка наклонившись вперед, и вытряхивал пепел из потухшей трубки.

Пошарив в кармане и вынув коробку спичек, Вольни протянул ему мерцающий огонек.

Гриммбергер стал осторожно раскуривать.

— Горит, старина? — хрипло спросил Вольни.

Гриммбергер едва заметно кивнул, он думал только об одном: «Хочет мне помочь Вольни, хочет помочь!»

Но вскоре они опять повздорили. Вольни много говорил о Хагене, потом о Гейзере. Гриммбергер, согнувшись крючком над макетом, дрожащими пальцами перебирал детали сооружения и упрямо молчал. «Ты, Вольни, совсем не такой, каким был раньше,— думал он,— нет, нет, тысячу раз нет, я тебя просто не узнаю». Наконец он потерял терпение.

— Я слышал от тебя другие песни, Вольни, хорошие песни, которые мне нравились. Но с Хагеном в одну телегу ты меня никогда не запряжешь!

Вольни оттолкнул его от макета и тихо сказал:

— Ты невозможный человек.

Так они и расстались.

40

На собрании партийной группы все одобрили сделанный Клейнманом макет. Бурные споры разгорелись лишь по вопросу о сроках строительства. Шиндель утверждал, что за зиму надо все закончить, другие возражали: в стране, мол, много деревень, которые тоже хотят строить, а Шварцвальде не пуп земли.

— Когда, спрашиваю я, нам кто-нибудь помогал сверху? — волновался Шиндель.— Они нас только время от времени чистили с песочком. А разрешения на строительство и кредиты посылали в другие деревни, и мы лишь глазами хлопали. Мне это уже надоело. Теперь наша очередь.

В конце концов решили выставить макет в кабачке Куглера и созвать открытое партийное собрание. От каждой семьи должен был присутствовать хоть один человек. Поэтому решено было разослать персональные приглашения. Вольни поручили сходить к Гейзеру.

■

Просмотрев свежие газеты, Вольни собрался в путь. В блестевших на улице лужах отражалось латунно-желтое зимнее солнце. Рано утром ветер переменился. Он продувал теперь деревню с северо-запада, с воем обрушивался на сухо трещавшие ветви лип и осыпал улицу черными хворостинками. Пасынковые отростки слив, стоявших вдоль тропинки, гнулись, как тростник. Ветер яростно дул Вольни в спину, толкал вперед, к кучерской, где уже в этот час мерцала керосиновая лампа.

Распахнувшаяся створка гейзеровских ворот беспомощно скрипела на петлях, то и дело глухо ударяясь о стену дома.

Вольни постучал в дверь дома, подождал, снова постучал и пошел к кучерской. Он подергал ручку двери, но и здесь никто не откликнулся. Заглянул в коровник. Его обдало теплым затхлым воздухом. Коровы, с любопытством повернув головы, стояли в навозе по самое вымя. В углу под охапкой соломы кто-то зашевелился.

— Эй, кто там? — крикнул Вольни.

Подойдя к соломе, он увидел лежавшего на ней Антона и стал счищать с него труху.

— Да ты весь замерз, дрожишь, как осиновый лист,— пробормотал Вольни.— Дай-ка пощупать лоб. У тебя жар. Неужели ты сам не чувствуешь? Заболел, бедняга. Ну подожди!

Только сейчас Вольни заметил, что больной в беспамятстве. Он кое-как накрыл его и захлопнул дверь коровника. Потом снова яростно забарабанил в дверь кучерской, подождал с минуту и громко крикнул:

— Если не откроете, взломаю дверь. Слышите, вы! Я вернусь через четверть часа. Подумайте хорошенько! У вас в коровнике лежит больной человек. Это вам тоже зачтется. Откройте, иначе плохо кончится!

Вольни последний раз ударил в дверь и с ненавистью проворчал:

— Ну смотри! Вернусь — тебе не поздоровится!

Гейзер стоял за дверью, с трудом сдерживая дыхание. Он все хорошо расслышал. Злая улыбка искривила его пепельно-серые губы. После ухода Вольни он тяжело оторвался от двери, согнувшись, прокрался к

постели и, засунув руку под подушку, прошептал: «Думаю, что ты не вернешься! — И мысленно добавил: — Давно надо было это сделать, еще несколько месяцев назад, когда ты впервые стоял перед этой дверью. Или в ту ночь, когда ты был с этой бабой. Еще тогда мне, идиоту, надо было вас подстрелить!» Гейзер погладил холодный вороненый ствол пистолета, отвел предохранитель и подошел к окну.

Настал час, которого он так долго ждал. Но в этот час возле него не было никого из единомышленников. Он оставался в жалком одиночестве. Был с ним только кот, который, мурлыча, терся об его ноги.

— Брысь отсюда, дрянь! — прошипел Гейзер.

Он пинком отбросил кота. Но привыкший к ласковому обращению кот опять подобрался к нему и жалобно замяукал.

— Убирайся к чертям, а то я тебя укокошу!

Гейзер положил пистолет на подоконник и потряс рукой, чтобы дать ей отдохнуть. Рука была такая тяжелая, такая усталая... Показался Вольни. Он шел быстро, стараясь побороть ветер. Еще два шага, еще... Пора, иначе будет поздно! Прицеливаясь, Гейзер думал: «Попасть первой же пулей!» Но мысль эта вселила чувство неуверенности. Гейзер спустил курок. Стекло со звоном разлетелось. Вольни вздрогнул, перед ним в окне мелькнуло бледное, как смерть, искаженное ненавистью лицо Гейзера. Инстинктивно, как на войне, Вольни упал на землю, подполз к межевому камню и спрятался за ним, плотно прижавшись к остро пахнувшей земле.

Гейзер в слепой ярости расстрелял всю обойму. Перепуганный кот прыгнул и вцепился когтями ему в ногу. Гейзер схватил кота за загривок и крепко сжал ему горло. При этом он не переставал следить за Вольни и с удовлетворением отметил, что тот недвижим.

Желтые, как янтарь, глаза кота вылезли из орбит. Гейзер швырнул его через стол. Керосиновая лампа опрокинулась. Проворное пламя лизнуло стол, спустилось по ножке стула, извиваясь, подползло к кровати и охватило соломенный тюфяк.

Гейзер выбежал из комнаты. Вскоре он уже мчался на своем мотоцикле к проселку. Доехав до леса, он еще раз обернулся: подгоняемые ветром языки пламени выбивались уже из-под крыши коровника. «Хорошо бы теперь упала бомба,— подумал он,— и разнесла бы все». Он выжимал из машины все, что мог. Мчась мимо старых кряжистых деревьев, Гейзер думал: «Мы еще вернемся — и тогда горе вам!»

■

Вольни до боли впился руками в землю. Он еще успел заметить скакавшего к нему на гнедой лошади всадника, облегченно вздохнул и попытался улыбнуться, но потерял сознание.

Ни единого звука не донеслось до деревни. Ветер унес треск выстрелов в чащу леса. Когда раздался первый выстрел, Гриммбергер как раз собирался грузить на телегу дрова. Он приподнял голову и прислушался. Раздалось еще четыре выстрела, потом пятый. Гриммбергер раздвинул колючий кустарник и поглядел через поле на хутор Гейзера. Казалось, земля сжалась под порывами ветра. Он уже хотел было вернуться в лес, но вдруг увидел выезжающий из ворот мотоцикл Гейзера. Страшное предчувствие охватило Гриммбергера. Он поспешно взнуздал лошадь и пустился вскачь. Он стегал лошадь и подгонял ее криками. Если бы дорога была длиннее, он загнал бы свою гнедую.

Перед самым межевым камнем лошадь вздыбилась. Гриммбергер не удержался и упал рядом с Вольни. Он подполз к нему, ощупал его лицо, грудь и, всхлипнув, уткнулся головой в безжизненное плечо друга.

Прошло несколько минут. Появились прибежавшие из деревни

крестьяне. Зазвонили церковные колокола, сначала тихонько и жалобно, потом все сильнее и сильнее.

В это время Лидия стояла в кормовой кухне, прислонившись лбом к стене, и никак не могла избавиться от подступившей тошноты. В последние дни запах силоса вызывал у нее неодолимые приступы рвоты. Она вышла за дверь, глубоко вдохнула свежий морозный воздух и сразу почувствовала себя лучше. Осторожно погладила рукой грудь и живот и подумала: «Сомнений нет. У нас будет ребенок».

В эту секунду во двор вбежал Лаппе и не своим голосом закричал:

— Пожар! У Гейзера горит!

Лидия выскочила следом за Лаппе. Деревенская улица кишела людьми. Толкаясь, крича и размахивая руками, они мчались к проселочной дороге. Лидия Крамер бежала вместе со всеми, не видя перед собой ничего, кроме темных пропотевших спин, и, когда толпа вдруг остановилась, налетела на стоявших впереди. Но прежде чем она поняла, что произошло, толпа молча расступилась: четверо мужчин осторожно несли в деревню Вольни. Это были Гриммбергер, Шиндель, Конрад Шпрингер и Калер. Никто не проронил ни слова. Только жалобно завыл ветер, растрепав черные волосы Лидии, упавшие прядями на ее побледневшее лицо. Она медленно побрела за мужчинами.

По молчаливому уговору раненого внесли в дом Гриммбергера и положили в горнице на кожаный диван. Эмма торопливо распахнула ставни, давящая темнота в комнате была ей невыносима. Мужчины избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый старался преодолеть свой страх и горе. Когда Лидия Крамер безмолвно рухнула на колени перед диваном, Эмма выбежала во двор и разрыдалась.

■

На хуторе Гейзера крестьяне сбивали пламя. Они открыли хлев и выпустили в поле чуть живых от голода коров. Антона нашли уже мертвым. Его внесли в кухню уцелевшего жилого дома и накрыли белыми полотенцами, найденными в шкафу. Потушив пожар, крестьяне побрели в деревню, но никто не пошел к себе домой. Все столпились у дома Гриммбергера. Они стояли и ждали, то шепотом переговариваясь, то молча закуривая сигареты и бросая их после двух-трех затяжек.

В эти тягостные минуты ожидания во двор с пронзительным ревом въехала машина скорой помощи. Из нее вышел молодой еще врач, удивленно оглядел собравшихся и быстро поднялся по ступенькам крыльца. Люди затаили дыхание.

Три пули из шести попали в Вольни. Две пробили правое предплечье, не задев кости. Третья впилась сбоку в спину и застряла в области сердца. Врач настаивал на немедленной операции. На вопросительные взгляды друзей Вольни он молча пожал плечами, собрал инструменты и сказал:

— Сделаем все, что можем. Родные его здесь? В машине есть место.

Гриммбергер мрачно посмотрел на Шинделя, на поникшего от горя Лаппе, на Конрада, который плакал не стыдясь слез. В их глазах было написано: «Поезжай, старина, будь с ним!» Гриммбергер обернулся к Лидии Крамер и положил руку на ее вздрагивающее плечо. Они оба поехали с Вольни.

■

В паническом бегстве Гейзер ни разу не глушил мотора. Через деревни и города он мчался на предельной скорости. На полпути ему пришлось остановиться и заправить мотоцикл. Он был уже недалеко от

цели, когда на гамбургском шоссе увидел пограничный пост. Мозг его работал с лихорадочной быстротой. С того момента, как он выстрелил в Вольни, прошло уже около двух часов. За это время многое могло произойти. Пограничники, должно быть, уже ищут его. Они могли задержать его у заветной цели, надеть наручники, а что последовало бы за этим, нетрудно себе представить. Гейзер затормозил. Следуя указанию постового, свернул на обочину, затем вдруг дал полный газ и стрелой промчался мимо отскочившего в сторону полицейского. Он низко прижался к рулю, но на мокром шоссе его забросило сначала вправо, потом влево, мотоцикл потерял управление и налетел на покосившийся километровый столб. Сила удара отбросила Гейзера далеко в сторону, он рухнул на асфальт и замер. Череп его треснул, как перезревший орех. Гейзер скончался мгновенно. Подоспевшие полицейские молча переглянулись. Один из них сказал:

— Сумасшедший! Не иначе!

Они стали искать у него документы, но кроме квитанции на десять литров купленного бензина да нескольких сот марок большими и малыми купюрами ничего не нашли. Мотоцикл от удара загорелся. У полицейских не было никаких материалов для расследования. Но уже к вечеру все стало известно. На следующее утро труп отправили в Шварцвальде. Укрытое брезентом тело положили возле церкви и позвали пастора. Тот откинул брезент и молча кивнул.

Покойником был Готтхельф Гейзер, родившийся первого августа тысяча девятьсот двадцатого года в Шварцвальде, умерший неестественной смертью в холодный ноябрьский день после не очень долгой бессмысленной жизни.

Никто по нему не плакал.

По просьбе пастора Шиндель выделил четырех крестьян, чтобы вырыть могилу. В тот же день земля сомкнулась над телом последнего из Гейзеров. Пастор, правда, стоял у могилы, но с его запавших старческих губ не слетело ни единого слова.

41

Когда в Шварцвальде созвали открытое партийное собрание, состояние Вольни все еще внушало опасения. Вот уже тридцать шесть часов грудь его тяжело вздымалась, но в сознание он не приходил. Лидия Крамер и Гриммбергер пока не вернулись. Прежде чем пойти на собрание, Шиндель позвонил в больницу. Далекий голос ответил: «Надежда есть».

Шиндель шел один по деревенской улице. На небе не видно было ни луны, ни звезд. Ветер наконец угомонился. В воздухе чувствовался горький запах горелого дерева. В смешливых беззаботных глазах Шинделя за одну ночь появилось выражение суровой безотрадности. Брови его сдвинулись, на лбу залегли морщины. Только теперь, опасаясь за жизнь Вольни, он почувствовал, что тот для него значил. Все теряло свое значение при мысли о том, что этот человек может уйти от них в самом разгаре начатого дела. Он вдруг отчетливо представил себе, как склоняются друзья над могилой, как он сам произносит надгробную речь: «Смерть вырвала из наших рядов коммуниста, верного товарища»,— и, крепко сжав кулаки в карманах, проворчал сквозь зубы: «Слюнтяй, от этого может умереть собака, но не Вольни!»

Он вошел в большой зал кабачка Куглера и направился к столу президиума. Усевшись, он оглядел собравшихся — такого многолюдного собрания в Шварцвальде еще не было. Кроме больных и увечных явились все. Даже Хаген. Лавочница Штанге примостилась в углу.

Пастор, не знавший, как ему поступить, прислал на собрание свою экономку, хотя она не могла расслышать ни слова.

Рядом со столом президиума водрузили макет. За ним сидел Клейнман, осунувшийся, с усталыми грустными глазами. Когда Шиндель взглянул на него, старик встал со стула и начал свою речь:

— Значит, вы пришли. Так вот, что я вам скажу: Вольни — парень крепкий, как дуб. Вы его еще не знаете. Он и не такое выдерживал! Он еще будет с нами строить Вороний угол, определенно. В этом я не сомневаюсь. Вороний угол — это его идея. Не годится, чтобы он умирал, не годится, и все тут! Это я вам говорю, как его друг, который знает его как свои пять пальцев.

Он запнулся, взглянул на Шинделя, словно ища у него поддержки, и изменившимся голосом спросил:

— Правду я сказал или нет?

— Истинную правду,— проворчал Шиндель.— Нас не перестреляешь, как оленей! — Его вдруг охватила ярость, он вскочил с места.— Об этом надо прямо сказать. Один раз так случилось, другой раз будет иначе! Мы скрутим руки прежде, чем вы начнете стрелять. Мы так вас разделаем, что только мокрое место останется.

Он не сводил глаз с Хагена, но тот даже не опустил головы и выдержал его горящий взгляд.

— Пощады больше не будет! — крикнул Шиндель во весь голос.— Это время кончилось бесповоротно. Я предупреждал Вольни, с самого первого дня говорил ему: «Гейзер — враг трудящегося народа». Но он не слушал меня, не обращал внимания на мои предостережения. Слишком был добродушным, и вот результат! Но я еще раз хочу вам сказать: такое больше не повторится! Кто встанет у нас на пути, будет раздавлен.

После этой краткой речи в зале воцарилась гнетущая тишина. Лишь кое-где поскрипывал стул, кто-то шаркал ногой, кто-то кашлял. Сидевшие в зале мужчины почти одновременно закурили, а Куглер, стоя в дверях, не решился возразить, хотя знал, что паркет будет испорчен.

— Вы что, языки проглотили? — спросил Шиндель.— Говорите! Высказывайте свое мнение о макете и вообще выкладывайте все, что думаете. У нас тут не траурный митинг. Хорошо, что Вольни здесь нет!

Из отдаленного угла послышался тоненький голосок:

— Ты, Шиндель, как обухом хватил по голове и еще удивляешься, что у нас слова в горле застряли.

Шиндель приподнялся, чтобы разглядеть говорившего, но тот спрятался за чью-то спину.

— Встань и не бормочи себе под нос. Мы все хотим на тебя взглянуть. Ну, вставай же, не стесняйся!

Никто не поднялся с места. Но тишина была нарушена. Более десятка людей заговорили наперебой, стараясь перекричать друг друга и возбужденно вскакивая с мест.

— Ты чего нас ругаешь, Шиндель?

— Мы несем свою ношу не один год. И не думаем бросать ее.

— Каким ты был желторотым, таким и остался! — выкрикнул звонкий женский голос.

— Вольни надрал бы тебе уши!

— Конечно! Жаль, что его сегодня здесь нет. Именно сегодня, когда ты снова показываешь себя с наилучшей стороны!

Шиндель отчаянно махал руками, пытаясь навести порядок. Но ему это не удалось, и он крикнул во всю мощь своего голоса:

— У кого что болит, тот о том и говорит! Я вам сказал, что думаю, и никого лично не оскорбил. А вы раскудахтались, как куры. Просто невозможно!

Он обиженно развел руками. И тогда произошло нечто неожиданное. Экономка пастора вдруг запела грубым хриплым голосом. Шиндель озабоченно спросил:

— Что с ней? Может, больна?

Сидевший рядом крестьянин потряс ее за плечо и крикнул в самое ухо:

— Эй, Марта, ты что, рехнулась?

Но она продолжала петь во все горло своим невыносимо скрипучим голосом: «Гряди, Иисусе!» Видимо, она приняла жест Шинделя за сигнал начать пение и не заставила себя долго ждать. От разразившегося вдруг громового хохота затряслись стены. После этого происшествия собрание проходило спокойно.

— Место для стройки хорошее,— сказал Бергер и задумчиво пощипал себя за круглые, розовые, как персик, щеки.— Высокое и потому сухое. Это главное, если хочешь строить на долгие годы. Вспомните историю с коровником. Они хотели нам построить его на глине, эти умники из окружного строительного управления. Слава богу, мы отказались от такой затеи, иначе пришлось бы Лаппе учить своих коров плавать, а это потруднее, чем набрать полный мешок блох. Посмотрите, что делается в районе: плакать хочется! Построили около шестисот коровников для беспривязного содержания скота, а сколько из них годных? Одни начинают плыть весной, другие осенью. К иным вообще не подступишься из-за грязи. Просто кошмар! Можно подумать, что люди из окружного строительного управления пекутся только о том, чтобы у нас было кого ругать. Мы еще хлебнем с ними горя. Я знаю этих парней: чешут языком, как свахи. Но мы будем помалкивать и строить по этому макету. Других предложений нам не надо!

В пылу обсуждения даже близкие товарищи Вольни забыли о нем. План строительства в Вороньем углу захватил их целиком, отвлек от мрачных раздумий. Необычно молчаливый Лаппе, сидевший сегодня в президиуме, даже испугался, когда вдруг подумал, что за все время ни разу не вспомнил о Вольни. «Он на это не обидится,— успокаивал себя Лаппе.— Только рад будет, что мы делаем, как он хотел. Вольни терпеть не может нытиков и никогда нам не простил бы, если бы мы сидели здесь как на похоронах».

Собрание шло уже третий час, когда в дверях зала показалась дочь Шинделя. Косички ее спутались во сне. Из-под пальто белела ночная рубашка. Какое-то время она стояла незамеченной в жарком, пропитанном едким табачным дымом помещении, ища глазами отца. Шиндель сидел, погруженный в свои мысли, и, подперев ладонью подбородок, сонно поглядывал по сторонам. Испуганный голос дочери вывел его из оцепенения. Он вскочил со стула, сразу догадавшись, что произошло.

— Не одно, так другое! — смущенно сказал он своим громким голосом, показывая на дочь.— Как видите, за мной пришли!

И опять все заговорили наперебой:

— Вы только посмотрите на этого парня! Все еще не ушел!

— Подождите, он сначала произнесет речь!

Длинноногий Шиндель торопливо пробирался через зал. Выражение его лица стало по-детски беспомощным. У дверей он обернулся.

— Моя шапка, я забыл шапку!

— Плюнь ты на шапку и беги со всех ног! — раздались голоса.

Еще на улице он услышал пронзительные крики жены и побежал быстрее. Девочка за ним не поспевала. Когда он вошел во двор, в доме все стихло.

Жена приподнялась с подушек. Она лежала одетая. Волосы слиплись на лбу. Глаза были широко раскрыты.

— Ты уже звонил? — спросила она и закусила губу, почувствовав приближение нового приступа боли.

— Звонил? Нет еще.

— Немедленно позвони!

Шиндель выбежал из дома. По дороге он прикидывал, откуда удобнее позвонить. Решил бежать к Куглеру. Он вошел в зал. Собрание уже кончилось. Часть людей ушла, другие сидели за столиками и выпивали.

— Ложная тревога? — спросил кто-то.

— Напротив! — буркнул Шиндель.

Он схватил трубку.

Хаген, облокотившись о стойку и не сводя глаз с Шинделя, казалось, о чем-то задумался. Шиндель перекладывал телефонную трубку из руки в руку. Прошло несколько минут.

В зале воцарилась напряженная тишина, никто не звякнул стаканом, не проронил ни слова, люди как будто не дышали. Неожиданно раздался голос Хагена:

— Если хочешь, я отвезу твою жену!

Шиндель опустил трубку и нерешительно сказал:

— Ладно, только поторопись!

Когда все услышали стук коляски по проселочной дороге, Клейнман сказал:

— Странная штука жизнь. Я родился во время сенокоса. Моя мать грузила сено на воз. Я вылетел прямо в сено — и готово. А на следующее утро мать уже снова работала в поле. Один из моих братьев появился на свет во ржи. Нас было двенадцать. Но ни один не родился в постели, не говоря уже о больнице. А нынешние бабы? Сами видите. Орут так, что кровь стынет в жилах. Никакого сравнения с прежними.

— И слава богу, что никакого сравнения! — заметила коренастая, еще молодая крестьянка, сноха Бергера. Она уже два раза рожала и была, как всем говорила, «сыта этим по горло».

— Если бы вы рожали детей, раздавались бы такие вопли, что хоть святых вон выноси. И потом полгода били бы баклуши. А женщина едва родит — и опять за работу. Даже самой последней скотине вы даете отдых. А с собственной женой как обходитесь?

Перебранка затянулась далеко за полночь. Несомненно, это было самое примечательное во всех отношениях собрание в Шварцвальде.

42

Почти двое суток Вольни с железным упорством боролся за жизнь. Впервые открыв глаза и увидев сидевшего у него в ногах Гриммбергера, он устало улыбнулся, но лишь через некоторое время смог едва слышно прошептать:

— Снова тебе пришлось меня выхаживать, старина!

Потом он увидел Лидию и легким кивком поманил ее. Она прижалась к нему лицом.

— Только не плакать,— пробормотал он,— только не плакать!

■

В эти минуты на втором этаже больницы Анка Шиндель родила двух мальчиков, по пятьдесят сантиметров длиной и весом точно по два с половиной килограмма. Они были похожи как две капли воды. Только голоса у них были разные: у одного — пронзительный, как у петуха весной, у другого — низкий и хрипловатый. Таково было первое впечатление Анки о новорожденных. Она знала, что никогда не спутает их друг с другом.

■

Обе новости дошли до деревни одновременно. Благодаря особым обстоятельствам к ним отнеслись с гораздо большим интересом, чем к обычным болезням и рождениям. Работа шла с трудом. Люди то и дело собирались группами. Пачки сигарет переходили из рук в руки. Разговорам не было конца.

— Нет, вы только подумайте! Будто кто специально все это подстроил!

— Как будто они договорились: ты, дескать, роди близнецов, а я разделаюсь со смертью.

— В самом деле, точно договорились в один и тот же час! Прямо колдовство!

— Рассказать кому, не поверят!

— Скажут, пиши лучше романы, раз такие небылицы сочиняешь!

Крестьяне судачили потому, что с души у них свалился тяжелый груз беспокойства.

Шиндель вел себя странно. В его голосе появились вдруг рассудительные нотки. Все слова звучали солидно и обоснованно. Он слегка наклонял голову и задумчиво кивал. Первой вступила с ним в разговор коренастая сноха Бергера.

— Ну, поздравляю! — сказала она.— Теперь тебе только пеленки стирать. Бог ты мой, близнецы! Ты опасный человек! Но я вот зачем к тебе пришла: что ты думаешь о детских яслях? Когда у тебя было двое, ты об этом не думал, но теперь-то у тебя четверо?

— Мы устроим ясли в доме Гейзера. Он будто специально построен для малышей, там им будет неплохо. Наверху самые маленькие, внизу постарше или наоборот. Во всяком случае, дом этот вы получите. Сами в нем все сделаете по своему вкусу.

Женщина смотрела вслед неторопливо шагавшему Шинделю и качала головой. «Какая у него вдруг стала походка,— думала она.— Будто он сам родил двойню. Шествует по деревне, словно петух по курятнику».

Но удивительнее всего вел себя бухгалтер Земмель. Он притащил в контору охапку пропыленных бумажных цветов и украсил свой стол открытками, на которых под изображением толстощекого ангелочка значилось: «Извещаем о рождении сына». Открытки Земмель привез из маленького писчебумажного магазина, принадлежавшего его жене. Они давно лежали в ящике и успели пожелтеть — охотников на них не находилось.

Шиндель, заметив происшедшие в конторе перемены, изумился.

— Смотри не надорвись, Земмель! Знай меру, ведь ты только на жалованье.

Он с интересом взял одну из открыток.

— Ангелочек,— пробурчал он, неодобрительно покачав головой.— Никогда в жизни у меня не было ангелочков. Тебе это следовало бы знать! Убери свои картинки! Они оскорбляют мое отцовское достоинство.

— Ну что ты болтаешь! — возмутился бухгалтер.— Посмотри хорошенько, у них даже крыльев нет!

— Молчи! У них слишком кроткий вид. Настоящие ребята выглядят иначе!

— Открытки не надо вешать над кроватью, председатель. Ты должен разослать их по почте, чтобы весь мир знал, что у тебя родились близнецы,— только и всего!

— Говоришь, разослать? — ухмыльнулся Шиндель.

Но прежде чем они договорились о цене, вошла лавочница Штанге. Она несла банку ананасов и умильно улыбалась.

— Для твоей жены. Не каждый день бывают. Мой муж желает доброго здоровья и всего самого хорошего!

«Подлизывается, собака»,— подумал Шиндель, но обошелся с лавочницей необыкновенно любезно. Когда она завела речь о сдаче в аренду своей лавки, Шиндель весело заметил:

— Давно пора. Но только сейчас нам не до того. Вот освободимся и уж тогда займемся этим делом.

Говоря так, Шиндель хорошо знал, что арендой лавки он займется тотчас.

— Так как же быть с открытками? — спросил Земмель, когда они с Шинделем снова остались одни.

— Ладно, рассылай их,— согласился Шиндель.

Земмель развил такую деятельность, что о рождении близнецов узнали далеко за пределами района и даже округа. Он использовал все свои запасы, и Шинделю пришлось потом заплатить ему изрядную сумму. Но гораздо хуже было то, что с каждым днем приходили все новые и новые поздравления. Когда Шиндель через несколько дней приехал в больницу, его остановила в коридоре сестра.

— Это просто удивительно,— сказала она.— Телефон трещит, не умолкая, приносят кучи открыток, цветы. У нас тут однажды тройня родилась, но такого переполоха не было. Что вы такое учинили?

— Ничего,— соврал Шиндель.— Абсолютно ничего! Сам удивляюсь.

А про себя подумал: «Ну и заварил кашу этот бухгалтер. Лучше бы в других делах был таким ретивым!»

43

К рождеству в деревне обычно наступала спокойная жизнь. С самого раннего утра из труб начинали выползать желтые клубы дыма. В чанах кипела и булькала вода. Противни и кастрюли, начищенные до блеска, стояли прислоненные к стене. Полные тазы крупных луковиц наполняли кухни острым и едким запахом. Горы белого хлеба, аккуратно нарезанного ломтями, громоздились на столах. Дольки чеснока, перец, тмин, майоран — все лежало наготове, даже водка для приглашенного мясника охлаждалась загодя, а на подоконнике дожидалась его коробка с черными, как уголь, сигарами. Мясоед! Многообразные дурманящие запахи, потные лица, лоснящиеся от жира губы, идущие по кругу бутылки с пивом, шутки, смех... Мясоед! Потом несколько дней усердной работы по дому, и вот уже приближается рождество. Мужчины начинают все приводить в порядок и чинить. Там в заборе дыра, тут заржавел шарнир, да еще нужно привезти несколько вязанок дров. Ах боже, если бы пошел снег! Вот в наше время какой валил снег! Мы с трудом расчищали в нем проходы. Даже кузнец при его росте едва мог выглянуть из-за снежной стены. А какие морозы были в наше время! Чуть зазевался — и носа нет, а заодно и уха! Да, были тогда зимы.

На МТС те, кто еще не умел, учились водить трактор, ведь к весне нужно много сменных трактористов. Это было веселое зрелище! Счастье, что бабы были слишком заняты домашней работой, чтобы глазеть в окна. Они бы умерли со смеху, а на плите у них все бы сгорело. Хорошо еще, что поля достаточно широки: неопытным парням не приходилось то и дело поворачивать. А некоторые — просто уму непостижимо! — едут вкривь и вкось, будто вылакали литр шнапса. Успевай только отпрыгивать в сторону!

Так оно бывало каждый год. Но в декабре тысяча девятьсот пятьдесят девятого года все произошло по-иному. Мороза еще не было. Только по ночам земля каменела от холода, а с первыми утренними часами

опять отходила, становилась влажной и податливой. На широких делянках Гейзера тракторы до темноты прокладывали борозду за бороздой. Пятого декабря Шиндель распорядился сеять озимую рожь и ячмень.

— Хоть и говорят,— сказал он,— что ранний сеятель не одалживается у позднего, но мы, к сожалению, можем сеять только сейчас. На наше счастье, пока еще тепло. Посмотрим, что получится. То, что вымерзнет, пересеем в марте. Конечно, это большой риск, но оставлять поля незасеянными просто преступление. Они и так уже истомились.

Иные маловеры сочли его сумасшедшим.

— Сначала надо забороновать стерню,— говорили они,— и оставить так на зиму. Земля в это время года мертва. Подведи жеребца к кобыле, когда у нее нет течки, она и хвоста не поднимет. Так же и с землей. Она не хочет быть оплодотворенной в стужу.

Но другие возражали:

— Волков бояться — в лес не ходить. Коли погода продержится еще несколько недель, может, все и обойдется. Если потом надо будет подсевать, ну что поделаешь? Часть посева взойдет, и то хорошо. Сидеть сейчас сложа руки был бы великий грех!

За несколько дней до рождества поля Гейзера стали неузнаваемыми. Из-под ровной темно-коричневой корки пробились всходы.

Пока мужчины были в поле, женщины приводили в порядок дом Гейзера: чистили, скребли, чинили. Они устраивали там ясли. И болтали не умолкая.

— ...И чего только мужчины не придумают! Даже на луну могут попасть, если захотят, а вот для нас...

— Это верно. Когда у тебя уже двое детей, нужно изобретать какое-нибудь средство.

— Но только вполне надежное! — вздохнула сноха Бергера. У нее, видно, был самый большой опыт, и она болтала, не умолкая.— Не красней, девочка,— сказала она Хельге Гриммбергер, которая хотела убежать в соседнюю комнату.— Все это тебе еще предстоит, подожди немного. Когда родишь первого, заплачешь от радости, а когда четвертого — от горя. Так что навостри уши и набирайся ума-разума.

Хельга низко склонилась над шитьем. «Нет, у нас будет совсем по-другому,— думала она.— И чего они болтают!»

Она не вернулась домой, хотя мать не раз просила ее об этом.

— Я так решила,— сказала Хельга,— и не изменю своего решения. Кто знает, что отцу еще взбредет в голову. Как только получим квартиру, поженимся. Собственно, мы это уже и сделали.

Хельга посмотрела в окно. В комнату доносился гул тракторов, но из окна ничего не было видно. Она выбежала на улицу, помахала рукой трактористу — это был ее Конрад — и вернулась в дом.

Женщины продолжали говорить, не отрываясь от работы. Когда язык шевелится, то и метла метет быстрее, и швейная машина стучит веселее, а ножницы так и скользят по материи.

— Боже ты мой,— воскликнула вдруг Лиза Цанк.— Сколько раз стояла я у корыта и разговаривала сама с собой! Если не говорить, можно превратиться в камень!

Она вешала гардины, расписанные всякими зверюшками, и улыбалась. Лиза не сказала женщинам, что каждый день подкарауливает почтальона и руки у нее бессильно опускаются, когда тот отрицательно качает головой. Ночи напролет она не может уснуть, думая лишь об одном: «Несмотря ни на что, мы привыкли друг к другу. И как он мог просто так взять и уйти! Ведь он отец моих детей, а двенадцать лет совместно прожитой жизни — разве эти двенадцать лет прошли бесследно?..»

■

В дни посещений Лидия Крамер неизменно ездила к Вольни, Гриммбергер — не реже одного раза в неделю. Почти всегда они встречали там рабочих с завода. Вольни совсем не походил на больного. На тумбочке у него штабелями лежали книги. Он сидел в кровати, опершись на подушки. В палате не умолкали разговоры. Казалось, Вольни ни на минуту не забывал о Шварцвальде. Он требовал подробнейших отчетов и кусал губы, когда сообщения казались ему недостаточно полными, высказывал свои замечания и даже успел договориться с металлургическим заводом, чтобы оттуда прислали бригаду строителей для Вороньего угла.

Хотя Вольни так похудел, что стал похож на скелет, состояние его улучшалось с каждым днем. Вскоре он начал уговаривать врачей выписать его. Когда ему разрешили, начал заниматься гимнастикой и через несколько дней уже ходил по лестницам. Встречая в коридоре больных, которые прогуливались со страдальческим видом, он обычно говорил:

— Выпрямись! Вот так. И голову выше! Ну, а теперь шагом марш, раз-два! Доктора могут вынуть у тебя из почек камни, а обо всем остальном ты должен позаботиться сам!

Врачи удивлялись энергии и жизнеспособности Вольни. Недели за четыре он сумел добиться того, на что другим требовались месяцы. Двадцатого декабря его выписали.

По настойчивой просьбе Гриммбергера Вольни снова поселился в мезонине Хельги. Во время первой же прогулки он зашел посмотреть на близнецов Шинделя. Анка, еще не набравшись сил, осторожно приоткрыла дверь в комнату. Вольни наклонился над кроваткой. Близнецы лежали, тесно прижавшись друг к другу, будто хотели согреться. Комок подступил к горлу Вольни. Едва слышно он прошептал:

— Милые малыши, ведь мы трое, как говорят, родились в один час!

■

Гриммбергер не отходил от Вольни ни на шаг, сам заказывал для него всякие блюда и строго следил за тем, чтобы тот обязательно спал днем по два-три часа. Особенно избегал он всяких споров. Гриммбергер хорошо помнил, что, найдя Вольни за межевым камнем, подумал: «Это на моей совести. Ведь я знал, кто такой Гейзер, и промолчал!» Но чувство вины постепенно сгладилось. «Вот прилетят ласточки, он вернется в свой город, где ему и место,— размышлял Гриммбергер.— А здесь жизнь будет идти своим привычным ходом».

Поглядывая на Вольни, он не мог не заметить, что упрямые складки у его рта стали глубже, что в глазах снова появился темный загадочный блеск, а на губах — насмешливая улыбка. «Этот не угомонится,— думал Гриммбергер,— больше того, он стал еще упрямей».

В один из последних дней старого года у ворот гриммбергеровского дома появился Шиндель. Увидев, что ворота заперты, он громко постучал. Из дома вышел хозяин.

— Чего расшумелся? Здесь лежит больной, а ты так ведешь себя!— выбранил его вполголоса Гриммбергер и отодвинул засов.— Что тебе вообще надо? Вольни еще не может работать.

Гриммбергер терпеть не мог этого дерзкого, способного на всякие козни парня. Даже прошедшие недели ничуть не изменили его отношения к Шинделю.

— Ну, чего ты еще ждешь? — грубо переспросил Гриммбергер.— Вольни спит!

— Не задавайся,— презрительно бросил Шиндель.— Вольни не нуждается в няньке, он уже вырос из пеленок.

Шиндель пронзительно свистнул два раза и, приложив руки к губам, крикнул, не обращая внимания на Гриммбергера:

— Эй, Вольни! Ты спишь или нет?

В ту же секунду в окне появилось лицо Вольни. Шиндель, оттолкнув ошеломленного Гриммбергера, снисходительно сказал ему:

— Разыгрываешь тут всякие штуки, хуже гаремного стража!

Гриммбергер никогда не интересовался чужими секретами. Первый раз в жизни он прокрался, как вор, наверх, чтобы подслушать, о чем говорят Шиндель и Вольни. Он хорошо изучил свою лестницу и знал, какие ступеньки погнулись и скрипят. Гриммбергер бесшумно добрался до мезонина и, приложив ухо к двери, услышал голос Шинделя:

— Возьми его наконец в оборот! Жалко смотреть, как он извивается.

— Дай ему время подумать,— спокойно возразил Вольни.

— Время! А я-то считал, что после всей этой истории ты поумнел. Слишком много было у него времени, или ты уже все забыл? Ведь ты едва не попал Гейзеру в ловушку. А он каким был толстокожим, таким и остался. Он должен подать заявление или...

— Что «или»?

— Или он не получит весной ни одной машины!

— Опять завел старую песню? Одумайся, Шиндель, иначе дело кончится плохо!

Гриммбергер тихонько спустился вниз. Когда он на лестничной площадке нащупывал ногами свои деревянные башмаки, взгляд его упал на жену, неподвижно стоявшую в коридоре. Он вспыхнул от стыда, но, собравшись с духом, проворчал:

— Чего рот разинула? Занимайся своим делом!

За ужином Вольни заметил перемену в Гриммбергере. Тот молча сидел за столом, медленно жевал и вскоре отодвинул тарелку.

— Убери! — приказал он жене.— И оставь нас одних!

Вольни вспомнил их встречу в первый день своего приезда в Шварцвальде. На этот раз Гриммбергер тоже подошел к буфету и достал сигару. Так же, как и тогда, трещали половицы и звенела посуда. Он выжидательно смотрел на Гриммбергера.

Тот неторопливо закурил сигару.

— Я подслушивал,— сказал он.

— Да неужто? Откуда это у тебя вдруг взялось, старина? — сердито спросил Вольни.— Вместо того чтобы войти и поговорить с нами, ты притаился за дверью. Если бы я только знал!

— Я все слышал. Но я и раньше понял, что ты не успокоишься. Знал, что все начнется сызнова. Когда я на тебя смотрю, то знаю даже, о чем ты думаешь!

— О чем же? — насмешливо спросил Вольни.

— Сейчас скажу. Ты думаешь о том, что тогда я не бросил тебя на произвол судьбы, а теперь ты не можешь бросить меня. Ну вот, сам видишь, насколько хорошо я тебя знаю. Но знаешь ли ты, что я предпочел бы остаться брошенным?— Гриммбергер говорил, взвешивая каждое слово. — Я хочу спокойной жизни. У меня хватало всяких волнений и неприятностей, и мне хочется хотя бы остаток дней своих прожить тихо и мирно. Я уже старею, и если подумать, то последние годы были у меня самыми лучшими. Лучших я бы и не желал! Успокойся, пожалуйста, и не перебивай меня! А потом можешь высказаться. Социализму придется обойти меня стороной, хочет он того или нет. У нас есть законы, и они для меня обязательны. Но нет такого закона, который вынуждал бы меня вступить в кооператив. На это я и надеюсь. Дай мне

сказать! Самой большой ошибкой было то, что мы всегда только спорили. И поэтому никогда не могли договориться.

Гриммбергер похлопал Вольни по плечу.

— Скажу тебе откровенно: я мог бы вступить в кооператив хоть сегодня. Но такого кооператива, какой меня устраивает, вы не хотите. Я мог бы тебе по пальцам перечесть, с кем бы я объединился. Мы могли бы платить поначалу двадцать марок на трудодень и стояли бы крепко, как дубы. Мы застроили бы Вороний угол точно по макету Клейнмана и сделали бы тебя, пожалуй, самым главным. Но с Шинделем, Хагеном и им подобными ты меня в одну упряжку не загонишь. Шиндель — прирожденный надсмотрщик, а Хаген — прирожденный помещик. Прибавь к ним еще несколько лодырей, и вся компания в сборе. Верь мне, такого груза шея добросовестных людей не выдержит, он их придавит, даже если у них железный хребет. Ну вот, а теперь говори ты!

Вольни опустил голову, разгладил скатерть. Потом неторопливо сказал:

— Знаешь, старина, это действительно так. Подождем, пока нам не испекут людей по твоему вкусу. Думаю, это будет самое лучшее!

— Да, но... Это все, что ты можешь мне сказать?

— Все? Нет, не все! Если ты наденешь на вола серебряную уздечку и седло, ну, скажем, английское — ты ведь в таких вещах знаешь толк, — так вот, если мы его таким манером обрядим, то, как ты думаешь, что будет делать этот вол? Не знаешь? Так я тебе скажу: замычит! Ведь ничему другому он не обучен.

После этого вечера они ни о чем серьезном больше не говорили. Постепенно Гриммбергер успокоился.

44

Под Новый год у Шинделя праздновали именины. К вечеру маленький домик наполнился гостями. Шиндель, большой любитель всяких празднеств, весь день возился в кухне, некоторые блюда готовил сам.

В полночь он произнес достопримечательную речь:

— Что мне вам сказать? Мы стоим перед завершением революции во всех областях жизни. У нас с Анкой четверо детей, двое последних, как вы знаете, появились разом. Мне пришлось выдержать с ней не один бой. Не всегда она высоко держала мою партийную честь. Злоупотребляла моим доверием, вот именно! Без моего ведома окрестила первых двух детей, позволила брызнуть на их чистые лобики затхлой водой. Это меня оскорбило до глубины души, ведь никогда в жизни я не был опорой церкви. Но теперь наши идеи проникли и в мой дом. За это я хочу выпить. И за первого крестного отца моих сыновей, за тебя, Вольни! И за тебя, дорогая Анка! Ты никогда не облегчала мою жизнь и должна только радоваться моему постоянству в любви и тому, что я всегда ищу в людях хорошее. Сегодня у меня счастливый день, понятно это вам или нет? Поэтому я говорю: ваше здоровье!

Анка не могла припомнить, чтобы у ее грубоватого Шинделя хоть раз слетало с губ слово «счастье». Она повернула к нему спокойное внимательное лицо и в порыве нахлынувшей нежности положила голову ему на плечо.

■

На другой день пастор решил поговорить с Вольни. За последние недели старик сильно сдал. С той поры как он молча стоял у могилы Гейзера, так и не совершив над ним обряда, он не решался выходить из дома без палки, при каждом шаге ноги его дрожали.

Вечером, ложась спать, он со вздохом произносил: «Если тебе, господи, угодно призвать меня, то соверши это без гнева своего. Я служил тебе, насколько хватало разумения и сил моих!» Безрадостное рождество прошло незаметно в пасторском доме. Лишь немногие зашли его поздравить. Почти никаких знаков внимания не было оказано этому одинокому человеку. Каждый год пастор получал подношения в дни мясоеда, а в сочельник жирного гуся. В этом году ему забыли даже привезти дров, и экономка прожужжала ему все уши:

— Заморозить нас хотят эти нехристи! Если господин пастор будет и дальше молчать, у нас сосульки вырастут под носом!

Пастор с тоской думал: «Может быть, они избегают меня потому, что узнали, куда я ездил. Конечно, Гейзер в своем безумии рассказал об этом». Когда же в доме Шинделя был устроен праздник, чаша терпения пастора переполнилась. При первой же встрече он остановил Вольни.

— Одну минуточку,— сказал он. — Я давно уже хотел...— Он протянул смущенному Вольни свою мягкую желтоватую руку. — Скоро можно будет считать вас тут старожилом, а мы еще почти не знакомы.

— Ну, старожил это слишком, но все же...

Вольни украдкой окинул пастора взглядом, и его охватило чувство живого интереса к этому малознакомому человеку. За короткое время он узнал почти всех жителей деревни, мог определить даже по носу, из какой семьи тот или иной ребенок. Но пастор пока оставался для него чужим. И хотя ему не раз приходилось вести в деревне разговоры о церкви, он никогда серьезно не задумывался над тем, что рядом живет человек, который по-своему воспринимает происходящие перемены и нуждается в особом подходе. Об этом Вольни подумал лишь теперь и в душе признался: «Тебе надо было бы к нему приглядеться»

— Говорят, хороший плод долго зреет. Будем надеяться, что это так,— сказал он.

Они шли рядом. Вольни примерялся к неторопливым осторожным шагам старика. На сей раз пастор был немногословен. Когда они поравнялись с домом Шинделя, за окном шевельнулась занавеска. Пастор тоже заметил это. Он остановился и задумчиво поковырял землю палкой.

— Пока разумного разговора не получалось. Но бог свел нас по воле своей, и нам надо договориться. Если есть желание, найдется и путь!

Вольни видел, с каким трудом поднимался к церкви старый пастор.

«Черт возьми,— подумал он.— Все так просто, а мы слепы, как щенки».

— Чего хотел этот долгополый?— спросил Шиндель, подойдя к забору.— Обратить тебя в христианскую веру, что ли?

Вольни словно очнулся от своих мыслей.

— Завтра же надо заготовить пастору на зиму дров, привезти к нему во двор и наколоть. И еще не забудь: к пасхе — баранью ногу, к празднику урожая — утку, а на рождество — гуся. Скажи членам правления, когда будут у себя дома резать какую-нибудь живность, пусть посылают пастору гостинец. Это никому не в тягость, а старик будет рад.

Шиндель в ужасе схватился за голову.

— С ума спятил! Нет, ты в самом деле потерял рассудок!

— Думай, что хочешь. Этот человек живет здесь сорок лет. Он должен получать от нас то, что получал всегда. Для нас это мелочь. А ему эта мелочь позволит не чувствовать себя лишним. Главное — он проповедует то, что годится для жизни. Ну что ты вытаращил глаза? Мы свое достоинство не роняем. Это, я думаю, ты способен понять!

45

Весь январь стояла мягкая погода. С полей наползали туманы, и солнцу лишь изредка удавалось пробиться сквозь низко нависшую пелену облаков. Ночи были темные, как воронье крыло, даже к новолунию погода не изменилась. Но в начале февраля неожиданно ударил сильный мороз. Вольни направился в контору. Стая гусей-гуменников рассекла на большой высоте зимнее небо. Темный, широко расходящийся клин превратился в черную блестящую цепочку и исчез в утренней дымке. Еще долго слышались вдали тревожные крики птиц.

В тот же день Шинделя и Вольни вызвали в районный центр. На совещании Виттиг рассказал о сплошной коллективизации деревень в северных районах. Это было началом наступления, которое вошло в историю молодой республики под названием «социалистической весны». Партийная группа Шварцвальде получила задание провести работу в Лангенбахе. В конце совещания Виттиг подошел к Вольни и Шинделю.

— Хочу пожать вам руку,— сказал он. Вид у него был очень усталый.— Осторожно беритесь за дело, и все будет в порядке.

■

Вот уже несколько дней Хаген читал все попадавшиеся ему на глаза газеты. Он водил своим кривым вздернутым носом по пахнувшим типографской краской строчкам, словно хотел вычитать больше, чем было напечатано. Он развил бурную деятельность, изъездил на машине сотни километров, пока не убедился, что везде все пришло в движение. Еще до того, как в Лангенбах приехали агитаторы, он успел там побывать и в разговоре за кружкой пива сказал:

— Вот доберутся они сюда и подкрутят вам гайки!

Когда же шварцвальденцы появились наконец в Лангенбахе, улицы там словно вымерли. Только воробьи, громко чирикая, усердно долбили замерзший лошадиный помет. Повсюду были закрыты ставни, заперты ворота и двери. Лишь тонкий косой дымок, поднимавшийся из труб, выдавал присутствие жизни за молчаливыми стенами. Шварцвальденцы столпились на выгоне и, подозрительно поглядывая на два десятка дворов Лангенбаха, вполголоса переговаривались, пока Шиндель не заорал:

— Вы что шепчетесь, как монашенки на исповеди? Они подглядывают из своих закутков и смеются над нашей нерешительностью. Пусть каждый выбирает себе ворота и барабанит до тех пор, пока эти мыши не выскочат из своих нор!

Едва шварцвальденцы подошли к дворам, бешено залаяли собаки.

Вольни собрал всех шварцвальденцев и спросил:

— Ну, что же вы предлагаете? Как видно, они не желают с нами разговаривать. А взламывать двери мы не можем.

— К сожалению,— пробормотал Шиндель.

С ним творилось что-то странное. Ему вспоминались сцены из прочитанных книг. Он представил себе буденновскую армию, мчащуюся по степи в атаку. Все, что когда-либо волновало его как пример мужества и преданности самому справедливому делу в мире,— все слилось воедино. «Отступать теперь нам нельзя. Крепость должна пасть».

— Давайте разожжем костры,— хрипло сказал он,— разобьем лагерь и будем ждать, пока они не задохнутся. Посмотрим, кто дольше выдержит!

— Мальчишка! — сердито оборвал его Вольни.

Это вскользь брошенное слово вызвало непредвиденные последствия. Шиндель вдруг побелел, как мел.

— Возьми свои слова обратно! — прошипел он.— А то...

Губы его дрожали. Потом он заговорил тихим, но таким напряженным голосом, что казалось, у него вот-вот порвутся связки.

— Я тебе не мальчишка. Хоть ты и рисковал своей шкурой, это не дает тебе права так разговаривать с нами, молодыми... Мы так же, как и вы, умеем за себя постоять!

Вольни положил руку ему на плечо.

— Извини,— сказал он,— я не хотел тебя обидеть.

Наступившая тишина тяготила всех. «И надо же было этому Шинделю так вспылить и выйти из себя именно сейчас,— подумал Лаппе.— Не мог для этого выбрать другой день, что ли? И без того трудно. Кому охота стоять перед запертой дверью? А ведь пришли сюда с самыми лучшими намерениями». Он тихонько отвел Вольни в сторону.

— Мы еще тут прирастем и, пожалуй, корни пустим!

Калер услышал эти слова.

— Можешь идти,— сказал он,— тебя никто не держит.

Он не спускал глаз с приземистого, широко раскинувшегося двора Мёзера, одного из самых богатых крестьян Лангенбаха.

— Одну дверь я отворю мигом,— заметил он.— Скажу только: сезам, откройся, и тут же все засовы соскочат. В самом деле,— обратился он к Вольни,— совершенно серьезно, без всяких шуток. Спроси Конрада.

— Я тебя что-то не пойму,— возразил Конрад, лихорадочно пытаясь сообразить, о чем идет речь.

— А пятьдесят марок за голую бабу? Разве я тебе не рассказывал? Стоит мне только шепнуть на ушко Розе, что вытворял ее муженек, как она не одну дверь нам откроет!

— Нет, так не пойдет,— решил Вольни, узнав, что это за история.

— Не будь таким щепетильным,— заметил Калер и хитро ухмыльнулся.— Там, где есть щель, надо вбить клин.

Разговоры сделали свое дело, вернули веселость шварцвальденцам. Сначала они заулыбались, а потом не могли удержаться от смеха. Наконец Конрад сказал:

— Пойду-ка посмотрю, что делается на задворках. Может, увижу кого в огороде или в саду. Настоящий крестьянин не сидит долго за закрытыми ставнями. У него начинается удушье. Клянусь вам!

Когда прошло более четверти часа, а Конрад Шпрингер все не возвращался, обеспокоенный Шиндель направился к хуторским садам. Он с любопытством озирался по сторонам. Но не успел он пройти и сотни шагов, как услышал глухой стук падающего тела. Раздался громкий треск. Шиндель взревел, как бык, и ринулся к предполагаемому месту драки. У его ног в помятых зарослях репейника лежал Конрад Шпрингер. Из раны на его голове лилась кровь. Прежде чем Шиндель успел поднять Конрада, он снова услышал треск и, заметив убегающего человека, бросился за ним, настиг и схватил за шиворот. Это был сын Гёблера. Он дрожал мелкой дрожью, прикрывая обеими руками расплющенный нос. Из окна конюшни Гёблер заметил, как Конрад шел по саду, схватил березовую дубинку и притаился. Когда Конрад поравнялся с ним, Гёблер ударил его по голове...

Резкий крик Шинделя переполошил не только стоявших на улице шварцвальденцев. Сразу распахнулись ставни, открылись двери. Изо всех закоулков бежали люди.

■

С той минуты, как Вольни ушел на рассвете из дома, Гриммбергер не мог найти себе места. «Что ему там надо в этом Лангенбахе?— думал он.— Мало того, что было, он затеял новую авантюру».

Его раздумья были прерваны отчаянным криком жены. Она прибежала из деревни и рассказала, что в Лангенбахе ад кромешный, что Шиндель уже изувечил по меньшей мере трех человек, что Вольни теперь окончательно сойдет в могилу, а Конрад Шпрингер погиб в расцвете лет. Она услышала об этом на улице и со страху еще кое-что прибавила, да так, что Гриммбергер содрогнулся от ужаса. Не теряя ни секунды, он помчался в Лангенбах. Бежавшие туда люди едва успевали уступать дорогу. Тугоухая экономка пастора кричала истошным голосом:

— Содом и Гоморра!.. Содом и Гоморра!

Среди бегущих Гриммбергер заметил Хельгу. Сердце его сжалось.

Он вихрем влетел на деревенскую улицу и так осадил взмыленную лошадь, что она взвилась на дыбы. На него удивленно таращили глаза.

— Расступись! — крикнул он громовым голосом, прокладывая дорогу к Вольни.

Толпа отступила.

Гриммбергер увидел бургомистра Анерта, бешено размахивавшего руками перед лицом Вольни, и снова крикнул:

— Прочь! А то от тебя мокрое место останется!

Пока Вольни с изумлением смотрел на Гриммбергера, в толпе послышался сдержанный шепот:

— Смотрите, Гриммбергер-то как разошелся! Теперь берегись!

Вольни напряженно прислушался к этому шепоту.

— Видите,— решительно крикнул он,— мы стоим единым фронтом. Завтра снова придем и надеемся, что двери будут открыты. Мы будем приходить до тех пор, пока вы не поймете то, что должен понять всякий разумный человек. Мы не отступим!

Благодаря странному стечению обстоятельств случилось так, что Гриммбергер взял наконец барьер, которого долго боялся. Он ни разу не отпускал Вольни в Лангенбах одного, он стал членом агитбригады, хотя иногда и чувствовал себя неловко. Но люди говорили: «Такой человек, как Гриммбергер,— и в кооперативе! Ах боже ты мой, значит, кооператив не такая уж плохая штука!»

■

Надвигался вечер. Красный шар солнца застрял в рогатине веток могучего вяза.

По опушке леса из Лангенбаха в Шварцвальде шли трое мужчин, шли спокойно, не торопясь. Средний и самый маленький едва заметно хромал, правый задумчиво крутил усы, а левый опустил упрямую лохматую голову. Когда они миновали деревянный мостик через ручей, усатый кивком показал на хутор Хагена. Под оголенными красными буками появился человек.

— Если он вступит,— нарушил тишину усатый,— то возьмется за Вороний угол. Он ведь мастак в этом!— Двое других ничего не ответили.

Крестьянин на тропинке приложил палец к поношенной шляпе с обвислыми полями. Его вздернутый нос на красном круглом лице сморщился в хитрой усмешке.

— Созрел плод,— сказал крестьянин.— В самый разгар зимы!

Человек с лохматой головой подумал: «Интересно, что он теперь сделает, этот Вольни?» А когда увидел, что Вольни остановился, только вздохнул: «Вольни, Вольни...» Но губы его застыли в горьком молчании. Вдвоем с усатым он направился в деревню.

Красный шар солнца выскользнул из рогатины веток. В воздухе пахло землей и морозом.

В. КОЖИНОВ

РЕАЛИЗМ И ДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Оценивая то или иное произведение современной литературы, разбираясь в тех спорах, которые идут сегодня вокруг вопросов художественного творчества, важно ни на минуту не упускать из виду, что за сложной и противоречивой картиной развития искусства наших дней всегда стоит борьба непримиримых принципов искусства народного, правдивого, реалистического и искусства ущербного, пытающегося доказать бессмысленность человеческого существования, — то есть искусства декадентского. Какой бы признак творчества мы ни взяли, в конкретном анализе мы всегда обнаружим эту противоположность. Мне хотелось бы показать это на примере того, как предстает в литературе разных направлений *действие*.

Специфика литературы как искусства состоит не только в том, что ее материалом является язык, слово, но и в том, что литература изображает прежде всего действия людей. Однако в современной литературе есть течения, которые явно стремятся «освободить» искусство слова от этого его изначального и сущностного свойства. Быть может, самым ярким свидетельством этого являются произведения одного из «крайних» сегодняшних модернистов Сэмюэля Беккетта. Ибо большинство его героев — беспомощные калеки, люди, по тем или иным причинам лишенные способности двигаться и действовать, ведущие призрачное существование. И дело не только в том, что они не совершают каких-либо поступков: душевная жизнь их также всецело бездейственна — это только бессвязное копошение разорванных психических состояний.

Но произведения Беккетта — это уж в самом деле крайний, так сказать, «клинический» случай. Искусство слова переживает здесь болезнь, которая грозит летальным исходом. В литературе было немало произведений, в которых утверждалось, что беспомощные калеки — это тоже люди; Беккетт стремится утверждать, что люди — это тоже беспомощные калеки.

Однако ту же тенденцию нетрудно обнаружить и в других течениях современной западной литературы — у писателей, пытающихся развивать принципы школы потока сознания, в экзистенциалистской литературе, которая, в отличие от линии потока сознания, поглощенной сегодня чисто *формальными* поисками (имеющими, впрочем, вполне определенный идейный смысл), является открыто *тенденциозной* (о характере этой тенденциозности мы скажем ниже).

Вплоть до середины XIX века проблема действия была ясна и несомненна. Дидро, Лессинг, Гегель, Тэн рассматривают произведение литературы именно как развертывающееся действие. Однако в литературе новейшего времени — последних ста лет — происходят резкие и очевидные изменения. Действие в романе и драме нередко предстает как цепь мельчайших, почти неуловимых сдвигов и переходов — к тому же прежде всего психологических. Так, уже Флобер мечтает о том, чтобы создать «книгу ни о чем, книгу без *внешней* привязи, которая

держалась бы сама собой, *внутренней* силой своего стиля,— как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе... Это и есть как будто путь Искусства в будущем».

В этом изящном сравнении не вполне точны обе половины, оба сравниваемых члена — ибо и Земля держится не «сама собой», а в поле тяготения Солнца и, с другой стороны, литературное действие — даже чисто психологическое — невозможно вне «напряжения» между субъектом и внешним миром, вне «поля тяготения» объективных фактов. Но замечание Флобера помогает понять определенную линию литературного развития, которая через импрессионизм Гонкуров и Гюисманса ведет к школе потока сознания. В творчестве Пруста, Джойса, Гертруды Стайн и их продолжателей уже вполне последовательно обрываются и затушевываются связи сознания с внешним миром, и на первый план выходит «имманентное» психологическое действие.

Теоретики модернизма с начала XX века стремились представить это направление как центральное или даже единственно «современное». Но эта концепция грубо искажает реальное положение вещей. Если уж говорить об истоках новейшей литературы — надо начинать с середины XIX века, с творчества гениальных русских писателей — Толстого и Достоевского (им близки также поиски скандинавских художников этого времени). Никто не может отрицать того факта, что крупнейшие западные писатели XX века — Роллан, Мартен дю Гар, Томас Манн, Шоу, Гамсун, Шервуд Андерсон, Хемингуэй, Фолкнер и другие — стали сознательными последователями русской литературы, которая еще совсем недавно была почти неизвестна на Западе.

Толстой и Достоевский значительно развили тонкость и глубину психологического анализа, и с известной точки зрения даже Пруст исходил из достижений именно русского искусства слова (как и литература потока сознания в целом). Когда Пруст поставил перед собой задачу погружения, по его собственным словам, в «таинственные области» индивидуального бытия человека, «чтобы извлечь на свет тысячи мелочей», он не мог обойтись без достижений искусства Толстого и Достоевского. Но он воспринял только одну сторону новаторского психологического искусства русских писателей: его стремление схватить бесконечно малые величины душевных состояний грозит разрушением художественной ткани произведения и повествование превращается в некий трактат по психологии.

У Толстого и Достоевского интерес к глубоко индивидуальным и мельчайшим фактам поведения и сознания личности приводил к освоению *всеобщего* содержания человеческой жизни. Чем глубже проникает в души людей художественное зрение Толстого и Достоевского, тем более широкий, масштабный и всечеловеческий смысл они охватывают. Как писал сам Толстой по поводу героев Достоевского, «в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но и иностранцы узнают себя, свою душу. Чем *глубже* зачерпнуть, тем *общее* всем, знакомее и роднее» *. Разумеется, это новаторское своеобразие творчества великих русских художников родилось не как имманентное «совершенствование» искусства, не внутри «литературного ряда», а как результат глубокого проникновения в социальные противоречия своего времени. Так, величие Толстого неразрывно связано с тем, что эпоха подготовки русской революции выступила в его творчестве как «шаг вперед в художественном развитии человечества» (Ленин).

Таким образом, эстетическая позиция Толстого и Достоевского противоположна позиции представителей школы потока сознания. Ведь последние видели единственный истинный путь человеческой личности в возможно более полной самостоятельности, в освобождении от всех общественных связей. Общество, взятое в целом, предстает, с их точки зрения, как безличный и враждебный мир; именно потому личность должна наглухо замкнуться в узком, но по-своему богатом и сложном мирке интимных фактов и переживаний. Только так она может ускользнуть от всеобщего обесчеловечивания. Поэтому психологическое действие у Пруста можно условно назвать «центростремительным»: оттолкнувшись от какого-то внешнего факта (хотя бы от напоминающего о детстве знакомого вкуса печенья в начале «Поисков утраченного времени»), переживания уходят вглубь, к некоему душевному центру. И когда последовательный ряд все более сокровенных психических движений доходит до наибольшей возмож-

* Письмо Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову от 3 сентября 1892 г.

ной глубины, растворяясь уже в неясных подсознательных импульсах, действие прерывается. Вводится новый факт, дающий очередной толчок психологическому действию, которое опять устремляется к центру. Такова — разумеется, очерченная схематически — природа действия в романе Пруста.

Прямую противоположность этому мы находим у Толстого. Здесь так же изображены глубинные движения психики; однако они направлены вовсе не к субъективному душевному центру, а в огромную объективность мира, в то «народно-историческое море», в тот «океан мировой жизни», о которых так часто говорит Толстой *. «Надо,— страстно размышляет Андрей Болконский,— чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе». Искусство Толстого основано, так сказать, на «центробежном» действии; очевидно, что ведущая направленность сознания его героев противоположна устремленности прустовского героя, который, сгорбившись, заползает в щель «независимого» интимного бытия, пытаясь оградить себя от малейшего дуновения ветра из океана мировой жизни.

Сказанное о Толстом относится и к Достоевскому, хотя та же тенденция выступает в творчестве Достоевского гораздо более противоречиво и сложно. Во всяком случае, в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Братьях Карамазовых» живет как внутреннее, глубинное течение та громадная мысль, которая открыто высказана в предсмертных записях Достоевского: «...И с детьми, и с потомками, и с предками, и со всем человечеством человек единый целокупный организм... Народ. Там всё. Ведь это море, которого мы не видим, запершись и оградясь от народа...» **

В этой эстетической концепции выразилось глубокое и острое предчувствие народных революций XX века, когда народ вышел на авансцену истории, когда действительно обнаружилось, что «всё» — решение всех человеческих проблем, истоки всей деятельности, всех идей — уходит корнями в эту неиссякаемую почву, в океан народно-исторической жизни. Благодаря этому предчувствию, творчество Толстого и Достоевского мощно устремлено в будущее, заглядывает невероятно далеко вперед. И если окинуть единым взором искусство современного романа, можно с полным правом утверждать, что Толстой и Достоевский явились его Гомером и Шекспиром. В повествовательном искусстве XX века можно наметить три основных направления. Одно из них «продолжает» Толстого и Достоевского односторонне и потому искаженно; это, прежде всего, литература потока сознания, трансформировавшаяся сегодня в школу «нового романа» (Саррот, Роб-Грийе и др.), и, во-вторых, ряд художников, связанных с экзистенциалистской этикой и эстетикой (Кафка, Мальро, а в последнее время Камю, Симона Бовуар, Сартр).

В то же время в литературе XX века выступает плеяда больших и глубоких художников-реалистов, таких как Мартен дю Гар, Томас Манн, Хемингуэй, Фолкнер, Моравиа, которые развивают завещанную Толстым и Достоевским эстетическую концепцию мира и человека, делая это более или менее целостно и последовательно. Если экзистенциалистская литература стремится так или иначе изолировать человеческую личность от общественного мира, утверждая непреодолимую разобщенность людей как трагическое, но в то же время абсолютно неизбежное и даже по-своему ценное сущностное свойство человеческого бытия, то в таких романах, как «Семья Тибо», «Доктор Фаустус», «По ком звонит колокол», «Особняк», «Чочара», перед нами предстают и индивидуальность человека, и — в той или иной форме — «океан» народной и мировой жизни. И эти человеческие реальности вовсе не разделены здесь непроходимой, разбивающей всякую надежду стеной. Кроме того, *бесчеловечным* оказывается не общественный мир как таковой, в любом его проявлении (что мы находим, например, у Кафки), но именно *разобщенность* человека и мира. Мы видим это даже в таком сложном и противоречивом искусстве, каким является искусство Фолкнера.

Наконец, в мировой литературе XX века широко развивается новое направление писателей — социалистических реалистов (или очень близких к социалистической эстетике писателей), к которому принадлежат, вслед

---

* Сложная природа творческого метода Толстого убедительно раскрыта в работе С. Г. Бочарова, опубликованной в сборнике «Социалистический реализм и классическое наследие. Проблема характера». М., Гослитиздат, 1960, стр. 89—210.

** Записная книжка Ф. М. Достоевского, относящаяся к концу 1880 года. Цитируется по книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПБ, 1883, стр. 355, 359.

за Горьким, крупнейшие советские писатели и выдающиеся прозаики и поэты многих стран мира — Брехт, Арагон, О'Кейси, Пабло Неруда, Лакснесс, Хикмет, Нексе, Тувим, Незвал, Зегерс и многие другие. Новаторское своеобразие этого направления заключается, в частности, в том, что писатели социалистического реализма не только осознают реальное соотношение личности и мира, но и стремятся художественно разрешить проблему революционного преодоления противоречий между личностью и миром, между человеком и обществом.

Итак, одни художники исходят из идеи непреодолимости разобщения людей и, по сути дела, нередко эстетически утверждают это разобщение (в произведениях Селина, например, страдания человека мотивированы не его отъединенностью от людей, но, напротив, как раз *недостаточной* его изоляцией от общественного мира); другие изображают разъединенность человека и мира с горечью и болью, глубоко осознавая необходимость ее преодоления, но не видят реальных возможностей выхода; третьи — с упорством и отвагой, со своего рода эстетическим героизмом — ищут пути и формы объединения людей для практического созидания общества, в котором люди обретут подлинную свободу, братство и счастье.

■

Говоря о проблеме действия в современной литературе, мы должны помнить, что она, в сущности, одновременно является проблемой и содержания и формы искусства слова. Решение проблемы действия в равной мере означает и достижение художественного совершенства, красоту формы, и успех духовных исканий писателя, полноту и богатство эстетических идей. Почему это так, я и хочу здесь показать.

Прежде всего — о наиболее «бездейственной» литературе потока сознания. Еще в 20-х годах Вирджиния Вулф опубликовала своего рода манифест школы — статью «Современная художественная проза». «Давайте фиксировать каждый атом...— призывала Вулф.— Давайте чертить узоры, которые составляют в нашем сознании мимолетные впечатления... какими бы бессвязными и неясными они ни представлялись».

Эту линию литературы продолжает сейчас группа писателей, в которой одно из главных мест принадлежит Натали Саррот. Писательница сделала логический шаг вперед по дороге разобществления искусства, проложенной Прустом; она и теоретически и в значительной мере практически изгнала из романа героя, персонаж. Если у Пруста еще достаточно осязаемо выступают *личности* с их цельной и неповторимой психикой, в романе Саррот «Мартеро» дан некий «подразговор («sous-conversation») вообще». Благодаря этому *действие* как определенное движение, развитие художественного смысла в самом деле полностью исчезает. Роман Саррот напоминает, по ее собственному определению, ленту магнитофона, на которой как бы записаны бессвязные обрывки «внутренней речи». И там, где этот метод применен последовательно и жестко, происходит полный, двусторонний распад искусства (местами роман напоминает безразличную документальную фиксацию душевных состояний, которая интересна разве только как материал для обобщений ученого-психолога и, естественно, не рождает эстетического напряжения у читателя) и в то же время не воплощается, не создается какой-либо конкретный художественный смысл (кроме, конечно, ощущения разорванности, дробности мира и человека).

Это выветривание смысла закономерно; растворение личности приводит к такой степени дегуманизации изображаемых душевных движений, что они воспринимаются именно как безразличная запись, фиксация психических состояний, сделанная, скажем, в медицинских целях (например, запись врачом бессвязных речей душевнобольного). Готфрид Бенн писал, как бы предсказывая завершение пути школы потока сознания: «Каждый мог бы говорить все. Индивидуальности более не отличаются друг от друга...— коллектив ощущает, губы выговаривают». Коллектив здесь взят не в обычном смысле слова (конкретное единство группы людей), а в смысле совокупности, суммы обезличенных, деиндивидуализированных единиц.

Конечно, в романе могут быть изображены и такие автоматизированные люди; но тогда эстетический центр, фокус должен переместиться во внутренний образ автора, *оценивающего* это падение человека, в осязаемую позицию художника, которая, между прочим, выражается наиболее полно

в созданном писателем *действии,* в том, куда он приводит — практически и психологически — изображенных им людей. Но тут мы возвращаемся к тому, с чего начали: в романах «новой школы» как раз нет действия, есть только бессвязный, не развивающийся «подразговор». И этот порочный круг нельзя уже прорвать. Принципиальное отсутствие действия ведет к гибели искусства слова, к превращению его в свою противоположность, в «алитературу». Известный итальянский литератор Гвидо Пьовене писал недавно о том, что искусство слова в своих крайне «левых» проявлениях становится «пустым, никчемным, бесполезным, холодным... Сегодня нужно вернуть искусству классическую функцию... без которой оно становится бесполезным... его великую роль очеловечивания мира...» *

Экзистенциализм в литературе, несмотря на его связь со школой потока сознания, все же существенно от нее отличается. Это видно уже хотя бы по тому, что в философской подоснове экзистенциалистского искусства открыто и остро стоит именно проблема *действия,* диктуемого постулатом свободы воли индивида.

Однако это очень своеобразное «действие». Ведь признание свободы воли индивида соединяется в экзистенциализме с утверждением полной бесплодности любых усилий. Личность никак не может сломать стену, перескочить через бездонную пропасть, отделяющую ее от общественного мира. Поэтому действие личности в экзистенциалистском произведении — это действие только для *себя,* действие без надежды на успех, действие, сознающее свою бессмысленность. Словом, это то, что называют «трагический жест».

Недопустимо модернизируя древнюю литературу, эстетика экзистенциализма толкует как трагический жест даже самоослепление Софоклова Эдипа, забывая о том, что этот герой — если судить о нем в рамках художественного мира данной трагедии — спас свой народ от гнева возмущенных преступлениями богов.

Впрочем, в литературе можно в самом деле найти изображение действий, предстающих как своего рода «трагические жесты». Таково, например, преступление Раскольникова: оно не рассчитано на «результат», Раскольников не пользуется, да и не может воспользоваться доставшимися ему ценностями. В романе недвусмысленно показано, что Раскольников в своем действии только испытывает себя. И, испытав себя в преступлении, он затем испытывает себя в наказании, которое он накладывает на себя сам, по своей воле.

В известном смысле слова, мог быть истолкован как «трагический жест» и поступок Жака Тибо, героя романа Роже Мартен дю Гара: он пытается сбросить с самолета пацифистские листовки над фронтом мировой войны и совершает это, вовсе не надеясь остановить бойню. Он делает это для того, чтобы сохранить уважение к самому себе, утвердить свое человеческое достоинство перед лицом объявшей мир бесчеловечности.

Наконец, нечто вроде «трагического жеста» мы находим и в «Старике и море» Хемингуэя; для героя важен вовсе не результат, но само по себе действие, героическая схватка с природой.

Однако все эти действия имеют лишь чисто внешнее сходство с «трагическим жестом» в экзистенциалистском смысле. И только с помощью софистических приемов рассуждения можно отождествлять названные произведения с действительно экзистенциалистскими романами и драмами, где изображаются в самом деле бесплодные и сознающие свою бесплодность «жесты». Конечный смысл названных произведений в том, что человек — не остров, а часть континента. Между тем в экзистенциалистских «жестах» человек предстает именно как «остров».

Для многих произведений новейшей литературы характерно изображение действий, не ведущих к фактическим, прямым результатам. Но в реалистическом искусстве это своеобразие действия вовсе не связано с безнадежностью и индивидуализмом (как в экзистенциалистской литературе). Как раз наоборот, изображение такого рода действия может служить утверждению непобедимости человека и его единства с человечеством.

■

Совершенно иное действие выступает перед нами, например, в романе Сартра «Смерть в душе». Французский солдат Матье, забравшись на колокольню, хлещет оттуда пулями по врагам, да и по своим: «Он подошел к парапету и стал стрелять стоя. Это был грандиозный реванш: каждым выстрелом он мстил за прежнее смятение.

* Журнал «Biennale», 1958, № 32.

Пуля за Лолу, которую я не посмел ограбить; пуля за Марсель, которую мне нужно было бросить; пуля за Одетту, с которой мне не хотелось спать... Он стрелял, законы разлетались в воздух. Возлюби ближнего как самого себя? Трах в эту вонючую рожу! Не убий? Трах! Он стрелял в Человека, в Добродетель, в самый Мир... Он был чист, он был всемогущ, он был свободен...»

Не стоит, собственно, и доказывать, что этот «жест» не имеет ничего общего с теми подлинно человеческими действиями, о которых шла речь выше. Кощунственный «жест» Матье направлен к тому, чтобы бессмысленно разорвать всякую связь с миром, с людьми.

Но важно обратить внимание и на другую сторону изображенного Сартром «действия». В нем чувствуется какая-то искусственность, нарочитое стремление вывернуть все наизнанку. И это очень существенно для экзистенциалистской литературы.

Искусственность ситуации еще более бросается в глаза в таких вещах, как роман Камю «Чума» (средневековая эпидемия в современном мире), в драме Сартра «Альтонские узники» (человек на тринадцать лет наглухо заперся в комнате). И это типичная, почти неизменная черта экзистенциалистских произведений. Действие похоже на пример для демонстрации какого-либо сложного силлогизма — пример, обычно отзывающийся странноватой нарочитостью.

Конечно, бессмысленно отрицать аллегоризм в искусстве вообще; но когда аллегория становится основополагающим принципом целого литературного направления, это приобретает особый смысл. Дело не в самом обращении к аллегории и искусственным ситуациям *, это еще ни о чем не говорит. Дело в том, что такого рода ситуации, такого рода построение художественного действия оказываются для экзистенциалистской литературы *необходимостью,* законом. И это вот уже говорит о многом. Искусственность действия как принцип свидетельствует уже о бесплодной искусственности эстетической концепции мира. Можно сказать, что последовательно экзистенциалистское искусство запирает в изолированную комнату не только одного определенного героя, но и человека вообще. И это имеет далеко идущие идеологические и собственно художественные последствия.

Так, роман Камю «Чума» — это разросшаяся философская притча, в которой создающие общую атмосферу пейзажные, бытовые и психологические детали неизбежно отходят на второй план. В романе запоминаются прежде всего отвлеченные рассуждения и афоризмы — пусть и розданные разным лицам. Казалось бы, в этом нет ничего плохого — почему не выразить философию в виде романа? Однако можно и нужно посмотреть на существо дела и с иной стороны. Та форма художественного действия, которую порождает экзистенциалистская эстетическая концепция человека и мира, не дает возможности создавать большое искусство, которое глубоко погружается в жизнь и схватывает ее в ее многогранной цельности. Содержание экзистенциалистских романов заключено в отвлеченных рассуждениях; между тем художественная мысль как таковая не может полнокровно жить и развиваться в русле притчеобразных фабул.

И экзистенциалистская литература меркнет рядом с полотнами больших реалистов века, которые стремятся глубоко и непредвзято, не подчиняясь ложным философски-этическим доктринам, освоить жизнь, создавая подобное движению самой жизни художественное действие. Лишь в таком полноценно художественном творчестве рождается богатая и мощная эстетическая концепция мира.

Я бы сказал, что проблема действия — это во многом проблема искусства слова вообще. И крупнейшие художники века сохраняют и развивают действенную природу литературы, хотя эта природа выступает в более сложной и глубинной форме, чем когда-либо. В частности, значительное место занимают в литературе XX века произведения, лишенные фабулы как системы отчетливо выраженных событий. Это характерно уже для Чехова. В его творчестве новелла, которая всегда была «острофабульным» жанром, нередко теряет фабульность; по этому пути идет ряд повествователей XX века (особенно американских), которых иногда не без оснований относят к «чеховской школе».

В повести Чехова «Скучная история» событийная сторона сюжета крайне незначи-

* В начале статьи упоминались произведения Беккетта. Они дают поразительный пример соединения искусственности ситуации (герой — обязательно калека) с отсутствием действия (в них есть только «подразговор»).

тельна, «неощутима». Жизнь персонажей представляет собой бесцельную, вращающуюся в одном и том же замкнутом кругу цепь повседневных мелочей. Чеховская «история» является «скучной» едва ли не потому, прежде всего, что она, по существу, вовсе не «история»; в ней отсутствует целенаправленная последовательность поступков, событий.

Но ведь именно такой характер имеет повествование у Пруста — у его героев также нет «истории». В чем же различие? Резкое расхождение выявляется прежде всего в самой эстетической позиции. У Пруста бездейственность предстает как вполне «нормальное» состояние; он поэтизирует эту полупризрачную жизнь. Его герой более всего опасается, что внешний мир вовлечет его в какую-нибудь «историю».

В чеховском искусстве отсутствие «истории» выступает как коллизия, окрашенная трагизмом. Герой может осознавать или, напротив, не замечать этого трагизма жизни, состоящей из цепи повторяющихся ничтожных мелочей, но это не изменяет главного. Вместе с тем высота и ценность личности для таких писателей стоит в прямой зависимости от степени этого осознания. Словом, чеховское действие есть как бы особая форма того «центробежного» действия, которое характерно для творчества Толстого. Герои остро ощущают трагическую пустоту ежедневного круговращения мелочей. И поэтому психологический сюжет, несмотря на отсутствие «выходов» в практическое действие, несмотря на отсутствие «истории», имеет все же «центробежный» характер. Человек, обреченный вертеться в автоматизированном колесе будничных ничтожностей, одержим стремлением «выскочить» из самого себя, найти точку действительного приложения своих сил. Так возникает жадное внимание и тяготение как раз к внешнему, объективному миру, попытки ухватиться за все то, что хоть на миг кажется проявлением не призрачной, а настоящей, здоровой жизни. Погружение в себя, «центростремительное» действие не только не представляется избавлением, освобождением, но, напротив, мучительно и нежеланно. Психологические повествования чеховского типа с их ослабленным действием ясно обнажают — как это ни парадоксально — важность и необходимость выхода в жизнь, необходимость *действия*.

Это свойство можно показать на материале широко известной лаконичной новеллы Хемингуэя «Кошка под дождем». С первых же строк мы чувствуем в героине новеллы крайнюю напряженность, чувствуем, что она готова каждую минуту забиться в истерике. И эта напряженность всецело обусловлена как раз отсутствием какого-либо действия в ее бытии. Она живет в гостинице, где совершается математически точное чередование заранее установленных «событий», размеренный порядок существования, абсолютно независимый от обитателей пронумерованных комнат. И эта автоматическая и дистиллированная жизнь, лишенная действия в собственном смысле слова, порождает почти трагическую напряженность внутри человека, который создан для действенной жизни. И мокнущая под дождем кошка, которая одна как бы все же нарушает механический порядок, предстает как призрак настоящей жизни, неудержимо влекущей к себе.

Изображенное Хемингуэем бездейственное состояние могло бы быть осознано как *эстетически ценное* и даже идеальное писателем школы потока сознания; здесь же отчетливо выступает противоположная художественная позиция. Предельно бездейственная новелла оказывается, в сущности, сгустком жажды действия, настоящей жизни. И это необычайно важно для понимания художественной природы и данной новеллы и всего творчества Хемингуэя, для понимания хемингуэевского реализма. Ибо как только перед хемингуэевскими героями открывается возможность подлинного действования, они отдаются ему всем своим существом. Это очевидно, например, в романе «По ком звонит колокол». Его герой, Джордан, который, казалось бы, является родным братом «бездейственных» героев ранних романов Хемингуэя, весь захвачен действием. Он борется в Испании за весь мир, за все то, что считает истинно человеческим и прекрасным, и эта реальная борьба целиком определяет его жизнь.

Впрочем, дело обстоит сложнее. Ведь большую часть романа занимает глубокое и тонкое изображение развивающейся любви Джордана и испанской девушки Марии. Это действие любви, данное самым крупным планом, в значительной мере оттесняет собственно «военное» действие, начинает даже как бы определять его.

И в то же время это не так. Ибо интимное, сокровенное действие любви насквозь пронизано напряжением и противоречиями переживаемого всем человечеством истори-

ческого часа — часа, когда лучшие люди мира пытались остановить наступление фашизма на испанской земле.

Мельчайшие звенья «любовного сюжета» вбирают в себя героику и трагизм времени: в этой любви, как и в целой Испании, по-своему решается судьба Европы на долгие грядущие годы. Это непосредственно воплощается в самых тонких и сокровенных жестах и переживаниях Джордана и Марии. Сама «атмосфера» их любви не предстает как «собственно любовная»; это именно «атмосфера эпохи» с ее противоречиями и напряженностью. Более того, даже возникновение этой любви имеет совершенно своеобразный характер. Любовь эта вспыхивает «с первого взгляда» вовсе не потому, что Джордан находит в Марии свой «идеал женщины», а Мария ждет своего «героя». Собственно говоря, эти люди — много видевший, утонченный американец, пробравшийся в тыл врага для выполнения нечеловечески трудного задания, и провинциальная девочка, полураздавленная обрушившимися на нее лишениями и страданиями, менее всего думают о любви. И вместе с тем неопровержимо ясно, что именно и только в данных обстоятельствах могла и должна была зажечься любовь этих людей, продолжающаяся несколько дней и стоящая целой жизни.

В Марии и в самом чувстве любви к ней сразу, цельно и предметно воплощается все то, за что борется Джордан Его любовь — *это тоже его борьба* с фашизмом за человека и за народ, даже, быть может, наиболее полное и чистое выражение этой борьбы. Точно так же в Джордане перед Марией наглядно предстает все то, что может и должно спасти ее счастье, ее красоту и само биение ее жизни. Хемингуэй не показывает отдельно индивидуальную историю любви и всеобщую историю борьбы с фашизмом. В каждом движении и жесте, составляющих «любовный» сюжет, открыто выступает всечеловеческое напряжение.

Эта способность воплотить грандиозное мировое действие в действии глубоко интимном и индивидуальном — одно из ценнейших свойств современного реализма. Оно, по сути дела, недоступно ни принципиально бездейственной литературе потока сознания, ни произведениям экзистенциалистов с их искусственной действенностью, словно возбуждаемой философскими наркотиками.

Подлинная действенность — необходимое условие подлинных художественных достижений в литературе. Так, глубоко и своеобразно решена проблема действия в монументальном романе Фолкнера «Особняк». Это очень сложно (быть может, иногда даже излишне сложно) построенное произведение. Его материя неоднородна, многослойна, подчас разорванна. Непрерывно смещаются временные планы. Все это вызвано стремлением освоить жизнь с самых разных точек зрения.

В силу этого роман может быть воспринят как некое переплетение по существу не связанных и лишь взаимоотражающихся «сознаний» Рэтлифа, Монти Сноупса, Стивенса, Чарльза и уже безличного рассказчика вообще — «сознаний», в которых дробится и мельтешит хаотический мир Сноупсов. Для западной критики такое толкование типично, и недаром Фолкнера тесно связывают с литературой потока сознания.

Однако на самом деле это совсем не так. Ибо в основе «Особняка» лежит цельное, сквозное и поистине мощное действие — месть Минка. Хотя на протяжении всех тридцати восьми лет, охваченных временными рамками романа, Минк находится в Парчменской тюрьме и никак не может реально влиять на жизнь округа Йокнапатофа, именно от него исходит своего рода магнитное поле, которое властно влияет на поведение и сознание всех героев произведения. В это поле так или иначе вовлечены не только Флем, но и Рэтлиф, Стивенс, Линда, а через них и все остальные. И вполне закономерно, что в финале к Минку стягиваются все нити, а его выстрел разрубает все узлы. Оказывается, что само движение жизни в русле романа невидимо зависело от действия Минка.

И это, конечно, имеет огромное значение в художественном мире Фолкнера. Кто он такой, этот Минк, этот маленький, незаметный человек, стоящий почему-то в центре всего? Быть может, наиболее существенное из данных ему в романе определений — «неистребимый»: он только чуть-чуть приподнялся над землей, из которой вышел, он часть ее, и лишь она, земля, властна взять его обратно.

Но нельзя забыть, что Минк — тоже Сноупс. И если Флем Сноупс уничтожил, вытравил в себе все, что не связано с механическим накоплением денег, и кроме погони

за деньгами ему остается только жевать «пустоту», то Минк Сноупс превратил себя в некое живое приспособление к тому револьверу, из которого он должен убить Флема. Однако именно здесь скрывается глубокий и богатый смысл.

Ибо только на поверхности, субъективно действие Минка предстает как бессмысленная фанатическая месть родственнику, который отказался ему помочь. Объективно и по существу его действие — месть самой той земли, от которой ушел, превратившись в автомат для добывания денег, Флем Сноупс. Поэтому так покорно, бездейственно принимает Флем свою смерть. Месть земли неотвратима. И, в сущности, Фолкнер, ставя в центр всего действия Минка, хочет сказать, что усилия таких героев, как Рэтлиф или Стивенс, их стремления свергнуть владычество Сноупсов обречены на неудачу. Сноупсов может свергнуть лишь сама восставшая против них земля, и это возмездие — что символизирует путь Минка из Парчмена в кабинет Сноупса — ничто не в силах остановить.

Конечно, здесь затронута только какая-то одна сторона многогранного смысла романа. Но мне важно было показать, какую необходимую роль у Фолкнера играет действие — эта основа реалистического искусства.

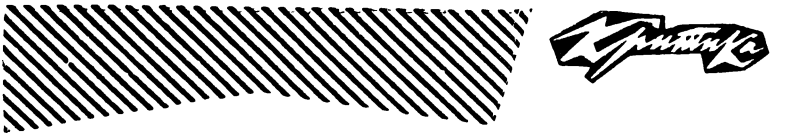
Глубоко новаторское значение имеет действие в литературе социалистического реализма. О принципах этой литературы написано ее врагами немало неверного и нелепого. Сложилась своего рода догма о «догмах социалистического реализма». Полезно вспомнить, что основоположник этой литературы, Максим Горький, дал масштабное и вместе с тем простое и точное определение: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество» *. В этих словах заключен глубокий и конкретный смысл: для социалистического художника жизнь предстает не как замкнутая в себе данность (пусть даже и изменяющаяся, развивающаяся), но как деятельность людей, устремленная к определенным целям, как непрерывно совершающееся революционное творение нового мира, новых форм бытия.

* М. Горький о литературе. М. СП, 1955, стр. 753.

Естественно, что проблема действия приобретает в социалистическом реализме новый, совершенно особый смысл. Здесь на первом плане предстают герои, самое существо которых раскрывается в революционной деятельности, направленной на преобразование более или менее широкой сферы окружающего их мира. Не следует думать, что это свойство — исключительная принадлежность искусства социалистического реализма. Как уже было отмечено, тенденция к изображению цельного, полнокровного и решительного человеческого действия заложена в самой природе литературы. И в своих высших взлетах каждый художник тяготеет именно к осознанию человеческого бытия как деяния.

Но у социалистических художников это начало выступает как осознанное, открытое, определенное. Я хочу сослаться в этой связи на один из эпизодов романа Шолохова «Поднятая целина». Можно сказать, что Шолохов тоже изображает «поток сознания» крестьянина Кондрата Майданникова. Но этот «поток сознания» имеет необычные, парадоксальные, с точки зрения искусства прустовского типа, причины и исход: Майданников трудно и даже мучительно решает вопрос... о вступлении в колхоз! Замечателен по своей сложности и внутреннему богатству сам путь переживаний. Кондрат то вспоминает о своих ягнятах и козлятах, которых ждет новая судьба в коллективном хозяйстве («А куда же ягнят, козлят сведем? Ведь им хата теплая нужна, большой догляд...»), то жаждет обратиться ко всем людям мира, выражая это в наивной мечте: «Сделать бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было, взлезть бы мне на макушку этого столба...»

Этот внутренний монолог раскрывает перед нами мощный и самобытный народный характер, который нераздельно связан с повседневной реальностью и в то же время поднимается до такого мысленного разговора с целым человечеством. И эту широту и силу он приобретает именно в действии, в деянии, которое имеет целью творчество новой жизни.



П. ПАЛИЕВСКИЙ

НОВОЕ ИМЯ

(Алан Силлитоу)

Теперь встречают новое писательское имя совсем не так, как это делали прежде, в XIX веке. Тогда большей частью верили, что если уж человек берется за перо, значит, его, что называется, посетило; писатель считался человеком необыкновенным — пусть даже в смешном смысле,— отмеченным каким-то особым пониманием; с его помощью надеялись заглянуть во что-то скрытое и важное, уловимое лишь талантом.

Нынешних писателей на Западе мало кто принимает за необыкновенных людей. Всем известно, что писательство — такая же профессия, как сотни других. Конструктор поставляет обществу модели, строитель — жилые помещения и гаражи, писатель — романы, иногда стихи; это деловой человек; он так же отстукивает свои пять часов на машинке, как какой-нибудь банковский клерк, и его продукция тоже гарантирована — на обложке книги перечислены все достоинства, как в наклейке на банке консервов. Нет, это не халтура, как может кто-нибудь сгоряча определить. Вполне добротный роман, изготовленный по лучшим и новейшим рецептам мастерства. Таких романов много, они все на так называемом современном уровне, и их можно прочесть. Другое дело, что в этом едином уровне талант невидимо обработан под серость, а серость — под талант; все писатели становятся как будто хороши, хотя никто из них не потрясает и не просветляет, и каждый новый вызывает интерес не больший, чем только что сошедший с конвейера автомобиль.

Поэтому, представляя в этом номере журнала нашему читателю новое имя — Алан Силлитоу, мы должны сказать несколько слов о том, что́ в этом писателе такого, ради чего его стоило перевести на русский язык.

Дело в том, что молодой англичанин Алан Силлитоу отличился как раз тем, что попытался выбиться из серии. Он сошел с ровной дороги мастерства, оставил гладкий стиль, покинул эту асфальтированную речь и заехал в чащу — забытые, запущенные края, которые его собратьями по перу давно считались областью скучнейшей и для художника крайне неблагодарной. Он стал писать о жизни, точнее сказать, о личной жизни «человека толпы», рядового парня, который зарабатывает деньги и развлекается среди таких же людей, как он, прочно связан со своим кругом и не собирается его покидать. То есть он взял не честолюбца, который жаждет пробиться наверх и потому дает писателю много выгодных возможностей для раскрытия разных столкновений его с обществом, и не отколовшегося от своей среды молодого человека, который томится, терзается и напряженно ищет (что позволяет интересно рассказать об его душевной смуте, как в литературе «озлобленных» или «сердитых»), и даже не захваченного разными интеллектуальными проблемами интеллигента. Он как будто отодвинул в сторону этих изрядно уже надоевших героев современной английской литературы и поставил в центр своего внимания рабочего. При этом он подошел к своему герою безо всякой предвзятой мысли, но единственно с глубоким интересом к его настоящим, а не выдуманным или желаемым свойствам. Он

решил описать то, что заполняет жизнь обыкновенного здорового парня, каких тысячи, заглянуть в душу человека массы, проверить, чем живет эта упускаемая из виду человеческая «середина», которая плывет большим потоком по улицам городов.

Результат получился удивительный. Всякий житейский сор, повседневная рутина, которая с точки зрения другого писателя — мастера, занятого судьбой каких-нибудь исключительных лиц,— показалась бы скудной и не заслуживающей внимания чепухой, у Силлитоу вдруг стала живой, кипящей, богатой неожиданным содержанием стихией. Несколько подробностей из как будто исполненной автоматизма и потому неинтересной для художника рабочей недели, затем насыщенные примитивными радостями суббота и воскресенье превратились, благодаря новому подходу, найденному Силлитоу, в задевавшую всех историю, которую трудно было не дочитать до конца.

Роман — это было первое крупное произведение молодого писателя — так и назывался: «В субботу вечером и в воскресенье утром» (1958). Он выдержал несколько изданий; на обложке его неизменно стоял отзыв газеты «Дейли телеграф» — «Книга, по сравнению с которой «Путь наверх» выглядит невинным чаепитием у викария». «Путь наверх» — это роман Джона Брейна, переведенный на русский язык, шел у нас и английский фильм по этой книге, так что читатель представляет себе, о чем идет речь. Роман Силлитоу оказался, по справедливому мнению рецензента, сильнее и резче, чем книга Брейна. А ведь у Брейна, как мы помним, роман кончался трагическим самоубийством героини и полным моральным уничтожением героя. Что же, значит, у Силлитоу еще больше катастроф?

Ничего подобного. Спокойная и не прерываемая никакими трагедиями история — кусок жизни — Артура Ситона, молодого человека из рабочей семьи. Артур и сам работает у станка, причем работает отлично. На то, что ему нужно, денег у него хватает. Но что ему нужно? Вот неожиданная тайна Скорее он мог бы ответить на вопрос — и это вообще свойственно молодым героям западных писателей,— чего ему не нужно. «Бунтовать, всегда бунтовать. Нельзя не быть бунтарем. Без этого не обойдешься. Это самое лучшее — быть бунтарем,— чтобы показать им, что не стоит даже пытаться тебя свалить. Фабрики, и биржи труда, и страховые общества поддерживают нашу жизнь — так говорят, но это ловушки, которые сразу засосут тебя, как сыпучие пески, стоит лишь забыть осторожность».

Фабрики, страховые общества или армия, к которой Ситон питает яростное отвращение,— это, впрочем, слишком высокие материи. Они давят на него, но не прямо, а столкновение и бунт идут во встречах с живыми людьми. Тут-то и обнажается вся затаенная свирепость этого романа, заставившая «Дейли телеграф» забыть былые впечатления от «Пути наверх». Книга Силлитоу как будто встряхивала читательский мозг, преподнося ему с мельчайшей отчетливостью привычное и незамечаемое им состояние бесконечной бытовой войны — все против всех — на примере рядового крепкого парня Ситона; это было художественным прозрением в самый образ жизни, которую ведет рядовой человек в буржуазном мире.

Что это за образ жизни? Вот Ситон приходит вместе со своим двоюродным братом Фредом после работы в пивной бар; он глотает одну пинту за другой, радостное чувство силы наполняет его. Его задевает какой-то парень, Ситон притворяется вежливым и просит, чтобы тот извинился; тот, разумеется, смеется,— что же, уловка удалась: хлоп! — удар в челюсть, и парень летит в объятия своих друзей. Начинается драка, вожделенная драка: кто кого? Конечно, успех на стороне Ситона — они не видели, пока он сидел за столом, какого он роста, и недооценили его мощь; серия отличных ударов, и вот они уже с Фредом на улице, сопровождаемые ревом растерявшихся парней,— вовремя убежали. Настроение повышается. Что дальше? Их настигает маленький автомобиль и чуть не сбивает; человек вылезает из машины, проклиная их за то, что они не там шли. Тоже прекрасный повод: братья встряхивают незнакомца так, что тот обмякает, как мешок, и с торжеством, проверяя свою силу, переворачивают вверх колесами автомобиль — пусть знает.

Потом наступает время любви. Артур посещает попеременно двух женщин, мужья которых слишком заняты работой; вдобавок, они сестры; это приводит его в восторг и наполняет гордостью: кто еще из его приятелей может похвастаться чем-то подобным? Его увлекает эта игра, все протекает очень просто и, в общем, не нуждается в объяснениях. Правда, муж одной из них, Джек, его товарищ по работе и «чертовски хороший парень», но, что поделаешь, ему не повезло. Однако, если бы, думает Артур, моя жена

попробовала поступить так, я бы живо наставил ей фонарей и отправил назад к маме. Сам Артур не женат, но он знаком еще с девушкой, к которой он присматривается, ходит с ней в кино,— Дорин. Получается такой сбалансированный треугольник, причем одна из женщин знает о нем, Дорин что-то подозревает, но молчит, и в этом не ощущается никакого особого растления и разврата; просто люди свыклись с мыслью, что иначе и быть не может: если не ты, так облапошат тебя. Бытовая война знает свои законы, и их приходится соблюдать.

Чем еще занимается Ситон? Иногда он навещает своих братьев и играет с ними в карты. Это для всех участников необыкновенно серьезное дело, ему предаются с упоением; восклицания, исполненные страсти, и ругань сопровождают каждый ход. Сцена картежной игры описана в романе Силлитоу столь же весомо и с равномерным вниманием к каждой мелочи, как сражение гомеровских героев. И это в самом деле важно для понимания того образа жизни, о котором идет речь. Потому что хотя Ситон и терпит потом какое-то крушение (его отчаянно бьют нанятые одним из обманутых мужей ребята) — все же не в перемене событий и не в их итоге (Артур женится) открывается художественная идея этого романа; она — в ощущении невероятного убожества и стандарта жизни, по которому действует и живет, не сознавая того, толковый и сильный человек.

Такова простая и потому неотразимо действующая жестокость этой книги. Ее дает почувствовать и как бы освобождает для нас именно стиль, способ рассказа, принятый автором. Силлитоу возвращает роману достоинства простой истории. Он излагает все, что случилось с Артуром, совсем не так, как если бы это оказалось каким-нибудь интересным происшествием, которое не терпится рассказать, а странно, как будто в ответ на вопрос: ну, что с тобой сегодня было? Да так, знаешь, ничего особенного. У него не видишь нигде намерения подстроить, подогнать жизнь, сделать из нее событие; но тем острее вдруг чувствуешь, что событие есть, только оно рассредоточено в той обыденности, которая не укладывается ни в какой сюжет. Поэтому для читателя, привыкшего к современным романам с неумолимой захватывающей логикой мысли, стиль Силлитоу может сначала показаться неумелым и как бы ненацеленным, не знающим, куда повернуть. Это обманчивое впечатление.

О нем стоит сказать, потому что и второй роман Силлитоу, который начинает печатать «Иностранная литература», открывается в той же неторопливой манере и, чтобы войти в нее, принять, требуется некоторое время. Через каких-нибудь пятнадцать-двадцать страниц мы так или иначе почувствуем, что за этим незначащим описанием скрывается сила. Силлитоу обнаруживает себя как настоящий писатель: он пренебрегает быстрыми выводами и не спешит закончить свою мысль логически четким рассуждением; он уверен — и эта уверенность постепенно сообщается читателю,— что в самовольном течении подробностей жизни таится более глубокая мысль, которую можно четким рассуждением «припечатать» и закрыть.

Поэтому вместо завершений и закруглений он спокойно продолжает свой перечень. И вот эти житейские мелочи вдруг как бы крупнеют, раздвигаются, начинают говорить; вновь, как и в первом романе, самые простые происшествия расписаны здесь обстоятельно, с уверенностью в том, что они значительны для понимания целого.

Когда мы знакомимся с новым героем Силлитоу Брайном, перед нами предстает обыкновенный мальчишка, сын безработного, и все, что с ним происходит, как будто намеренно лишено тех известных из детской литературы положений, которые давно и, в общем, вполне по праву умиляют читателя. Нет здесь ни наивно правдивых слов, которыми ребенок внезапно пристыжает свыкшихся со всем отцов, исторгая у них очистительную слезу, нет любовно рассказанных детских игр и забав, к которым уже никогда не вернется практичный взрослый человек, нет, наконец, и драм легко ранимой души, которую калечит жестокость мира. Зато есть у Силлитоу трезвость и простота, которая позволяет писателю видеть эти милые ребячьи черты чуть-чуть современнее: рядом со всеми другими и не в прежнем отсечении от взрослых.

Брайн растет вместе со своей семьей, соседями, старшими и младшими друзьями. Он копошится вместе со взрослыми на мусорной свалке, собирает объедки со столиков кафе и помогает официантам разносить пивные кружки; он ненавидит «седую

жабу» — своего школьного учителя мистера Джонса, хотя и любит слушать, как тот читает Стивенсона; в припадке гнева думает о том, чтобы «зарубить отца топором, если только удастся раздобыть топор», ворует книги и пр. Но эти же книги он не только ворует; когда не удается украсть — он покупает их, собирая последние гроши; он забывается в работе и делает ее безупречно — совсем не потому, что может получить какие-то выгоды, и т. д. Словом, эти первые части книги Силлитоу написаны в том же приблизительно духе, что и роман «В субботу вечером и в воскресенье утром»; они дают в непрерывности трезвых наблюдений один большой образ жизни, вместе с которой бредет (пусть еще маленький) герой. Кажется, что ему не подняться над своим детством и вслед за комиксами и мусорной свалкой пойдут лишь карты, драки, пивные состязания и любовные свидания в кино.

Однако герой этот, хотя также носит фамилию Ситон, уже совсем не тот, что Артур, и судьба его оказывается не столь безнадежно связанной с бытом, как у Артура. Больше того, в этой книге появляются уже совершенно новые мотивы, указывающие для Брайна реальные выходы из того состояния, в котором пребывал Артур; поэтому книга эта, собственно, и называется «Ключ от двери». Нам снова нужно, впрочем, оговориться, что такого уж единого удобного ключа, который бы «открывал» все проблемы, герой не получит; ответ и выход виден только сквозь все содержание романа, и особенно в последних его частях, когда Брайн попадает в качестве военнослужащего в Малайю, где становится невольным участником событий, прямо связанных с основными проблемами нашего времени.

Здесь, в условиях колониальной войны, его личность и несколько «сырые» еще убеждения подвергаются серьезным испытаниям. Он видит, что большинству окружающих его солдат совсем не нравится убивать, что они, как и он, вовсе не желают мешать малайцам самим управлять их землей и даже хотели бы что-то для этого сделать, как говорит один из его товарищей, «сделать то... что можно сделать, не изменяя себе» они задумываются о том, как перестроить жизнь, чтобы люди всегда могли поступать сообразно достоинству человека. Но как этого добиться? Брайн начинает решительно искать этот выход — прямым участием в обступившей его, полной неясностей жизни.

Но не потому только, что его занесла куда-то судьба, сдвинулся и расшатался этот закованный и закрепленный обществом наглухо характер. В нем есть и что-то более ценное — Силлитоу (это немалая заслуга писателя) не вложил это в него, а так же, как и все прочее, угадал, заметил талантом — возможность к собственному движению, способность человека преодолеть и сломать свой внутренний потолок, который построили ему невидимые внешние инженеры, и подняться к иному пониманию жизни. Брайн имеет эту способность, чувствует ее в себе и упорно пробивается к ней; в романе есть для этого отличное сравнение. Силлитоу говорит, что думать для Брайна означало то же самое, что плавать под водой: «одолеть мысли так же невозможно, как глубину. И все же она всегда тянула его к себе, словно обещая, что в один прекрасный день он сможет, не подвергаясь опасности, погрузиться вглубь» ...Добраться до существа дела, найти «ключ от двери» Брайну становится так же необходимо, как прежде выпить пива или увидеться с Полин.

Не стараясь предварить читательской оценки, следует все же отметить это тонкое и непроизвольное, без нажима, умение Силлитоу раскрыть существо внутреннего роста героя, изменение и прояснение его сознания, приближение к передовым идеям времени. Писатель не боится при этом никаких реальных противоречий, в которых неизбежно движется это сознание. Особенно хорош эпизод в горах, когда Брайн впервые сталкивается с бессмысленной смертью своего товарища, смертью, которая касается и его личного поведения в этой войне; сложность и моральная острота этого эпизода напоминают окончание гриновского «Тихого американца».

Наконец, помимо похвал роману, которых он, несомненно, заслуживает и которые еще будут сделаны, можно было бы отметить и некоторый его изъян, имеющий более широкое значение, чем успех или неуспех книги одного писателя. Дело в том, что в произведениях многих прогрессивных западных художников — самых разных, интересных и глубоких — в последнее время встречается известное, как бы это точнее сказать, раздвижение человека на два полюса: биология и социальность. Иной раз в характере понравившегося тебе героя или даже целой

группы лиц замечаешь какое-то распыление цельности человека или отсутствие внимания к ней; главные моменты его жизни как будто распадаются надвое: ничем не укротимые, в каком-то смысле слепые страсти и трезвая, рассудочная, прямая связь с миром социальных отношений. Мне кажется, таким раздвоением страдает, например, нашумевший фильм Висконти «Рокко и его братья». Подобно ему и в романе Силлитоу герой тоже без основательной «середины» переходит от одного к другому; миру страстей соответствует тут даже символическая тема «джунглей». На это, правда, можно было бы возразить, что такое обособление порождается самой современной действительностью западного мира; однако это еще не значит, что художник должен его всецело принимать и тем самым как бы узаконивать.

Но так или иначе, эти отдельные возражения не могут, конечно, умалить тот факт, что в лице Силлитоу современная английская литература получила многообещающее новое имя. Важно и то, что имя это не одиноко и направление, которому стремится следовать Силлитоу, имеет в английской литературе богатую традицию.

В статье «Пролетарские романисты», опубликованной в журнале «Букс энд букмен», Силлитоу рассказал, какое впечатление произвел на него роман Роберта Трессола «Филантропы в рваных штанах». Эта книга одного из лучших рабочих-писателей Англии, погибшего от истощения и в полной безвестности в 1914 году, случайно попалась ему во время военной службы в Малайе: «Я пробежал глазами первые слова и прочел всю книгу не отрываясь, потому что нашел в ней что-то отличающееся от того опиумного болота — вроде Райдера Хаггарда и других писателей,— которым к тому времени был сыт по горло. Читая ее... я снова переносился в те времена, когда я, только что окончив школу, занимался далеко не легкими делами, впрочем, не без удовольствия: чистил забитые сажей и удушающей копотью дымоходы заводских печей, гигантские котлы, внутри которых мерцала тусклая свеча и из которых приходилось то и дело выбираться, чтобы глотнуть свежего воздуха. Моя первая встреча с «пролетарским романистом» как бы заново открыла для меня все эти вещи, показала мне, что жизнь, которую я вел, была достаточно интересна, чтобы писать о ней».

Силлитоу считает, что в современной английской литературе сложилась уже большая группа писателей, продолжающих традиции Трессола; он называет тут Джона Брейна, Джона Питти и других. К этим писателям можно было бы прибавить и его самого, согласившись с данной им оценкой в целом: «В сравнении с тридцатыми годами современный пролетарский роман обладает новым видением. Тогда он просто выражал настроения угнетенных слоев, теперь развивается в полноправный вид художественной литературы... И не в пример тридцатым годам, пролетарский роман явился к нам затем, чтобы занять действительно подобающее ему место, он вливает в английскую литературу свежие силы и сообщает столь недостающую ей энергию».

Силлитоу исполнен уверенности в том, что искусство молодых романистов еще сыграет важную роль в общественной жизни Англии. Он считает, что эта литература может намного расширить свои задачи...

«Нет, впрочем, никаких причин к тому, чтобы ныне возрождающаяся группа пролетарских романистов писала только о том, что связано с их детством, юностью в рабочей среде. Они должны завоевать более широкую аудиторию, развеять тот успокоительный гуман, которым радио, телевидение и печать тщательно обволакивают важнейший факт нашего современного бытия: водородную бомбу. Они должны поставить себе целью разбудить тех людей, которые пожимают плечами и говорят: «Что я могу тут поделать?» — встряхнуть их и вынудить к действию, используя искусство в качестве скрытого средства убеждения, которым можно добиться большего, чем добилась любовая пропаганда 30-х годов».

Можно сказать, что Силлитоу своего читателя поставил с ключом перед дверью; мы не сомневаемся, что она будет открыта и писатель еще не раз расскажет нам, что он за этой дверью увидел. Так или иначе, читатель уже понял, что к его свидетельству стоит прислушаться.

И. ТЕРТЕРЯН

ЖОРЖИ АМАДУ, КОТОРОГО МЫ ЗНАЕМ

Те, кто прочитал две последние книги Жоржи Амаду («Габриэла» — 1958 г. и «Старые моряки» — 1961 г.) *, были удивлены и до некоторой степени поставлены в тупик. Откуда эти книги, столь непохожие с первого взгляда на прославленные, переведенные на все языки романы Амаду? Откуда эти странные полуанекдотические сюжеты, этот иронический тон рассказчика? Удивляло и невиданное у прежнего Амаду стремление к формальному блеску. Язык новых его книг поражает артистизмом, гибкостью повествовательной интонации. Вот хотя бы начало повести «Полная правда о спорных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Арагон»:

«Правда находится на дне колодца»,— прочитал я однажды то ли в какой-то книге, то ли в газете — не могу припомнить. Во всяком случае, это было набрано типографским шрифтом, а разве можно не верить печатному слову?

Я, по крайней мере, не имею привычки подвергать сомнению и уж тем более опровергать суждения, высказанные в литературе или в периодической печати. Если этого вам мало, могу прибавить, что многие великие люди не раз повторяли вышеупомянутый афоризм, и думаю, что они не совершали ошибки, когда стремились вытащить правду из колодца и поместить ее в более подходящее место: например, во дворец («правда — в королевском дворце») или в постель к красавице («на груди у красотки всегда найдешь правду»), а то еще на край света («иди за правдой на край света») или у бедняков («бедняк правду знает»). На мой взгляд, такого рода изречения звучат куда изящнее, они не столь грубы и не оставляют такого гнетущего впечатления холода и одиночества, каким веет от слова «колодец».

Почтеннейший доктор Сикейра, судья в отставке, весьма порядочный и всеми уважаемый житель нашего предместья с сияющей ученой лысиной, разъяснил мне, что в данном случае мы имеем дело с общепринятым сочетанием слов, смысл которого настолько ясен и известен, что им пользуются все, и оно постепенно превращается в пословицу. Затем, как всегда внушительно и безапелляционно, он добавил одну любопытную деталь: правда не только находится на дне колодца, этого мало — она сидит там совершенно нагая, не прикрытая ничем. Да, да, на дне колодца — и абсолютно голая...»

В этом шутливом зачине несколько языковых слоев. Велеречивость, этакое плетение словес, напоминает закругленность периодов и тяжеловесность португальского литературного языка конца прошлого — начала нашего века. Обыгрывание поговорок возвращает нас к народной разговорной речи. Пространные рассуждения по поводу привычных языковых идиом настраивают читателя на несколько несерьезное, ироническое отношение к тому, о чем будет рассказано.

* Роман «Габриэла» вышел в русском переводе в 1960 г. Книга «Старые моряки» скоро выходит в издательстве «Иностранная литература». Книга включает две повести — «Необыкновенная кончина Кинкаса Сгинь Вода», которую мы печатаем в этом номере, и «Полная правда о спорных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Арагон».

Из этой скорлупы иронии и словесной стилизации чуть проклевывается какой-то скрытый смысл. А может быть, и есть в этом мире, легко и весело создаваемом писателем из игры, из каламбуров, из шутки, какая-то правда, «на дне колодца — и голая...»!

Попробуем установить, так ли это.

Повесть «Полная правда о спорных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Арагон» выстроена как бы из нескольких плоскостей. Вторая часть повести — это подлинная история жизни средней руки коммерсанта, мечтавшего о каком-нибудь звании и купившего себе звание капитана дальнего плавания, ни разу не ступив на корабельную палубу. Эта история насыщена сатирическими подробностями буржуазного быта, от которых не очень-то благовонно попахивает мошенническими сделками, сомнительными развлечениями, бездельем «золотой молодежи». А в первой части повести мы видели эту же историю в преображенном виде — ее преобразила фантазия героя... Он живет жизнью, в которой переплетаются реальность и мечта. И мир призрачный, фантастический становится более реальным, чем тусклая, тягучая жизнь мещанского предместья, где поселился наш состарившийся «капитан». Созданные его фантазией танцовщицы и моряки как будто ходят по улицам Перипери, более «настоящие», чем отставные чиновники и дельцы, стригущие купоны. Выдумка стоит за плечами у действительности, бесцеремонно вторгается в нее, заставляя и нас на минуту усомниться в ее нереальности. Да полно, неужто это все вранье? Может быть, он и вправду капитан дальнего плаванья, может быть, и вправду были бури в Бискайе, схватка с акулами в Красном море и страстная любовь в Макасаре? Но автор умеет одной деталью возвратить нас снова к реальности.

И, наконец, в книге есть еще рассказчик, его рассуждения, его соперничество с неким ученым, почтенным судьей из-за любви легкомысленной мулатки Дондоки. Написаны эти отступления так, что мы чувствуем, как автор захлебывается от смеха и зажимает себе рот рукой, чтобы принять комически-серьезную мину летописца подвигов славного «капитана дальнего плавания».

Все эти повествовательные плоскости пересекаются, перемежаются, взаимопроникают. Композиция романа как бы повторяет характер героя, «малую вселенную», окружающую его. Ведь он так и живет в двух мирах — реальном и выдуманном, он ежесекундно переходит из тупого однообразия Перипери, с его сплетнями, покером и ежемесячными поездками в город для стрижки купонов, в романтическую жизнь «морского волка», жизнь, овеваемую бризами и пассатами всего света.

Но что дает ему право на мечту — на это хотя бы иллюзорное бегство от пошлости буржуазного мира? Почему не принадлежит целиком этой пошлости маленький «последыш» купеческого дома, проживший самую заурядную и незначительную жизнь? Жизнь он, конечно, прожил впустую, но не служил верой и правдой чистогану, не скопил состояния, оказался не способен к коммерции, карьере. Он всегда сохранял какую-то частичку романтического мира, о котором мечтал, самую маленькую частичку — доброту, привязанность к людям. И вот что существенно — как бы неузнаваемо ни изменяла его фантазия обыденный мир, что-то очень важное в людях она сохраняла и проясняла: так, проститутке Дороти, превратившейся в его сказке в тоскующую аристократку, присущи пылкость, женственность, страстность — все, что и было, наверно, в этой девочке до того, как ее развратил и погубил богатый негодяй... Грузчик Джованни получает другую, романтическую судьбу моряка и сохраняет мужественность, верность — таким он, наверно, и был, старый негр Джованни. Мечта украшает жизнь, даруя каждому свое. И вместе с тем, это мечта «маленького человека» буржуазного мира — на самой его мечте лежит отпечаток пошлости, кинематографической стандартности.

Он жалок и смешон, этот Мюнхаузен из пригорода, и рассказчик все время улыбается, когда повествует нам о его двойной жизни. Впервые поднявшись на капитанский мостик, Васко приказывает: «Бросить все якоря и швартовы!» Другой команды отдать он не может, ибо не знает даже назначения якорей. Пассажиры и моряки хихикают. Какой же капитан бросает все якоря в маленькой гавани, где никогда не бывает океанских бурь? Здесь и мог бы писатель оставить своего героя, осмеянного и униженного действительностью. Но он поступает иначе, он совершает чудо: поднимается невиданный шторм на море, чтобы подтвердить отчаянную команду капитана,

видящего, что рушится мир, созданный его воображением. Пусть существует мечта, отвечает море, которое любит фантазеров (даже если они немного привирают).

Впрочем, так мирно разрешается этот конфликт еще и по закону жанра. Это комическая повесть, а в ней герой должен торжествовать, побеждая остроумием или удачей маловеров и скучных скептиков, победить же героя может лишь смех художника, который его создал. Конечно, это вовсе не означает, что Амаду считает такое сосуществование действительности и вымысла подлинным решением конфликта между прозой буржуазного общества и романтической мечтой. Что это не так, лучше всего показывает повесть «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода», включенная вместе с «Васко Москозо де Арагон» в сборник «Старые моряки» (обратим, кстати, внимание на объединение этих двух произведений в одной книге — очевидно, по мысли автора, они дополняют друг друга).

Но, прежде чем говорить об идее этой повести, надо разобраться, что же в действительности произошло с Кинкасом Сгинь Вода. Находился ли он в летаргическом сне, принятом за смерть, и, очнувшись потом в гробу, жестоко посмеялся над родственниками и умер так, как он всегда хотел умереть? Или же он умер нормальной, обычной смертью ночью в своей комнате, а все дальнейшее — лишь плод воображения? Читатель волен выбирать любую из этих версий. Автор умело рассеивает детали, наталкивающие нас и на тот, и на другой путь. Вскользь он замечает, что врач, выписавший свидетельство о смерти Кинкаса, был молод и явно только что окончил университет, ибо изо всех сил разыгрывал опытного медика. С другой стороны, бранные слова, сказанные Кинкасом в гробу, слышит только Ванда. Другие же родственники как бы не замечают этого или не обращают внимания на непрекращающуюся борьбу отца и дочери. Но разве эта борьба не отражение того, что происходит в душе Ванды и что так подробно показывает писатель,— всей этой вспышки оскорбленной благопристойности, ненависти к отцу, страха перед ним, даже мертвым? А когда появляются друзья Кинкаса, комически-серьезное отрицание рассказчиком того, что они пьяны, лишь подчеркивают детали, которые он из «уважения к истине» не может скрыть: красноту их глаз, заплетающиеся языки, нетвердую походку. Да и потом, в описании ночной фантасмагории, рассказчик нет-нет да и бросит намек: вытянутые, несгибающиеся ноги Кинкаса, послужившие причиной потасовки, или кашаса, которая то и дело проливается ему на грудь... Наблюдательный читатель имеет все необходимое для разумного объяснения описываемых событий. Но так ли уж оно нам нужно, это рациональное объяснение? Ведь не спорим же мы всерьез о том, мог ли нос удрать с лица майора Ковалева или могут ли утопленницы выходить на берег в майскую ночь. Почему же нам и здесь не принять ту, пусть фантастическую, версию, в которую поверили рыбаки и грузчики, бродячие поэты, негры и мулаты Баии? А поверили они потому, что эта неправдоподобная, абсурдная версия близка мифологической, фольклорной стихии. Воскресение героя и его вторая смерть — не будничная, случайная, нелепая, а романтическая, красивая — такое пересоздание реального факта знакомо, наверно, фольклору всех народов. А в Бразилии народное сознание и сегодня гораздо в большей степени, чем у европейских народов, спаяно с фольклором, реализуется в фольклорных формах. Этой условностью фантастического сюжетного хода писатель как бы вводит нас в народный поэтический мир, передает нам его видение жизни.

Само противопоставление мещанской узости, скупости, тошнотворной «порядочности» — и душевной широты, щедрости тех, кого называют отребьем общества, не ново в литературе. Вспомним горьковских босяков (влияние Горького вообще явственно ощущается в повести Амаду, это заметили многие бразильские критики). В «Необычайной кончине» антитеза мещанство — люди «на дне», во-первых, очень национально конкретна, а во-вторых, обобщена до поэтического символа. Амаду удается это сделать — он владеет и бытом, и романтикой. Быт и романтика всегда были двумя сторонами его писательской индивидуальности. Точные, материально ощутимые описания быта баиянского простонародья — и образ моря, самый широкий, самый всеобъемлющий символ движения, борьбы, мятежности.

В «Васко Москозо де Арагон» Амаду осыпает насмешками представителей буржуазного общества, издевается над ними и прямо, и с прозрачно язвительной почтительностью. Вот на пароходе ведут бесконечные пустопорожние политические споры сенатор и депутат, а за их наивными, дурацкими рассуждениями о политических событиях

маячит большая, серьезная жизнь. И все комические события повести обретают реальный масштаб рядом с этой настоящей жизнью, и юмор находит свое место — маленькое, но необходимое.

В «Кинкасе Сгинь Вода» мещанство не только смешно, оно отвратительно. Мы понимаем справедливость Кинкаса, когда он выплевывает в лицо дочери слово «гадюка».

Друзья Кинкаса и сам Кинкас, забулдыги, пьяницы, гуляки, тоже изображены не без юмора. Но все то человеческое и светлое, что автор видит в них,— доброта, бескорыстие, дружба,— все это вбирается и освещается одним образом — морем. Кинкас Сгинь Вода тоже никогда не плавал на океанских судах, но народ называет его уважительно «старым моряком». Народ признает его право на звание «моряка», хотя он никогда не рассказывает волнующих историй о вымышленных путешествиях. Он близок морю в другом — в душевной широте, свободе, неприятии ханжеской благопристойности и привычного эгоизма.

Образ моря всегда был слит с мужественными и сильными людьми — рыбаками, моряками, грузчиками. С ними когда-то находил свою «дорогу домой» тоскующий герой романа «Жубиаба». Потому что в ранних романах Амаду море воплощало могучее народное начало, вечно бунтующее, грозное и очищающее. И в новой повести герой идет к рыбакам, чтобы с ними, а не с чужими ему родственниками провести последние минуты жизни. Много рыбы наловил сегодня рулевой Мануэл — и каждый может прийти к нему. Он спустит на воду баркас, и все будут есть вкусную мокеку и петь морские песни. Человеческая щедрость и море — ради этого воскрес Кинкас. В «Васко Москозо де Арагон» море утверждает мечту, разрушающую бессмыслицу буржуазного бытия. В «Кинкасе Сгинь Вода» море утверждает вечную непримиримость, смертельную враждебность народного сознания, народной поэзии буржуазному образу жизни. Кинкас уходит в море, в бурю — не для него «приличный гроб» и фарисейски пышный ритуал похорон «как следует».

Так, вчитываясь в веселые, озорные рассказы Амаду, мы докапываемся до правды «на дне колодца». Последние книги Амаду объединены не только неоспоримой и тщательной работой над словом. Писатель пытается передать народное восприятие жизни, атмосферу фольклора. Это не новая для Амаду художественная задача. «Старые моряки» связаны по самой своей сути со всеми прежними романами Амаду. В юношеских книгах «Какао» и «Пот», в цикле романов о своем родном городе Баие («Жубиаба», «Мертвое море», «Капитаны песка»), в дилогии о земле какао, наконец в эпопее народной жизни, созданной им в пору зрелости — в «Красных всходах» и «Подполье свободы»,— всегда он стремился стать выразителем духовного мира бразильского народа. Сейчас эта задача определяет работу писателя над каждым компонентом художественного целого: в фабуле, в композиции, в языке он воплощает характерный бразильский народный юмор и богатство фантазии, свойственное народной поэзии. Вживаясь в фольклорный мир, Амаду по-новому раскрыл главную художественную идею своего творчества. Ее можно определить как внутреннюю враждебность народного сознания, даже в самых примитивных его формах, буржуазному миру. Один из самых консервативных, рьяно католических бразильских критиков Алсеу Аморозо Лима сокрушенно писал о романе Амаду «Габриэла», что и в этом произведении «по-прежнему отражается философия жизни, исповедуемая писателем, а именно: марксизм. Отражается, и очень сильно». Ну что ж, с этим мы согласны. Философия жизни в «Необычайной кончине Кинкаса Сгинь Вода» определяет точку зрения художника на народный характер, противопоставляет этот характер тому, что исторически обречено, что мертво в отличие от неумирающей народной стихии. Трудно строить прогнозы, особенно относительно творчества такого сложного и своеобразного художника, как Амаду, но в истории литературы нередки случаи, когда то, что представлялось странным и неожиданным эпизодом, оказывалось для писателя поиском, подступом к новому, более глубокому обобщению жизни. Нам кажется, что «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» для Амаду такой подступ, начало какого-то нового, очень значительного этапа. И, закрывая последнюю страницу повести, мы радуемся, что талант Жоржи Амаду, талант большого национального художника, которого мы знаем, засверкал новыми гранями.

АЛЬВА БЕССИ

НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ РОМАНЫ

(Письмо из Сан-Франциско)

Вот уже много месяцев четыре новых романа не исчезают из списков наших бестселлеров. Сам за себя говорит тот факт, что два из них раскрывают тему «холодной войны» очень злободневно и очень страшно; третий посвящен операциям американцев на Тихом океане во время второй мировой войны, а четвертый представляет собой попытку философски оценить мир, в котором мы живем сегодня.

Первые два романа не претендуют на какую-либо художественную ценность, но они посвящены важным проблемам, тревожащим многих: во-первых, опасностям, которыми чреват возможный захват власти в Америке военно-промышленной группой, и, во-вторых, обсуждаемой всем современным миром возможности того, что всеобщая ядерная война начнется из-за несчастной случайности.

Это — романы «Семь дней в мае» Флетчера Небела и Чарльза Бейли и «Безотказная система» Юджина Бердика и Харви Уилера.

Небел и Бейли связаны с влиятельной вашингтонской газетно-журнальной компанией Каула (Каул издает иллюстрированный журнал «Лук» и такую газету, как «Де-Мойн реджистер энд трибюн»). Поэтому и тот и другой отлично знакомы с Вашингтоном и его закулисной жизнью, и их бестселлер наделал немало шума.

Почти в каждом критическом разборе романа Небела и Бейли встречается цитата из прощальной речи бывшего президента Дуайта Эйзенхауэра, в которой тот заявил, что «холодная война» породила постоянно действующую американскую военную промышленность, которая дает работу трем с половиной миллионам человек и забирает средств значительно больше, «чем сумма чистого дохода всех корпораций Соединенных Штатов».

Эйзенхауэр сказал далее, что это «сочетание гигантской военной машины и большой военной промышленности» является чем-то новым для Америки и что «мы не должны допускать, чтобы это объединение начало грозить нашим свободам и демократии».

Главный герой романа Небела и Бейли — полковник военно-морской пехоты США, у которого есть основания подозревать, что Объединенные начальники штабов намереваются захватить власть в свои руки, так как они опасаются возможности подписания договора о ненападении между США и СССР (в их заговоре принимают участие также некий сенатор и знаменитый телевизионный комментатор).

До решающего момента остается семь дней, и задача, стоящая перед полковником (а также перед президентом Соединенных Штатов, которому он сообщает о своих подозрениях), заключается в том, чтобы успеть собрать достаточно улик и предотвратить военный переворот.

Все критики, разбиравшие роман Небела — Бейли, почти единодушно соглашаются, что подобный переворот вполне возможен. Надо сказать, за последнее время появилось немало научно-политических книг и очерков, которые рассматривают эту возможность,— например, «Военное государство» Фреда Дж. Кука, бывшего журналиста, который пишет в традициях покойного Линкольна Стеффенса, а также книга под названием «Общество, пораженное страхом», анализирующая причины гонки вооружений. В последней прямо утверждается: «...несомненно, вооруженные силы в большей мере контролируют конгресс, чем он контролирует министерство обороны... Собственно говоря, военная элита занимает такое положение, при котором она без всякого труда может взять в свои

руки политический контроль над армией США».

Право на экранизацию романа «Семь дней в мае» приобретено известным киноактером Кирком Дугласом (поставившим «Спартак» и другие известные фильмы, где он снимался в главных ролях), и из газетных сообщений явствует, что министерство обороны отказалось участвовать в постановке этого фильма (министерство обороны сотрудничало со многими продюсерами, которые ставили фильмы, восхваляющие вооруженные силы США).

Как уже упоминалось ранее, книга «Семь дней в мае» не претендует на художественность, персонажи романа, по сути дела, картонные фигурки, однако большинство критиков считает, что все патриотически настроенные американские граждане должны серьезно задуматься над тем, что описано в романе.

Правда, вымышленный военный переворот в последний момент терпит в романе неудачу (к большому облегчению многих читателей), однако угроза подобного переворота не исчезнет до тех пор, пока будет продолжаться «холодная война».

■

«Безотказная система» Бердика и Уилера во многом схожа с «Семью днями в мае».

Бердик и Уилер выразили в своем романе страх перед тем, что мировая ядерная война может возникнуть в результате неполадок в одной из электронных систем предупреждения,— страх, знакомый очень многим.

Толчком к созданию этой книги мог послужить вполне реальный эпизод, имевший место примерно год назад, когда из-за неполадок в американской системе «раннего предупреждения» были «замечены» «неизвестные воздушные силы» на подступах к американскому континенту.

В результате по тревоге поднялись в воздух стратегические бомбардировщики США, но тут кто-то разобрался в природе ошибки, и бомбардировщики были возвращены на свои базы.

В «Безотказной системе» ошибка гораздо более серьезна, и американские бомбардировщики уже летят к намеченным на советской территории целям, в то время как президент Соединенных Штатов и глава советского правительства Н. С. Хрущев ведут разговор по прямому проводу Вашингтон — Москва, пытаясь выяснить, что же, собственно, произошло.

В своем предисловии Бердик и Уилер утверждают: «Быть может, катастрофа произойдет не так, как мы ее описали, но теория вероятности показывает, что эта катастрофа в конце концов произойдет». Некоторые читатели книги, в том числе литературные критики и люди, осведомленные в устройстве американских систем предупреждения, не разделяют столь пессимистического взгляда. Эти системы, говорят они, значительно изменены и улучшены, и ошибки тут быть не может.

Некоторые критики указывали на технические погрешности романа, однако, судя по всему, большинство читателей убеждено, что подобная ошибка возможна, и все растущая в нашей стране тревога (особенно усилившаяся после кризиса в районе Карибского моря) говорит о необходимости положить конец «холодной войне» и гонке вооружений, а также выливается во все более настойчивое требование американо-советских переговоров на любом уровне, которые привели бы к осуществлению этих столь желанных целей.

Как и в «Семи днях в мае», персонажи «Безотказной системы» — фигуры плоскостные, мало чем напоминающие живых людей, однако авторы и того и другого романа стремились не столько к созданию жизненных характеров (что, конечно, было им не под силу), сколько к исследованию тех опасностей, которые грозят сейчас американскому народу и народам всего мира.

■

Джеймс Джонс, чей первый роман «Отсюда в вечность» показывал американскую армию на Гавайских островах в дни мира и японское нападение на Пирл-Харбор, опубликовал еще одну книгу о действиях американских сил в Тихом океане.

Этот роман, о котором пойдет речь ниже,— четвертая книга Джонса, еще относительно молодого человека, но два романа, опубликованные после «Отсюда в вечность», ничего не прибавили к его литературной славе.

В «Тонкой красной линии» Джонс рассматривает наступление американских войск, имевшее целью вырвать Гвадалканар из рук японцев; его книга — документ, страстно обличающий военщину.

Как большинство американцев, принимавших участие в военных действиях (за исключением профессиональных военных, разумеется), Джонс ненавидит неукротимой ненавистью военную машину, ее влияние на личность солдата-гражданина.

Однако американцы храбро сражались в первой и второй мировых войнах. Ибо, хотя на протяжении 146 лет нашей национальной жизни для нас, американцев, было характерно отвращение к муштре, презрение к так называемому «милитаристскому складу ума» и уверенность, что основатели нашей республики поступили правильно, запретив «постоянные армии» (которых не было вплоть до последнего времени) и подчинив военную власть гражданской,— наш народ в трудные минуты умеет вести себя с мужеством и достоинством.

Поэтому персонажи нового романа Джонса сражаются доблестно, героически, самоотверженно, но никто из них не задумывается над причинами войны или природой фашизма. Они заняты только личными пробле-

мами: борьбой со страхом в сражении, с обвинениями в трусости, с военной машиной, стремящейся воспитать в солдатах жестокость, они тревожатся за жен, детей или невест, оставшихся на родине.

Как и «Отсюда в вечность», этот роман не дает широкой картины действительности — он написан в натуралистической манере, хотя местами и превосходно. Однако ни герои, ни автор так ни разу и не задумываются над происходящим и над тем, что оно предвещает Америке и всему миру.

Поэтому новый роман Джонса остается на уровне его первого романа, и оба они значительно уступают «Нагим и мертвым» Нормана Мейлера — книге, в которой делается попытка посредством художественных образов разобраться в современной политической ситуации, осветить проблемы фашизма и антифашизма, а также различные формы проявления американского шовинизма (к несчастью, после опубликования своего первого романа Мейлер как романист сделал значительный шаг назад).

■

Новый роман Кэтрин Энн Портер «Корабль дураков» и в художественном и в философском смысле значительно превосходит три вышеперечисленных романа.

Мисс Портер, уроженке Юга, больше семидесяти лет, и тридцать из них она посвятила созданию этого произведения. Таким образом, в романе воплотились наблюдения и чувства целой жизни (до сих пор мисс Портер опубликовала лишь сравнительно небольшое число психологических рассказов, посвященных анализу индивидуальных настроений и чувств и написанных очень изящно, а порой и просто хорошо).

Название романа точно выражает долго вынашивавшееся мнение писательницы о людях и, как пишет она сама, подводит итог всему, «что мне известно о человеческой натуре, роковых случайностях жизни и опасностях, грозящих человеческим взаимоотношениям».

Идея книги была подсказана старинной немецкой сатирической книгой того же названия. Роман Кэтрин Портер примерно в том же духе говорит о «мировом корабле на его пути к вечности».

Ее корабль — корабль немецкий, и он отправляется из мексиканского порта Вера-Крус в 1931 году в Бремен. Примерно сорок пассажиров первого класса (а также многие члены команды) описаны чрезвычайно подробно.

Кроме того, третьим классом едут восемьсот семьдесят восемь испанцев, мужчин, женщин и детей, которые работали на сахарных плантациях Кубы до краха на мировом рынке сахара и которых теперь высылают в Испанию. Эти люди, битком набившие душные трюмы, обрисованы не так подробно и не с той тщательностью, как пассажиры первого класса, но на их примере показаны последствия экономического кризиса и социальные сдвиги, сотрясавшие капиталистический мир в тридцатых годах. Корабль их направляется в Германию, которой вскоре предстояло попасть в лапы гитлеровцев.

Эта пролетарская масса, скрытая в трюме, под ногами преуспевающих пассажиров первых двух классов, служит фоном для подробного анализа малопривлекательного душевного мира пассажиров первого класса и членов команды.

Ибо на борту нет, пожалуй, ни одного по-настоящему симпатичного человека, буть то капитан — типичный прусский юнкер, или вечно пьяная американка — разведенная жена, или надменный немец-расист и немец-педант, или даже трогательная восемнадцатилетняя девушка, обреченная на безбрачие.

Пока длится плавание, эти люди ссорятся, ведут борьбу друг с другом и, заключая временные союзы, интригуют друг против друга. Их связывают сложные многоплановые взаимоотношения, несущие гибель не только им самим, но и окружающим, и почти все они, говоря словами одного критика, «уродливы телом или духом, беспомощны, лишены надежды, цели, друзей, потеряны и одиноки».

Интересно, что К. Э. Портер сама бессознательно обнаружила ограниченность своего кругозора в статье 1940 года, где она попыталась разобраться, почему ею написано так мало рассказов.

«Я не принадлежала к тем людям,— писала она,— которые могли процветать в условиях двух прошлых десятилетий»; ее жизнь была прожита «под постоянным страхом неминуемой катастрофы» во времена «гротескных сдвигов внутри общества, когда мир содрогался в болезненных судорогах роковых перемен».

В другой своей статье она пишет: «Вся политическая история мира представляет собой гнуснейший хаос, и одна эпоха отличается от другой только степенью гнусности, так что лишь святые и художники дают нам какое-то основание не стыдиться того, что мы люди».

Подобная точка зрения, независимо от того, порождена ли она личными неудачами или неумением увидеть животворные силы мира (то есть тех людей, которые едут третьим классом), во многом объясняет причины, помешавшие писательнице стать подлинно великим романистом. Она хорошо понимает — и ненавидит — буржуазию, которую изображает в своем романе, но она не понимает мира, в котором живут эти «пассажиры» разных классов, как они влияют друг на друга.

ПОЛЕМИКА

Р. ОРЛОВА

УСТАРЕЛИ ЛИ ИДЕАЛЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ?

«Надо ли награждать Нобелевской премией нравственные идеалы тридцатых годов?» — так формулируется основная мысль статьи, опубликованной недавно в газете «Нью-Йорк таймс».

Критик Майзенер, написавший эту статью, не любит писателя Джона Стейнбека. Это его, Майзенера, личное дело. Критику Майзенеру неприятно, что не любимый им Стейнбек получил международную награду. Что ж, и это можно понять.

Майзенер пытается доказать, что нобелевское жюри совершило ошибку; его статья, опубликованная в такой влиятельной газете, как «Нью-Йорк таймс»,— уже дело общественное, которое касается всех людей, любящих литературу.

Критик говорит, что перечитывает книги Стейнбека теперь, «когда наши чувства уже не находятся под воздействием тех обстоятельств, которые так влияли на нас в тридцатые годы».

О каких именно «обстоятельствах», о каких именно «идеалах» говорит Майзенер? Он этого отнюдь не скрывает. В конце статьи он формулирует свою мысль весьма определенно: «Возможно, те европейцы, которые вручают премии, просто отстали от жизни и полагают вполне искренне, что представления тридцатых годов остались в полной силе и сегодня. Эта точка зрения подкрепляется стремлением европейских демократов-социалистов придавать преувеличенное значение сентиментальному гуманизму, в особенности тогда, когда этот гуманизм распространяется на бедных, да к тому же когда речь идет о бедных, существующих в обществе, которое — так кажется европейцам — является последним оплотом ничем не сдерживаемой капиталистической эксплуатации».

Тридцатые годы в Америке недаром называют «красными», одни — с ненавистью, другие — с любовью. Недаром и теперь, три десятилетия спустя, в изобилии публикуются романы, мемуары, литературоведческие и социологические исследования, цель которых — либо вовсе изгнать этот «неприятный» период из американской истории, либо фальсифицировать его: «Радикальный роман в США» Райдуата, «Современники» Альфреда Кейзина, «Левые писатели» Арона... С другой стороны: эпопея Лоренса «Семя», последний том автобиографической трилогии Дюбуа, «Антиамериканцы» Альвы Бесси, «Нет чужих среди людей» Джозефа Норта, да и вся тема испанской гражданской войны в современной американской литературе... Со страниц разных книг встают очень разные, подчас и прямо противоположные «тридцатые». Чем же эти годы были на самом деле? «Темным царством», как пытаются доказать реакционные критики, или «вторым открытием Америки» (Майкл Голд)?

Вокруг этой проблемы идет острая борьба. Статья Майзенера о Стейнбеке — один небольшой, но весьма характерный эпизод этой борьбы. Ибо Стейнбек формировался как человек и как писатель именно в тридцатые годы.

Майзенер совершенно прав, констатируя сочувствие Стейнбека обездоленным, его «гуманизм, распространяющийся на бедных». В решении нобелевского жюри сказа-

но, что произведения Стейнбека «реалистические и в то же время исполненные воображения, отмеченные и социальным прозрением и добрым юмором».

Только на наш взгляд в этом не слабость, а величайшая сила Стейнбека.

Жизненная и литературная биография писателя — в его лучших книгах — подтверждает его верность тому, что Майзенер презрительно именует «сентиментальным гуманизмом». Недаром молодой Стейнбек сам жил в палаточных городках, копал канавы, проделал с фермерами, согнанными с земли, тяжкий путь от Оклахомы до Калифорнии — он был сначала героем и лишь потом стал автором своего замечательного романа. Недаром уже 58-летний, всемирно известный, преуспевающий писатель предпринимает двенадцатитысячемильное путешествие «в поисках Америки» и путешествует не в самолетах или комфортабельных вагонах, а за рулем грузовой машины, чтобы быть как все на дорогах Америки: и слышит любимую речь, и ощущает запахи земли, и выбрасывает из машины случайного попутчика, оказавшегося расистом.

«Нравственные идеалы тридцатых годов», которые, вопреки Майзенеру, живы и сегодня, заставляют Стейнбека бросить налаженную жизнь и снова ехать, ехать по своей стране.

Майзенеру не нравится философия Стейнбека. Майзенер пишет: «... но, пожалуй, самый печальный пример разрушающего воздействия его пристрастия к философствованию — самый знаменитый его роман «Гроздья гнева».

Напомним читателям тревожные, горькие размышления Стейнбека из этого романа: «Если б вам, владельцам жизненных благ, удалось понять это, вы смогли бы удержаться на поверхности. Если бы вам удалось отделить причины от следствий, если бы вам удалось понять, что Пэйн, Маркс, Джефферсон, Ленин были следствием, а не причиной, вы смогли бы уцелеть. Но вы не понимаете этого, ибо собственничество сковывает ваше «я» и навсегда отгораживает его от «мы».

Когда на глазах голодных людей уничтожают «лишние» продукты, писатель кричит: «Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи... И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо картофель, слышат визг свиней, которых режут и засыпают известью в канавах, смотрят на апельсиновые горы, по которым сползают вниз оползни зловонной жижи; и в глазах людей — поражение, в глазах голодных зреет гнев. В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева, и недолго им осталось зреть».

Разве это «дурная философичность»?

Было бы странно вступать в спор по поводу того, изменился ли мир за тридцать лет. Но разве «Гроздья гнева» устарели? Разве нет уже голода и несправедливости? Разве в Америке и в мире исчерпано людское горе?

Майзенер считает, будто Стейнбек «устарел», полагает, что в романе «Зима тревоги нашей» нет жизни; «кажется, что автором владеет определенная абстрактная идея... и вся книга, несмотря на известное мастерство исполнения,— не что иное, как механическая конструкция, созданная для воплощения этой идеи». Думается, что эта характеристика относится не к роману Стейнбека, а к статье Майзенера. Его статья — действительно не что иное, как «механическая конструкция», причем воплощенная критиком идея — нападки на реализм и гуманизм Стейнбека — весьма ясна, вполне конкретна и крайне непривлекательна.

Впрочем, статья о Стейнбеке — не исключение в литературных упражнениях господина Майзенера. Так, в лекции «Два Хемингуэя» он объяснял творчество великого американца... трениями между его родителями. При такой методологии ни с книгами Стейнбека, ни вообще с реалистической литературой делать просто нечего.

В тот самый день, когда в «Нью-Йорк таймс» публиковалась статья Майзенера, Стейнбек в Стокгольме получал Нобелевскую премию и в традиционной речи, говоря об ответственности писателя, заявил, что «литературный успех не зависит от бледных критиков-кастратов, священников, проповедующих в пустых храмах. Литература не является игрой для немногих избранных...»

Так думает писатель Джон Стейнбек. Так думают и его читатели — шведы и французы, русские и американцы, которые, вопреки Майзенеру, читают и будут читать книги Стейнбека.

КУЛЬТУРА и СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

«О МЕСТЕ ПОЭТА В РАБОЧЕМ СТРОЮ...»

В одном из своих выступлений Иоганнес Бехер высказал мысль, что литература социалистической Германии будет развиваться особенно успешно благодаря «поэтической атмосфере» в стране, благодаря тому, что ее развитие будет стимулировать живая поэзия строящегося социализма. Время полностью подтвердило справедливость этих, сказанных еще в 1950 году, слов «большого немецкого поэта, мыслителя, политика», как назвал Бехера Вальтер Ульбрихт. Но если сейчас в ГДР созданы все условия для развития литературы, то это отнюдь не означает, что призвание писателя стало более «легким» — наоборот, его роль, его долг перед народом неизмеримо возросли. И молодым писателям ГДР, вступающим в литературу сегодня, особенно важно ясно понимать долг писателя перед обществом, сознавать свое место в жизни народа, ибо, как говорил Гёте: «Кому дорого дело, тот должен уметь стоять на стороне этого дела...»

Учитывая важность этой проблемы, еженедельник **«Зонntаг»** (ГДР) на протяжении ряда номеров публиковал материалы, помогающие молодым деятелям искусства социалистической Германии лучше ознакомиться с опытом старших товарищей, глубже вдуматься в политику Социалистической единой партии Германии в области искусства и литературы.

«О месте писателя в жизни» — под таким заголовком помещен на страницах еженедельника текст речи министра культуры ГДР **Ганса Бенциена**, которую он произнес при вручении премии имени Генриха Гейне Паулю Винсу и Герману Канту.

В своей речи министр культуры говорил об успехах литературы ГДР, о пути, по которому идет в ней молодежь.

> «Значительная часть литературной молодежи,— отметил он,— следуя мудрым указаниям нашей партии, связала свою писательскую судьбу с жизнью миллионов строителей социализма в нашей стране. И наша литература делает заметные успехи — образы рабочих и крестьян в новых произведениях становятся все пластичней, ярче, правдивей... Произведения становятся более художественными, изживается монотонность, идущая от схематизма, яснее обозначается индивидуальность писательских почерков».

Но Бенциен говорит и о писателях, которые превращаются в людей, взирающих на действительность глазами обитателя поэтической кельи, обставленной в стиле модерн. Результаты вполне понятны — когда человек перестает ощущать живой пульс современности, его зоркость притупляется.

Вывод отсюда, говорит в заключение Бенциен, может быть только один: писатель должен «стоять всегда впереди, на переднем крае, на высоте своего времени».

Та истина, что, только идя с партией, с пролетариатом, немецкий писатель нашего времени может пронести сквозь любые испытания воинствующий гуманизм, горячую веру в людей, с большой убедительностью раскрыта в напечатанной в «Зонntаге» статье писателя старшего поколения **Вернера Штейнберга «Мой путь к рабочему классу»**. Писатель, прошедший большой, трудный путь, делясь опытом своей жизни, пишет:

> «Окидывая мысленным взором минувшие полвека, я понимаю: мне ни за что бы не пронести через эти годы тяжелых испытаний человеческую доброту и не сохранить ясности взгляда на жизнь, никогда бы не написать тех книг, которые сейчас продаются в магазинах нашей республики, если бы уже в ранней юности я не испытал такого огромного влияния партии!»

Вернер Штейнберг рассказывает, как чтение Маркса привело его, восемнадцатилетнего юношу из буржуазной семьи, к участию в борьбе пролетариата, в ряды КПГ, рассказывает о годах антифашистского подполья, о заключении в фашистских застен-

ках, о своей борьбе за новую Германию по ту сторону Эльбы, где писателя застало падение «третьего рейха». Подводя итоги, Штейнберг говорит:

«Нельзя сказать, что я всегда сразу же понимал политику партии во всех вопросах. Но главное в ее политике — защита мира, строительство социализма — вошло мне в плоть и кровь, и потому, вполне естественно, в 1956 году я уехал из Федеративной Республики в ГДР, будучи твердо уверен, что здесь я окажусь полезней для общего дела. И вот здесь, в государстве, построенном под руководством нашей партии, сбылась мечта моей юности — жить и писать свободно».

О том, что лучшие молодые художники ГДР чувствуют все более прочную связь с народом, строящим социализм, и что в этом залог большого будущего искусства новой Германии, говорила в помещенной в «Зонntаге» статье **«Путь вперед»** известный скульптор **Леа Грундиг:**

«За последнее время у нас появилось много превосходных произведений, авторы которых — молодые художники,— отмечает она.— Эти молодые художники уже не сомневаются, какой путь им избрать. Они связаны неразрывными узами с рабочим классом. Они знают, что составляют с ним единое целое, и потому мы уверены: эстафета развития искусства социалистического реализма передается в надежные руки».

«О месте поэта в рабочем строю» говорил в своей речи на VI Съезде СЕПГ, помещенной на страницах «Зонntага», и поэт **Куба.**

Куба отметил, что призыв к мирному сосуществованию стран с различной системой ни в коем случае не предполагает мирного сосуществования идеологий, «перемирия» на идеологическом фронте. Писатели, которые забывают об этом, утверждает он, попадают на ложный путь, ибо недооценка идеологического значения литературы неизбежно ведет писателя к потере своего места в строю и, в конечном итоге, к тому, что такой писатель забывает об идеологическом противнике, начинает видеть в нем «объективного критика», верить в нелицеприятность его оценок, старается заслужить его одобрение и похвалы.

Наряду с этим Куба решительно возражал в своей речи тем писателям ГДР, которые недооценивают значения формы, полагая, что вопросы формы, стиля в литературном творчестве стоят обособленно от вопроса об идеологической роли литературы.

«Если содержание художественного произведения определяется позицией художника, его идеологией,— подчеркивал Куба,— и художник выбирает форму, отвечающую его идеологии, то и форма раскрытия содержания приобретает в произведении значение идеологического фактора и становится неотделимой от содержания».

Куба призывал дать резкий отпор тем, кто во имя ложно понятой «современности стиля» или из боязни быть обвиненным в «недостатке объективности» настаивает на необходимости проявлять «сдержанность» в чувствах при изображении сегодняшней действительности ГДР.

«Выражать чувства — несовременно! — иронизирует Куба.— Бога ради, держи свои чувства при себе! Иначе окажешься в лучшем случае старомодным, а то еще и угодишь в лакировщики...

Сколько было пролито крови и слез, прежде чем мы смогли построить наше рабоче-крестьянское государство. И что же, теперь, после всего этого, надо вдруг «охладеть»?! Я не хочу писать о наших делах «сдержанно» и «холодно», независимо от того, признают меня или обвинят в приукрашивании действительности. Об украшателях сказано уже более чем достаточно, о литературных очернителях — пока еще слишком мало».

Да, говорит Куба, о недостатках в сегодняшней жизни ГДР писать можно и должно. Но писателю нельзя ни на минуту забывать, что эти недостатки — пережитки буржуазного общества. Красоту новой жизни, утверждает Куба, нужно уметь видеть, и, чтобы научиться этому видению, художнику полезно почаще вспоминать о том, как мать смотрит на новорожденного:

«Новорожденный часто весь в морщинках. А мать считает его красивей всех. У какого поэта хватит духа обвинить ее в приукрашивании? Поэтому плох и тот поэт, который не умеет в каждом молодом, полном жизни ростке нового угадать красоту будущего цветения. Такой поэт просто не поэт».

Куба кончил свое выступление на VI Съезде призывом к писателям и художникам ГДР не бояться полноты чувств, пафоса, яркости красок при изображении новой жизни.

«Не надо бояться, друзья, что мы — поэты, художники, скульпторы — окажемся менее современными, если будем живописать нашу действительность самыми пламенными красками, если в голосе нашем зазвучат волнение и восторг. Восхищение неуместно только там, где нечем восхищаться,— в странах империализма. Да и там беспросветные тоска и отчаяние — удел лишь тех, кто стоит по ту сторону баррикады.

Кому нужен в нашем искусстве пепел умирающего буржуазного общества? Так перейдем же в наступление! Передадим немцам по ту сторону границы весть из нашего, социалистического мира на языке нашего искусства! Правда и красота, возросшие и сложившиеся на социалистической почве,— только они и современны, ибо являются социалистическими, как того и требует время».

СПЛОЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ

Крупнейшим событием в культурной жизни страны, стимулирующим еще большее сплочение всех творческих сил под знаменем партийности и социалистического реализма, явилась состоявшаяся 25—26 марта встреча руководителей партии и правительства ГДР с деятелями литературы и искусства. Большую речь произнес на встрече член Политбюро СЕПГ **Курт Хагер.**

Курт Хагер отметил особую важность для всех деятелей литературы и искусства ГДР тех положений, которые содержатся в выступлениях Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева, обращенных к советской творческой интеллигенции.

«Эти речи, в которых определены принципы и задачи художественного творчества, поставленного на службу построению коммунизма,— сказал Курт Хагер,— были с большим волнением изучены нашими писателями и художниками.

Указание товарища Хрущева, что сила советской литературы — в высокой идейности и художественности и что ее основной принцип — партийность и связь с народом, всецело применимо и к нашей литературе и искусству. Поэтому мы находим в этих речах поддержку проведению нашей политики в области культуры. И мне хочется подчеркнуть — мы целиком и полностью согласны с этими речами, по каждому их пункту».

Подводя итоги обмена мнениями, развернувшегося на встрече, с заключительной речью выступил **Вальтер Ульбрихт.**

В. Ульбрихт напомнил собравшимся о некоторых имевших еще недавно место в ГДР попытках ревизовать ряд положений марксистско-ленинской эстетики, поставить под сомнение идейно-художественные принципы искусства социалистического реализма, попытках, разоблаченных партией и встретивших решительный отпор со стороны подавляющего большинства творческой интеллигенции. «Находятся и такие,— говорит В. Ульбрихт,— кто принимает борьбу с культом личности и ликвидацию его последствий за провозглашение мирного сосуществования идеологий». Именно эта лживая, насквозь гнилая идейка мирного сосуществования идеологий, на деле направленная против социалистической идеологии, как показывает В. Ульбрихт, лежит в основе вредных, враждебных социалистическому реализму тенденций в литературе и искусстве.

«Отнюдь не случайно, что для людей, настроенных нигилистически, склоняющихся к мирному сосуществованию идеологий, формализм и абстракционизм становятся оружием борьбы против социалистической идеологии. Под прикрытием лозунга «борьбы с культом личности» они направляют удар по ведущей роли партии рабочего класса...

Нередко задается вопрос,— продолжает Вальтер Ульбрихт,— почему мы ведем такую решительную борьбу в литературе и искусстве против абстракционизма и формализма, против буржуазного декаданса, а также и против так называемого модернизма. Мы против любых форм декаданса, потому что они враждебны прогрессивным традициям и социалистическому развитию нашей культуры. Мы выступаем против буржуазного декадентства потому, что оно тормозит культурное развитие народа и находится в полном разладе с совершенствованием художественного мастерства, с развитием народного художественного творчества».

Путем развития социалистической литературы и искусства, подчеркивает Ульбрихт, остается открытый великим Горьким путь самого передового и гуманного искусства нашей эпохи — искусства социалистического реализма. Именно по этому пути направляет писателей и художников ГДР пример и опыт Бертольта Брехта и Иоганнеса Бехера.

В заключении своей речи Вальтер Ульбрихт останавливается на особом значении высокого художественного мастерства для разрешения идеологических задач, поставленных перед литературой и искусством ГДР VI Съездом СЕПГ:

«Так же точно, как рабочий, инженер, ученый борются за продукцию высокого международного класса, необходимо, чтобы и художник стремился к дальнейшему совершенствованию художественного мастерства, к решению новейших проблем, стоящих перед современной литературой, и связывал их решение с задачами развернутого построения социализма».

«ПЕРЕЖИВАЕМ ЛИ МЫ КРИЗИС РАЗУМА?»

«Век вывихнут...» — эти скорбно-скептические слова Гамлета стали неизменным рефреном почти во всех дискуссиях и ответах на анкеты о состоянии современной общественной мысли и о судьбах культуры, которые проводились на Западе за последние годы. То, что сознание буржуазного общества, его духовная культура находятся сейчас в положении крайне критическом, констатируют почти все участники подобных дискуссий и анкет. Но в чем причины? Где следует искать пути к спасению?

Недавно французский еженедельник **«Ар»** обратился к ряду деятелей французской культуры с очередной анкетой под общим заголовком «Не наступил ли сейчас кризис разума?».

Среди отозвавшихся на анкету — один из крупнейших в Европе физиков-космологов Пьер Оже и профессора теологии Да-

ниэлу и Морис Недонсель, философы Фердинан Алькие и Брис Парён и художники Карзу, Шаплен-Миди, Жорж Матьё, видный экономист и специалист по истории права Андре Пьеттр и писатель Мишель Карруж, один из столпов школы «нового романа» Мишель Бютор и католик-экзистенциалист, писатель и философ Габриэль Марсель.

Редакция сопроводила публикацию ответов на анкету «Ар» снимками, сопоставление которых очень ярко иллюстрирует постановку общего вопроса. На первом из них — пульт управления и сигнализации кибернетического агрегата. А рядом — изогнутая фигура человека с ножом, судорожно перехватившего чью-то руку с кастетом, занесенным над его головой... Таким образом, с одной стороны «думающая» машина, с другой — потерявший рассудок, взбесившийся человек, весь во власти яростного порыва, слепых инстинктов. А вот вторая пара снимков. На одном — репродукция известного портрета Коро: вдохновенное, освещенное изнутри напряженной мыслью лицо художника, с палитрой и кистью в руках, пытливо вглядывающегося в жизнь, в природу. А рядом — снимок, иллюстрирующий «творческий метод» известного художника-абстракциониста Никки де Сен-Фалля: мешок с банками красок, подвешенный над куском холста, фигура художника, прицелившегося из карабина в этот мешок,— сейчас прозвучит выстрел, и краски из разбитых банок, смешавшись неизвестно в каких сочетаниях, потекут на полотно... Перед нами символ искусства, шагнувшего от осмысленного, одухотворенного воссоздания жизни к абсурду, от творчества — к саморазрушению. Как же объясняют ответившие на анкету писатели, ученые, художники, богословы эти явления, эти противоречия?

Ответам по пунктам анкеты предпослано на страницах «Ар» эссе видного деятеля католической церкви **Л. Париа,** озаглавленное: **«В наши дни страшатся разума».**

> «Переживаем ли мы кризис разума? — пишет Париа.— Больше, чем просто кризис. Расстройство. Распад. И это влечет за собой кризис, затемнение, разрушение истины, ради познания которой, собственно, и существует разум.
>
> Поэтому сегодняшний мир захлестнут исступленной жаждой жизни, неистовством в мыслях и чувствах, деградацией человека, захваченного судорожным бытием. Упоение бешеной ездой, смахивающая на самоубийство смерть Джеймса Дина *, коллективное безумие поборников рок-н-ролла — эти, равно как и многие другие, явления нашей общественной действительности свидетельствуют о том, что бесцельное и без выходов за пределы собственного «я» существование разлагает нашу молодежь, дезорганизует и деморализует ее».

По мнению многих деятелей культуры, выступивших на страницах «Ар», о «кризисе разума» убедительней всего свидетельствует разрыв между современным человеком и новейшим западным искусством. Они как бы вступают в полосу «взаимного отрицания».

> «Если говорить об искусстве,— пишет **Жан Карзу,**— то да, кризис здесь сегодня налицо, поскольку человек XX века слишком порабощен техническими достижениями цивилизации и слишком подавлен неустойчивостью мира, чтобы сохранять контакт с художником. Поэтому и новейшая живопись порывает с современным человеком — между художником и зрителями разверзается пропасть».

Для новейшего искусства, отмечают многие, ответившие на анкету, человек как таковой вообще перестал быть мерилом значительности содержания — новейшее искусство объявляет его «вне закона».

> «Поиски возможностей применения абстрактного метода,— пишет **Габриэль Марсель,**— идут сейчас во всех областях искусства. Я называю это декадансом.
>
> Возьмите, например, музыку: она стала чисто экспериментальной... я говорю о «конкретной музыке». Архитектура? Да она просто перестала считать человека за человека... ей нет никакого дела ни до уродства зданий, ни до их неприемлемости с точки зрения удобств».

В чем же причины наступившего кризиса, где его истоки?

В беспомощных попытках ответить на этот вопрос тоже в известной мере сказывается «кризис разума», о котором идет речь, то есть кризис современной буржуазной общественной мысли, бессильной преодолеть свою собственную социально-историческую ограниченность.

Но хотя никто из участников этого своеобразного симпозиума не «смотрит в корень», не выходит из порочного круга метафизических категорий, умозрительных построений или теологических догм, они «нащупывают», правда, не причины, а некоторые важные «составляющие» этого кризиса: разнузданный индивидуализм в сфере морали, субъективизм в области «чистого мышления» и т. д.

Так, по мнению Париа, современного человека отличает прежде всего разрушение единства, гармонии субъективного ощущения собственной индивидуальности и осознания объективного мира, разрушение, которое, по словам Париа, приводит «к утверждению субъективной этики, согласующей наши поступки с нашим пониманием мира, в противовес объективной морали, призванной согласовывать наши действия с волей господней».

То, что объективная истина не отождествляется больше с познанием бога, полагает Париа, «умертвляет истину», ибо основным эталоном разумности человеческой при этом неизбежно становится «мудрость» умывающего руки Пилата.

Безусловно соглашаясь с мыслью, что современное общество переживает «кризис

---

* Джеймс Дин — знаменитый голливудский актер, погибший в автомобильной катастрофе.

разума», **Мишель Бютор** связывает его с утратой современным человеком не веры в провидение, а самостоятельности мышления:

> «Разум человека XX века стал «управляемым»... Можно говорить о кризисе разума, поскольку речь идет уже не о человеке, который старается мыслить, понимать, а о некоей «элите», управляющей коллективным разумом».

В ответах на анкету разговор о растущей «технократии», порабощающей человека, убивающей в нем духовное начало, то и дело переходит на «потерю веры». «Утратив бога», человек-де стал безответным данником «общества-робота», мертвой «утилитарной цивилизации».

> «Поистине, мы — пленники общества, на которое наслали какую-то порчу,— так представляется положение **Мишелю Карружу**. — Самые чистые наши мысли вязнут в жизни, губятся летаргией нашего существования, простейшими условными рефлексами и иллюзорными перспективами».

Во многих ответах на анкету сквозит мысль, что нынешний кризис предопределен всей предыдущей историей человечества. Так, **Жорж Матьё** полагает, что это не специфический кризис культуры буржуазного общества, а кризис «человеческого духа»:

> «Этот духовный кризис начался еще в конце XIII века, в тот момент, когда мы дали прельстить себя философией античной Эллады и увлеклись рационализмом... Восстановив в правах язычество, искусственно воскресив греко-римскую культуру, возведя на трон гуманизм, Возрождение изменило ход развития в области религии, науки и художественного творчества».

Иначе говоря, в кризисе разума повинно само доверие к разуму. Назад к средневековью, к схоластике, к Тертуллиану с его знаменитым изречением «Credo quia absurdum» * — вот единственное спасение. Простодушный человек Жорж Матьё! В наше время даже богословы стараются как-нибудь прикрыть свой обскурантизм.

Не менее искаженно представляются «исторические предпосылки» сегодняшнего кризиса и **Андре Пьеттру**, для которого этот кризис — проявление «извечного антагонизма» развития техники и духовной культуры, антагонизма, лежащего в «самой их сущности».

Андре Пьеттр развивает мысль, что «кризис разума» в сегодняшнем обществе восходит прежде всего ко все более резкому размежеванию точных и прикладных наук, стимулирующих технический прогресс, и философии, эстетики, искусства, являющихся, как он полагает, областью «чистого», «бескорыстного», не заинтересованного в практической полезности размышления человека над жизнью.

> «Чрезвычайно важно отметить,— пишет Пьеттр,— что современная наука каждый раз достигала особого расцвета именно в те моменты, когда отвлеченная от практики мысль, литература, искусство восставали против подчинения какому бы то ни было порядку и правилам, чтобы вверить себя анархии чувств и новых острых впечатлений.
>
> Припомните даты: начало революции в технике и ее первые практические достижения совпадают с выходом на арену романтизма. А возникающая после Руссо литература ухода от действительности создается в то самое время, когда люди дела распространяют царство свое поистине на весь мир. Пока романтик бредит природой, инженер преображает ее. Первый упивается поэзией руин, тогда как второй созидает новое: Ламартин и Гауссман, Гюго и Эйфель...
>
> То же зрелище предстает нашему взору и в ходе развития всего искусства в целом. От романтизма к импрессионизму, от дадаизма к фовизму, оно мало-помалу отрывалось от реальной действительности, дойдя до полного отрицания образа — до абстрактной живописи. То же самое я могу сказать и о новой музыке, которая впервые в истории западной музыки уже не опирается на законы гармонии. Бесформенное, распадающееся, лишенное ясности, наше искусство движется ко все большему эзотеризму, становится мистическим искусством для единиц, искусством снобов, доходит до полнейшей бессмыслицы!»

Не удивительно, что, говоря о «кризисе разума», все, кто откликнулся на анкету «Ар», уделяют особое внимание вопросу об абстрактном искусстве. Но если они единогласно приходят к заключению, что абстрактная живопись, например, является порождением распада современной буржуазной культуры, выражением ее крайних, доходящих до абсурда противоречий, вопиющих диспропорций, жестоких уродств, то значение «абстрактного метода» оценивается ими по-разному. Одними — как бунт против подавления личности в буржуазном обществе, другими — как выражение растерянности и отчаяния художника перед лицом жестокости современного мира, третьими — просто как дань моде.

Отмечая отсутствие в «абстрактной живописи» какого бы то ни была смысла, **Жан Карзу** считает тем не менее, что виноваты в этом главным образом не художники. Их стремление «разгрузить» живопись от «жестокой логики», от «утилитарной конкретности» и приблизить ее к «инстинктивным началам» должно, по его мнению, устраивать зрителя, так как подготавливает обращение к «иррациональным наукам» — телепатии, парапсихологии, магии, необходимость возрождения которых стала, на его взгляд, «очевидной»:

---

* **Верю, ибо абсурдно** (*лат.*).

«Вина художника в теперешнем его разрыве со зрителем крайне ничтожна. Он не в состоянии принести в жертву зрителю таинство приобщения к неразгаданным феноменам окружающей жизни. Новейшая живопись — это разведка в область не освоенных опытом тайн мироздания. Ей поневоле приходится апеллировать к подсознанию... И остается лишь удивляться тому, что этот поворот в живописи к новым истокам — к бессознательным инстинктам человеческим — не устраивает современного зрителя».

Так, так, иррациональные науки, телепатия, магия... У абстрактного искусства, оказывается, прекрасная родня. Остается лишь удивляться тому, что художники-абстракционисты еще не нашли философский камень.

Более трезво оценивает положение **Габриэль Марсель**, который, подчеркивая, что «болезнь абстракции» не случайна в современном искусстве, усматривает прямую связь этой сверхсовременной формы декаданса с духом коммерции и рекламой:

«Если в самой системе нашего художественно-образного мышления сейчас что-то «заедает», то во многом по причине стандартизации всей нашей жизни, чем мы обязаны главным образом американцам. Я считаю, в частности, американское «паблисити» прямым надругательством над разумом».

Без сомнения, есть доля истины и в выступлении **Пьера Оже**, который не склонен признавать «основополагающего значения» всякого рода самоновейших вывертов в современной буржуазной философии и модернистском искусстве:

«Сами по себе приливы и отливы моды в области эстетики и философии не могут сколько-нибудь существенно и долговременно отразиться на той роли, которую дар мыслить разумно играет в общем ходе развития человечества. Временные течения, возникающие в нашей духовной жизни под названием «романтизм», «болезнь века», «дадаизм» и «новая волна», свидетельствуют лишь о брожении молодых умов, вечно жаждущих нового и приходящих в ажиотаж от всякой новизны, и никоим образом не отражаются на той роли, которую собственно разум по самой сути своей играет в развитии культуры и науки. Если что и оказывает свое воздействие на нашу духовную жизнь или создает угрозу такого воздействия, то это уж скорее явления, связанные с политическим строем, с экономическим укладом жизни, в некоторых случаях — с характером религии».

Однако именно социальные корни переживаемого сегодня буржуазным обществом духовного кризиса, о котором так выразительно говорили все ответившие на анкету, остались по существу нераскрытыми, хотя некоторые из высказавшихся и коснулись вскользь этих причин. Поэтому и ответы на вопрос о причинах «кризиса разума» звучат со страниц «Ар» подчас более чем парадоксально.

В заключительной статье **Бернадетт Годе** пытается резюмировать мысли всех высказавшихся. Редакция просила принявших участие в анкете ответить возможно более обстоятельно на вопросы: «Как изжить кризис разума? Где пути к восстановлению гармонической личности?» «Ответа на наши вопросы мы не получили»,— отмечает Годе и с горечью признает —сейчас бессмысленно и ожидать удовлетворительного ответа на них. Почему же? Бернадетт Годе поясняет:

«Кто станет отрицать, что мы живем в бурный век?.. Но кто может с уверенностью сказать, что завтра он не окажется вдруг еще более судорожным?»

Эта же мысль сквозит и в ответах почти всех принявших участие в анкете «Ар». А разве это уже само по себе не показатель кризиса общественных, нравственных и эстетических начал в сознании современного буржуазного общества и не лишнее подтверждение закономерности этого кризиса?

Со страниц «Ар» не прозвучали голоса тех, кто не ограничивается констатацией этого кризиса, бессильными сетованиями и заклинаниями, а научно сознает сущность кризиса буржуазной культуры и выступает за его преодоление на новых путях — на путях борьбы за подлинно народную и подлинно революционную культуру. Но «не только свету, что в окне». Во Франции, как и во всем мире, эти голоса звучат все громче и увереннее.

ОТ СОЗДАНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ К СОВРЕМЕННОМУ РОМАНУ

«Вы — алжирский писатель. Что это значит сегодня?..» В ответ на этот вопрос два виднейших современных алжирских писателя **Катеб Ясин** и **Мухаммед Диб** дали два больших интервью, помещенных на страницах **«Леттр франсез»**. Однако разговор о литературе сегодняшнего Алжира им пришлось начинать не со специфически литературных проблем. Колониализм душил литературу Алжира, не только зажимая рот писателям, призывавшим к национальному пробуждению, к борьбе за свободу. Он в течение многих лет сохранял стену отчуждения между этими писателями и народом — неграмотность. Теперь эта «стена» должна рухнуть. И сегодня перед алжирскими писателями наряду с непосредственно творческими проблемами встает вопрос о читателе. Им приходится одновре-

менно заботиться и о завоевании читателя и о том, чтобы «создать» этого читателя — научить людей читать. В Алжире около 80% населения неграмотно. Огромная часть алжирского народа — берберы — до сих пор не имеет своей письменности. «Нам приходится начинать с самого начала»,— говорит Катеб Ясин.

Новую культуру, рождающуюся в борьбе алжирского народа против колониализма, с полным основанием называют «культурой национального возрождения». Ибо в ней рождается не только культурная независимость всей страны в целом, но и внутреннее равноправие культур различных народностей, живущих в Алжире, их принципиально новое — на основах свободного содружества равных — взаимодействие. Эту особенность Катеб Ясин считает главной чертой алжирской «культуры национального возрождения». Именно в борьбе против колониализма, отмечает Ясин, народности и племена, населяющие Алжир, осознали себя по-настоящему одним народом.

> «Нет и не может быть Алжира берберов, Алжира арабского или Алжира французов, есть только один Алжир — Алжир алжирцев. И этого у Алжира не отнимешь никакими силами. Алжир многонационален, и в многонациональности алжирского народа — его огромное богатство».

Это богатство долгие годы оставалось под спудом, не могло быть реализовано при колониальном режиме. И сейчас его реализация сталкивается со множеством трудностей. Особенно много споров, отмечает Ясин, вызывает в последнее время проблема языка, как нельзя более важная для литературы. В частности, подчеркивает он, необходимо правильно оценить значение французского языка и той роли, которую этот язык играл в последние годы: новейшая алжирская литература была до самого последнего времени преимущественно литературой на французском языке, и она сумела превратить его в оружие борьбы против колониализма.

> «Мы воевали с Францией. Но ведь сражающийся не задумывается в бою о том, в какой стране изготовлена винтовка, которая у него в руках. Это его винтовка, его оружие. Она служит ему в бою.
>
> Притом, говоря о тех алжирцах, которые шли во французские учебные заведения, чтобы буквально с боем пробиться к культуре, следует помнить: эта культура не преподносилась им как подарок — она давалась им ценой бесчисленных унижений, на их пути вставали всяческие препятствия и запреты... и в конце концов французский язык выковался для них в орудие борьбы».

Алжир не может отказаться от французского языка, говорит далее Ясин, не только потому, что это было бы отказом от достижений великой французской культуры; французский язык — это средство общения борющегося Алжира с демократической Францией. Поэтому продолжать создавать произведения на французском языке остается одной из боевых задач алжирских писателей:

> «Каждое произведение, написанное нами по-французски,— это винтовка, вырванная из рук парашютиста».

Но главной и самой трудной задачей «культуры национального возрождения», говорит Ясин, безусловно является разрешение проблемы сочетания единого, общегосударственного языка с развитием языков и диалектов всех народностей и племен многоязычного Алжира. Как решить эту сложнейшую проблему?

Ясин считает, что для нового Алжира здесь имеет первостепенное значение опыт социалистических стран, где полностью изжиты национальное неравенство и национальная рознь.

Главной практической предпосылкой решения всех этих вопросов, по мнению Ясина, должно неизбежно стать искоренение неграмотности в Алжире, а широта и темпы этого процесса будут зависеть прежде всего от того, как определится социальная структура независимого Алжира в ближайшем будущем.

> «Кубинцы,— замечает он,— ликвидировали неграмотность в какие-нибудь два-три года, другие же, территориально более близкие к нам страны не могут справиться с этим по десять-пятнадцать лет».

Катеб Ясин высказывает твердую уверенность в том, что, несмотря на трудность стоящих перед «культурой национального возрождения» задач, у нее самые обнадеживающие перспективы. И наиболее убедительное свидетельство тому, считает он, беспримерная в истории Алжира тяга самых широких масс к знаниям, к культуре:

> «Это порыв, который исходит сегодня из самой гущи народных масс, это жажда просвещения, знаний, от которой дух захватывает и которая окрыляет поэта... Народ ждет от всех нас многого!
>
> Когда я приехал в Алжир в июле нынешнего года, атмосфера там, как известно, уже долгое время была предельно напряженной, и я сказал себе: ну, уж сейчас-то, во всяком случае, здесь не до поэзии, не до культуры... Приезжаю в родной город, в Константину, вечером встречаю своего школьного товарища, и тот объявляет: «Сегодня в театре — представление». В первый раз после 1954 года! А прежде жители Константины, нужно вам сказать, редко пропускали представление в своем театре, где играли на разговорном арабском. В тот вечер я пошел на спектакль и был просто потрясен тем, что творилось в театре: давали «Живого мертвеца», пьесу, действие которой — что уже само по себе выходило из ряда вон — импровизировалось актерами тут же, прямо на сцене;

и вот народ хлынул в зал, запрудил все входы и выходы и часа три подряд не отпускал актеров со сцены, без конца требуя продолжать спектакль».

Если Катеб Ясин уделил основное внимание общему положению культуры в борющемся Алжире, то Мухаммед Диб в своем интервью останавливается главным образом на специфических проблемах сегодняшней алжирской литературы.

«Для меня главная проблема сводилась до сих пор к тому, чтобы литература наша перестала быть для писателя занятием, имеющим целью скорее развлечение читателя, чем побуждение его к действию... Я всегда считал и продолжаю считать: для каждого писателя вообще, а для алжирского писателя в наши дни, может быть, больше, чем для любого другого, каждое произведение должно быть прежде всего актом веры. Именно это убеждение пронизывает всю мою работу, от первой до последней книги».

Диб отмечает, что сдвиги в жизни Алжира и в отношении писателя к творчеству создают для алжирской литературы новые возможности, открывают для нее выходы к новым темам, в частности к теме любви, за которую алжирские писатели берутся крайне редко.

«Я,—добавляет он,— брал в своей последней книге эту тему приступом, но не считаю, что «Кто вспоминает о море» — это роман, посвященный специально теме любви».

«Проблема любви,— поясняет далее Диб,— встает сейчас не только перед алжирскими писателями, ее начинают открывать по-новому и сами алжирцы. У нас понятие любви — как оно утвердилось, например, у европейцев — раньше вообще не существовало. Это понятие начинает у нас проникать в сознание людей, открывает новый мир переживаний, обретает сложность и динамичность лишь после того, как алжирцы вступили в борьбу за свое национальное освобождение. Именно тогда, когда разгорелась эта борьба, у нас появились и первые серьезные романы о любви, именно тогда — в подполье, в маки́ — мы увидели первые примеры великой любви. Ибо по-настоящему женщина начала у нас существовать как личность лишь после того, как она приняла участие в борьбе и внесла в нее свой вклад, значение которого никто не сможет отрицать».

Мухаммед Диб особо подчеркивает: если алжирская литература до сих пор как тематически, так и в методах обрисовки национальных характеров заметно страдала от региональной ограниченности, то это проистекало из условий ее развития при колониальном режиме. Освобождение, завоевание Алжиром полной самостоятельности, говорит Диб, не только не поведет к обособлению, к внутренней замкнутости, но, напротив, откроет перед алжирской литературой широкие пути к самому тесному взаимодействию с литературами других стран, расширит ее содержание:

«В нашей литературе будет, если можно так выразиться, меньше регионального, больше общечеловеческого содержания. Иначе говоря, после завоевания независимости развитие алжирской литературы, думается мне, сможет пойти по тому руслу, в котором литература оказывается на уровне достижений современной мысли, имеющих общечеловеческое, мировое значение».

Как и Катеб Ясин, Мухаммед Диб видит главную трудность сегодняшнего положения новой алжирской литературы прежде всего в крайне низком уровне грамотности в Алжире. Но кроме того, он указывает трудности и другого порядка: большинство читателей-алжирцев привыкло к жанрам классической арабской литературы, воспитано на ее древних традициях, им и посейчас нелегко еще освоить непривычные для них лирические и повествовательные жанры, заимствованные из европейской литературы, так же как и почерпнутые в ней новые способы изображения жизни.

«До сих пор алжирский читатель знал только сказку, поэму или стихотворение. И в таких книгах, как «Неджма» Ясина или в моем романе «Кто вспоминает о море»... его поразит отнюдь не элемент символики — здесь он в привычной стихии,— а скрупулезный реализм подробностей, которые ему представляются никчемными, бессмысленными...

Нельзя забывать, что роман и такая высокоразвитая форма европейской литературы, как новелла,— это жанры, совершенно новые для алжирского читателя. И роман оставался для него книгой за семью печатями, пока за этот жанр не взялись писатели — коренные алжирцы. У нас и прежде выходило немало романов, и жанр этот влачил свое существование довольно долго — его завезли в Алжир писатели — выходцы из Европы, но их романы никогда не вызывали особого интереса у алжирского читателя. Он начал проявлять интерес к этой литературной форме только после того, как увидел среди романистов, пишущих в Алжире, коренных алжирцев».

Опыт «культуры национального возрождения» Алжира, при всем своеобразии встающих перед ней проблем и сложности условий, в которых она складывается сегодня, не единичен, не исключителен. В нем проявляются характерные черты национальных культур нового типа, рождающихся в наше время, культур народов, освобождающихся от вековой колониальной или полуколониальной зависимости. Именно эти черты и раскрывают в своих интервью Катеб Ясин и Мухаммед Диб.

Документы

США, 1919

ОНИ ОТСТАИВАЛИ ПРАВДУ О СТРАНЕ СОВЕТОВ

Из протоколов Юридического комитета сената Соединенных Штатов Америки

ГОВОРИТ ДЖОН РИД

21 февраля 1919 года

Сенатор Уолкотт *(обращаясь к Джону Риду)*. Поднимите правую руку.

М-р Рид. Я предпочитаю давать показания без присяги и ограничиться обещанием говорить правду.

Сенатор Уолкотт. У вас есть какие-либо возражения против принятия присяги?

М-р Рид. Да.

Сенатор Уолкотт. Вы ведь не квакер, мистер Рид?

М-р Рид. Нет.

Сенатор Уолкотт. Почему же вы возражаете против принятия присяги?

М-р Рид. Я просто не хочу принимать присягу. Уже год как я не присягал. Я предпочитаю отвечать на ваши вопросы без присяги.

Сенатор Уолкотт. Вы официально заявляете, что ваши убеждения не позволяют вам принять присягу?

М-р Рид. Да, сэр.

Сенатор Уолкотт. Хорошо. Но вы торжественно заявляете, что показания, которые вы будете давать, будут правдой, только правдой и ничем, кроме правды?

М-р Рид. Да, я это торжественно заявляю...

М-р Хьюмс. Итак, мистер Рид, когда вы впервые поехали в Россию? После начала войны в Европе?

М-р Рид. Я уехал в пятнадцатом году; в марте — в Италию и Грецию, затем в Сербию и Румынию. Я полагаю, что попал в Россию в апреле или в мае пятнадцатого года.

М-р Хьюмс. Бы были в США в начале войны, так ведь?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Через сколько времени после начала войны вы впервые поехали в Европу?

М-р Рид. Я поехал в Европу сразу же после начала войны. Я находился на побережье в тот день, когда война началась, и тут же отправился в Европу. Я прибыл в Париж как раз во время битвы на Марне.

М-р Хьюмс. Долго ли вы тогда находились во Франции?

М-р Рид. Я находился там три или четыре месяца.

М-р Хьюмс. Куда вы направились затем?

М-р Рид. В Германию.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы пробыли в Германии?

М-р Рид. Полтора или два месяца.

М-р Хьюмс. Вы побывали на передовой?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. В качестве кого вы там находились?

М-р Рид. В качестве корреспондента журнала «Метрополитэн».

Окончание. Начало в № 4.

М-р Хьюмс. Куда вы направились из Германии?

М-р Рид. Из Германии я направился в Англию. Я приобрел билет на «Унтер ден Линден» и отплыл в Англию, а оттуда обратно во Францию.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы находились во Франции?

М-р Рид. Несколько дней. После этого я вернулся в Англию, а оттуда на родину.

М-р Хьюмс. Когда же вы совершили вторую поездку в Европу?

М-р Рид. Я вернулся в Соединенные Штаты примерно в феврале и через месяц или, возможно, несколько позже снова выехал в Европу.

М-р Хьюмс. Какие же страны вы посетили во время этой поездки?

М-р Рид. Италию, Грецию, Сербию, Болгарию, Румынию, Турцию и Россию.

М-р Хьюмс. Значит, в Германии вы в этот раз не были?

М-р Рид. Нет, не был.

М-р Хьюмс. И во Франции не были?

М-р Рид. Нет.

М-р Хьюмс. Когда примерно вы прибыли в Россию?

М-р Рид. Я уже говорил, что не могу вспомнить точно числа. Думаю, что это было в конце апреля или в мае.

М-р Хьюмс. Тысяча девятьсот пятнадцатого или шестнадцатого года?

М-р Рид. Пятнадцатого.

М-р Хьюмс. Тысяча девятьсот пятнадцатого?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Сколько вы пробыли в России?

М-р Рид. Около двух месяцев.

М-р Хьюмс. После этого вы вернулись в Соединенные Штаты?

М-р Рид. После этого я вернулся в США через Румынию, Сербию и Болгарию...

М-р Хьюмс. Когда вы снова поехали в Европу?

М-р Рид. Насколько мне помнится, семнадцатого августа семнадцатого года.

М-р Хьюмс. Семнадцатого августа тысяча девятьсот семнадцатого года? В этой поездке вас сопровождала жена?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Вы, полагаю, получили для этой поездки паспорта?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. При получении паспортов вы давали какие-либо заверения государственному департаменту?

М-р Рид. Да. Не помню точно, в каких выражениях, но помню, мне было предложено заявить, что я не буду представлять социалистическую партию на Стокгольмской конференции. Однако после моего приезда в Петроград меня столько раз просили выступить в разных местах с политическими речами, что я обратился к консулу Тредуэллу с просьбой посоветовать мне, как быть. Консул сказал мне, что на моем месте он отказался бы от подобных выступлений, и я последовал его совету. Я отказался принимать участие в каких-либо конференциях или съездах.

Сенатор Уолкотт. Ваши заявления госдепартаменту были сделаны под присягой?

М-р Рид. Да, сэр, думаю, что да.

Сенатор Уолкотт. Вы точно не помните?

М-р Рид. Не помню. В то время я не придавал этому большого значения. Думаю все же, что я дал это обещание под присягой.

Сенатор Уолкотт. Не можете ли вы сообщить нам, почему вы возражаете против принесения присяги?

М-р Рид. Я возражаю против принесения присяги, потому что считаю недостойным связывать себя подобным образом. Я верю своему слову и полагаю, что и другие должны ему верить. Я не намерен лгать.

Сенатор Уолкотт. В таком случае вы не хотите присягать скорее из гордости, чем вследствие ваших убеждений?

М-р Рид. Я возражаю против присяги, потому что таковы мои убеждения. Я не понимаю, почему я должен присягать на особой книге. Все это связано с религиозной догмой, которую я отвергаю...

М-р Хьюмс. Участвовали ли вы в политической деятельности, когда были в России?

М-р Рид. Да, мою деятельность там можно назвать политической.

М-р Хьюмс. В таком случае, вы нарушили присягу, которую дали при получении паспортов: вы делали то, чего под присягой обещали не делать?

М-р Рид. Нет. С этим я не могу согласиться. Я давал определенные, конкретные обещания...

М-р Хьюмс. Вы ведь выступали в России с речами?

М-р Рид. Я произнес несколько речей, но не политического характера, причем я выступал не как политический деятель и не как представитель какой-либо политической организации.

М-р Хьюмс. Вы выступили на Третьем съезде...

М-р Рид. Советов.

М-р Хьюмс *(продолжая)*... на Третьем съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, так ведь?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Вы, мистер Вильямс и мистер Рейнштейн — вы все выступали там?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Ваша политическая деятельность, очевидно, не ограничилась этим?

М-р Рид. Я был членом Бюро интернациональной революционной пропаганды при комиссаре по иностранным делам.

М-р Хьюмс. Вы говорите об организации, которую возглавлял мистер Рейнштейн?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. В течение какого времени вы были связаны с этой организацией?

М-р Рид. Примерно два месяца...

М-р Хьюмс. Каков был официальный статус пропагандистского бюро, в котором вы сотрудничали?

М-р Рид. Официальный статус? Не знаю, как точно ответить на ваш вопрос. Бюро — один из отделов Народного комиссариата по иностранным делам.

М-р Хьюмс. Чем занималась эта организация — издавала газеты, литературу или?..

М-р Рид. Мы принимали участие в издании газет, а мне лично было поручено следить за правильностью перевода декретов и других документов советского правительства на английский язык. Перевод как таковой не входил в мои обязанности. Меня интересовала лишь правильность перевода. Я также участвовал в сборе и подготовке материалов и информации, предназначенных для немецких окопов.

М-р Хьюмс. Сколько газет вы тогда издавали, в скольких изданиях вы сотрудничали?

М-р Рид. Я был маленьким винтиком в этой машине. Я лишь получал материал и передавал его различным группам... Газеты редактировало пресс-бюро. Оно издавало одну газету на немецком языке, которая вначале называлась «Die Fackel», а потом была переименована в «Volksfriede». Мы распространяли ежедневно полмиллиона экземпляров этой газеты и, кроме того, полмиллиона экземпляров газеты на венгерском языке, четверть миллиона на чешском, четверть миллиона на румынском, четверть миллиона на турецком языке. Помимо этого мы переводили все декреты...

М-р Хьюмс. Это и есть экземпляр одной из издававшихся вами газет? *(Передает газету свидетелю.)*

М-р Рид. Да. Но в ее издании я не участвовал.

М-р Хьюмс. Может быть, я не так выразился. Я хотел спросить, сотрудничали ли вы в этой газете?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Не вы ли дали материал для статьи, опубликованной на первой странице?

М-р Рид. По поводу речи Вильсона?

М-р Хьюмс. Да, в связи с речью Вильсона.

М-р Рид. Нет. Это очень любопытная история. Видите ли, Робинс часто обращался к советскому правительству с просьбой опубликовать американские пропагандистские материалы, и советское правительство шло ему навстречу. Так была опубликована речь Вильсона... Робинс хотел, чтобы эти материалы попали также в немецкие окопы, но несколько иным путем, чем обычно, то есть не через советские органы, которые рассылали их бесплатно, и не через солдатские комитеты. Поэтому он просил меня опубликовать четырнадцать пунктов речи Вильсона в этой газете.

М-р Хьюмс. Вы приехали в Россию примерно за два месяца до большевистской революции, не так ли?

М-р Рид. Пожалуй, несколько раньше.

М-р Хьюмс. Кого вы встретили в России из тех, кто раньше проживал в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Я встретил там довольно много таких людей, но всех фамилий не помню. Я назову вам тех, кого могу вспомнить.

М-р Хьюмс. Назовите тех, кого можете вспомнить.

М-р Рид. Шатов.

М-р Хьюмс. Когда он был в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Он вернулся в Россию в начале революции Керенского *...

М-р Хьюмс. Сколько времени он прожил в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Думаю, что несколько лет.

М-р Хьюмс. Он русский, так ведь?

М-р Рид. Да, он русский.

М-р Хьюмс. Кто еще?

М-р Рид. Некто Петровский.

М-р Хьюмс. Он русский?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Где он жил?

М-р Рид. Не знаю, где он жил. Я встречал его в Нью-Йорке, но уверен, что он там не жил постоянно..

М-р Хьюмс. Знаете ли вы, сколько лет он прожил в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Кажется, лет пять, а может быть, больше.

М-р Хьюмс. Он русский?

М-р Рид. Русский.

М-р Хьюмс. Как его настоящая фамилия? У него была также и другая фамилия?

М-р Рид. Вероятно, да. Все русские революционеры имели псевдонимы.

М-р Хьюмс. Какая у него другая фамилия?

М-р Рид. Нелсон.

М-р Хьюмс. Кто еще?

М-р Рид. Георгий Мельничанский.

М-р Хьюмс. Где он проживал в Соединенных Штатах?

М-р Рид. В городе Бейонне, штат Нью-Джерси.

М-р Хьюмс. Сколько времени он жил в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Не знаю.

М-р Хьюмс. Была у него другая фамилия?

М-р Рид. Мелчер. Он переменил фамилию потому, что никто здесь не мог ее правильно произнести.

М-р Хьюмс. Он русский?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Кто еще? Загляните в ваш список.

---

* Февральской революции.

М-р Рид. У меня нет никакого списка.

М-р Хьюмс. Вероятно, этот список у вас в голове?

М-р Рид. Был один человек, который называл себя Эдди. Это все, что я знал о нем... Почти в каждом даже небольшом Совете в промышленных районах России находились люди, ранее проживавшие в Америке. Я знаю еще одного, хотя я не знал его раньше,— это Восков, он был организатором Союза плотников в Америке. Восков проделал огромную работу по созданию государственного оружейного завода недалеко от Петрограда.

М-р Хьюмс. Какую еще фамилию он носил?

...М-р Рид. Это все, что я о нем знаю. Мне лишь известно, что он был прекрасным организатором.

...М-р Хьюмс. Продолжайте. Расскажите нам, какова была обстановка в России с момента вашего приезда туда до начала революции, каково было положение во время революции и до того момента, когда вы покинули страну?

М-р Рид. Последний месяц режима Керенского был отмечен сокращением хлебной нормы с двух фунтов до одного фунта в день, затем до полуфунта и до четверти фунта. В последнюю неделю хлеб вовсе не выдавали. Число грабежей и преступлений настолько увеличилось, что стало небезопасно ходить по улицам. Газеты пестрели сообщениями об этом. Была парализована не только деятельность правительства, но и городских властей. Милиция была полностью дезорганизована. Уборка и очистка улиц не производилась. Кооперативные организации перестали распределять продовольствие. Прекратилась выдача молока и других продуктов.

Первые пять ночей после большевистской революции были отмечены полным отсутствием каких бы то ни было преступлений. Это было, пожалуй, самое спокойное время в Петрограде, потому что по улицам патрулировали красногвардейцы и солдаты, горевшие энтузиазмом... В течение первых трех недель после установления большевистского режима милиция обеспечила образцовый порядок. Однако после этого некоторые события вновь привели к нарушению порядка, и одним из них были «винные» бунты. Солдаты некоторых полков узнали о существовании винных подвалов. Кто-то звонил в казармы по телефону и посылал записки, в которых солдатам услужливо указывались адреса этих подвалов и даже предлагалось забрать оттуда запасы вина. Стояли очень холодные дни, а солдаты подолгу находились на улицах, неся патрульную службу. И вот некоторые из них поддались искушению и ворвались в винные подвалы... Они тут же распивали вино, шатались по городу и стреляли в воздух. Они причинили некоторый ущерб, однако весьма незначительный.

М-р Хьюмс. Вы только что сказали, что в Петрограде было очень мало беспорядков и что все было спокойно в течение первых трех недель, а теперь вы говорите, что солдаты все время участвовали в уличных боях, после чего им хотелось выпить. Я хочу в этом разобраться.

М-р Рид. Говоря о беспорядках, я имею в виду такие преступления, как грабежи и убийства. А в уличных боях участвовали две противостоящие гражданские силы. Случаев ограбления домов и прохожих не было.

М-р Хьюмс. Но уличные бои происходили все время?

М-р Рид. Нет... Бои происходили в день падения Зимнего дворца, это было в среду и в следующие воскресенье и понедельник, после контрреволюционного выступления юнкеров. Бои возобновились и в следующий вторник ночью и в среду утром, когда было получено сообщение, что армия Керенского подходит к городу и находится в четырех милях от него. «Винные» бунты были прекращены самими Советами. Советы вызвали кронштадтских матросов, и те стали убеждать солдат прекратить разграбление винных складов; в Советах по этому поводу произносились речи, были выпущены прокламации и тому подобное. Так продолжалось около двух недель, но расхищение винных подвалов не прекращалось. Особую активность проявили наименее сознательные элементы двух полков, и это убедило Советы в необходимости немедленно принять решительные меры. Центральный Исполнительный Комитет Советов провел заседание по вопросу о применении силы для подавления «винных» бунтов. В конце дискуссии по этому вопросу, которая длилась четыре с половиной часа, было решено для прекращения «винных» бунтов послать грузовики с пулеметами. Так был положен конец этим бунтам. Если после троекратного предупреждения комиссаров солдаты не уходили из винных погребов, комиссары спускались туда, выбрасывали бутылки, разбивали их, и вино растекалось по улицам. Так были очищены подвалы Зимнего дворца, где находились запасы вина стоимостью в 4 млн. долларов. Их вылили в Неву. Если солдаты не покидали винных подвалов, по ним открывали стрельбу... Это длилось около двух с половиной недель, так как Советы вначале не могли решиться применить силу для прекращения грабежей в винных погребов. Они должны были проявить политическую осторожность и действовать как путем воспитательных мер, так и наказания злостных нарушителей порядка.

М-р Хьюмс. Какие изменения произошли в порядке снабжения населения продовольствием, когда большевики пришли к власти?

М-р Рид. Правительство Керенского пало, не оставив в городе никаких продовольственных запасов. Советское пра-

вительство столкнулось с саботажем во всех министерствах. Саботировали служащие всех банков и крупных торговых предприятий, объявили забастовку чиновники и так далее. Даже телефонистки и те отказались работать. Больше того, кооперативные лавки отказались поставлять городу продовольствие, пока у власти будут Советы. Большевики подозревали, что спекулянты припрятали огромные запасы продовольствия, чтобы потом продавать их по вздутым ценам. Поэтому они направили людей для проверки крупных складов, о существовании которых им стало известно, и установили, что там действительно много продовольствия. Поскольку в продуктах была крайняя необходимость, они были изъяты и розданы населению. За все время моего пребывания в Петрограде меньше всего хлеба выдавалось в последние полторы недели режима Керенского. А при советской власти уже к концу декабря мы начали получать полтора фунта хлеба в день. Очень любопытно, как Советам удалось добиться этого. Видите ли, Советы оказались в чрезвычайно тяжелых условиях, так как правительство не имело возможности использовать государственный аппарат, к тому времени парализованный. Советы поддерживала лишь организованная воля рабочего класса, они не могли опереться на высших чиновников. Пассажирское движение по транссибирской магистрали было закрыто на двадцать четыре дня. Тем временем было подготовлено тринадцать поездов, на которых рабочие комитеты с различных предприятий погрузили всевозможные товары, и правительственная комиссия направилась с этими товарами — одеждой, сельскохозяйственными орудиями и всем, в чем крестьяне нуждаются, в деревню, чтобы обменять их на продовольствие, потому что деньги, выпущенные Керенским, ничего не стоили.

М-р Хьюмс. Где они достали одежду и другие товары, которые собирались обменять у крестьян на продовольствие? Эти товары были реквизированы?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Фабрики были в то время национализированы?

М-р Рид. Большая часть фабрик была фактически национализирована. Владельцы покинули их за шесть или восемь месяцев до того времени, о котором я рассказываю, рабочие сами продолжали выпускать продукцию. Я знал несколько фабрик, которые управлялись таким образом. Рабочие продолжали работу и после того, как фабрики были официально закрыты, а их владельцы удрали за границу.

...**М-р Хьюмс.** Скажите, как было использовано это продовольствие, как оно раздавалось?

М-р Рид. Оно раздавалось по хлебным карточкам, выдаваемым особым продовольственным комитетом. Вначале этот особый продовольственный комитет саботировал, но вскоре его работники поняли, что им самим придется голодать, если комитет не будет функционировать, поэтому они возобновили работу.

М-р Хьюмс. Были ли установлены при распределении продовольствия какие-либо категории?

М-р Рид. В то время каждый гражданин получал обычную продовольственную карточку, вроде тех, которые выдавались в любой воюющей стране в военное время. Однако в России эта мера осталась в силе и после окончания войны.

М-р Хьюмс. А карточки выдавались всем?

М-р Рид. В то время — всем.

М-р Хьюмс. За время вашего пребывания в России да и потом издавались ли декреты, устанавливавшие различные нормы выдачи продовольствия для разных групп населения?

М-р Рид. Нет, тогда в этом не было необходимости.

М-р Хьюмс. Впоследствии, однако, такое деление было проведено?

М-р Рид. Полагаю, что было. Я видел такой декрет.

М-р Хьюмс. Население, насколько я знаю, было разделено на четыре группы в соответствии с родом занятий и общественным положением. Это верно?

М-р Рид. Нет. В соответствии с участием каждого в общественно полезном труде и с нуждаемостью. Те, кто приносил наименьшую пользу...

М-р Хьюмс *(прерывая его)*. Степень участия в полезном труде определялась правительством?

М-р Рид. Люди, которые получали меньше всего продовольствия...

М-р Хьюмс *(снова прерывая его)*. Они были произвольно разбиты на четыре группы в соответствии с их предполагаемым участием в полезном труде?

М-р Рид. Прошу учесть, что все члены правительства получали самую низкую норму продовольствия.

М-р Хьюмс. У меня нет никаких тому доказательств.

М-р Рид. Это записано в декрете.

М-р Хьюмс. Довелось ли вам наблюдать случаи смерти на почве голода во время вашего пребывания в Петрограде?

М-р Рид. Еду достать было нелегко.

М-р Хьюмс. Вы наблюдали случаи голодной смерти?

М-р Рид. Я не был свидетелем случаев голодной смерти. Однако я видел очень голодных людей, и сам нередко бывал очень голоден.

М-р Хьюмс. Известны ли вам случаи воровства и грабежей на улицах во время вашего пребывания в Петрограде?

М-р Рид. Таких случаев было очень мало по сравнению с последней неделей господства правительства Керенского.

Можно даже сказать, что в городе установился известный порядок. Служба охраны порядка была организована очень хорошо. Конечно, было бы нелепо утверждать, что в городе вовсе не совершалось преступлений.

М-р Хьюмс. А теперь, мистер Рид, не желаете ли вы что-либо добавить к тому, что рассказали об условиях жизни в Петрограде? Если у вас есть что добавить, можете это сделать.

М-р Рид. Я хотел бы рассказать, как там организовано управление промышленными предприятиями, так как, думаю, лишь немногие знают об этом. Но прежде всего я хочу сказать несколько слов по поводу различных норм снабжения. Как вы знаете, во многих странах, когда наступает голод — так было и в Европе во время войны,— больше всех страдают семьи рабочих. Но в Петрограде дело обстояло как раз наоборот. Рабочие, члены профсоюзов пользовались преимуществом при выдаче продовольствия. Я имею при этом в виду не только тех, кто выполнял физическую работу, а всех, кто хоть что-то делал. Продовольствие распределялось с учетом рода занятий. Те, кто был занят тяжелым физическим трудом, получали больше, а кому требовалось меньше, получали меньше. Государственные служащие, занятые канцелярской работой, получали меньше, чем рабочие.

Вся промышленность России находится под контролем так называемого Совета рабочего контроля. Этот Совет состоит из делегатов всероссийских профессиональных союзов, определяющих размер зарплаты, продолжительность рабочего дня и условия работы в каждой отрасли промышленности. Выпуск продукции на предприятиях контролируется Всероссийским советом фабрично-заводских комитетов. К этому я должен добавить, что в России национализировано триста четыре вида промышленных предприятий, а вся остальная промышленность находится в частных руках, однако полностью контролируется рабочими.

Советское правительство — не искусственный орган, сконструированный на основе абстрактных теорий, как думают многие. Правительство России состоит из практически мыслящих людей. Они прекрасно понимают, что не могут сейчас обойтись без капиталистов. Они, однако, знают, что, хотя капиталисты не нападают на Советы с оружием в руках, они это могут сделать при помощи своих капиталов.

...Сенатор Уолкотт. Вы сказали, что в России было национализировано триста четыре вида промышленных предприятий. Это, разумеется, не триста четыре предприятия, а значительно больше?

М-р Рид. Конечно больше. Ни одна из отраслей промышленности не национализирована полностью. В каждой остается одно-два ненационализированных предприятия. Советское правительство предложило иностранным капиталистам условия, стимулирующие капиталовложения. Такое предложение было сделано в свое время американскому послу. Такие же предложения были сделаны всем европейским странам, особенно союзным державам... Однако эти предложения были либо отвергнуты, либо полностью игнорировались...

Что касается объема промышленного производства, то многим кажется, что в России нет никакой промышленности. На самом же деле примерно от шестидесяти трех до шестидесяти восьми процентов текстильной промышленности в собственно России находится под контролем советского правительства, и работа на предприятиях протекает почти нормально.

Сенатор Уолкотт. Откуда вы получили эти сведения?

М-р Рид. Мне это известно из официального доклада Министерства торговли и промышленности, где также указано, в каких отраслях производство упало ниже нормы или полностью прекратилось.

Сенатор Уолкотт. Это информация большевистского министерства?

М-р Рид... У меня есть экземпляр «Обзора» от первого февраля девятнадцатого года, где опубликована статья Клары Тэйлор «Новая эра русской промышленности», написанная летом восемнадцатого года. Клара Тэйлор, занимающаяся изучением проблем промышленности в нашей стране, изучала и русскую промышленность летом восемнадцатого года, то есть в самый тяжелый для нее период, когда хозяйство было крайне дезорганизовано. Картина, которую она рисует в своей статье, показывает, что советское правительство в ряде случаев не сумело осуществить то, что планировало. Из статьи, однако, видно, что в районе Москвы имеется развитая промышленность, особенно текстильная. Тэйлор обследовала подмосковные фабрики и знает, что они производят. Мне известно, что есть предприятия, которые управляются рабочими. Одно из них находится в Сестрорецке. Это государственное предприятие, производящее вооружение. Если я назову цифры, вы, пожалуй, возьмете их под сомнение. Но эти данные можно проверить. Я думаю, что профессор Росс может подтвердить их правильность. Это предприятие принадлежало государству и при старом режиме. В то время там полно было взяточников, и производительность его была низка. Но когда оно перешло в руки рабочих, производственные расходы уменьшились на пятьдесят процентов, рабочий день сократился с одиннадцати с половиной до восьми часов, а выпуск продукции увеличился на сорок пять процентов. Но это далеко не все. Рабочие взяли в свои руки также городское самоуправление, проложили канализационную систему, которой до того времени не было, выстроили трехэтажную школу и больницу...

Сенатор Уолкотт. Вы утверждаете, что видели все это своими глазами?

М-р Рид. Да.

Сенатор Уолкотт. Если учесть все изложенные вами факты, выходит, что советское правительство более умело и рационально организовало производство боеприпасов, чем прежнее правительство России?

М-р Рид. Да, безусловно! Я считаю, что капиталистическое правительство вообще не способно хорошо организовать производство.

...**М-р Хьюмс.** Сколько газет издавалось в России ко времени вашего отъезда?

М-р Рид. Суточный тираж, вероятно, составлял около десяти миллионов экземпляров.

М-р Хьюмс. Издавались ли в России какие-нибудь газеты без ведома советского правительства?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Через сколько времени после вашего отъезда правительство взяло газеты под свой контроль?

М-р Рид. Видимо, моей жене не удалось полностью разъяснить Комитету положение вещей, ибо тут, судя по всему, какое-то недоразумение... Советское правительство хотело вырвать прессу из рук имущих классов, лишить их этой монополии. Оно объявило собственностью государства не газеты, а печатные станки и бумагу. Была создана внепартийная комиссия, составленная на основе пропорционального представительства от всех политических партий, для решения вопроса о распределении бумаги, типографской краски и станков. В результате выборов в городские Советы выяснилось, сколько избирателей поддерживает каждую партию, и это определило количество краски, бумаги и печатных станков, предоставляемых ей. Другими словами, если кадетская партия получила треть голосов, ей была выделена и одна треть имевшихся в наличии полиграфических материалов.

М-р Хьюмс. Но ведь в России кадетская газета не издается?

М-р Рид. Там выходят две кадетские газеты. Думаю, что смогу показать их Комитету.

М-р Хьюмс. Где они издаются?

М-р Рид. Одна в Москве.

М-р Хьюмс. Как она называется?

М-р Рид. Не знаю. Я видел газеты некоторых других партий, тоже оппозиционных. Они издаются в Москве и по сие время.

М-р Хьюмс. Можете ли вы назвать какую-нибудь газету, которая выходит в России, но не поддерживает большевистское правительство и не находится под его контролем?

М-р Рид. «Воля народа» — газета партии социалистов-революционеров.

М-р Хьюмс. Где она выходит?

М-р Рид. В Москве.

М-р Хьюмс. Когда вы ее видели в последний раз?

М-р Рид. Вчера.

М-р Хьюмс. От какого числа была эта газета?

М-р Рид. Один из декабрьских номеров восемнадцатого года.

М-р Хьюмс. За декабрь тысяча девятьсот восемнадцатого года?

М-р Рид. Думаю, что да. Я видел много подобных газет.

М-р Хьюмс. Эта газета находится в оппозиции к правительству?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Не считаете ли вы, что газеты, агитирующие за насильственное свержение правительства, должны быть запрещены?

М-р Рид. Вполне естественно было бы их запретить.

М-р Хьюмс. Вы думаете, что они должны быть запрещены?

М-р Рид. Это зависит от того, что вы понимаете под насильственным свержением правительства.

М-р Хьюмс. Свержение правительства — это замена его путем, не предусмотренным конституцией.

М-р Рид. Но ведь в нашей Декларации Независимости прокламируется неотъемлемое право народа изменить форму правления, если он сочтет это нужным.

М-р Хьюмс. А в конституции даже указаны средства осуществления этой замены, не так ли?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Считаете ли вы, что любая газета или общественный деятель имеет право требовать изменения формы правления таким путем, который не предусмотрен Декларацией Независимости или конституцией?

М-р Рид. Я думаю, что никакое изменение формы правления не должно быть допущено до тех пор, пока большинство народа не выскажется в пользу такого изменения, и что на пути к осуществлению воли большинства не должно быть никаких препятствий.

М-р Хьюмс. И вы полагаете, что, если большинство народа пожелает изменить форму правления, могут быть оправданы любые средства для достижения цели?

М-р Рид. Если этого можно достигнуть законным путем, не думаю, чтобы существовало оправдание или предлог для применения силы.

М-р Хьюмс. В таком случае, вы должны согласиться с тем, что любая агитация в пользу изменения формы правления каким-либо иным путем, кроме предусмотренного конституцией, является правильной и допустимой. Так?.. Вы не согласны? Вы полагаете, что можно агитировать за свержение прави-

тельства иным путем, нежели тот, что предусмотрен Основным Законом?

...**М-р Рид.** Дело в том, что конституции и правительства современных государств — западных демократий — были созданы на заре промышленной эры, когда немногое в организации промышленности требовало изменений. Мы уже видели, что в некоторых случаях действия чисто парламентского характера оказываются недостаточными. ...В различные периоды истории возникают различные условия, которые требуют различных методов изменения формы правления. Право рабочих на организацию не было предусмотрено конституцией, и требование этого права вначале встречало ожесточенное сопротивление, но сейчас оно признано законным. Вот что я имею в виду. И до тех пор пока народ, предъявляющий свои требования, встречает понимание со стороны правительства, нет никакой необходимости применять силу...

...**М-р Хьюмс.** Теперь, мистер Рид, позвольте вас спросить, действительно ли вы в прошлом пропагандировали анархистские взгляды и были связаны, прямо или косвенно, с анархистским движением?

М-р Рид. Насколько я помню — нет. Анархия — это отрицание всего на свете... Я не понимаю, какие взгляды вы считаете анархическими.

М-р Хьюмс. Я имею в виду полное упразднение государственной власти.

М-р Рид. Нет, таких воззрений у меня не было. Я решительно против анархии.

...**Сенатор Уолкотт.** Считаете ли вы необходимой национализацию промышленности и земли в нашей стране подобно тому, как это было сделано советским правительством в России?

М-р Рид. Я бы высказался в пользу национализации промышленности и земли, но остается вопрос о методе. У меня никогда не возникало мысли о том, что национализация не может быть осуществлена мирным путем. Я и сейчас думаю, что, если большинство населения нашей страны будет за национализацию, народ своего добьется.

Сенатор Уолкотт. Я также думаю, что народ добьется своей цели законным конституционным путем.

М-р Рид. Любым путем, который может обеспечить достижение цели.

Сенатор Уолкотт. Если народ не добьется национализации, не сможет добиться своего конституционным путем, это лишь докажет, что народ этого не хочет.

М-р Рид. Я не знаю, окажется ли наше правительство достаточно гибким, чтобы осуществить такие мероприятия, когда они встанут в порядок дня.

Сенатор Уолкотт. Для этого нам пришлось бы изменить конституцию.

М-р Рид. Однако нам не пришлось менять нашу конституцию для того, чтобы без объявления войны послать войска в Россию.

Сенатор Уолкотт. Нет, мы имели законное право поступить таким образом.

М-р Рид. Нам не понадобилось менять конституцию в той ее части, где говорится, что свобода слова не может быть ни ограничена, ни отменена, однако нередко она и ограничивается и отменяется.

...**Сенатор Уолкотт.** Приходилось ли вам в ваших поездках по Соединенным Штатам высказываться в пользу национализации промышленности и земли в Америке по образцу русских Советов?

М-р Рид. Нет, хотя я уже говорил, что считаю национализацию хорошим делом и хочу отметить успехи, достигнутые в этом отношении в России. Я не думаю, что национализация должна быть проведена во всех странах точно так же, как в России. Каждая страна в соответствии со своими условиями найдет свои особые пути, но думаю, что к этому придут все страны. Вот почему я считаю, что советское правительство в России совершает великое дело. Я не хочу этим сказать, что в Германии или в Соединенных Штатах национализация произойдет точно таким же образом. Каждый народ, вероятно, изберет свой путь. Я не хочу предрекать, каким он будет. У меня есть лишь одно желание — увидеть рабочий класс организованным. Мне хочется, чтобы люди хорошо разбирались в экономике, понимали свои классовые интересы и научились вместе бороться за них.

...**М-р Хьюмс.** Не высказывались ли вы публично в пользу революции в Соединенных Штатах, подобно революции в России?

М-р Рид. Я всегда выступал за революцию в Соединенных Штатах.

М-р Хьюмс. Вы выступали за революцию в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Революция не обязательно означает применение насилия. Под революцией я понимаю глубокие социальные изменения. Я не знаю, каким путем они могут быть осуществлены.

М-р Хьюмс. Не создается ли после ваших речей впечатление, что вы пропагандируете насильственное свержение власти?

М-р Рид. Возможно.

Сенатор Уолкотт. Вы намеренно создаете у аудитории такое впечатление?

М-р Рид. Я считаю, что воля народа должна в конечном итоге осуществиться, воля громадного большинства народа будет осуществлена.

Сенатор Уолкотт. Это здравая точка зрения.

М-р Рид. А если воля громадного большинства народа не будет выполнена в результате американской революции, она осуществится иным путем. Вот и все.

Сенатор Уолкотт. Знаете ли вы, мистер Рид, что под словом «революция» в обычном смысле подразумеваются конфликты, насилие и применение оружия?

М-р Рид. К сожалению, все глубокие социальные изменения сопровождались насилием.

Сенатор Уолкотт. Разве вы употребляли слово «революция» не в смысле насилия?

М-р Рид. Нет, я не вкладывал в него этот смысл, слово «революция» изначально ассоциируется с ним.

Сенатор Уолкотт. Вам, очевидно, следовало разъяснить аудитории, что, произнося слово «революция», вы не имеете в виду насилия.

М-р Рид. Я считаю, что воля народа будет выполнена, и если народ не добьется своей цели мирным путем, он сделает это при помощи силы. Хотя мирный путь еще никогда не приводил к цели, я считаю, что он вполне возможен. Если я в самом деле говорил что-либо, выходящее за рамки закона, я готов нести за это ответственность. Да, я — революционный социалист.

Сенатор Уолкотт. Говоря «революционный социалист», вы, очевидно, подразумеваете свержение существующей — как вы ее называете, капиталистической — системы мирным путем?

М-р Рид. Мирным путем или любым иным путем... но лишь тогда, когда массы будут подготовлены к этому. Я хочу сказать, что всякий, кто предлагает свергнуть правительство большинства ради меньшинства, совершает преступление, потому что такой переворот привел бы лишь к бессмысленному, бесцельному пролитию крови, бесцельному убийству.

М-р Хьюмс. Не заявляли вы в восемнадцатом году, выступая в одном из залов на Восточной Пятой улице в Нью-Йорке, а также позднее, что систематически занимаетесь организацией большевистского движения в Америке и что вас не удивит, если еще до конца года произойдут некоторые события — особенно в Нью-Йорке, Рочестере, Детройте, Филадельфии, Балтиморе, Буффало и Кливленде?

М-р Рид. Нет, сэр, я не говорил ничего подобного.

М-р Хьюмс. Большевистское правительство хотело назначить вас генеральным консулом в Нью-Йорке?

М-р Рид. Советское правительство...

М-р Хьюмс. Были ли вы после своего возвращения и являетесь ли сейчас официальным представителем большевистского правительства в нашей стране?

М-р Рид. Нет.

М-р Хьюмс. Поддерживаете ли вы связи с должностными лицами большевистского правительства?

М-р Рид. Я иногда встречаю людей, уезжающих за границу, и посылаю с ними записки.

М-р Хьюмс. Вы связываетесь с Россией при помощи добровольных курьеров?

М-р Рид. Нет. Лично я ни разу, с тех пор как вернулся в Америку, не получал от советских комиссаров никаких сообщений и ни разу не передавал им ни слова.

М-р Хьюмс. Вы с ними связываетесь через посредников?

М-р Рид. Нет. Не думайте, что я уклоняюсь от ответа на ваши вопросы, отнюдь нет. Я несколько раз писал Рейнштейну, а также Воровскому, который находится сейчас в Швеции. Ни с кем другим я больше не переписывался. Переписка велась только через государственный департамент.

М-р Хьюмс. Вы никогда не соглашались представлять советское правительство в нашей стране?

М-р Рид. Нет, никогда.

М-р Хьюмс. Думаю, что на этом можно закончить.

Сенатор Уолкотт. Вы говорите, что никогда не представляли Советы?

М-р Рид. Никогда.

Сенатор Уолкотт. А знаете ли вы, кто представляет большевистское правительство в нашей стране?

М-р Рид. Нет, мне это не известно. У Альберта Риса Вильямса есть полномочия открыть здесь советское информационное бюро.

Сенатор Уолкотт. Известно ли вам, кто несет расходы по содержанию этого бюро?

М-р Рид. Оно ведь не открыто.

Сенатор Уолкотт. Не открыто?

М-р Рид. Для этого нет денег.

Сенатор Уолкотт. Известны ли вам имена представителей России, получающих деньги для ведения в Америке разъяснительной работы о политике советского правительства?

М-р Рид. Нет, неизвестны...

Сенатор Уолкотт... Известны ли вам лица, получающие деньги из любого источника — русского, американского, какого угодно — для распространения в Соединенных Штатах информации о деятельности советского правительства?

М-р Рид. Когда я выступаю на митинге, я обычно получаю за это вознаграждение, потому что должен жить, и это мой единственный источник дохода. Я хотел открыть информационное бюро и посетил в Нью-Йорке несколько человек, от которых думал получить какие-то средства. Я рассчитываю собрать немного денег. Вы ведь знаете, в Нью-Йорке есть богатые женщины, которые ума не приложат, что им делать со своими деньгами, и готовы тратить их на подобные цели. *(Смех.)* Мы, например, издаем брошюры. Я обращаюсь к одному или нескольким знакомым, беру у них в долг тысячу долларов. Затем мы переводим на английский язык русскую брошюру, или декрет, или что-нибудь в этом роде, печатаем их и рассылаем во все штаты по почте или наложенным платежом, вырученные деньги вкладываем в изда-

ние другой брошюры. Но мы не располагаем достаточными для этого средствами. Для того чтобы рассказывать правду о России, в нашей стране денег нет.

М-р Хьюмс. За исключением тех случаев, когда вам удается убедить дам из буржуазных кругов Нью-Йорка дать вам для этого средства?

М-р Рид. Я лично этими деньгами не пользуюсь.

Сенатор Уолкотт. Я хочу попросить стенографа прочитать вопрос, который задал несколько раньше. *(Стенограф зачитывает вопрос, который имеет в виду сенатор, а именно:* Говоря «революционный социалист», вы, очевидно, подразумеваете свержение существующей — как вы ее называете, капиталистической — системы мирным путем?) Сейчас я хочу включить в этот вопрос слово «законным», так что вопрос будет звучать так: «мирным и законным путем».

М-р Рид. А я хочу включить в свой ответ слова о том, что законы создаются всегда людьми, стоящими у власти. У правительства Советской России есть свои законы... Дело в том, что закон, принятый при жизни одного поколения, может быть неприемлем для другого поколения. «Синие» законы штата Коннектикут, записанные в статуте этого штата, равно, как и закон, запрещающий мужу целовать свою жену по воскресеньям, сейчас фактически не действительны... Моя мысль заключается в том, что форма законов и форма государственной власти должны соответствовать времени, характеру народа, условиям его жизни, этим требованиям должны отвечать и правительства, по крайней мере демократические правительства.

...**Сенатор Уолкотт.** Есть одна важнейшая идея, которая владела умами основателей нашего государства, а именно: человек работает и приобретает имущество, и право собственности на него должно гарантироваться конституцией. А советское правительство проводит в жизнь совершенно противоположный принцип.

М-р Рид. Действия советского правительства как раз направлены на осуществление этого принципа.

Сенатор Уолкотт. Оно уничтожает этот принцип. Оно уничтожает частную собственность.

М-р Рид. Оно уничтожает частную собственность, но не право личного пользования собственностью. В чем заключается разница? Смысл владения личной собственностью заключается в том, что каждый должен пользоваться без помехи результатами своего труда. Как раз этого принципа и придерживается советское правительство.

Сенатор Уолкотт. Советское правительство хочет заменить частную собственность частным пользованием собственностью. И это все? Пусть гражданин пользуется всем, но не владеет ничем?

М-р Рид. В чем разница? Я не понимаю, в чем заключается преимущество частного владения?

Сенатор Уолкотт. Частный владелец всегда может пользоваться своей собственностью.

М-р Рид. Он может всегда пользоваться ею и при советской власти.

...**М-р Хьюмс.** Я попрошу вас представить комитету экземпляры всех декретов, на которые мы здесь ссылались, для включения их в протокол...

М-р Рид. Хорошо.

ГОВОРИТ БЕССИ БИТТИ

5 марта 1919 года

М-р Хьюмс. Сколько времени вы проживаете в Нью-Йорке, мисс Битти, и чем занимаетесь?

Мисс Битти. Я редактор журнала Макколла. В Нью-Йорке живу с августа прошлого года.

М-р Хьюмс. Насколько мне известно, вы в течение последних лет жили некоторое время в России. Как долго вы там находились?

Мисс Битти. С начала июня тысяча девятьсот семнадцатого года по конец января восемнадцатого года — всего восемь месяцев.

М-р Хьюмс. В каких местах побывали там?

Мисс Битти. В течение всех восьми месяцев я имела номер в отеле военного ведомства «Астория» в Петрограде. За это время я проехала всю Сибирь, спускалась по Волге до Нижнего Новгорода, провела две недели на фронте в окопах среди солдат русской армии... Около недели провела в казармах Молодечно, где был расквартирован женский батальон.

М-р Хьюмс. Каково было положение в России в момент вашего прибытия туда — экономическое, политическое, военное? Расскажите также о случаях террора, беспорядков.

Мисс Битти. Общее положение было крайне тяжелым. Экономически страна находилась в состоянии разрухи в результате трехлетней войны и последующих революционных событий. Ко времени Февральской революции было выве-

дено из строя не менее половины подвижного железнодорожного состава, что сильно ухудшало положение. В правительстве, возглавляемом Керенским, происходила непрерывная министерская чехарда министры по очереди сменяли друг друга.

Еще хуже было военное положение. В первые дни моего пребывания там делались какие-то попытки не допустить выхода России из войны, однако они потерпели крах. Уже к тому моменту у русских созрело прочное решение покончить с войной...

Сенатор Нельсон. Скажите, вы — социалистка?

Мисс Битти. Нет. Моя причастность к политике...

Сенатор Нельсон. Связаны ли вы с каким-либо социалистическим течением?

Мисс Битти. Нет. Моя причастность к политике ограничивается выступлением в пользу президента Вильсона в Калифорнии в тысяча девятьсот восемнадцатом году.

Сенатор Нельсон. Каковы ваши политические симпатии и связи в настоящее время? Каковы ваши убеждения? Вы — социалистка?

Мисс Битти. Смотря что понимать под словом «социалист». Я занималась общественной деятельностью.

Сенатор Нельсон. Итак, вы социалистка? Если да, то какого оттенка?

Мисс Битти. Скажите, что вы понимаете под словом «социалист», и я вам отвечу.

Сенатор Нельсон. Нет уж, скажите сами.

Мисс Битти. В таком случае, я скажу вам, кто я, и тогда вы, может быть, сумеете определить, социалистка я или нет. Как я уже говорила, у меня никогда не было политических связей за исключением той группы, которая участвовала в избирательной кампании президента Вильсона.

Сенатор Нельсон. Уж не хотите ли вы сказать, что Вильсон был избран социалистами?..

Мисс Битти. Нет, группа, с которой я была связана в Калифорнии...

Сенатор Нельсон. Ах, оставьте вы эту свою группу в покое.

Мисс Битти. Сенатор Нельсон, я вынуждена настаивать на праве отвечать на ваши вопросы так, как считаю нужным.

Сенатор Нельсон. Скажите нам, каковы ваши политические убеждения.

Мисс Битти. Группа, с которой я была связана в Калифорнии, являлась женской организацией и входила в Лигу борьбы за избирательное право женщин, созданную для содействия избранию президента Вильсона. Это единственная политическая группа, к которой я принадлежала.

Сенатор Нельсон. Это была организация борьбы за равное избирательное право для женщин?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Нельсон. Входите ли вы в состав так называемой «организации пикетчиков» здесь, в Вашингтоне?

Мисс Битти. Нет. Попытаюсь объяснить вам, каковы мои общественные интересы. В течение двенадцати лет я участвую во всякого рода общественно-благотворительной деятельности. Если бы вы занимались этим и знали, какое неистребимое желание покончить с нищетой вызывает эта работа, вы бы стремились добиться пищи и молока, а потом права на образование для каждого родившегося ребенка.

Сенатор Нельсон. Понимаю. А знаете ли вы, что в программу советского правительства входит и этого рода деятельность?

Мисс Битти. Я не знакома с их планами в этой области, но всегда готова поддержать любую программу, направленную на ликвидацию нищеты.

Сенатор Нельсон. Мне бы хотелось услышать от вас все, что вам известно о советском правительстве... о его планах и намерениях...

Мисс Битти. Быть может, положение станет яснее, если я немного расскажу о развитии событий в России. Я поехала в Россию потому что обрадовалась происшедшей там революции. В течение многих лет изучая русскую литературу, я знала, что представляла собой жизнь народных масс в старой России. Я разделяла чувства, как мне кажется, большинства американцев, с восторгом воспринявших известие о том, что русское самодержавие наконец низвергнуто. Приехав в Россию, я с интересом следила за всем, что предпринималось Керенским. Все мои симпатии были на его стороне, я считала, что Америка должна поддержать его.

Сенатор Стерлинг. А разве не вызывали наших симпатий все, кто пытался установить демократическую форму правления еще до прихода к власти Керенского? Вы сказали, что вас обрадовало низвержение самодержавия?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Стерлинг. Так же, как и всех нас. Но разве вы не встали на сторону таких руководителей Думы, как ее председатель, или Милюков, или другие не менее достойные люди, выступавшие за демократическую форму правления?

Мисс Битти. К моменту моего прибытия в Россию все они были уже свергнуты.

Сенатор Стерлинг. Ну а другим сторонникам демократической формы правления вы не симпатизировали?

Мисс Битти. Конечно, все мое сочувствие было на их стороне. Я всегда симпатизировала их усилиям. Но Родзянко к тому времени был уже свергнут. Кро-

ме того большинство из них не шло дальше создания конституционной монархии. А русский народ боролся за демократию. Вот почему и Родзянко и Милюков оказались свергнутыми. Когда я приехала в Россию, у власти стоял Керенский. «Мы не желаем конституционной монархии,— заявил народ,— мы хотим большего».

А потом произошли июльские события, и на сцене впервые появились большевики. Я в то время как раз только что вернулась из поездки на фронт.

Сенатор Стерлинг. Вы считаете, что большевики это нечто иное, чем социалисты и Советы?

Мисс Битти. Нет. Большевики это левое крыло Советов, которое в настоящий момент контролирует Советы. Но это вовсе не Советы в целом. Они только являются в них ведущей партией, как наши демократы в нынешнем конгрессе. Сейчас большевики контролируют уже всю Россию, но тогда, в июле, этого еще не было.

Сенатор Овермэн. Поскольку вы американка, вам, конечно, до большевиков никакого дела нет. Ну а все же, вы симпатизируете большевикам?

Мисс Битти. Нисколько.

Сенатор Овермэн. Вы американская гражданка?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Овермэн. И ни в душе, ни в помыслах не являетесь сторонницей большевиков?

Мисс Битти. Нет. Я просто наблюдатель русских событий. Я сторонница того, чтобы постараться понять большевиков, понять направление их усилий, что в них есть хорошего и что плохого.

Сенатор Нельсон. Так какова же цель их усилий, можете вы нам рассказать? Это-то мы и хотим выяснить.

...Мисс Битти. Они исходят из того, что управление страной должно осуществляться Всероссийским советом, состоящим из представителей местных Советов.

Сенатор Нельсон. Меня интересует не политическая структура, а экономическая политика.

Мисс Битти. Их экономическая программа — это контроль над промышленностью и социализация земли. Две основные цели — отдать землю крестьянам и передать управление промышленностью рабочим.

Сенатор Нельсон. Входит ли в их программу национализация земли?

Мисс Битти. Да...

Сенатор Нельсон. То есть вся земля должна принадлежать государству?

Мисс Битти. Да.

...В России каждый должен трудиться. Не обязательно на земле или на фабрике, но каждый должен вносить свой вклад в общее дело, производить что-то реальное.

Сенатор Нельсон. Значит, каждый обязан трудиться?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Нельсон. Трудиться над чем?

Мисс Битти. Над чем-нибудь полезным для всего народа.

Сенатор Нельсон. Ясно.

Мисс Битти. Так что, как видите, они заботятся не только о распределении, но и о производстве.

...Сенатор Нельсон. Насколько я вас понимаю — поправьте меня, если я ошибусь,— ваша позиция примерно такова: вы не уверены, что подобная форма правления подходит для нас, но считаете, что она вполне годится для русских.

Мисс Битти. Это не совсем так.

Сенатор Нельсон. Можете ли вы уточнить мою формулировку?

Мисс Битти. Я считаю, что русский народ вправе вводить у себя любую систему, какую он пожелает. Я думаю, они уже продемонстрировали свое желание испробовать именно существующую у них систему. Мы также, конечно, имеем право вводить у себя любую желательную нам систему. И, если мы захотим ввести систему, отличную от той, которая существует сейчас, мы сделаем это. Будучи демократами, мы обязаны предоставить возможность России, как и любой другой стране, решать свои задачи в соответствии с собственными идеалами. Но идеалы Америки и России различны. Мы имеем право отстаивать свои, а они — свои.

Сенатор Нельсон. И вы полагаете, что идеалы большевистского правительства как раз и есть то, чего хочет русский народ?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Нельсон. И поэтому это правительство должно стоять у власти?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Нельсон. Такова ваша точка зрения?

Мисс Битти. Да.

Сенатор Овермэн. Но здесь было засвидетельствовано многими, да и из газет тоже видно, что большевистский курс поддерживают всего каких-нибудь пять или десять процентов населения. Если это действительно так, вы не станете отстаивать правомерность большевистского правительства в России?

Мисс Битти. Я не верю, что положение вещей действительно таково, и по многим причинам. Корреспондент лондонского «Таймса» Гарольд Вильямс очень осторожен по части цифр, и трудно ожидать, чтобы он безосновательно поверил тому, что большевики находят поддержку повсеместно в России. Так вот, всего несколько месяцев назад он заявил, что большевистское движение охватило целиком всю страну.

Сенатор Овермэн. Как раз по этому поводу: здесь никто не отрицал, что они взяли в свои руки все управление страной. Но они держатся у власти при помощи немецких и латышских солдат, проходимцев и уголовников. Здесь выступали свидетели, говорившие, что больше-

вики освободили из тюрем всех преступников и сделали их членами своей партии и что только с помощью террора им удается держать крестьян в страхе и повиновении.

Мисс Битти. Вы полагаете, что миллион, или два, или даже три миллиона человек способны держать в страхе и принуждать к повиновению стовосьмидесятимиллионный народ?

Сенатор Овермэн. Да, я тоже задумывался над этим. Но утверждают, что они отобрали у крестьян оружие и всех, кто отказывался принять большевистскую веру, расстреливали на месте — в доме, на улице, во дворе. Конечно, имея в своем распоряжении все оружие и армию, можно на время захватить власть. По единодушному свидетельству выступавших здесь, именно это и делают большевики, вопреки воле народа.

Мисс Битти. Я могу сообщить вам еще несколько достоверных фактов, подтверждающих, что народ сам заинтересован в большевистских порядках. У меня была обстоятельная беседа с Чайковским. Он рассказывал мне о том, как тщетно в течение трех недель пытался работать в контакте с рабочими и крестьянскими Советами. Впоследствии он созвал крестьянский съезд, но крестьяне повернули влево, отбросив его в сторону. Он сказал мне также, что большевизм охватил всю страну. «Мы ничего не может поделать с ними,— говорил он,— они все вышли из-под нашего контроля. Кого бы мы ни посылали в деревню, наш делегат неизменно обнаруживал, что вся деревня перешла к большевикам»...

...Сенатор Овермэн. Мне совершенно ясно, и я думаю, Комитет согласится с этим, что, пробыв в России всего лишь восемь месяцев — какое-то время в Петрограде, какое-то на фронте, какое-то в Москве,— мисс Битти недостаточно информирована об обстановке, которая там сложилась, и не может делать о ней выводов.

Мисс Битти. Не могла бы, если бы не знала, какие силы там действуют.

Сенатор Овермэн. Вы можете сообщить нам лишь собственное мнение или сведения, почерпнутые из газет.

Мисс Битти. Я не могла бы делать выводов о положении в России, если бы не читала русских газет, не говорила с теми, кто вернулся оттуда, и не знала тех, кто там живет и работает, равно как и условий и настроений в стране. Не будничные мелкие происшествия имеют значение, сенатор Овермэн. Я считаю, что, если мы по-настоящему хотим понять сущность большевизма, нам гораздо важнее знать, как складывались события в России за последние годы, чем подсчитывать количество убитых.

Сенатор Овермэн. Мы хотим знать, что там происходит сейчас, знать, каково положение народа. Вот что больше всего нас интересует.

Сенатор Нельсон. А вы нам пересказываете только то, что вычитали из газет и слышали от побывавших в России американских большевиков.

Мисс Битти. Нет, вы абсолютно неправы.

Сенатор Нельсон. Но вы же не являетесь очевидцем событий, вас не было там, когда начался террор!

Мисс Битти. Неверно, что я — не очевидец событий. Я знаю многое, потому что жила в России бок о бок с ее гражданами.

Сенатор Овермэн. Я хочу лишь сказать, что вы вряд ли можете знать теперешнее настроение народа, исключая пять-десять процентов большевиков,— хотя бы потому, что настроения могут измениться за одну ночь. Вот почему вы не можете знать, какие там настроения сейчас.

Мисс Битти. Все это верно, сенатор Овермэн, за исключением одного — возможности судить о настоящем по прошлому. Я, например, живая свидетельница корниловского мятежа. Американские газеты писали, что по улицам в то время текли реки крови, тогда как на самом деле погиб всего-навсего один офицер, да и тот застрелился сам.

Сенатор Стерлинг. О каких событиях вы говорите?

Мисс Битти. О корниловском мятеже, когда Корнилов попытался стать диктатором России. Поэтому я и говорю, что если в то время в газетах все так преувеличивали, вполне возможно, что они продолжают делать это и сейчас.

Сенатор Стерлинг. Но ведь здесь выступали свидетели, мисс Битти. Особенно я вспоминаю одного, который побывал в двух тюрьмах при большевистском режиме. Не было дня, утверждал он, чтобы красногвардейцы не уводили кого-нибудь на расстрел. Вы опровергаете это?

Мисс Битти. Я не знаю, правда это или нет, однако допускаю, что это могло случиться, так как...

Сенатор Стерлинг. Вы находите, что это могло случиться?

Мисс Битти. Да, и вот по какой причине. В какой-то русской газете я читала, например, о случае, происшедшем в одной деревне. Захватив эту деревню вечером, белогвардейцы расстреляли на месте двадцать шесть членов местного Совета. Они приговорили к смерти еще сто пятьдесят. Когда Красная гвардия отбила на следующий день деревню, она перестреляла всех белогвардейцев.

Сенатор Стерлинг. Вы, должен признаться, проявляете определенную склонность к защите большевистской Красной гвардии. Сейчас вы заявляете, что Красная гвардия ничем не хуже белой,

и оправдываете зверства красных рассказами о том, что проделывают белые.

Мисс Битти. Видите ли, я думаю, что все имеет свои причины и объяснения.

Сенатор Стерлинг. Речь идет о засвидетельствованных фактах зверств. С вашей точки зрения, эти факты не столь значительны и малосущественны. Вам желательно философствовать и всякий раз углубляться в причины, которые...

Мисс Битти. А вы не считаете нужным искать причины, сенатор?

Сенатор Стерлинг. Вы полагаете, что мы неправы, пытаясь установить связь между фактами зверств, убийств, голодной смерти и тем духом, который их порождает, а следовательно, и является их причиной?

Мисс Битти. Вы были бы правы, если бы искали объяснения в анализе прошлого. В этом суть дела. Я именно это и стараюсь делать. Здесь перед вами выступало много свидетелей. Некоторые из них покинули Россию за несколько месяцев до меня, даже до наступления большевистской революции. Все их свидетельства построены только на слухах, опровергнутых во время моего пребывания там. И тем не менее они снова повторяют их. Против ваших попыток доискаться правды подобными методами я и возражаю.

Сенатор Овермэн. Вы говорите о людях, которые уехали из России до вас. Однако перед нами прошла вереница свидетелей, которые вернулись оттуда много позже вас. И они подтверждают прежние показания, даже усугубляют их. Ведь свидетельства этих людей основаны не на слухах, а на том, что они видели собственными глазами.

Мисс Битти. Может быть, не все эти показания были опубликованы, но большинство из того, что я читала в газетах,— свидетельство по слухам. И среди них такие, которые — я точно знаю — были опровергнуты.

Сенатор Овермэн. Ну а ваши показания разве основаны не на слухах?

Мисс Битти. Нисколько.

Сенатор Овермэн. Но ведь вы знаете о том, что там происходило после вашего отъезда, только из газет?

Мисс Битти. А я и не выдаю это за свидетельство очевидца.

Сенатор Нельсон. Но что же еще вы сообщите нам?

Мисс Битти. Мне кажется, сам факт того, что после восьмимесячного пребывания в России я нахожусь здесь, живая и невредимая, служит некоторым доказательством тому, что истинное положение дел там не так-то уж страшно, как его расписывают.

...Сенатор Нельсон. Какую цель вы преследуете своими показаниями здесь — обелить в глазах нашего народа большевистский строй?

Мисс Битти. Вовсе нет. Я просто считаю, что мы не имеем права вмешиваться в события в России, и потому очень хочу, чтобы американские войска были выведены оттуда. Я хочу, чтобы Россию оставили в покое.

Сенатор Нельсон. Иными словами, вы хотите предоставить большевикам свободу действий? Именно этого вы хотите, не так ли?

Мисс Битти. Можно и так, если вы предпочитаете вашу формулировку моей.

Сенатор Овермэн. Мисс Битти, мы задали все вопросы, какие считали нужным, и я хочу теперь предоставить вам возможность выступить здесь с любым заявлением. Если вам угодно дополнить чем-либо ваши ответы на вопросы или что-либо заявить, можете это сделать. Вас никто не будет прерывать.

Мисс Битти. Пожалуй, мне нечего больше заявить, кроме одного: я хотела бы, чтобы мы, американцы, глубоко и непредвзято изучили вопрос о России. Он, по-моему, настолько серьезен, что мы не вправе относиться к нему с предубеждением...

Сенатор Овермэн. Потому-то мы и вызвали вас. Вы ведь представляете, насколько нам известно, другую точку зрения, «ту сторону».

Мисс Битти. Речь идет совсем не о двух сторонах, к тому же я вовсе не предоставляю какой-то «другой точки зрения». Один из представителей «другой стороны» не захотел даже выступать на одной трибуне со мной, потому что я, по его мнению, «буржуйка». Я нахожусь здесь совсем не в качестве приверженца той или другой стороны... Хочу также сказать, сенатор Овермэн, что некоторых из тех, кто выступал здесь в качестве свидетелей, я встречала в России. Я видела их там только на банкетах и балах и никогда не встречала среди простого народа. Что же они могут знать о жизни народных масс?..

Лично я достаточно много встречалась с представителями той и другой стороны. У меня были друзья среди князей и среди крестьян и рабочих. До августа семнадцатого года я не встречала ни одного живого большевика. Когда я впервые услышала об одном из них, что это порядочный, идейный человек, я постаралась познакомиться с ним. А когда убедилась, что он действительно таков, как я о нем слышала, я постаралась расширить свой круг знакомств с этими людьми.

Когда я впервые приехала в Россию, я была настроена в пользу правительства Керенского. Я полагала, что Керенский из тех, кто наиболее способен обеспечить победу в войне, и была страшно раздосадована тем, что его правительство вот-вот могут свергнуть. В Гельсингфорсе я посетила Центральный комитет Балтийского флота. Непосредственно перед корниловским мятежом в его состав входило всего восемнадцать большевиков и ни одного анархиста. Вскоре же после этого в комитете было уже три анархи-

ста и сорок пять большевиков из общего состава в 60 человек.

Все это происходило еще до большевистской революции и служило для меня признаком полевения масс — они отходили от Керенского. Единственная страна, которая еще поддерживала в то время Керенского, была Америка. Русские народные массы отмахнулись от него, а союзники делали ставку на Савинкова. Керенский оказался в одиночестве, и уже ничто, по-видимому, не могло удержать его от падения. И все-таки я хотела, чтобы его поддерживали, так как считала его способным установить настоящий порядок.

И вот к власти пришли Советы. Я сказала себе: «Это свершившийся факт. Нельзя понять ситуацию в России, игнорируя факты, а Советы стали фактом». И я всячески пыталась понять, каковы источники их влияния и силы. Я работала в то время в Красном Кресте и сознательно продлила срок своего пребывания в России, чтобы лучше узнать настроения народа. Так вот тогда-то я и поняла, сколько небылиц распространялось здесь о России уже в то время. Будучи газетным работником, я знаю, каким образом обрабатываются новости, и как бывает трудно добраться до фактов. Как-то в Петрограде газеты писали о крупном восстании на Кавказе с тысячами жертв. А неделей позже один из людей, находившихся там, сообщил, что все это неправда. Тем не менее опровержения так и не последовало.

Красный террор в России, несомненно, имеет место, и это ужасно. Но очень важно, чтобы мы разобрались, каковы его причины и каковы будут последствия. Я считаю, что мы никогда не сможем найти решение, которое могло бы предупредить волнения в любой стране, если не будем рассматривать все факты в их совокупности, если не поймем, чего хотят трудящиеся, и не дадим им того, в чем они нуждаются и что вправе иметь. Иначе неизбежны столкновения, которые принесут нам разочарование, хаос и террор.

Я согласна с тем, что, вернувшись из России год назад, не могу знать всего, что там сейчас происходит. Но я утверждаю, что мне лучше судить об этом, чем людям, которые там вовсе не были. Потому что я непосредственно общалась с людьми труда и, безусловно, знаю, как они будут реагировать на те или иные события, лучше, чем если бы судила о них, не имея таких тесных контактов.

Больше, пожалуй, мне нечего добавить.

ГОВОРИТ РАЙМОНД РОБИНС

6 марта 1919 года

...**М-р Робинс.** Находясь в России в качестве работника миссии Красного Креста, я первое время занимался в основном вопросами снабжения и устройства беженцев. В первые же недели работы в Сибири, на юге России, в хлебных районах Украины я пришел к убеждению (о чем и доложил начальству), что продовольствия в России достаточно и проблема заключалась лишь в том, чтобы организовать его переброску из районов избытка в районы нехватки. Однако экономическая разруха, царившая в первые дни революции, и расстройство путей сообщения делали эту задачу крайне сложной.

Министр — председатель Керенский сменил многих руководящих чиновников из старой автократической бюрократии, но все же сохранил в неприкосновенности весь бюрократический аппарат, ведающий путями сообщения да и вообще обслуживанием населения. Эта публика никогда не относилась к революции одобрительно. Привыкшие обслуживать богатых, слепо преданные им, люди эти... прибегали к саботажу... Они ненавидели революцию, и хотя не уходили со своих постов, но и не работали.

Уже в первые недели я убедился в том, что Временное правительство не имело корней в народе и не пользовалось необходимым политическим авторитетом. По существу это действительно была временная соглашательская власть лишь на бумаге, державшаяся только силою штыков в Петрограде, Москве и еще кое-где. Я убеждался в этом на каждом шагу и в городе и в деревне, когда пытался добиться осуществления своей миссии при содействии мандатов и предписаний, которые в изобилии выдавало мне правительство Керенского. Люди просто смеялись над этими бумажками и всякий раз рекомендовали мне лучше обратиться к «председателю Совета».

В то время я еще не знал, что такое «Советы», хотя и слышал это название не однажды. В ответ на мой недоуменный вопрос «что такое Советы», мне отвечали, что это «организация рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

«Но это революционная организация,— возражал я,— а мне нужно обыч-

ное государственное учреждение — дума, земство, волостное управление, обычная гражданская власть».

«Все это — пустое место,— отвечали мне,— вам лучше обратиться к председателю Совета».

И всякий раз, когда я обращался к руководителю местного Совета и он соглашался выполнить мою просьбу — не потому, что она подкреплялась распоряжением Керенского, а потому, что он сам считал ее целесообразной,— все, о чем я просил, неизменно выполнялось. Нужен был поезд — получал поезд, нужны были подводы, чтобы подбросить продовольствие из деревни на станцию,— получал подводы. Так я на фактах убедился, кто был подлинной властью в народе — Временное правительство или же Советы.

Когда я впервые столкнулся с никчемностью моих официальных мандатов, как всякий человек, привыкший добиваться своего, я решил выяснить, в чьих же руках реальная власть в России.

...И вот бок о бок со старым и уже отжившим аппаратом власти, параллельно с потугами Временного правительства иметь видимость действенности, я увидел Советы, которые начали вырастать как подлинно народная революционная власть, сплачивавшая вокруг себя, как мне кажется; большинство русского народа — рабочих, крестьян и солдат. Это был поистине новый общественный строй...

Здесь утверждалось, что корниловский мятеж являлся попыткой восстановить законность и порядок в России и что помешал этому будто бы Керенский. Но это, по-моему, детский лепет... Конфликт между Корниловым и Керенским обнаружил лишь более глубокий антагонизм, существовавший между семью процентами населения, с одной стороны, и девяносто тремя — с другой, между рабочей и крестьянской массой — внизу и представителями старого строя — наверху.

И не из Зимнего дворца — резиденции Временного правительства, а из Смольного — штаба Петроградского и Всероссийского Советов было направлено в Кронштадт распоряжение о мобилизации матросов-большевиков Балтийского флота для отпора корниловской авантюре.

И опять-таки не Зимний дворец, а Смольный распорядился окружить гостиницу «Асторию», арестовать несколько десятков генералов — сторонников старого режима и ликвидировать тем самым штаб контрреволюции. Именно по распоряжению из Смольного были вырыты окопы вокруг Петрограда, расставлены пулеметы и орудия на крышах зданий, чтобы встретить Корнилова и отстоять дело революции от реакции. Именно Смольный призвал к оружию рабочих Выборгской стороны, организовал их в Красную гвардию и начал готовить к отпору.

...Таково было положение, которое мы там застали. Мы всячески пытались поддержать Керенского, но он все же оказался сброшенным. У меня были люди, тайно следившие за развитием событий на Западном фронте. И сам я видел Керенского на поле сражения под Гатчиной, видел, как его покинули собственные войска. Я сам слышал, как к ним обращались с противоположной стороны: «Против кого вы боретесь, против собственных же братьев по оружию, против своих товарищей? Кого вы поддерживаете? Лакея союзников-империалистов Керенского? Зачем вы хотите продолжать войну с рабочими других государств?»

Видя, как рота за ротой выходят из боя, я вернулся к своему начальнику и сказал: «Нам пора выбираться отсюда, и побыстрее. Во всей этой кутерьме мне по крайней мере ясно одно — Керенский мертв, как мертво всякое прошлое».

Почему же суровая марксистско-социалистическая доктрина стала всемогущей и завладела Россией? Да и завладела ли? Я отвечаю на этот вопрос положительно. Я утверждаю, что встречал гораздо больше людей, рабочих и крестьян, придерживающихся этой доктрины, чем при любом другом общественном строе. А я многое повидал и знаю рабочее движение и экономическую борьбу достаточно хорошо. Думаю, что причины таковы.

В течение шестидесяти лет, предшествовавших Февральской революции семнадцатого года, русская форма правления оставалась фактически неизменной, в то время как во всех остальных странах... она приобрела более либеральный характер. Казацкая нагайка, казацкая сабля и самодержавие — вот на чем держался в России общественный строй. ...Свобода слова, свобода печати, свобода подачи петиций и критики правительства рассматривались как бунт; сторонников этих свобод сажали в тюрьмы и физически уничтожали. Поэтому естественные родники жизни и мысли, призванные оплодотворить социальную почву России, были как бы перегорожены глухой плотиной. В результате они искали выхода, прокладывая себе русло под поверхностью общественной жизни, в подполье.

И вот из подвалов и с чердаков, из лесов и сибирских тюрем послышались голоса: «Когда мы придем к власти, мы издадим такой-то декрет и раз навсегда покончим с такими-то неполадками. А еще одним установим новые порядки...» Эта твердая, как металл, формула переходила из уст в уста и вошла буквально в плоть и кровь каждого.

...Почему материалистическая идеология приобрела такое влияние в деревне? Городской пролетариат составляет девять процентов русского народа, он воспитан в духе революционного социализма. Сорок процентов этих горожан ежегодно дважды бывают в деревне — во время сева и в период уборки. Для кре-

стьян — это бывалые люди, с более богатым опытом жизни. И они липнут к ним, слушают их речи, а речи эти всегда только о революции, о предстоящем наступлении золотого века. Вот почему эти идеи получили такое широкое распространение в народе. Вот почему они завладели умами и играют такую колоссальную роль теперь, в эпоху социального переворота в России... Я многие годы оспаривал социалистические доктрины, кое-кто утверждал даже, что я недостаточно умен для того, чтобы быть социалистом. Может быть, это и верно. Я слышал, эстетствующие интеллигенты вкупе с другими им подобными, проживающими на Вашингтон сквер, в Гринвич-Виллидж, в Нью-Йорке, повторяли, точно евангелие, марксистскую теорию о классовой борьбе как движущей силе всякого общественного прогресса и экономической основе истории. Они говорили о железном законе заработной платы и о законе обнищания, и все это проповедовалось в уютной и комфортабельной гостиной на Вашингтон-сквер. А когда эти джентльмены стали ответственными представителями американских интересов, национальных интересов, даже, если хотите, союзных интересов, когда они увидели свою доктрину, одетую в шинель на Невском, бородатую, окровавленную, вооруженную винтовками, в образе рабочих и крестьян, когда они услышали, что эти люди намерены убрать с дороги Керенского и К°, чтобы провести в жизнь это самое евангелие, тогда наши соотечественники воздели руки к небу и завопили: «О господи, какой же это социализм! Это немецкие агенты, это грабители, это мародеры!»

На самом деле это единственно возможный способ претворить в жизнь ту самую формулу, которая проповедовалась в уютной и комфортабельной гостиной на Вашингтон-сквер.

Сенатор Стерлинг. Выступая здесь, мадам Брешко-Брешковская отрицала все происходящее в России. Может быть потому, что это делают большевики?

М-р Робинс. Но она сама пропагандировала это учение в продолжении сорока лет.

Сенатор Стерлинг. И не подозревала, что оно может привести к таким крайностям и ужасам, которые имели место?

М-р Робинс. Иными словами, она не думала, что революция окажется революцией. Она полагала, что это будет такое милое и благопристойное происшествие, в результате которого все будут просто счастливы поставить у власти таких милых и славных людей, как она. Но революция хочет есть и пить, и уж если вы сами желали ее, так не причитайте, когда настал решающий час.

...И если вы, господа сенаторы, усматриваете опасность русской революции только в том, что она якобы дело рук немецких агентов, грабителей и тому подобных, значит, вы совершенно не видите подлинных размеров и характера этой опасности... Идеям христианства и политической демократии сделан вызов, какого еще не бывало во всей предшествующей мировой истории. И этот вызов, брошенный народам всего мира, может принять, по-моему, только Америка...

Но, господа сенаторы, давно известно, что голым насилием нельзя задушить идеи. Я первый готов поднять общественное мнение против тех, кто замышлял бы низвергнуть при помощи насилия наше правительство или лишить кого-либо его законных прав или собственности. Но мне и в голову не придет подавлять идеи штыками. Я бы никогда не стал применять силу против стремления улучшить жизнь народа, какую бы политическую форму ни приняло это стремление. Единственно правильный ответ на требование улучшить условия человеческого существования это действительно улучшить их...

Есть люди, которые принимают большевизм как евангелие. Некоторые из них даже выступали здесь в качестве свидетелей. Мне кажется, что они едут не в ту сторону. А может быть, это я не туда еду. Но человек должен шевелить мозгами — на то они ему и даны. *(Смех в зале.)* Я не собираюсь порицать ни одну из противостоящих друг другу сторон. Думаю, что истина находится там, где вижу ее я,— в понимании самой ситуации.

Мне очень понравилась в этой связи карикатура в «Нью-Йорк трибюн», которую я увидел после возвращения из России. Она изображала человека, которого насильно тащат по земле. Глаза у него подбиты, ворот расстегнут. Лица и одежда его преследователей имеют примерно такой же вид. Прохожие, разумеется, спрашивают:

«Почему вы так грубо обращаетесь с этим парнем, что вы хотите с ним делать, куда тащите?»

«Не вмешивайтесь не в свое дело,— отвечают им,— это — безнадежно сумасшедший».

«Что же это такое с беднягой приключилось?»

«А он заявляет, что разобрался в положении в России».

По-моему, это точно отражает действительное положение вещей. Таким образом, как видите, я вовсе не думаю, что разобрался во всем. И все же пусть это звучит самоуверенно, однако я заявляю со всей ответственностью; если бы я не знал больше, чем любой из представителей союзников в России, то считал бы свое время там потерянным. У меня были лучшие по сравнению со всеми остальными возможности. Целых три месяца я находился в постоянном, искреннем и доброжелательном контакте с Керенским и полгода имел дело с революцион-

ными органами советской власти. Все это время я старался твердо придерживаться фактов, не верить слухам и необоснованным суждениям других...

Вернувшись в Америку, я изложил все факты так, как я их понимал, нашему правительству. Я надеялся, что правительство не станет ввязываться в интервенцию, так как был убежден, что не только в то время, но и исходя из перспектив, интервенция обречена на неудачу. Я полагал, что только экономическое сотрудничество сохранит для нас и для союзников русский экономический потенциал и русское сырье.

Интервенция все же стала свершившимся фактом. Как только это произошло, я немедленно удалился к себе на юг, чтобы избежать необходимости высказываться по русскому вопросу. Вам известно, что с момента своего возвращения в Америку я стал сенсацией. Имя мое не сходило с первых страниц газет, однако до сих пор они не получили от меня ни одного письменного или устного заявления. Я старался оставаться верным своим обязательствам, вытекающим из создавшегося положения. Я сознательно похоронил себя в своем доме на юге, потому что знал: говорить сейчас правду о России значит повредить и своему правительству и делу союзников. И я молчал. Хотя это расценивалось как трусость, я оставался нем. Когда были обнародованы некоторые документы, общественность стала требовать, чтобы я сказал о них все, что знаю и думаю. Я отказался и стал мишенью для оскорблений.

Когда же перемирие было все-таки подписано, я подумал: «Мой долг позаботиться о том, чтобы американские парни и русские крестьяне больше не убивали друг друга из-за неправильной оценки положения»,— и отказался от своего затворничества. Я всячески пытался помочь уточнению линии нашего правительства, в частности, точнее определить нашу политику по отношению к России, и потерпел фиаско — мы беспомощно плыли по течению.

Наконец некоторые из сенаторов Соединенных Штатов заявили о необходимости всесторонне проконсультироваться по вопросу о нашей политике в отношении России и предприняли определенные шаги к ее открытому обсуждению. В результате я предстал здесь перед вами, чтобы официально высказать все, что я считаю необходимым. Я сказал всю правду в том объеме, в каком я ее знаю. Теперь я готов ответить на ваши вопросы.

Сенатор Овермэн... Какой процент русского населения, по-вашему, поддерживает линию большевистского правительства?

М-р Робинс. Это довольно трудно сказать. Позвольте мне вместо ответа доложить вам некоторые поучительные, на мой взгляд, и для вас и для всех факты. Лениным был издан декрет о земле, то есть то, чего русские крестьяне жаждали больше всего... Вот уже год, как они вкушают плоды своего труда, приложенного к принадлежащей им отныне земле — принадлежащей в том смысле, что они пользуются ею без какой бы то ни было арендной платы помещику... Земля стала принадлежать им благодаря Советам.

Так неужели крестьяне не встанут теперь на защиту той власти, которая дала им землю и гарантирует им права на нее? Я вам представляю это в качестве объяснения того, почему реакция, где бы она ни подымала голову, была всюду незамедлительно разгромлена, и разгромлена не иностранными штыками, не штыками Москвы или Петрограда, а оружием местных крестьян, поднимавшихся на защиту местных Советов, которые олицетворяют для них землю... В этом-то, джентльмены, и состоит сила Советов.

...Сенатор Овермэн. Допуская, что это правда, и не сомневаясь, что вы говорите только то, что считаете правдой, я все же никак не могу увязать все это, мистер Робинс, с показаниями очевидцев о господстве в России террора. Если все действительно так, как говорите вы, то как объяснить подобные утверждения?

М-р Робинс. Я смотрю на это так. Все разговоры и все газетные сообщения об актах насилия, имевших якобы место в России во время моего пребывания там, — в большинстве случаев ложь. Я жил там в гуще событий, жил с открытыми глазами и обращал внимание только на факты. Мне нужно было знать факты. И, насколько я могу судить, за время моего пребывания в России там не было ничего похожего на «всеобщий террор».

...Сенатор Нельсон. Вам известно, что Красная гвардия расправилась с целым рядом людей?

М-р Робинс. Я знал, что были случаи расстрелов.

Сенатор Нельсон. Но вы полагаете, что таких случаев было немного?

М-р Робинс. Я рискую быть неправильно понятым и все же заявляю: вплоть до моего отъезда из России я постоянно удивлялся тому отсутствию мстительности, которая была бы вполне естественной при подобных обстоятельствах,— не было ни грабежей, ни убийств, ни насилия. Случись подобное в Америке или любой другой знакомой мне стране, если бы народ захватил власть с оружием в руках, насилия, на мой взгляд, было бы намного больше.

...Сенатор Стерлинг. Вы выехали из России в мае восемнадцатого года, так, кажется?

М-р Робинс. Да.

Сенатор Стерлинг. Следите ли вы за дальнейшим развитием событий?

М-р Робинс. По мере возможности, но без какой бы то ни было гарантии в правильности информации. Позвольте проиллюстрировать это на одном примере

Во время одной моей беседы с сенатором Хичкоком и некоторыми другими членами сената к нам вошел некий джентльмен и бросил на стол газету.

«А об этом что вы скажете?» — спросил он, указывая на заголовок.

Вы, может быть, помните, что в конце июня или в начале июля в газетах сообщалось о том, что Ленин и другие бежали из Москвы в Мурманск, что советское правительство свергнуто, что Каледин и Корнилов, наступая со своими дивизиями с разных сторон на Москву, низложили Советы.

«Что касается меня,— сказал я тогда этому джентльмену,— то могу заявить только следующее: меньше всего можно ожидать бегства именно от Ленина... Наименее вероятно, что местом побега может быть Мурманск, так как беглецы были бы немедленно там повешены. Что касается остального, то Каледин покончил с собой на пороге своего дома в Ростове-на-Дону еще за три месяца до моего отъезда из России. А Корнилов был убит за месяц до моего отъезда. Так что вряд ли они были в состоянии наступать куда-либо со своими дивизиями. Если принять во внимание эти поправки, то в остальном репортаж, вероятно, достоверен».

Сенатор Стерлинг. Каково ваше мнение о прочности большевистского правительства? Обладает ли оно сейчас большей силой, чем в период вашего пребывания в России?

М-р Робинс. Все, что я знаю,— а я старался знать как можно больше,— свидетельствует, что позиции советского правительства стали более прочными, особенно с момента вооруженного вмешательства иностранцев, так как во имя отпора интервентам власти сумели поднять патриотический дух народа и сплотить его.

Сенатор Стерлинг. Слышали ли вы, полковник Робинс, о том, что красногвардейцы выводили из тюрем людей и расстреливали их без суда и следствия?

М-р Робинс. Я слышал об этом, сенатор Стерлинг, и каждый раз, когда я проверял эти слухи, они неизменно оказывались ложью.

Вот, например, был арестован глава русского Красного Креста, дворянин по происхождению, и его секретарь. На следующее утро их должны были расстрелять. Мне даже сказали, что это уже свершилось. Я тут же обратился к правительству с просьбой освободить их. В ответ мне показали документы, свидетельствующие о том, что секретарь Красного Креста переправил в Ростов, в штаб контрреволюции Каледину и другим, продовольствие, принадлежавшее Красному Кресту.

«Допустим, что это так,— сказал я.— Но люди эти — работники Красного Креста. Как представитель американского Красного Креста, я прошу вас освободить их».

И они оба были освобождены. У меня сохранились их благодарственные письма...

Сенатор Нельсон. После всех ваших высказываний у меня складывается впечатление, что большевики, с вашей точки зрения, как раз и есть те люди, в которых нуждается сейчас Россия?

М-р Робинс. Ваш вопрос, сенатор, содержит в себе допущение, что я одобряю их программу, чего на самом деле нет. Если же вы спрашиваете, думаю ли я, что они являются воплощением революционных устремлений России, самыми лучшими выразителями классового, революционного, социалистического сознания, я бы ответил утвердительно: да, они являются его идеальным олицетворением.

Сенатор Нельсон. Вы одобряете их революцию?

М-р Робинс. Я не одобряю их программы, но я приветствую русскую революцию и низложение царя.

Сенатор Нельсон. Чтобы не ходить вокруг да около, скажите, считаете ли вы, что наше правительство должно признать в настоящий момент правительство большевиков?

М-р Робинс. Я бы сказал, что при настоящем положении вещей прежде всего необходимо внимательное и беспристрастное изучение действительной обстановки в России.

Сенатор Нельсон. Но вообразите, что вы и есть тот, кому поручено это обследование, тем более что вы уже были там. Исходя из вашего знакомства с обстановкой и руководящими деятелями, рекомендуете ли вы нам признать правительство большевиков?

М-р Робинс. В настоящий момент — нет. Но если бы я снова отправился туда и убедился на фактах, что народ поддерживает правительство, что правительство это прочно и, как резонно предположить, на длительное время останется руководящей силой в стране, я бы рекомендовал признать его и сотрудничать с ним.

...**Сенатор Нельсон.** Из всех ваших речей у меня создалось впечатление, что вы взяли на себя миссию убедить наше правительство не трогать русских большевиков и позволить им делать в России все, что им заблагорассудится. Не за этим ли вы явились к нам, не в этом ли ваша миссия?

М-р Робинс. Никакой миссии у меня нет.

Сенатор Нельсон. Но не об этом ли свидетельствуют ваши показания и поведение здесь?

М-р Робинс. Вы сами в состоянии это решить. Я против использования американского оружия и американских граждан для расправы с русским революци-

онным правительством в результате ложного освещения фактов.

Сенатор Нельсон. Так.

М-р Робинс. Я считаю это изменой американским принципам, на которых покоится весь наш строй, это — ниспровержение основ нашей собственной конституции...

Сенатор Нельсон. Так...

...**М-р Робинс.** Я хочу разобраться в существе обстановки в целом, а не становиться на защиту одной из сторон. Я бы хотел, чтобы столь ответственная организация, как комитет, образованный сенатом, вник в сущность русской революции, разобрался, к чему ведет ее развитие, каково ее значение и будущие последствия для мировой истории. Это необходимо для того, чтобы ответить на вопросы, волнующие американский народ, чтобы заставить обе партии, все правительство соответствовать требованиям эпохи, тому «направлению в сердцах людей», о котором говорил президент. Да, люди ищут ответа на вопросы эпохи, и одна только озлобленность или ненависть не в состоянии убедить их.

...**Сенатор Овермэн.** Вы полагаете, насколько я понял вас, что большевизм угрожает не только нашей стране, но и всему миру?

М-р Робинс. Я считаю его главным вызовом эпохи нашему общественному строю.

Сенатор Овермэн. Я так вас и понял. Но тогда почему же вы хотите, чтобы наша страна признала правительство, представляющее угрозу для всего мира?

М-р Робинс. Решение о признании того или иного правительства не должно зависеть, насколько я понимаю, от характера этого правительства. Является ли оно действительным представителем народа — вот и все, чем вправе интересоваться любое другое правительство. Признание не означает одобрения, это просто принятие факта. «Это — фактическое правительство. Поэтому я признаю его, чтобы иметь с ним дело, а если это окажется впоследствии необходимым — противостоять ему вплоть до вступления с ним в войну». Я восстаю, сенатор, против намеренного нежелания смотреть в глаза подлинным фактам, совершающимся в России, и изучать их, против тенденции к предвзятой оценке фактов, исходя из несуществующих условий.

...Сколько уже месяцев прошло, сенатор, после начала интервенции? В скольких портах России находятся иностранные штыки и сколько их там? И что произошло? Весь народ поднялся на борьбу, как поднялись бы мы против иностранной агрессии...

Сенатор Овермэн. Выступавшая здесь патриотка... тридцать два года боровшаяся против царя и сидевшая за это в тюрьмах *, сама заявила здесь: «Поспешите, ради бога, к нам на помощь, народ наш умирает от голода. Я лично предпочла бы снова царский режим большевистскому правлению». Что же, мы не должны придавать этому никакого значения?

М-р Робинс. Осмеливаюсь заявить, что вы нуждаетесь в более достоверных свидетельствах... Эта престарелая женщина... потеряла в результате своих выступлений после революции всякое уважение в народе.

«Как! — говорили ею же революционно настроенные крестьяне.— Наша уважаемая бабушка сама научила нас революции, а теперь говорит: «Нельзя!» Старушка, как видно, начинает выживать из ума».

А когда они сделали то, чему она же их учила, и свергли поддерживаемое ею правительство, она сбежала за границу и начала распространять там панику, никак не основанную, по моему убеждению, на фактах.

Я не однажды встречал ее там в тот период, знал, где она скрывалась (как, кстати, знали об этом и Советы)... В конце концов я спросил у Ленина: «Какую вы занимаете позицию по отношению к мадам Брешковской?»

«А никакую! — ответил Ленин.— Она годится только для картинной галереи».

«Но она опасается, что красногвардейцы убьют ее, как только нападут на ее след».

«Какой абсурд! — ответил Ленин.— Хотите, мы вам дадим целый взвод солдат для ее охраны? Она может повредить нам, лишь если ее случайно убьют в какой-нибудь стычке, а вину за это взвалят потом на советское правительство»...

...**Сенатор Стерлинг.** Насколько я понял вас, полковник, вы, по-видимому, полагаете, что следует позволить большевистской революции развиваться дальше, а не останавливать ее?

М-р Робинс. Нет, сенатор. Я за то, чтобы предоставить русским право идти своим путем, право иметь, несмотря на все издержки, то правительство, какое они желают; я против того, чтобы навязывать им государственное устройство при помощи иностранных штыков, в интересах защиты капиталовложений или в любых других собственнических интересах. Все это, по-моему, дело второстепенное по сравнению с правом народа иметь правительство по своему выбору.

Сенатор Овермэн. Я думаю, мы все согласны с вами, полковник, что всякий народ вправе иметь правительство по своему усмотрению. Но вопрос-то здесь, по-моему, в другом: согласно многочисленным свидетельствам, население там терроризировано и поэтому не в состоянии избрать правительство по своему желанию... Не будете же вы поддерживать подобные вещи?

М-р Робинс. Конечно нет, сенатор. Вопрос только — правда ли все это?

* Имеется в виду эсерка Брешко-Брешковская.

Сенатор Овермэн. Ну конечно.

М-р Робинс. Сейчас позади уже четырнадцать месяцев истории, и вот каковы факты.

Большевики взяли власть в Петрограде с очень небольшими потерями. Временное правительство вылетело из седла почти без сопротивления.

Вся армия проголосовала в своих комитетах за поддержку советского правительства, все губернии одна за другой высказались в пользу советской власти.

Украинская рада, выступавшая против Советов, была сметена восставшими украинскими крестьянами, захватившими Киев и Одессу. И они удерживали эти города до тех пор, пока Украинская рада, ошибочно поддержанная нами, не продалась немцам и с их помощью не восстановила свою власть.

Верно, что в Финляндии белая гвардия выступила против красной. Но верно и то, что мы ошибочно поддержали ее, приняв белогвардейцев за своих друзей только потому, что они показались нам приятными людьми (хотя бы из-за того, что выступили против этих «ужасных» красногвардейцев).

И это продолжалось до тех пор, пока мы не узнали, что в игру вступил фон дер Гольц со своей немецкой дивизией, а белый генерал Маннергейм приветствовал его вторжение специальной декларацией. Называя в ней кайзера «благородным», а немецкие войска «доблестными», он признавался в своем неоплатном долгу перед Германией и просил о вооруженной помощи белой гвардии.

Сенатор Нельсон. Здесь вы допускаете ошибку. Это исходило не от Маннергейма...

М-р Робинс. Прошу прощения, но у меня есть доказательства того, что именно Маннергейм писал эту декларацию, у меня есть ее экземпляр.

...Сенатор Хирам Джонсон. И можно будет его получить?

М-р Робинс. Конечно.

...М-р Хьюмс. Вот вы здесь говорили о контрреволюционном движении. А разве не факт, что нынешние правители России считают контрреволюционным не только такое правительство, которое вознамерилось бы восстановить старые порядки или повернуть вспять от Февральской революции, но и всякое другое, находящееся в оппозиции к большевикам? Ведь это же факт?

М-р Робинс. Ответ на этот вопрос, мистер Хьюмс, если на него вообще можно ответить, я бы сформулировал так: любая ситуация складывается из фактов, а не из слов. Всякая вошедшая в конфликт с большевиками группа, независимо от того, как она сама себя называла вначале, кончала тем, что вела за собою, если посмотреть в корень, полудиктаторский старый режим.

Возьмем, к примеру, Уфу, где Авксентьев, Чернов и другие правые социалисты-революционеры создали свое временное правительство. И что же? В течение одной ночи — у меня есть на этот счет заявление самого Авксентьева — власть была передана реакционеру Колчаку. А все те, кто хочет знать, знают, что такое адмирал Колчак и к чему все это привело бы.

Знаем мы также, что такое Деникин на юге. И какие бы красивые и привлекательные пункты он ни вставлял в свою программу, она означает лишь одно — возвращение старого режима.

Нынешняя ситуация в революционной России такова, что подлинной целью всех подобных движений неизменно оказывается восстановление старого режима. Вот почему призыв «Спасем революцию — вся власть Советам» находит в революционной России такую единодушную поддержку и мобилизует против иностранного вмешательства.

М-р Хьюмс. Иными словами, лозунг «Спасем революцию» используется большевиками для расправы с любым движением, пусть даже революционным по своему существу, если только оно направлено против их господства?

М-р Робинс. Именно этого я как раз и не говорил, мистер Хьюмс.

М-р Хьюмс. Но именно так я вас понял.

М-р Робинс. Очень жаль.

М-р Хьюмс. Разве это не факт?

М-р Робинс. Нет, сэр, я так не думаю...

...Сенатор Стерлинг. Позвольте мне, полковник Робинс, задать вам такой вопрос. Предположим, что Россия окажется без устойчивого правительства, промышленность ее будет парализована, миллионы людей останутся без самого необходимого и в состоянии полной деморализации. Не явится ли Россия при таких условиях легкой добычей для господства и эксплуатации со стороны ее ближайшего соседа — Германии?

М-р Робинс. При тех допущениях, которые вы делаете,— да.

Сенатор Стерлинг. Оправдано ли будет при таком положении дел наше вмешательство?

М-р Робинс. Думаю, что да.

Сенатор Стерлинг. Не послужит ли такая интервенция интересам настоящего и будущего благоденствия России, и не явится ли она средством содействия делу мира во всем мире?

М-р Робинс. Принимая все ваши предыдущие допущения за факты, ваш вывод представляется резонным. Все дело лишь в том, что я никак не могу принять эти ваши допущения за факты.

И. БЕРНШТЕЙН

ПЛОДОТВОРНАЯ ВСТРЕЧА

Год тому назад мы встречали на Киевском вокзале группу чехословацких литературоведов, приехавших в Москву на симпозиум «Творческий метод и авторская индивидуальность». Это был удачный опыт международного обсуждения литературоведческой проблемы.

И, подъезжая ранним, февральским утром к Праге, все участники нашей делегации были уверены, что предстоят интересные и полезные встречи и дискуссии. Ожидания не обманули нас.

Тема пражского симпозиума — «Современная литература и человек» — подразумевала широкий охват проблематики современной литературы. При этом чехословацкие участники уделили много внимания советской литературе, а в большинстве советских выступлений привлекался материал чешской и словацкой литератур. В ходе обсуждения сразу же выделилось несколько важнейших аспектов, прежде всего — полемика с идеей возможности «сосуществования» идеологии социалистической с идеологией буржуазной. Опасность и неправомерность подобных представлений раскрыл, в частности, И. И. Анисимов в своем докладе «Человек в разделенном мире», в котором он показал антигуманистический характер многих тенденций современной буржуазной философии и эстетики.

Непосредственное отношение к этой теме имеет вопрос о так называемом «современном стиле». Против формального подхода к современному искусству выступил Л. Штолл, подчеркнувший, что изучение художественной формы должно быть неразрывно связано с изучением социологии и психологии творчества. Полемике против понимания современного стиля как некой универсальной абстракции, оторванной от идейной почвы, посвятил свое выступление и А. Г. Дементьев. Он показал, как порой подобные определения стиля исходят из вульгаризированных представлений о механическом соответствии технического прогресса и развития искусства.

И. Гаек в своем горячем выступлении также говорил о неприемлемости идеологического «сосуществования» и отмечал необходимость верного определения границы между двумя культурами. Впрочем, в некоторых выступлениях, например в выступлении Ф. Каутмана, смазывался конкретно-исторический смысл понятия «прогрессивная культура». Возражая против выступления Ф. Каутмана, Л. Штолл назвал его подход к вопросу неоправданной «всеядностью».

В. Р. Щербина посвятил свое выступление полемике с распространенными концепциями человека в буржуазной философии. Он остановился на двух, с виду противоположных, но по существу близких точках зрения. Одна из них видит духовный прогресс в герметической замкнутости личности, а другая — в так называемой «интеграции личности», то есть растворении ее в людском потоке. Этим концепциям, отрицающим твердые идейные и нравственные принципы, докладчик противопоставляет подлинный гуманизм литературы социалистического реализма. Б. С. Рюриков в своем докладе подошел к той же центральной проблеме симпозиума с точки зрения соотношения этического и эстетического идеалов в литературе.

Естественно, что сама тема симпозиума не могла не выдвинуть на первый план проблематику социалистических литератур. В докладе «Некоторые специфические особенности в развитии современных литератур социалистических стран» Ю. Доланский показал, что в последнее время для социалистических литератур характерен переход к более глубокому анализу действительности. Докладчик отметил также, что в литературоведении не преодолено еще мнение,

будто социалистический реализм не является в них единственным перспективным методом и социалистическое содержание может быть также выражено в различных нереалистических формах. Это утверждение, в основе которого лежат суженные, неверные представления о социалистическом реализме, опровергалось и в других выступлениях, наглядно показавших широту и многообразие искусства социалистического реализма. К числу таких выступлений принадлежали доклады М. Дрозды, В. М. Озерова, И. Гаека и других. В докладе В. М. Озерова «Человек и общество» было показано, как углубляется и художественно обогащается в современной литературе раскрытие связей человеческой личности и общества. Принцип гражданственности как условие общественного прогресса и духовного роста личности противостоит буржуазным теориям дегуманизации человека.

Вопросы развития социалистического реализма рассматривает и М. Дрозда в своем содержательном докладе «Проблематика судьбы человека в современной советской прозе», в котором он доказывает на примере таких произведений, как «Судьба человека» Шолохова или «Пядь земли» Бакланова, что понимание трагической судьбы в советской литературе противоположно фатализму. С иной стороны подошел к этой проблеме Иржи Гаек. Он полемизирует с представлением о том, что всякая трагика является «негативизмом». Интересно анализируя такие произведения, как «Судьба человека», «Один день Ивана Денисовича» Солженицына или роман чешского писателя Л. Бублика «Хребет», Иржи Гаек делает вывод, что трагическое в социалистических литературах имеет свою определенную специфику, так как «коммунизм — это научно организованный бой против трагики жизни». Мысль Гаека о том, что великое в литературе проявляется в наши дни прежде всего в форме трагического, а также что «дегероизация» помогает преодолеть схематические каноны, вызвала возражения. В последующих выступлениях отмечалось, что Иржи Гаек недостаточно учитывает опыт социалистической литературы прошлого (например, такие книги как «Тихий Дон» Шолохова или «Оптимистическая трагедия» Вишневского).

Многие выступления были посвящены конкретному рассмотрению отдельных жанров в социалистической литературе. На этот раз «повезло» поэзии—о ней говорили Л. Н. Новиченко, З. Матгаузер. Д. Ф. Марков. На материале украинской поэзии Л. Н. Новиченко показал, какое многообразие художественных форм служит для выражения исторического содержания жизни социалистического общества. Он противопоставил подлинное новаторство внешней погоне за новизной. Как много общего в процессах, идущих в различных социалистических литературах, убедительно показал в своем докладе Д. Ф. Марков, остановившийся, в частности, на процессе обогащения лирического героя болгарской поэзии. Как и Л. Н. Новиченко, Д. Ф. Марков приходит к выводу, что сущность развития последних лет — в выявлении широких возможностей социалистического реализма, что связано с преодолением догматических ошибок.

Несколько докладов было посвящено современной чешской и словацкой прозе. Обстоятельный анализ обогатившихся возможностей воспроизведения действительности в современной прозе Чехословакии дал в своем докладе Я. Мукаржовский. Специально словацкой прозе посвятили свои выступления В. Кохол и Я. Штевчек, который видит в ней две линии — объективную, близкую к репортажу, и лирическую (к «лирической линии» он относит Д. Татарку, а к «объективной» — В. Минача). Я. Штевчек считает, что путь к роману ведет в настоящее время не через широту охвата действительности («экстенсивность»), а через интенсивную аналитичность. Некоторые сомнения в возможностях эпической прозы высказал и И. Опелик в докладе на тему «Интеллектуализация современной прозы». Докладчик полагает, что в литературе прошлых лет возник «кризис эпичности», вызванный догматическими тенденциями, и что он преодолевается с помощью репортажа и особого жанра «прозы размышлений», якобы пришедших на смену «пассивной образности без определенной концепции». В своем докладе я пыталась высказать иное представление о соотношении жанров в современной чехословацкой литературе. Мне кажется, что именно роман позволяет наиболее полно осуществить синтез частного и общественного. Гипертрофия «частного начала», отрыв его от изображения общественной жизни ведут к обеднению образа человека. Новые произведения Минача, Яшика, Трефулки, Фрида показывают, что общественное начало многообразно воплощается и в интеллектуальной и в эмоциональной сфере, обогащая целостное эпическое действие.

Ряд выступлений был посвящен и более конкретным вопросам современной литературы Чехословакии. Ян Петрмихль в своем докладе прослеживает эволюцию образа положительного героя начиная с возникновения чешской пролетарской литературы в двадцатые годы. Он считает, что на раннем этапе преобладал романтический герой, а под влиянием тенденций культа личности во многих книгах он превратился в «лубочный персонаж». Реакцией на схематического идеального героя явился, по мнению докладчика, «проблемный герой», более сильный в отрицании, чем в позитивной деятельности. К сожалению, докладчик останавливается только на малоудачных произведениях этого периода и не касается изображения положительного героя как одного из основных эстетических принципов социалистического реализма.

Специальному анализу морфологических черт отдельных жанров современной литературы Чехословакии посвятили свои выступления И. Грабак и М. Качер.

На симпозиуме говорилось также о новом характере взаимодействия социалистических литератур. И. Г. Неупокоева в своем докла-

де «Общественный опыт современной эпохи и проблема взаимообогащения культур» говорила о том, что проблема борьбы двух культур ставилась В. И. Лениным не только в пределах одной нации, но как проблема международная, как центральная проблема новой интернациональной социалистической культуры. Сходной проблематики коснулся на материале литературы народов СССР, а также чешской и словацкой литератур Г. И. Ломидзе в докладе «Национальное и общечеловеческое».

Доклад П. В. Палиевского был посвящен возросшей роли человеческого документа в современной литературе. Полемизируя с буржуазными концепциями «вытеснения художественного вымысла фактом», докладчик показал, как письма, дневники, написанные бойцами антифашистского Сопротивления — например, «Репортаж с петлей на шее» или письма казненных бойцов чешского Сопротивления—способствуют углублению взаимодействия искусства с жизнью, помогают разрушению консервативных, условных представлений. В докладе Н. К. Гея «Образ времени в современной литературе» было рассмотрено соотношение прошедшего, настоящего и будущего в социалистическом реализме («Жизнь Клима Самгина» Горького) и реализме критическом («Волшебная гора»» Томаса Манна). В докладе С. В. Никольского «Литература как познание» соотношение субъективного и объективного начал в художественном творчестве рассматривается на богатом материале чешской литературы. Привлекая примеры из творчества Незвала и Волькера, докладчик показывал роль объективного элемента в лирике. Определению специфических особенностей литературы для детей посвятил свой доклад «Парадоксы детской литературы» С. Шматлак. Сходной проблематики коснулась К. Гонзикова в своем выступлении, посвященном роли эмоциональной и рациональной способности восприятия искусства.

Особый круг проблем составляли доклады, посвященные конкретным явлениям современной западной литературы. Содержательный анализ приемов французского «нового романа» позволил Й. Феликсу сделать вывод, что, хотя эти писатели стремятся к достоверности, речь здесь идет о натуралистическом копировании разрозненных узких участков действительности и образ человека предстает искаженным и, по существу, исчезает из романа. Такое же исчезновение героя констатирует Р. Гребеничикова, анализируя романы Музиля и Броха. Она связывает это исчезновение с утратой целостного представления о человеческой личности в буржуазном обществе. В сложной архитектонике этих романов докладчица видит отражение того состояния всеобщего отчуждения, которое господствует в современном капиталистическом обществе.

Полемика возникла вокруг оценки творчества Ф. Кафки. В. Рзоунек возражал в своем интересном докладе «Партийность в изображении современного человека» против того сближения Кафки и Гашека, которое делается некоторыми чешскими критиками. Изображению мира как хаоса у Кафки докладчик противопоставляет реальную полнокровную жизнь в романе Гашека. В отличие от Кафки, Гашек понял «тайну отчуждения», конкретно обозначил общественные силы, враждебные жизни, тогда как абстрактные образы Кафки допускают разные истолкования. В других выступлениях говорилось о необходимости исторически подходить к Кафке (например, в выступлении Л. Штолла) и не впадать в апологетику его творчества, как и других явлений, знаменующих углубление кризиса буржуазного искусства, а не выход из него.

В заключение была намечена тема следующего чехословацко-советского симпозиума, который предполагается провести в будущем году в Советском Союзе — «Современное значение прогрессивных литературных традиций». Несомненно, что совместное обсуждение наиболее актуальных вопросов чрезвычайно полезно для литературоведов обеих братских стран.

Советские участники симпозиума увезли с собой искреннюю благодарность чехословацким друзьям за прекрасную организацию работы и за гостеприимный, радушный прием.

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

«СТЯУА» (Румыния)

STEAUA

Ежемесячный журнал «Стяуа» («Звезда») выходит в трансильванском городе Клуже, одном из старейших культурных центров Румынии. «Стяуа»—орган Союза писателей Румынской Народной Республики.

Интересы журнала широки: литература — искусство — культура.

В последнее время «Стяуа» руководствуется в своей работе той критикой, которая прозвучала по адресу журнала на Общерумынском совещании писателей.

«После глубокого анализа своей работы, полностью осознав свой долг, работники журнала «Стяуа» пришли к твердому выводу о необходимости добиться решительного перелома в своей деятельности и еще на Совещании писателей взяли на себя соответствующие обязательства,— сказано в передовой статье № 1 за 1962 год.— «Стяуа» будет со всей решимостью бороться за передовое место в мощном едином фронте нашей литературы социалистического реализма, с честью отвечая на высокие требования партии и народа».

По установившейся традиции, журнал отводит много места поэзии.

Наряду с любовной, интимной лирикой, «Стяуа» публикует стихи, посвященные строительству социализма, становлению нового человека, раскрытию самых сокровенных его мыслей, чувств и чаяний, борьбе за мир, братству трудящихся, пролетарскому интернационализму. Стихи эти принадлежат перу не только известных трансильванских поэтов, являющихся постоянным активом журнала, Аурела Рэу («Лишь эти песни», «Смерть конкистадоров»), Александра Андрицою («Когда приходит весна»), Иона Брада («После победы» и «Блюминг»); здесь печатаются такие известные поэты, как Тудор Аргези (в четвертом номере прошлого года помещено его стихотворение «Я жажду»), Михай Бенюк («С собой ты расстаешься...», «У моего окна», «Расставание», «Восход» и др.), Мария Бануш («Воспой мгновение»), Вероника Порумбаку («Я слышу биение крыльев»), Ференц Семлер («Мечты и дела», «Цвета») и многие другие.

Твердое и почетное место завоевал на страницах «Стяуа» рассказ, в подавляющем большинстве случаев посвященный современной Румынии.

Герой психологической новеллы Иона Бэйешу «Человек рядом с тобою» (№ 4, 1962) — рабочий, место действия — стройка, время действия — наши дни; в рассказе Иона Истрате «Горлицы» (№ 7, 1962) трогательная история любви разворачивается на фоне строительства новой Румынии. Герой рассказа Иона Бэлэчану «Наперегонки с поездом» (№ 7, 1962) — молодой шофер, типичный представитель современной румынской молодежи, человек отважный и упорный, мыслящий по-новому, совершающий без громких слов настоящий подвиг. О поэтической любви и о новом в психологии людей повествует Павел Аирыаней в рассказе «Вечера на стройке» (№ 1, 1962). Авторы этих и многих других рассказов знакомят читателей с буднями Румынии, наглядно показывают, как в горниле созидательного труда самые рядовые люди преображаются, становятся истинными творцами.

О трагических событиях войны, развязанной фашизмом, и о самоотверженности лучших сынов народа рассказывает Д. Р. Попеску в новелле «Море под пустынями» (№ 8, 1962).

Жизнь современной Румынии раскрывается и в многочисленных очерках и репортажах, заставляющих читателя почувствовать себя не только очевидцем, но и участником происходящих событий. О вчерашнем и сегодняшнем дне возвращенных к жизни придунайских городков — Корабия,

Зимнича, Олтеница, Кэлэрашь — рассказывает Илие Пуркару в репортаже «Полевые порты» (№ 4, 1962).

Журнал систематически помещает репортажи и путевые заметки писателей, побывавших за рубежом. Так, в № 2 прошлого года читаем заметки о Чехословакии известной румынской поэтессы Вероники Порумбаку (в текст заметок вкраплены ее переводы стихов чешских и словацких поэтов); в № 4, 1962 г.— «Кубинские впечатления» Алеку Ивана Гилии.

В разделе критики и литературоведения печатаются воспоминания и критические статьи, посвященные выдающимся румынским писателям (в № 7, 1962 г. статья Иона Вини о румынском прозаике и драматурге Камиле Петреску и в том же номере статья В. Фанаке «Фольклорные элементы в поэзии М. Бенюка»), а также работы более общего, проблемного характера. Например, в № 4, 1962 г. помещена статья Вирджила Арделяну «Новое в румынской драматургии». Наиболее характерные пьесы, появившиеся за последнее время (как, например, «Лихорадка» Хории Ловинеску и «Если бы не было любви...» Дорела Дориана), которые рассматривает Арделяну, объединены, по его мнению, тем, что их герои борются не против явных, внешних врагов, а в основном против пережитков старого в собственном сознании. Статья Н. Чобану (№ 7, 1962) посвящена рассказам и новеллам о современной румынской деревне.

Отмечая существенные достижения последних лет в прозе «малого жанра» (очерк, повесть, рассказ), редакция «Стяуа» печатает в № 8, 1962 г. ответы на анкету, разосланную румынским критикам. Анкета содержит один вопрос: «Какой очерк или рассказ последних лет представляется вам наиболее удачным и почему?» В опубликованных ответах названы рассказы и очерки Д. Р. Попеску, Ф. Мунтяну, Э. Барбу, В. Ребряну и др.

Статьи М. Томуша «Поэзия 1962 года» (№ 12) и В. Арделяну «Заметки о прозе» (№ 12) подводят итоги литературного года.

В двух разделах — «Литературная хроника» и «Из жизни книг» — «Стяуа» регулярно помещает рецензии на книжные новинки. В частности, за последнее время журнал откликнулся на многие произведения современных румынских писателей: первый роман молодого прозаика В. Ребряну «Дом» и последнюю книгу З. Станку из его многотомного цикла романов о Дарие — «Игра со смертью»; новый роман румынского прозаика Марина Преды «Расточители»; сборники рассказов Ф. Мунтяну «Мой друг Адам» и Э. Барбу «Воскресный обед», Л. Деметриус «Прозрение»; книгу Фэнуша Нягу «По ту сторону песков», книги стихов М. Бенюка, Э. Жебеляну, Т. Утана, Виктора Фели и многие другие.

СССР посвящена специальная рубрика — «Советский блокнот». В прошлом году читатель здесь имел возможность познакомиться со статьями и заметками о дне поэзии (№ 10), о дискуссии относительно современного героя (№ 7), о литературе и человеке будущего (№ 4) и т. д.

Журнал систематически знакомит своих читателей со стихами известных зарубежных поэтов, в частности советских (в 1962 году были напечатаны переводы стихов Мартынова, Межелайтиса, Тихонова, Сельвинского, Прокофьева, Светлова, Щипачева, Алигер и др.).

Подборку стихов испанских поэтов предваряет статья «Испанская поэзия борьбы». В № 4, 1962 г. опубликованы стихи африканских поэтов в переводах известных румынских поэтов среднего и младшего поколения и статья Иванеску «Поэзия страдания и бунта». О театральной жизни на Кубе рассказывает в № 7, 1962 г. Альфредо Д'Одан. В № 10, 1962 г. читаем статью о У. Фолкнере, в № 1, 1963 г.— об Аттиле Йожефе и Рафаэле Альберти.

В разделе «Жизнь искусства» журнал уделяет основное внимание театрам страны, публикуя не только многочисленные рецензии на последние постановки, но и статьи о творчестве румынских драматургов и выдающихся актеров. Режиссер Сикэ Александреску в № 1 за 1963 год рассказывает о значении системы Станиславского для румынского театра.

На страницах журнала можно прочесть об интересных явлениях в области живописи и музыки в Румынии и за ее пределами. Так, в № 2 за 1963 год читаем о прошлогодней выставке румынской графики и о других выставках, состоявшихся в стране,— в частности, об экспозиции «Современное искусство Греции».

Одной из героических страниц борьбы румынского пролетариата — забастовке железнодорожников Гривицы — посвящен № 2 журнала за 1963 год. Здесь опубликованы стихи Л. Нямцу, И. Раховяну, Н. Иримие и Х. Зилиеру, поэма О. Джорджеску, отрывок из романа Э. Барбу «Семья», а также репортажи, статьи и воспоминания об этих незабываемых днях истории румынского народа. В 1962 году в двух номерах журнала отмечались литературные юбилеи: в № 6 — пятидесятилетие со дня смерти И. Л. Караджале, в № 9 — восьмидесятилетие со дня рождения выдающегося румынского прозаика И. Агырбичану.

А. САДЕЦКИЙ

ОЧЕРКИ

А. АГАРЫШЕВ

С добрым утром, РЕСПУБЛИКА!

Вратами Йемена служит Ходейда. Город этот прекрасен с моря. Когда с парохода становится виден желтый берег Аравийского полуострова, Ходейда похожа на ожерелье из белых кораллов. Впечатление совсем другое, если летишь самолетом. Взору открывается безрадостный вид маленького, пыльного, безлюдного городка с несколькими каменными строениями и хижинами из тростника. Почти совсем нет зелени. Желтая пустыня с тяжелыми барханами, высохшие колючки вокруг да белесые солончаковые почвы на берегу моря.

Самолет садится на узкий аэродром, похожий скорее на взлетную площадку, пассажиры прячутся от палящего солнца под навес единственного здесь административного здания, над которым полощется красное полотнище с пятью белыми звездами и белой обнаженной саблей. Это означает: море «праведной крови» мусульман, пролитой за пять заветов пророка (среди которых не только требование совершать молитву и паломничество в Мекку, но и своевременно платить налог!). Белая сабля — меч пророка Мухаммеда, поднявшийся некогда за «дело ислама». Этот суровый флаг — символ власти королей Мутеваккелийской династии, более тысячи лет правившей страной.

27 сентября 1962 года он был спущен, на высокой мачте взмыл новый — красно-бело-черный с зеленой звездой посредине — флаг только что рожденной Йеменской Арабской Республики.

Ходейда — самый крупный город в йеменской Тихаме, узкой (50—70 км) полупустынной прибрежной полосе, протянувшейся от Баб-эль-Мандеба, где достают со дна моря лучший в мире жемчуг и находят амбру, до северо-западных границ Йемена с Саудовской Аравией. Слово «ходейда» по-арабски значит «кусочек железа». Говорят, что несколько столетий назад здесь стояло кочевье, и женщина из племени зараник нашла на берегу железо, стоившее очень дорого в кочевом бедуинском хозяйстве. На этом месте вырос поселок, потом турки, с XVI века господствовавшие над Йеменом, построили на берегу моря небольшой каменный пирс, который стал причалом для маленьких парусных судов, занимавшихся перевозом грузов и работорговлей.

Сейчас этот причал врос в землю, покрылся мхом, море отступило от него, и вода заполняет каменную гавань только во время приливов и сильных штормов.

На берегу моря стоит пустой одинокий королевский дворец. Здесь останавливался раньше король, когда приезжал в Ходейду. Последнее время он безвыездно жил в Таизе, покинув традиционную столицу Сану. Теперь по сырым каменным коридорам дворца гуляют ветры, волны, ударяясь, разбиваются о его скользкую, покрытую зелеными водорослями стену.

Город засыпает рано. На небе мерцают и падают в море звезды. Наверно, поэтому оно иногда ночами светится манящим серебряным светом.

С самого утра улицы Ходейды наполняются шумом. Радостными звонкими голосами встречают раскаленное солнце дети. Девочки в ярких пестрых платьях, с разукрашенными киноварью руками и лицами, в раннем детстве озорны и шустры, но уже в 8—9 лет они тихи и степенны, начинают закрывать лица черными покрывалами. Это уже невесты на выданье, в 10—12 лет нередки браки. С этих пор девочки лишаются шумного детского общества, сидят дома, занимаются хозяйственными делами, учатся жить так, чтобы стать «хорошей женой». Слова «ах, какая хорошая невеста» здесь лучший комплимент даже для только что родившейся девочки и ее родителей. Мальчики с самого раннего детства носят широкий кожаный пояс и ножны, в которые они должны вложить кинжал, когда вырастут. Его дарят мальчику родители, когда он становится «достаточно взрослым», обычно это бывает в возрасте 10—12 лет. Если роди-

Это было совсем недавно, до революции 27 сентября 1962 года: портовые грузчики требуют выдачи заработанных ими денег.

тели бедны, мальчик сам копит деньги не только на кинжал-джамбию, но и на то, чтобы заплатить выкуп родителям невесты.

Дети льнут, как мухи. Увидев иностранца, они бегут за ним, пока он не скроется в дверях какого-либо дома. Не надо отгонять их. Они пользуются неограниченной властью над взрослыми. Ты желанный гость всюду, если тебя привели туда дети. Йеменцы считают, что дети любят только тех, у кого доброе сердце.

Над морем, словно бабочки-капустницы, мелькают паруса самбуков — больших парусных лодок. Рыбаки выходят на них промышлять. Раньше, когда в Йемене не было современного порта, эти самбуки были заняты перевозкой грузов со стоявших на открытом рейде судов. Самбуки тоже не могли подойти к самому берегу. Грузчики по горло в воде перетаскивали грузы на сушу. Это высокие, коренастые здоровяки, с ярко выраженными африканскими чертами лица, принадлежащие к особой группе населения Тихамы — потомкам эфиопов, сомалийцев, суданцев и других африканских народов, разными судьбами оказавшихся на аравийском берегу. Раньше они были рабами. Получив свободу, они долгое время по-прежнему вынуждены были выполнять черную работу, поскольку никаких иных источников дохода у них не было. Эта часть населения, именуемая в Йемене «ахдам» (слуги), не имела при монархическом режиме фактически никаких прав. Хотя переписи населения в стране не производилось, йеменцы считают, что в Ходейде живет около 25—30 тысяч человек и половина из них «ахдам». Они живут в юго-восточной части города, рядом с мусорной свалкой, в жалких хижинах, построенных из камыша и консервных банок.

Республиканское правительство, объявившее равноправие всех граждан, издало недавно постановление о строительстве в Ходейде домов и переселении в них трудящихся из лачуг.

До установления республики «ахдам» были вынуждены посылать своих жен на тяжелую и вредную работу на кофейные склады аль-Джабали и греческого торговца Ливерато. Провеивая и сортируя там драгоценные зерна лучшего в мире кофе «мотари», женщины глотали горькую коричневую пыль и отхаркивали кровью.

Аль-Джабали и Ливерато продавали «мотари» только в США. Остальные сорта йеменского кофе вывозились в Аден, Ливан и другие страны. Йеменский кофе, смешанный с низкосортным эфиопским, известен на мировой бирже как лучший в мире кофе «мокко». Так он назван по имени йеменского порта Моха, через который шла раньше активная торговля кофе.

А «мотари»? Достаточно положить одно зернышко этого кофе на белый лист бумаги, как через некоторое время он станет желтым от кофейного жира. «Этот кофе пьют только короли и миллионеры»,— говорят йеменцы. Сами они пьют навар из «гышра» — кофейной шелухи,— напиток, имеющий вкус орехов. Он прекрасно утоляет жажду, а главное — дешево стоит.

Сбор кофе за последние годы неуклонно падал, а цены на него вздувались. Плантаторам часто выгодно было сажать по склонам гор кустарники ката, и они вырубали кофейные деревья.

Население Йемена очень страдает от ката. Это кустарник, напоминающий растение кола в Южной Америке. Его молодые побеги, связанные в небольшой веник, продают повсюду в стране. Их смачивают и жуют, запивая водой, в которой иногда растворяют ладан. Действие ката на организм человека бывает разным. У одних он вызывает временный прилив сил, у других, наоборот, апатию. Очевидно, его притягательная сила состоит в том, что, употребляя кат, человек впадает в состояние легкого опьянения. Часто, бывало, потратив заработанные деньги на кат, который стоит очень дорого, портовый грузчик приходил в свою лачугу с пустыми руками к голодной семье и потом долго ждал случая снова получить работу. Пароходы приходили редко, и голодные грузчики подолгу сидели без дела.

Зато когда работа была, они носились взад-вперед, с берега в воду и обратно, играли под бурой кожей их ожившие мускулы, а на берегу росла куча тюков, ящиков, мешков, доставленных с парохода.

Большой пароход пришел, о Мухаммед.
Большой пароход пришел, о Мухаммед,—

поют они, перетаскивая тяжелую ношу.

Таскаем мы сахар, о Мухаммед.
Таскаем мы сахар, о Мухаммед.
Кто говорит: «Сахар мокрый»?
Кто говорит: «Сахар мокрый»?
Хозяин говорит: «Сахар мокрый».
Хозяин говорит: «Сахар мокрый».

Так они могут работать день и ночь, вечер и утро. Жены их, в цветастых рваных платьях, приносят им прямо на берег завтрак, который является и обедом и ужином: кукурузная лепешка, смазанная конопляным маслом.

Однажды хозяин решил не заплатить им. Словно лавина с гор, потекла толпа грузчиков к дому вице-короля (губернатора). Он поспешил выйти к ним с готовым распоряжением о выплате денег, но потом несколько человек были схвачены и заключены в тюрьму. Один из них был посажен только за то, что держал в руке камень. В дни революции грузчики показали, что умеют пользоваться не только камнями, но и оружием, если надо.

2 апреля 1961 года в трех километрах от Ходейды было закончено строительство нового современного морского порта, которое велось с помощью Советского Союза. Этот порт, способный принимать до 200 кораблей в год, сыграл особо важную роль в дни революции.

В порту работают йеменцы, обученные советскими специалистами. В йеменских семьях рождаются жизнерадостные дети, которым многие дают непривычные для йеменского слуха имена: Орешкин, Григорьев, Федоров, Аликсеров, в честь советских рабочих и инженеров, строивших этот порт.

Теперь тихими вечерами, когда спадает жара, жители Ходейды выходят погулять на широкую асфальтированную дорогу, ведущую в порт. Они смотрят, как поднимаются и опускаются стрелы кранов, часто повторяют всем уже хорошо известное слово «Москва» и еще одно, новое, пока еще не всем хорошо понятное—«Республика».

Пустым и совсем заброшенным кажется вросший в землю старый каменный пирс, построенный некогда турками. Жизнь перешла в новый порт. Вчерашние грузчики, работавшие по горло в воде, управляют теперь портальными кранами.

■

Тихама, зажатая между узкой полоской самого теплого в мире Красного моря, с одной стороны, и Аравийской пустыней, с другой, кажется пеклом. Уровень влажности в Ходейде один из самых высоких в мире. И это при жаре в сорок с лишним градусов летом! Однако Ходейда — рай по сравнению с Мохой. Еще два столетия назад это был известный на весь мир порт, но лавины песка и пыли стали засыпать улицы города в осенний период, когда начинали дуть сильные ветры. Целые кварталы были похоронены под толстым слоем песка, и, побросав свои пожитки и занесенные по крышу дома, люди уходили искать счастья в другие места, а Моха зачахла, захирела, превратилась в полуразвалившийся пустынный городок.

Стоит пересечь Тихаму, которая в самом широком месте не превышает 70 километров, и подняться в горы, как картина полностью меняется. В долинах богатая растительность, по склонам гор сады и плантации кофе. Города здесь совсем не похожи на те, что стоят в Тихаме.

Амин ар-Рейхани, известный арабский поэт, побывавший в 30-х годах в столице Йемена Сане, был поражен видом этого города.

— Это не вымысел, мы видим здесь то, что сохранили предания,— писал он, когда перед ним открылись тяжелые скрипучие ворота города, обнесенного древней глинобитной стеной.

Йеменцы считают, что это самый древний город в мире, и говорят:

— Сана — мать городов.

Арабский историк десятого века аль-Хамдани, двенадцатитомный уникальный труд которого хранится в библиотеке Большой мечети Саны, на основании древних, не дошедших до нас источников рассказывает, что по повелению Химъяритских царей в городе Сана был сооружен первый небоскреб в двадцать этажей. Дворец, в котором жил царь, был расположен в тени горы Узор (Нугум), и он приказал поднять его выше. Когда постройка была доведена до двадцатого этажа, неизвестный зодчий воскликнул: «Этой высоты хватит и для славы царя, и для его безопасности!» И приказал остановить работы.

У небоскреба был специальный зал на крыше, огороженный рамой, «застекленной» тончайшими пластинками из алебастра, или, как его называют в Йемене, «лунного камня». Проходя через такие пластинки, лучи солнца дают приглушенный мягкий свет. Тот же аль-Хамдани упоминает, что адиты — жители этого государства — были градостроителями и замечательными мастерами. Можно предположить, что современный архитектурный стиль Саны связан прямой традицией с эпохой, описанной йеменским историком.

Давно уже разрушен этот дворец. На его месте стоит крепость с могучими каменными стенами. Но посмотрим на современную Сану. Это город многоэтажных домов. Каждый из них — дворец, совершенный по своему оформлению. В большинстве домов 4—6 этажей, нередки строения в 7 и даже 8 этажей. Первые два этажа кладутся из серого или черного камня, привозимого с гор, остальные — из обожженного кирпича. Между каждым этажом делается пояс, украшенный белым геометрическим рисунком. Таким же рисунком украшены карнизы дверей и окон. В окна вставляются разноцветные стекла или тончайшие алебастровые пластинки. Алебастр добывается недалеко от Саны, на горе Гурас. В большинстве домов на одном из верхних этажей просторная четырехугольная комната, выходящая окнами во все стороны, с видом на горы и Сананское плато. Сана — город, единственный в своем роде на всем Востоке. Расположенный на обширном плоскогорье, на высоте двух тысяч с лишним метров, он весь утопает в зелени полей, садов и виноградников. Если посмотреть на него утром издали, он ослепительно блестит побеленными карнизами окон. Мечети молитвенно вытянули минареты к небу, дома и дворцы столпились в кучу, как крестьяне на базаре, где каждый стремится продать свой товар поскорее.

Улица в столице Йемена Сане.

О чем же говорят сегодня жители Саны? Теперь они полны надежды, веры в лучшее будущее, на многое смотрят иными глазами.

Положение страны в годы монархии было отчаянным. Власть короля, опиравшаяся на самые реакционные слои духовенства и феодалов, держалась лишь благодаря жесточайшим репрессиям. Во многих уголках страны еще господствовали натуральное хозяйство и родоплеменные отношения.

В Йемене нет железных дорог и даже шоссейные построены совсем недавно. Их тоже мало, всего две: Ходейда—Сана и Таиз—Моха. Во многих отдаленных районах знают только вьючный транспорт. Лишь несколько лет назад проведен телефон в трех крупнейших городах страны и построена телеграфная линия. Негласным указом короля в стране были запрещены кино, европейские танцы и литература, алкогольные напитки, переливание крови и ношение шляп европейского образца. Были запрещены даже поцелуи. Рассказывают, что однажды во время праздника коронации король, сам очень любивший смотреть фильмы, разрешил показать картину собравшемуся на площади народу, но только такую, где бы не было поцелуев. Во всей фильмотеке короля такого фильма не оказалось, и показ картины отложили «до следующего раза». Этот «раз» наступил лишь после революции 27 сентября, когда на городской площади Саны впервые в истории страны люди увидели египетский кинофильм.

Внешнеполитическое положение страны при монархии тоже было тяжелым. Получив независимость в 1918 году, после распада Османской империи, йеменский народ вынужден был вести трудную борьбу против притязаний Англии, Италии и других западных держав на территорию и богатства страны. Эта борьба не прекратилась и по сей день. В армии, кровью отстаивавшей независимость страны, рождались и крепли подлинно патриотические национальные силы, прекрасно понимавшие, какую вредную, реакционную роль играет монархия в судьбах йеменского народа. Все больше росло и крепло революционное движение. «Свободные йеменцы» * были повсюду: в стране, за границей, в армии, даже в королевском дворце.

■

1959 год. Я живу в Сане, в гостинице, у дверей которой постоянно стоит часовой. В его обязанности входит охранять безопасность гостей, их имущество и запирать на ночь тяжелые деревянные двери. Мы часто беседуем. Этот человек—настоящая энциклопедия народных пословиц, стихов, сказок. Я записываю их с его слов, и он этим чрезвычайно гордится. Зовут его Мухаммед, он бывший крестьянин, вступивший в армию в голодный год, когда урожай на его поле погиб от засухи. Армия в Йемене наемная, каждый месяц Мухаммед получает десять риалов, которые вот уже восемь лет подряд он посылает домой, семье. Скоро его старший сын тоже пойдет в армию, а он вернется домой и будет снова пахать землю. Два года назад поле его завалило щебнем во время горного обвала, пришлось вложить много труда и средств, чтобы очистить землю. В этом году тоже несчастье — пала корова...

Иногда во время его ночных дежурств мы подолгу беседуем. Он спрашивает меня о Ленине, о том, что такое кино, правда ли, что на луне живут люди, и правда ли, что русские свергли своего короля.

Я рассказываю ему о Ленине, о кино, о небесных светилах. Оказывается, он уже слышал о Ленине, но все же спрашивает, чтобы услышать еще раз, с новыми подробностями. В жизнь на других планетах он не верит, но слушает охотно, с хитрой усмешкой в уголках глаз. Он сознался однажды, что все это потом рассказывает в своей деревне, где слывет за мудрого и знающего человека.

Однажды, еще до революции, Мухаммед подошел ко мне, отвел в сторону и сказал, что он слышал, как один из офицеров говорил: придет время, и в Йемене короля тоже не будет.

— Как ты думаешь, а не появится ли у нас тоже Ленин? — спросил меня Мухаммед.

■

Весной 1959 года тяжело больной король Ахмед уехал лечиться в Италию. Паралич окончательно разбил его, и принцы на руках вынесли и положили короля в самолет. За ним в два других самолета потянулся хвост слуг, наложниц, евнухов и прочих лиц, сопровождавших короля в путешествии, которое стоило стране огромных средств.

Во главе страны остался слабовольный тридцатилетний сын короля принц Сейф уль-Ислам Мухаммед эль-Бадр, фрондировавший своим либерализмом. Кое-кто в Йемене, возможно, возлагал на него надежды, но он не способен был на решительные шаги.

Вскоре, немного подлечившись в Италии, в страну вернулся король. Однажды весной 1961 года он решил посетить госпиталь в Ходейде. Окруженный врачами, он шел по узкому больничному коридору, сложенному из серого камня. У входа в одну из палат король остановился, прислонившись грузным старческим телом к стене. В это время лейтенант Мухаммед аль-Алави, оттолкнув в сторону врачей, кинулся к королю с криком:

— Эй, камень на пути йеменского народа, получай, что заслужил!

В тот же миг гулким эхом прокатились по каменному коридору выстрелы. Врачи, осмотревшие короля, нашли, что раны серьезны, но не смертельны. Тут же сообщили во дворец, и верный королю гарнизон оцепил район, в котором произошло покушение.

* Патриотическая организация, совершившая вместе с группой армейских офицеров революцию 27 сентября 1962 года.

Сейчас эти дома уже построены. Они входят в комплекс новых сооружений порта Ходейда, созданного с помощью советских специалистов.

Офицер, стрелявший в короля, успел скрыться. Узнав, что король жив, он со словами «Что не сделал я, то сделают другие» застрелился.

Расследование ни к чему не привело, но многие крупные офицеры, в том числе Абдалла ас-Саляль, по подозрению в соучастии были взяты под стражу. Всем им грозила жестокая расправа. Притихла, затаилась встревоженная страна.

18 сентября 1962 года, так и не оправившись от тяжелых ран, умер имам Ахмед Хамид эд-Дин.

На второй день правительство было вынуждено официально объявить в стране траур, несмотря на явное нежелание наследного принца, пытавшегося оттянуть время и укрепиться.

Вечером 26 сентября 1962 года в военной школе, расположенной в одном километре от Саны, обсуждался вопрос о выступлении армии против монархии. Школа обладала крупными военными силами и главное — танками. 28-летний младший лейтенант Салих аль-Ашуаль, командовавший танками и самоходными орудиями, когда стало темно, отдал приказ готовить орудия к бою, а через некоторое время, сделав брешь в глинобитной городской стене, его танк ворвался в город. Вздымая густое облако пыли, за ним ворвались в город еще несколько танков и самоходных орудий. Другая группа повстанцев перерезала дорогу на Ходейду. Глядя сквозь узкую амбразуру машины, Салих ждал, когда его танк приблизится к сверкавшему иллюминацией, как в праздники, королевскому дворцу. Он развернул машину, навел свое орудие на окно королевского дома, где должна была находиться опочивальня, и хотел уже сделать первый выстрел, но приказа не поступило. Восставшие предложили королю капитулировать. Он не согласился. Тогда Салих аль-Ашуаль сделал первый выстрел, послуживший сигналом к бою. Иллюминация мгновенно погухла, во дворце раздался взрыв, и взметнулось по стене яркое оранжевое пламя.

Всю ночь не затихала стрельба в Сане. Утром 27 сентября радио объявило, что революция победила. Бой еще продолжался, но массы народа уже приветствовали революционную армию и бригадного генерала Абдаллу ас-Саляля.

— С добрым утром, республика! — кричал народ.

Через несколько дней, когда революционное правительство было уже полностью сформировано и один из дворцов короля, названный «Дворцом республики», стал местом его пребывания, корреспондент индийской газеты «Индиан экспресс» Хариш Чандола писал:

«Мне разрешили присутствовать в кабинете президента во «Дворце республики», когда Абдалла ас-Саляль принимал шейхов. Группа за группой шейхи в тюрбанах, с кривыми саблями на боку и с ружьями за плечами входили в помещение и салютовали одетому в военную форму премьеру. Они здоровались с ним за руку и обещали свою поддержку новому правительству».

А на улицах йеменских городов реяли трехцветные республиканские флаги, без умолку трещали барабаны, танцевали люди, взмахивая над головой кривыми ножами. К «Дворцу республики» со всех концов страны стекались крестьяне, чтобы вступить в добровольческую армию. Шейхи далеких пограничных племен приносили и клали на стол деньги, которыми их хотели подкупить монархисты.

— На строительство школы! Госпиталя! На оборону!

Поэт Ахмед аш-Шами, занявший пост министра иностранных дел в монархическом эмигрантском правительстве, дал интервью западным корреспондентам:

— Мы против иностранного вмешательства. Пусть нашим девизом будет: народ Йемена сам решает свою судьбу.

А тем временем египетский еженедельник «Роз эль-Юсеф» сообщил, что среди захваченных республиканской армией под Саадой трофеев было английское и амери-

канское оружие, а среди пленных — саудовские и иорданские солдаты и офицеры и... несколько англичан, переодетых в одежду бедуинов и знающих местные диалекты.

3 ноября 1962 года произошло решающее сражение. В этот день около пяти тысяч солдат, основная сила, находившаяся в распоряжении принца Хасана, перешло границу Саудовской Аравии. Принц Хасан знал, что у него количественный перевес на этом участке, и надеялся, что ему легко удастся захватить обширный район, закрепиться здесь и создать плацдарм для дальнейшего наступления на Йеменскую Республику. Однако бедуины, кочевавшие на пограничной территории, узнав об этих планах, послали ходоков и предупредили военный гарнизон Харада.

Утром 3 ноября армия принца Хасана выступила в поход.

Когда наступавшая армия находилась в пяти милях от города, йеменцы взорвали заранее заминированное поле, после чего с двух сторон на врага обрушился шквал пулеметного и минометного огня. Три тысячи солдат противника остались лежать на поле боя, остальные, побросав оружие, бежали.

...Самая серьезная проблема в Йемене сегодня — нехватка специалистов. Вторая проблема — финансовые затруднения. До революции власти не составляли никакого бюджета... В момент революции казна оказалась пустой.

Впрочем, правительство нашло выход из создавшегося положения: имущество членов королевской семьи, крупных монархистов, оказавших прямую поддержку прежнему режиму, в том числе богатства крупнейшего собственника в стране аль-Джабали, было конфисковано. По сообщению министерства сельского хозяйства Йеменской Арабской Республики, конфисковано около 1 миллиона федданов плодородных земель, принадлежавших королевской семье. Это составляет четвертую часть всей обрабатываемой площади в стране.

— Мы,— говорит президент,— хотим наделить крестьян землей... Будем создавать промышленность и крепкую армию.

Сейчас йеменское правительство разрабатывает широкий план экономического развития страны. Опубликован декрет о создании йеменской сельскохозяйственной организации, которая будет заниматься строительством колодцев и снабжать крестьян тракторами и химикалиями. Намечаются пути и средства разработки естественных богатств: нефти, железных и медных руд, каменного угля, серы, каменной соли. Для финансирования этих мероприятий правительством с участием частного капитала создан Банк реконструкции и развития.

В первые же дни существования республики правительство объявило о своей готовности дать стране конституцию. Временная конституция вступила с конца октября 1962 года в силу. Она провозгласила основными целями революции устранение расовой дискриминации, равенство всех граждан перед законом и осуществление социальной справедливости.

Несмотря на большие финансовые и экономические трудности, новое республиканское правительство объявило об отмене существовавшего раньше в стране налога на нужды здравоохранения, о намерении предоставить бесплатную медицинскую помощь и о создании в стране широкой сети школ, училищ, больниц и медицинских пунктов, доступных всему населению. Впервые в истории Йемена в школах будут обучаться женщины.

Молодая Йеменская Республика пользуется всесторонней поддержкой народов Советского Союза, социалистических и братских арабских стран.

— Мы,— заявил президент республики Абдалла ас-Саляль,— никогда не забудем ту техническую и другую помощь, которую нам оказывает советский народ. Таков обычай Советского Союза — всегда быть на стороне народов, борющихся за мир и независимость.

...Приходит вечер. В Йемене темнеет быстро. Один за другим гаснут огни в многоэтажных домах столицы. Затихает жизнь на шумных и пестрых улицах. Но до поздней ночи светятся окна «Дворца республики»: правительство работает круглосуточно.

Утро в Йемене начинается криком петухов, скрипом колодцев, яркими солнечными лучами, свежим воздухом, громкими детскими голосами...

Йеменский крестьянин до сих пор пашет землю деревянной сохой с железным наконечником.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За рубежом

Э. ЛАРИОНОВА

ПЕРВЫЙ ХУДОЖНИК РЕСПУБЛИКИ МАЛИ

Бубакар Кейта.

Летом 1962 года москвичи познакомились с яркими и своеобразными полотнами молодого малийского художника Бубакара Кейты. На выставках в Доме дружбы с народами зарубежных стран и Институте Африки Академии наук СССР было представлено всего десять картин Кейты, но и этого оказалось достаточно, чтобы сложилось цельное представление о его творческом облике.

Бубакару Кейте, первому профессиональному художнику республики Мали, 22 года. В числе немногих своих соотечественников он смог получить хорошее образование: он обучался в школе живописи во Франции, а сейчас занимается в Академии искусств во Флоренции. Одаренный юноша не только продолжает совершенствоваться в рисунке и станковой живописи, но и стремится овладеть мастерством монументалиста, мечтает о создании больших декоративных панно, фресок, мозаик, витражей, которые украсили бы здания его родины.

Тем, кому удалось познакомиться с Кейтой во время его встречи с московскими художниками, необычайно смелые планы малийского гостя не показались наивными и неосуществимыми; обладая разносторонним талантом, желая испытать свои силы в различных областях искусства и даже в литературе, он уже немало сделал и добился успехов. Пятнадцатилетним мальчиком Бубакар получает первую премию за картину «Утро в деревне» на конкурсе, устроенном ассоциацией французских женщин. Он является автором двух романов и киносценария, принимает участие в постановке нескольких фильмов, завоевывает приз на конкурсе танцев во Флоренции. Но главное в его жизни — живопись.

Приехав в Советский Союз, Кейта попросил показать его работы советским художникам. «Я впервые выношу мои еще ученические вещи на суд ваших зрителей. Сейчас я живу и учусь на Западе, но мне бы очень хотелось услышать о них мнение именно советских художников, которых я глубоко уважаю и люблю. Для меня, молодого художника, это мнение старших».

Основная тема картин малийского живописца — жизнь его народа. Эта тема воплотилась в таких его полотнах, как «На базаре», «Охотники на газелей», «Гладильщицы», «Праздник в деревне». Написаны они сочно и смело, золотистый массив фона то контрастирует с яркими и красочными цветовыми пятнами одеяний, то почти сливается с коричневым тоном фигур. Непривычная нам манера письма, композиция, решение образов невольно заставляют задуматься над происхождением стилистического своеобразия живописи Бубакара Кейты.

Однако ни декоративность, ни диспропорциональность его фигур, ни условная перспектива не является модной стилизацией. Несомненно, что он хорошо знаком с западной живописью; но то, что нам кажется в увиденных картинах непривычным, имеет иную почву, иные, не европейские корни — это древнее и современное народное искусство его родины.

В Мали сейчас нет профессиональных художников-станковистов, но есть мастера народной деревянной и бронзовой скульптуры, создающие причудливые маски, гибкие удлиненные фигурки, замечательные ковры и ткани с выразительным национальным орнаментом.

Сохранились и памятники монументального искусства, которые служили и будут служить неизменным источником творческого вдохновения для народных мастеров Мали.

Работы Кейты отличаются жизненностью и той искренностью, которая очень быстро позволяет зрителю как бы войти в картину и познакомиться с ее персонажами, удивительно простыми и дружелюбными. Торговки рыбой («На базаре») встречают вас улыбкой и смелыми шутками. Очень выразительна фигура женщины в белом головном уборе. В ней ощущаются доброта, энергия, веселый нрав. На переднем плане картины — задорная фигура девушки, которая выкладывает на коврик свой товар. У каждой из написанных художником женщин свой облик и характер.

В картине «Праздник в деревне» иное настроение — все проникнуто здесь почти ритуальной строгостью танца, все присутствующие погружены в созерцание четких ритмичных движений пляшущих девушек, и только музыкант в белом, слегка улыбаясь, смотрит на зрителя.

Это умение ввести зрителя в картину, сделать его участником происходящего — замечательная традиция старых мастеров, которую с успехом применяет в своих композициях молодой малийский художник.

Еще не все совершенно в его картинах — нет пока полной цветовой собранности, не ощущается гармоничное единство человека и природы, может быть, потому, что природа еще не ожила, под его кистью она лишь служит декоративным фоном для фигур. Несомненно, что Бубакару Кейте еще многое предстоит сделать, раскрывая для себя и окружающих материально-живописное богатство человека и природы. Но уже сейчас мы можем смело сказать, что он твердо стоит на этом пути. Перед ним большая и благородная задача — узнать, постигнуть, создать как можно больше, чтобы, вернувшись на родину, внести свой вклад в развитие новой национальной культуры молодой республики Мали.

На базаре

Семья

Продавцы кислого молока

Праздник в деревне

Г. ЧЕРНОВА

ТВОРЧЕСТВО НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ АФРИКИ

Никакие самые ученые книги о жизни и нравах народов не могут выразить больше того, что один народ способен сказать другому средствами искусства. И когда смотришь на разнообразные формы творчества народных мастеров, например молодых республик Мали и Дагомеи, то становится очевидным, что люди, населяющие тропическую Африку, воспринимают мир сквозь призму эстетических переживаний, близких и понятных всему человечеству.

Может показаться странным утверждение столь бесспорных истин, но, как справедливо заметил в своей статье, опубликованной в «Правде», известный английский публицист Бэзил Дэвидсон, очищение подлинной истории и культуры Африки от извращений, навязанных колонизаторами,— одно из крупнейших достижений нашего времени.

Ярким примером многообразного народного художественного творчества является современное искусство Дагомеи. Дагомейская республика расположена в районе древней культуры Западной Африки. С незапамятных времен здесь была известна высокая техника бронзового литья (способ отливки с утратой восковой формы). Это искусство узнали в Ассирии, Египте, античной Греции и Европе лишь в эпоху Возрождения.

К моменту европейской колонизации в Дагомее существовали развитые феодальные отношения и соответствовавшая этому социальному строю культура. В древней резиденции правителей Дагомеи появилась своеобразная крупная декоративная скульптура, керамические барельефы, украшавшие королевский дворец. Там были троны, отделанные тончайшей резьбой, сиденья, сработанные из целого куска дерева (нижняя часть которого изображала стилизованное животное или птицу), статуи королей или духов-покровителей. Многие скульптуры украшались тонкими пластинками из меди или серебра. Такое оригинальное сочетание металла и дерева в самых различных вариантах и пропорциях продолжает жить в современной мелкой пластике. Стены дворцов декорировались уникальными в своем роде тканями — пиктограммами, художественно обработанной домашней утварью — калебассами, украшенными искусными графическими рисунками сложнейшего узора.

Дагомея и сегодня славится среди западноафриканских республик наибольшим разнообразием народного художественного творчества. И хотя здесь почти полностью сохранились традиционные формы этого своеобразного искусства, иным становится его социальное и эстетическое содержание.

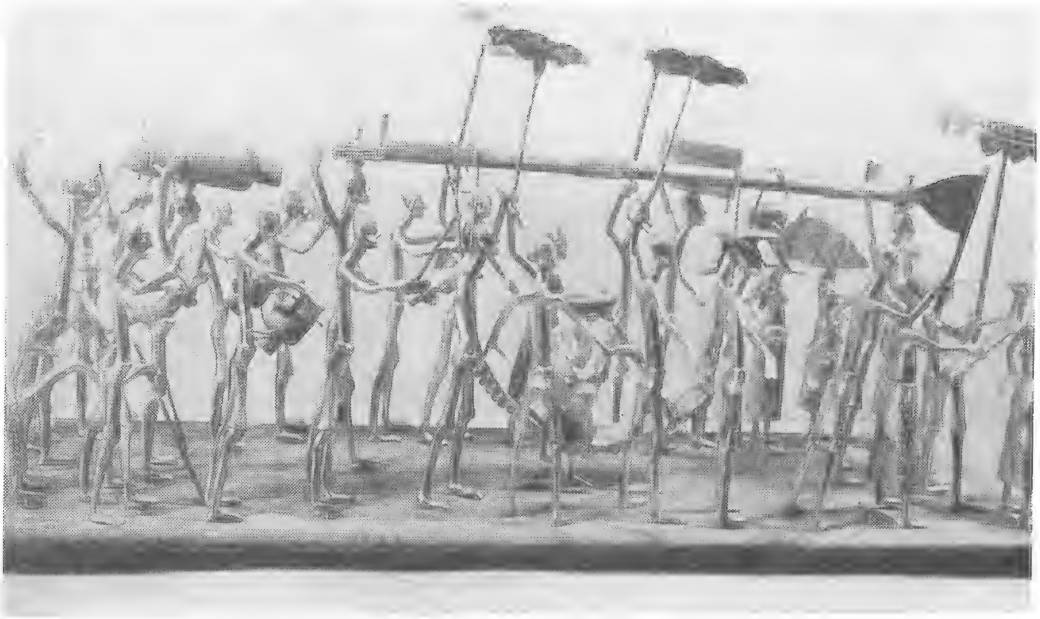
Убедительным свидетельством идейного переосмысления изобразительного искусства могут служить декоративные ткани — пиктограммы (рисуночное письмо, вызванное к жизни отсутствием письменности у народов, населяющих Дагомею). Это — одноцветное панно из коленкора или сатина с многокрасочными аппликациями из другой материи ярких локальных тонов в виде символов и знаков, олицетворяющих исторические события. Их изготовляют по уже нарисованным образцам, вырезают из материи, а затем нашивают вручную на основной фон.

Наряду с другими предметами церемониала — знаменами, подушками, головными уборами — пиктограммы изготовлялись в королевской резиденции Абомее гильдией ткачей, приближенной ко двору. Раньше этими панно пользовался лишь король и его придворные. Теперь с изделиями искусных мастеров Дагомеи познакомились во многих странах. В самой республике пиктограммами стали пользоваться в просветительских целях: словно страницы увлекательной книги, художественные панно рассказывают о реальных исторических событиях, трактованных в своеобразной манере. На одном из них, например, овеянный славой вождь Сопротивления король Гбедассе изображен в виде яйца, а французские захватчики — акулами, пожирающими это яйцо.

Есть и другие примеры новых веяний, вторгающихся в традиционное искусство Дагомеи.

По мере того как в Дагомее слагались разные по темам народные песни и танцы — обрядовые, военные, трудовые,— в изобразительном искусстве создавались произведения аналогичного содержания. Но если одни виды искусства, например культовые, постепенно отмирают по логике исторического развития, то другие, связанные с темой труда и быта, получают в настоящее время все большее и большее развитие во всех странах Западной Африки. Опираясь на древние традиции отливки с утратой восковой формы, мастера создают превосходные скульптурные произведения — сцены труда и быта. Изображения животных и птиц в них близки к жизненной правде, хотя в трактовке формы современные мастера достигли большой свободы.

Безымянных народных умельцев Западной Африки объединяет одна характерная черта — гуманистическое отношение к людям и окружающему миру. Это отражено в полном человеческого достоинства реалистически трактованном женском образе (Мали) или в теме материнства, раскрытой в скульптуре «Антилопа с детенышем».



Королевский кортеж. Бронзовое литье. *(Дагомея)*

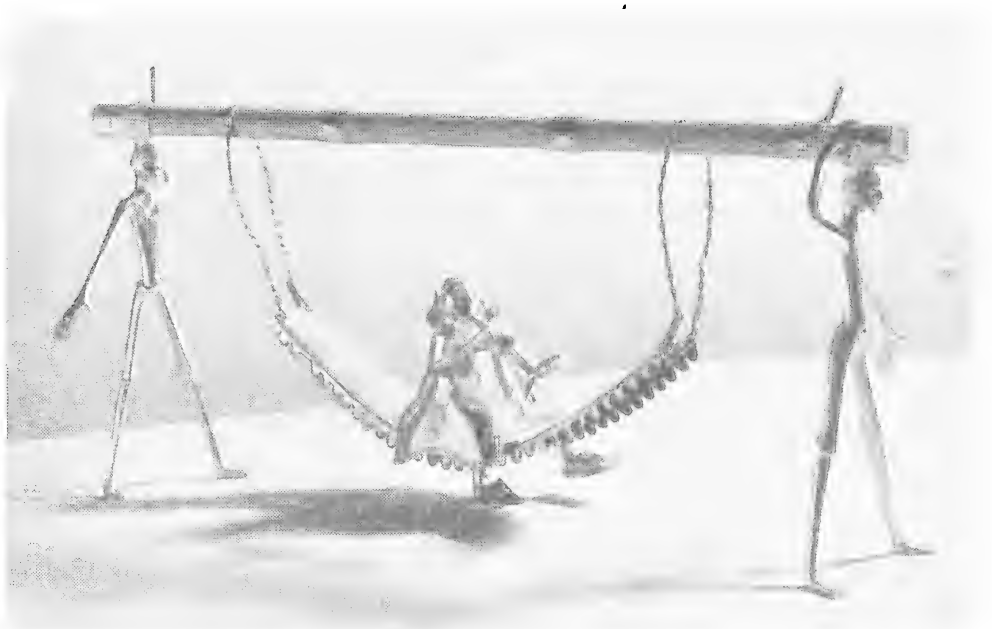
Скульптура, некогда игравшая подчиненную роль, связанную с отправлением религиозных культов, приобретает все более отчетливо выраженный светский характер, свидетельствующий о коренных изменениях, происходящих в сознании народов Африки. Ярким примером этого является созданная мастерами республики Мали мелкая пластика (металл), изображающая народные празднества с музыкой, ряжением, танцами в старинных ритуальных масках, потерявших в настоящее время свой первоначальный смысл.

Печатью высокого артистизма и тонкого чувства формы отмечены традиционные африканские обрядовые и танцевальные маски, по своему стилистическому характеру представляющие большое разнообразие — от условно трактованной формы (своего рода скульптурного орнамента) до необычайного по выразительности реализма.

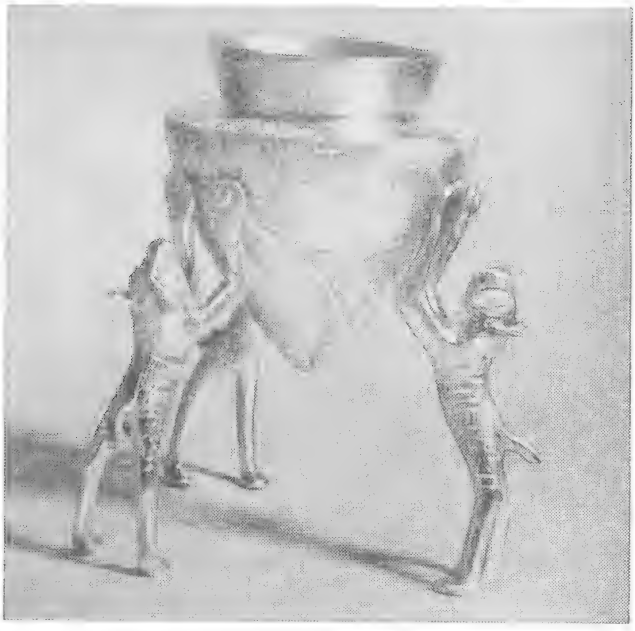
И даже маски, созданные в период тотемических верований, например наголовное украшение, изображающее антилопу, так же как и маски с прорезями для глаз, принадлежащие народу бамбара, надевают теперь не только в дни ритуальных церемоний, но и во время представлений развлекательного характера. На народных празднествах нынче можно встретить маски, изображающие герб молодой республики Мали.

Так традиционное искусство, ставшее наконец действительно достоянием раскрепощенных народов Африки, приобретает новый смысл, наполняется новым содержанием, отвечающим надеждам и чаяниям миллионов простых людей.

Деталь «Королевского кортежа».

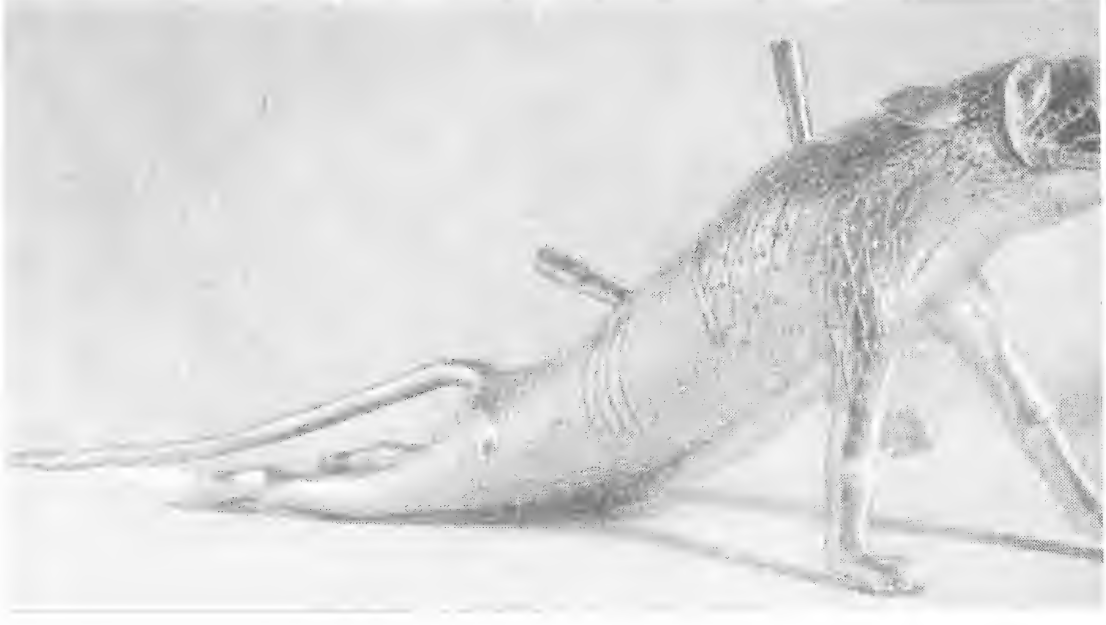


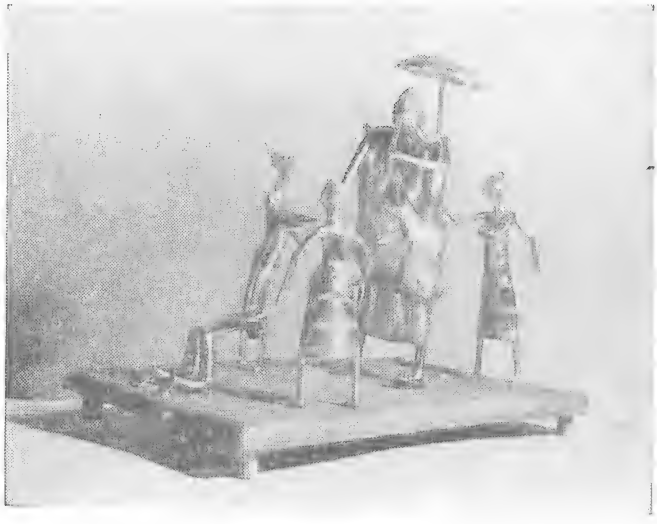
Пепельница.
Бронзовое литье.
(Дагомея)



Калебасса.
(Дагомея)

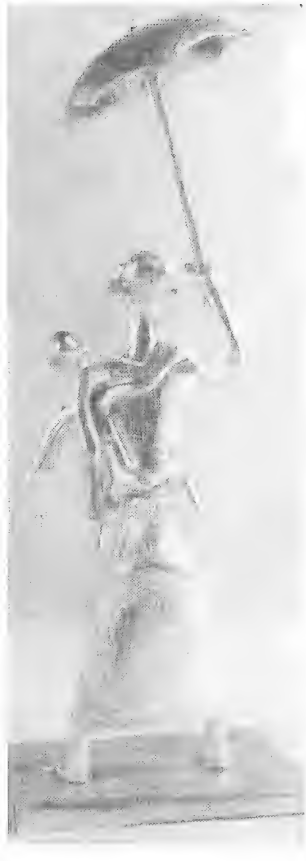
Раненый зверь.
Бронзовое литье.
Дагомея)



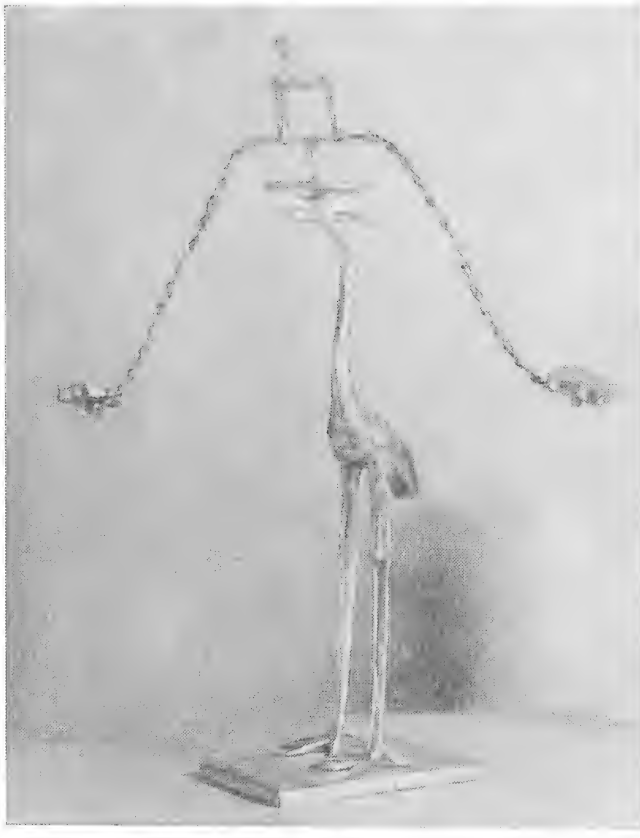


Суд феодала.
Бронзовое литье.
(Дагомея)

Пиктографическое панно. Ткань. *(Дагомея)*

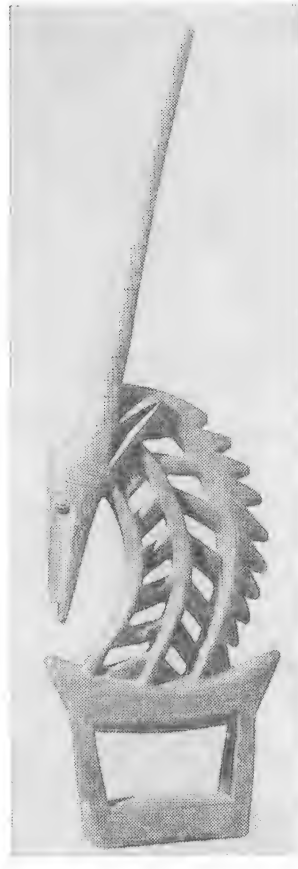


Мать с ребенком.
Бронзовое литье.
(Дагомея)



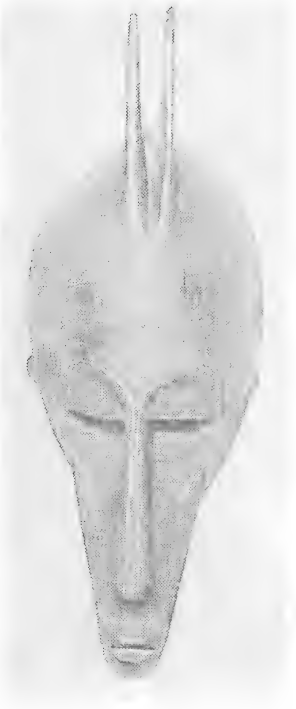
Декоративная скульптура.
Бронзовое литье.
(Дагомея)

Маска-наголовник.
Дерево.
(Мали)



Антилопа с детенышем.
Дерево.
(Мали)

Музыканты и ряженые. Металлический сплав. *(Мали)*



Стилизованная голова антилопы — маска.
Дерево.
(Мали)

Женский портрет.
Дерево.
(Мали)

Анри Барбюс в молодости

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НОВОЕ О БАРБЮСЕ

Ф. НАРКИРЬЕР

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Есть писатели, которые всегда с нами. Таков Анри Барбюс, человек, отдавший свою жизнь борьбе за дело коммунизма, борьбе против империалистической войны. О том, сколь велик в нашей стране интерес к его творчеству, говорит хотя бы такой факт: в 1962 году в Москве вышли две книги, ему посвященные. В серии «Жизнь замечательных людей» опубликована биография Барбюса, принадлежащая перу Ирины Гуро и Лидии Фоменко. Другая книга называется «Анри Барбюс — солдат мира». Ее автор — Аннета Видаль, секретарь писателя, его друг и соратник. Книга Аннеты Видаль искусно сочетает жанр научной, строго документированной биографии с яркими, живыми мемуарами.

Пятнадцать лет — с 1920 года по день смерти — проработала Аннета Видаль рука об руку с Барбюсом. Вот уже четверть века эта крепкая духом женщина осуществляет подвижнический труд: хранит, расшифровывает, готовит к печати, собирает архивные материалы Барбюса. Часть этих материалов вошла в книгу «Анри Барбюс — солдат мира». Но многое еще не стало всеобщим достоянием.

Когда Аннета Видаль приезжала в Москву, она оставила Институту мировой литературы имени А. М. Горького фотокопии интереснейших документов. Об этих архивных материалах, а также о некоторых новых изысканиях, посвященных Барбюсу, мы и хотим рассказать.

Рукописи Барбюса... Аккуратно разграфленный большой лист бумаги — план неизвестного романа. Сверху вниз идут названия глав: «Лаборатория», «Болезнь», «Они», «Любовница», «Враг»... Внизу — кривая линия, обозначающая, где должен повышаться интерес читателя, где он может упасть, где снова повыситься. Выясняется, что в канун первой мировой войны Барбюс писал не только рассказы, но и приступил к работе над романом. Он сделал много набросков, написал несколько эпизодов. Новый роман был задуман, как и предшествующий («Ад», 1908), в форме романа-монолога. Рассказ ведется от имени главного героя — ученого-естествоиспытателя. Ученый приходит к смелым выводам и громко их провозглашает. «Мысль не отступает ни перед чем» *,— замечает Барбюс. Последняя глава называется «Моя смерть». Здесь, как и в других своих книгах, писатель-атеист сводит счеты с религией. Верность идеалу, принципам, которые ученый отстаивал всю свою жизнь, помогает ему преодолеть страх перед смертью. «Человек не умирает» («On ne meurt pas»),— говорит Барбюс.

В романе ставятся некоторые социальные проблемы, но они занимают подчиненное положение. В плане не раз повторяется слово

* Здесь и ниже рукописи Барбюса цитируются по фотокопиям, хранящимся в Отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР. Фотографии взяты из документального фильма о Барбюсе.

«жалость». Этому роману, надо думать, была бы присуща несколько отвлеченная любовь к людям, жалость и сострадание — чувства, характерные для раннего творчества писателя. Отдельные мотивы, возникающие в набросках романа, получили продолжение в позднейших книгах Барбюса, в частности в романе «Звенья» (1925). Но после того, что Барбюс увидел и пережил на фронте, он уже не мог вернуться к первоначальному замыслу. Он написал «Огонь» — книгу о трагедии, постигшей весь французский народ.

Архивные материалы проливают новый свет на историю создания романа «Огонь», известную ранее только по «Письмам с фронта».

Гюстав Тери, редактор газеты «Эвр», где впервые был напечатан «Огонь», вычеркивал не только крепкие солдатские словечки, он не опубликовал концовки романа. На страницах «Эвр» не найдешь упоминания о врагах мира, врагах своего собственного народа, которых рассказчик призывает искать «на небе и на земле», хорошенько распознать и запомнить раз навсегда. И главное: в газетном тексте «Зари» (последней главы книги) нет самого образа зари, при первых проблесках которой лежавшие в грязи люди поднимаются, расправляют плечи, встают во весь рост. Готовя «Огонь» к изданию отдельной книгой, Барбюс восстановил эту принципиальной важности купюру. Но этим он не ограничился: необходимо было придать обобщающий смысл и началу романа.

В газете «Огонь» начинался с главы «Пещерные люди» (в отдельном издании — «В земле»). В первоначальном плане романа также не было «Видения» — первой главы окончательного текста. Эта глава впервые упоминается в письме Барбюса жене от 4 ноября 1916 года, относящемся как раз к моменту завершения публикации «Огня» в газете. Есть все основания предполагать, что эта глава представляет собой переработку написанного ранее рассказа. В письме жене от 9 февраля 1916 года упоминается какой-то рассказ о санатории («Ma nouvelle du Sanatorium»). Рассказ этот так и остался неизвестным. Только недавно он был обнаружен Аннетой Видаль в архиве Барбюса. Называется рассказ «Зрители» («Les Spectateurs») *.

По содержанию «Зрители» мало чем отличаются от «Видения». И здесь и там речь идет о горном санатории, где больные узнают о начавшейся мировой войне. Но в рассказе гораздо больше зарисовок санатория, состояния больных, их внешности.

В «Видении» та же ситуация выступает в обобщенной форме. Здесь на первом плане уже не личности больных, а те принципы, которые они утверждают. Принципы эти выражены более определенно и категорично, чем в рассказе.

Финал «Видения» иной, чем в «Зрителях». Раздается призыв: прекратить войну! В происходящих событиях начинают разбираться не только «зрители» — больные санатория, но и сами участники событий, солдаты, «тридцать миллионов рабов, преступно брошенных друг на друга».

Известен огромный резонанс романа «Огонь». Перед нами копии писем, полученных Барбюсом от читателей. В книге Аннеты Видаль «Анри Барбюс — солдат мира» опубликованы только выдержки из нескольких писем. А писем — сотни: от солдат, учащихся, чиновников, врачей, писателей.

Письма литераторов. За исключением отъявленных реакционеров типа Шарля Морраса и Леона Додэ **, Барбюса приветствовало подавляющее большинство французских писателей, в том числе и люди, далекие от него по своим политическим взглядам. Восторженные письма адресовал Барбюсу его старый друг, автор «Сирано де Бержерака», Эдмон Ростан. Пьер Лоти считал «Огонь» самой прекрасной из всех книг о войне. Барбюса горячо поздравляли писатели разных направлений: М. Метерлинк, Поль и Виктор Маргерит, Ж. Ромистарший, Л. Эннник, Л. Декав, Г. Жеффруа, поэты П. Ж. Жув, Фернан Грег, Поль Фор. Особенно дорого было Барбюсу мнение Ро-

Рядовой 231-го пехотного полка

---

* Опубликован в юбилейном французском издании «Огня» 1960 года.

** В беседе Леона Додэ с Максом Фишером, главным редактором издательства Фламмарион, опубликовавшего «Огонь», зашла речь о присуждении Барбюсу Гонкуровской премии. Додэ бросил «Огонь» на стол Фишера и сказал: «Разумеется, я проголосую против, но это прекрасная книга» (из выступления Аннеты Видаль на заседании сектора зарубежных литератур Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР 3 января 1960 года).

«Все в Осоавиахим!»

а Роллана, выступившего со статьей об не», и Анатоля Франса. В письме Райа Лефевра мы читаем:

Я только что от Анатоля Франса. Он го говорил об «Огне», который относит наиболее значительным произведениям нцузской литературы и ставит несравно выше,— сказал он мне,— всего, что ıали в эпическом жанре Гюго и Золя». ıсьмо не датировано. Очевидно, конец 5 — начало 1917 года.)

кадемия Гонкуров не могла не посчиься со всеобщим признанием и присудила ню» премию. Раймон Лефевр и Поль ян-Кутюрье, друзья и соратники Барбюправильно расценили присуждение Гонровской премии «поэту Интернационала ншей» как «ободряющее свидетельство ıественных настроений завтрашнего дня». ıсьмо не датировано. Очевидно, декабрь 6 года).

арбюс свято хранил письма, полученные фронтовиков, от товарищей по взводу, орых он вывел на страницах своего роа. Иногда Барбюс даже не менял их н: так, рядовой Сюилар, который рассказает о расстреле французского солдата неповиновение (глава «Арговаль»), дейтельно служил вместе с автором «Огня». ıсьмо Барбюса Полю Сюилару от 27 дея 1916 года.) Командир Барбюса капМедар (возможно, он был одним из прототипов капрала Бертрана) подчеркивал в своем письме, что роман создавался день за днем у него на глазах. Он писал: «Я горжусь тем, что могу сказать своим друзьям: Барбюс был одним из моих пуалю». (Письмо от 18 мая 1917 года.)

В своих письмах все солдаты сходятся на том, что «Огонь» — это правдивая книга. Но если одни ценили роман только за то, что Барбюс запечатлел картину их страданий, то другие подчеркивали революционное значение книги. «Ты сделал полезное дело,— писал Барбюсу солдат 144-го пехотного полка Жорж Пилье,— многим ты помог разобраться в собственных мыслях, в их надеждах на возможность реванша. Никто из нас не ошибся насчет того, что означает «Заря». (Письмо от 9 января 1917 года.) В нескольких письмах встречается мысль: «Огонь» — это книга возмездия.

Книга, создававшаяся в живом общении с солдатской массой, вернулась к фронтовикам как могучее оружие революционной пропаганды. В этой связи хочется напомнить слова В. И. Ленина, сказанные в беседе с А. В. Луначарским: «Вот Яков Михайлович (Свердлов) недурно выразился. Он прочел «Огонь» и сказал: «Весьма действенная реляция с поля битвы!» Не правда ли, это хорошо сказано? Собственно говоря, в наше решающее время, когда мы вступили в длинную полосу войн и революций, настоящий

писатель только и должен делать, что писать «реляции с поля битвы», а художественная его сила должна заключаться в том, чтобы делать эти «реляции» потрясающе действенными»*.

Пребывание Анри Барбюса на фронте получило отражение в его записных книжках. До последнего времени мы мало что о них знали: в 1937 году вместе с «Письмами с фронта» была напечатана коротенькая записная книжка Барбюса, которую он вел с 1 августа 1914 года — начала войны — по 29 июня 1915 года. Считалось, что этим фронтовые записи Барбюса исчерпываются. В 1956 году французский литератор Пьер Параф опубликовал выдержки из двух записных книжек, которые он обнаружил в архиве Барбюса. Каждая насчитывает около ста страничек. На обложке — надпись: «Анри Барбюс. 231-й пехотный полк». Судя по тому, что одна из первых записей датирована 14 октября 1915 года, мы имеем дело с продолжением напечатанной ранее записной книжки. Наряду со сведениями из военной жизни, здесь встречаются и литературные материалы. Мы узнаем о любимых книгах Барбюса; среди них — «Исповедь» Руссо, «Неволя и величие солдата» Виньи, «Легенда веков» Гюго, «Госпожа Бовари» Флобера, «Милый друг» Мопассана, «Разгром» и «Жерминаль» Золя, «На белом камне» Франса, «Жизнь Иисуса» Ренана, «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Толстого. Здесь же — не известное ранее стихотворение Барбюса «Первый поэт». Литературные «заготовки» к «Огню»; заметки об арго солдат из Северной Африки, названия глав романа, имена персонажей, наброски отдельных эпизодов, сатирические зарисовки (разговаривая по телефону с начальством, майор, «раб военной иерархии», вытягивается и отдает честь...).

Несколько записных книжек Барбюса хранится в архиве Аннеты Видаль. Мелкий, неразборчивый почерк. Обычно с одной стороны записной книжки — деловые заметки, с другой — планы, чертежи: многие годы Барбюс мечтал выстроить на берегу Средиземного моря дом, куда приезжали бы — работать и отдыхать — литераторы из разных стран. Барбюсу так и не удалось осуществить эту свою мечту...

Большой интерес представляет записная книжка, относящаяся, очевидно, к 1918 году, ко времени создания романа «Ясность». Мы находим здесь подробный план романа, замечания о персонажах, отдельные сцены. Планы новелл: «Отец и сын. Отец генерал, сын большевик. Они сталкиваются лицом к лицу. Побежденный сын осуждает и проклинает отца-победителя. Чувствуется, что он служит правому делу, которое победит».

* А. В. Луначарский. Анри Барбюс. Из личных воспоминаний. «Вечерняя Красная газета», Ленинград, 15 мая 1933 года.

За работой

За книгой

Размышления об искусстве и литературе, политике и общественной жизни. Убежденный социалист и интернационалист, Барбюс пишет: «Тот, кто поначалу скажет: «Все люди обладают от рождения равными правами на жизнь», неизбежно, от заключения к заключению, придет к международному социализму. Если он не придет к этому выводу, значит, он допустил ошибку в каком-нибудь месте своих рассуждений». Приверженность к социалистическим идеалам сочетается у Барбюса с беспощадным отрицанием буржуазных порядков: «Все устройство хромает, как утка, на обе ноги. Это устройство, подлежащее слому, называется обществом». Барбюс неоднократно возвращается к мысли, что национализм является «современной формой реакции», самой страшной, самой опасной. Империализм, ввергнувший Францию в огонь первой мировой войны, готовит новые войны, еще более разрушительные: «Будущая война набрасывается на землю и ничего не щадит. Где бы человек ни находился, повсюду раскрываются и... (неразборчиво) щупальца воздушных налетов».

В романе «Ясность» Барбюс и наносит удар по национализму, спекулировавшему на любви французов к родине. Герой «Ясности» Симон Полен отказывается склонить голову перед трехцветным знаменем, которое в годы первой мировой войны воспринималось как олицетворение милитаризма.

«Нет, я не склонился перед знаменем. Оно внушает мне страх, я ненавижу его, я его обвиняю. Нет, в нем нет красоты, это не эмблема родного уголка земли, это пестрое варварское пятно, которое лишь омрачает мирный ландшафт. Это назойливый знак кровавой славы, милитаризма и войны. Над зыбью человеческой толпы оно развевается как символ превосходства и владычества: это оружие. Это не любовь к одной стране, это резкое, надменное, агрессивное различие, которое афишируют. Это орел, который в радужных мечтах завоевателей и их поклонников перелетает в чужой стране с колокольни на колокольню. Священная защита земли...» *

Именно это место, одно только место снято цензурой в издании 1919 года и скрупулезно восстановлено Барбюсом в издании 1920 года. Именно на это место обратил внимание В. И. Ленин в беседе с английским педагогом и общественным деятелем Вильямом Гудом в августе 1919 года. Гуд стал расхваливать свободу слова во Франции. На письменном столе лежала раскрытая книга — «Ясность» Анри Барбюса, которую читал Ленин и на которой он делал пометки карандашом. Ленин протянул Гуду книгу, отметил место, замененное многоточием, и сказал: «Посмотрите: в свободной Франции, в республиканской Франции цензуре подвергаются романы».**

Для Барбюса имя Ленина было символом борьбы человечества за свое освобождение. Он горячо любил Ленина, восхищался его деятельностью. Интересное тому свидетельство — дарственная надпись на книге Барбюса «Свет из бездны», хранившейся в личной библиотеке В. И. Ленина:

«Ленину — тому, кто первый написал великие ненаписанные законы, с чувством горячего уважения Анри Барбюс».***

О Барбюсе написано немало книг и статей. Казалось бы, мы хорошо знаем его творчество. И все же новые материалы из архива Барбюса представляют для нас серьезный интерес: они помогают нам узнать не только то, что писал Барбюс, но и как он писал. Мы входим в его творческую лабораторию, узнаем его замыслы, следим шаг за шагом, как они воплощались в жизнь, как создавались творения Барбюса.

---

* А. Барбюс. «Ясность». Москва, Гослитиздат, 1960, стр. 218—219.

** «Clarté», 29 novembre 1919.

*** A Lénine, à celui qui a écrit le premier les grandes lois non écrites hommage fervent. Henri Barbusse.

ВЫБОР АНИБАЛА ПОНСЕ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

В тот день, 5 мая 1938 года, он должен был читать лекцию о Карле Марксе и марксизме перед студентами мексиканской столицы. Однако слушатели не смогли дождаться лектора — аргентинского писателя и философа, жившего в эмиграции в Мексике. На полпути в Мехико из Морелии он попал в автомобильную катастрофу и был смертельно ранен.

Нелепый случай вырвал из жизни Ани́бала Норбе́рто По́нсе — этого, по словам Хуана Маринельо, «большого писателя и борца, одного из самых эрудированных, творческих и прогрессивных умов нашего столетия»...

Среди произведений Понсе есть одна работа, просто и четко названная — «Долг интеллигенции». Автор работы, бесспорно, как нельзя лучше понимал, что́ надо делать, в чем заключается долг, какова ответственность писателя, деятеля культуры Латинской Америки. Будучи признанным властителем дум аргентинской передовой интеллигенции своего поколения, он оказывал огромное влияние на современников. Под его идейным воздействием формировалось мировоззрение многих писателей, избравших впоследствии путь прогресса и демократии. Аргентинские литераторы Леонидас Барлетта и Рауль Ларра рассказывали, какую роль сыграл Понсе в жизни Энрике Амората, убедив талантливого уругвайского романиста, уже завоевавшего литературную славу, определить свое место в борьбе; позднее Аморим пришел в компартию.

В официозном «литературном мире» Буэнос-Айреса имя Анибала Понсе «не в моде». Не встречается оно и на страницах литературного журнала «Сур», эстетствующие издатели которого еще цепляются за теорию «чистого искусства» (что, между прочим, не мешает им нападать на кубинскую революцию). Для реакции имя Понсе ненавистно. И все же растет количество книг, монографий, исследований о его творчестве, о его роли в истории аргентинской культуры; ряд этих работ принадлежит старым друзьям писателя — Хуану Маринельо, Эктору Агости, Альваро Юнке, Эмилио Троисе. Издаваемый аргентинскими коммунистами журнал «Куадернос де культура» посвящает специальный номер Анибалу Понсе. Секретарь ЦК Коммунистической партии Аргентины Викторио Кодовилья, выступая на XI съезде партии, называет имя Понсе среди имен национальных героев Аргентины.

Сверкающим метеором — ему не было и сорока лет, когда он погиб,— промелькнул Анибал Понсе в жизни страны. Но его деятельность расценивается передовыми людьми Аргентины как новый этап в развитии национальной культуры.

Философ и социолог, Понсе прошел сложный путь от позитивизма к марксизму-ленинизму,— и «Похвальное слово Коммунистическому манифесту», произнесенное им на факультете права университета в Ла Плате, явилось его клятвой верности революционной идеологии рабочего класса. Писатель-эссеист и литературовед, он создал произведения, вошедшие в золотой фонд прогрессивной литературы (в том числе столь широко известные в Латинской Америке сборник «Старость Сармиэнто», отмеченный литературной премией, книги «Ветер в мире», «Сармиэнто, зодчий новой Аргентины», «Гуманизм буржуазный и гуманизм пролетарский. От Эразма до Ромена Роллана», «Воспитание и классовая борьба», эссе о классиках аргентинской литературы, о Льве Толстом и А. В. Луначарском, о драматургии Шекспира и О'Нила).

Понсе можно было видеть в первых рядах антифашистского и антиимпериалистического движения. В Монтевидео он председательствует на Латиноамериканском конгрессе борьбы против империалистической войны, в Париже работает на Европейской конференции помощи жертвам испанского фашизма. Демократические силы интеллигенции он сплотил в Объединении деятелей культуры и искусств, писателей и журналистов — АИАПЭ. Защищая национальную культуру, АИАПЭ во главе со своим президентом Понсе смело выступает против тех, кто бросил в тюрьму поэта-коммуниста Рауля Гонсалеса Туньона за его поэму о Советском Союзе «Ударные бригады»...

Что же заставило Понсе, выходца из буржуазной семьи, которому была обеспечена академическая карьера, сделать выбор, коренным образом изменивший его жизнь? Еще в детстве от отца, знавшего Доминго Фаустино Сармиэнто, Понсе много слышал об этом великом аргентинском писателе и гражданине, «гаучо литературы». Очень близок по духу ему был человек, который, едва вырвавшись из тюрьмы и случайно избежав гибели, гордо начертал углем на скале Кордильер, близ аргентино-чилийской границы: «On ne tue point les idées» («Идеи убить нельзя»). Прогрессивные идеи, идеи борьбы за свободу захватывают юного Понсе.

И можно представить себе, как жадно впитывал он вести о революционных свершениях в далекой России. «Никто еще не смог передать,— писал Анибал Понсе,— как бились наши сердца, сердца двадцатилетних, в этот решающий момент истории». На студенческом митинге в Буэнос-Айресе, в ноябре 1918 года, он горячо встречает доклад крупнейшего в то время деятеля аргентинской культуры, писателя и мыслителя Хосе Инхеньероса «Об историческом значении большевистского движения в России» (кстати, само по себе выступление на такую тему было подвигом в ту пору, как было бы рискованным и в наши дни, при режиме «репрезентативной демократии» в Аргентине!). Слова оратора, приветствовавшего Октябрьскую революцию,— «русская революция — это символ нового сознания человечества»,— раскрывают перед Понсе широкие горизонты. Его, вчерашнего буржуазного либерала, влечет к себе образ Ленина, которого Хосе Инхеньерос с восхищением называет «человеком великого ума, блестящим государственным деятелем...» А ведь далеко не все понимали тогда, что́ произошло в России; утверждал же, например, соотечественник Понсе, модный модернистский поэт и прозаик, бывший когда-то социалистом, Леопольдо Лугонес со страниц консервативной газеты «Насьон», будто «в Сибири пожирают человечину»!

Впоследствии Понсе в своей литературоведческой и исследовательской работе берет на вооружение метод диалектического материализма. Критические и философские статьи Понсе, глубокого знатока аргентинской и мировой литературы и большого мастера-стилиста, приобретают новое — боевое, оптимистическое звучание. Он говорит: «Писать — это действовать», «Не имеет права писать тот, кто не готов ценой жизни отстаивать свое мнение». И он мужественно отстаивает свое мнение, активно вторгается в жизнь, действует. Он верит в победу подлинно национального и народного в литературе и искусстве.

В 1935 году сбылась давняя мечта Анибала Понсе — он посетил Советский Союз. «Два дня назад я вернулся из Москвы,— пишет он ближайшим друзьям в Буэнос-Айрес.— Впечатления — ярчайшие, я полон оптимизма, счастлив. В СССР я провел лучшие дни моей жизни и возвращаюсь, чтобы бороться, с полной верой в идеалы, которые мне так дороги».

Верным и искренним другом Советского Союза, заслужившего, по его словам, «глубокое уважение свободных людей», он оставался до конца. Хуан Маринельо, соратник Понсе, отмечает, что успехи страны Советов в области культуры представлялись аргентинскому писателю торжеством разума и сердца. И Маринельо подчеркивает: «Такие достижения, как спутники, синхрофазотрон и ТУ-114 — непонятные для «западных критиков» и вызывающие у них раздражение — находят свое объяснение в аргументации Анибала Понсе, предсказывавшего нам неизмеримый взлет освобожденной культуры».

Преследуемый реакцией, Понсе, как и лет сто назад Сармиэнто, был вынужден покинуть родину. В эмиграции, порой в очень тяжелых условиях, он не прекращает напряженную борьбу за те высокие идеалы, которые ему были столь дороги. Его захватывает политическая жизнь Мексики, а думы его — о родине. Он по-прежнему непримирим к политическим противникам и вместе с тем объективен, но его объективность не имеет ничего общего со всепрощением. В феврале 1938 года он получает известие о смерти Леопольдо Лугонеса, к тому времени вконец запутавшегося в своих противоречиях, сблизивших его с итальянским фашизмом и клерикализмом (не потому ли официальные круги Аргентины ныне так превозносят его!) «Самоубийство Лугонеса,— пишет Понсе,— меня огорчило... Я ненавидел его всей душой, но литературный талант у него все же был...»

С Анибалом Понсе в аргентинской литературе, по суждению литературоведа-марксиста Альваро Юнке, появился писатель нового типа: пролетарский гуманист. Весь свой талант, свою культуру, свое сердце Понсе отдал делу рабочего класса, борьбе за демократию и прогресс.

Думая о Понсе, я невольно вспомнил книжонку некоего Карлоса Каррансы, не так давно вышедшую в Буэнос-Айресе под многозначительным названием «Деятель культуры, почему ты коммунист?». Автор сего опуса тщится увещевать деятелей культуры Аргентины: не вступайте на «пагубный путь» марксизма! Что ж, заклинания Каррансы вполне понятны. Карранса, секретарь так называемой «аргентинской ассоциации за свободу культуры», под вывеской которой скрывается жалкая горстка врагов аргентинской культуры, не на шутку встревожен тем, что лучшие представители ее сознают свой долг перед родиной и народом. Не все они коммунисты — да и Понсе, как известно, не был членом коммунистической партии. Но как и Анибал Норберто Понсе, они горят патриотическим желанием, отстаивая свободу и независимость родины, защитить национальную культуру, помочь ее дальнейшему развитию, процветанию. И, разумеется, никто не сможет помешать им сделать свой выбор в борьбе, как никто не смог воспрепятствовать в этом Понсе.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Кастро Сороменьо. Мертвая земля. Перевод с португальского А. Долгопольского, Л. Некрасовой. Предисловие И. Потехина. Москва, Гослитиздат, 1962. 207 стр.

«Я ЗАЩИЩАЮ ЛЮДЕЙ...»

Ангола. «Здесь негр — только негр, и ничего больше». Здесь принудительный труд заменяет рабство. Здесь щупальца колониальной администрации опутали всю страну, выискивая тех, кто еще не завербован на кофейные или сахарные плантации, на работу в алмазные копи.

Алмазной компании нужны люди, их сгоняют со всех окрестных деревень. Работай, работай! Белый надсмотрщик — из особо благонадежных подданных Салазара — получит прибавку к жалованью, если выжмет из тебя лишнюю каплю пота. Работай, хотя ноги до крови изранены осколками камня, а тело иссушено голодом и побоями. Если упадешь — на твое место найдут другого. «Люди знали: раз оказался в копях — пощады не жди! Здесь нет другой власти, кроме власти компании. Единственный возможный отдых — это смерть!»

Когда-то белые обещали открыть здесь школы и больницы для негров. Но потом забыли о своем обещании: ведь нужно добыть столько-то тысяч карат алмазов ежегодно, и это главное! Правда, больницу они построили. Показательную. Негры боялись этой больницы так же, как боялись тюрьмы, и стремились как можно скорее вырваться оттуда на волю.

«Советским читателям может показаться неправдоподобным все, что мною описано. Но я отразил истинное положение вещей и ничуть не сгустил краски... Напротив, кое-что я даже смягчил»,— говорит о своем романе «Мертвая земля» его автор, Кастро Сороменьо. Тридцать лет проработал он в Анголе в качестве чиновника колониальной администрации и создал роман-документ, правдивое повествование о виденном и пережитом.

Кастро Сороменьо показывает читателю Анголу через восприятие трех своих главных героев: белого чиновника Жоакина Америко, мулата Жоана Каладо и старого вождя племени Ша-Муквари. Три разных цвета кожи — это, в условиях Анголы, три разных судьбы.

Жоакин Америко бежит в Анголу из Бразилии, где он принимал участие в вы

ступлении против диктатора Варгаса. Он решает стать чиновником, думая, что это — скромная и спокойная работа. Но ему сразу дают понять, что «мягкотелым здесь делать нечего». Америко вынужден принимать участие в вербовке негров, разлучать их с родной деревней и близкими, посылать на каторгу в копи. «Я защищаю людей... Для меня цвет кожи не имеет значения. Я вижу только людей, а тут с ними обращаются как с животными, как со скотом...» Америко покидает Анголу.

Юный Жоан Каладо — сын белого и негритянки. Старый Каладо не заботился о том, чтобы регистрировать своих детей: ведь все в округе знали, кто их отец. И когда старик умирает, белые чиновники выгоняют Жоана с его черной матерью из дома, из того самого дома, где он родился и вырос. За попытку протеста Жоана бросают в тюрьму. Очутившись на свободе, он поджигает здание администрации и бежит из Анголы.

Отца вождя племени Ша-Муквари замучили белые плантаторы. И старый негр встречает посланцев белых молчаньем. Когда же белые чиновники приказывают ему явиться в колониальную администрацию, он закалывает их черного прислужника и кончает жизнь самоубийством. Старые племенные обычаи и обряды вместе с ним покидают Анголу...

Земля Анголы мертва... Прибыли алмазной компании убили ее. Лишь ступают по ней босые черные ноги тех, кого гонят в алмазные копи, или тех, кто бежит оттуда под покровом ночи и леса, или тех, кто танцует погребальную пляску над последним вождем племени, в смерти нашедшем спасение от ига белых.

Подлинность и достоверность — вот что сразу, с первых строк, захватывает внимание читателя романа «Мертвая земля». И уже не хочется думать об его формальных достоинствах и недостатках, о некоторой нечеткости композиции, об отдельных промахах переводчиков: все заслоняет правда жизни, простой рассказ в защиту народа Анголы, ведущего освободительную борьбу.

Л. ФЕЙГИНА

Векослав Калеб. Прелесть пыли. Перевод с сербохорватского О. Кутасовой. Москва, Детгиз, 1962. 168 стр.

МАЛЕНЬКАЯ, НО ДЕЙСТВУЮЩАЯ

В горах нет пыли. Пыль — признак долин и дорог. Во время партизанской войны в Югославии, одной из самых гористых стран мира, фашисты загоняли повстанцев в горы, где нет пыли, но также нет деревень, пищи, дорог. А партизаны выбивали фашистов с дорог, на которых стояли села и города, с дорог, на которых было много пыли. После долгих месяцев блужданий по каменистым холмам пыль казалась вожделенной и прекрасной. «Пыль выбивалась из-под ног, брызгами обдавала голени, точно холодная вода, хотя солнце стояло уже высоко и сильно припекало спину».

Вот почему Калеб назвал свою книгу «Прелесть пыли».

В книге два героя.

Один из них — мальчик. Имя его не названо, но мы знаем, как он выглядит: «На мальчике была просторная гимнастерка до колен, драные штаны, но пилотка, наперекор всему, сидела на голове задорно и лихо. Худое детское лицо, маленькие, ввалившиеся глаза, голубоватые руки, небрежно придерживавшие ствол винтовки». Ему пятнадцать лет. Он гимназист из Сплита в Далмации. Вел подпольную работу в школе. Однажды утром, не простившись с отцом, ушел в партизаны — сначала на острова Адриатики, потом в горы. Это умный мальчик, думающий. В своем взводе он был агитатором — должность, на которую назначали самых сознательных бойцов.

В 1944 и 1945 годах пятнадцатилетних бойцов (а также четырнадцатилетних, тринадцатилетних, двенадцатилетних) мне пришлось видеть во множестве — и в Сербии, и в Словении, и в Македонии, и в Воеводине. Дело в том, что фашизм вел войну против всего народа Югославии, против мужчин, женщин и детей. И весь народ Югославии — мужчины, женщины и дети — сопротивлялся фашизму. Целые классы гимназий выводили фашисты на школьные дворы и расстреливали. Об одном таком случае рассказала Десанка Максимович в «Страшной сказке». Но случаев было множество. Дети были хорошими разведчиками и хорошими бойцами — серьезными, дисциплинированными, смелыми. Так было у югославских партизан, так было и в наших партизанских соединениях, у французских маки, у болгар и поляков. Фашистская тотальная война вызвала всенародную войну против фашизма.

У мальчика есть спутник. Автор называет его Голым. «На Голом болтался кожух, опоясанный полупустым патронташем;

полоскались по ветру замызганные, разорванные на коленях шаровары, черные руки придерживали спущенный на землю пулемет. Волосы стояли колом, впалые щеки заросли густой щетиной».

Разодранные шаровары Голому подарили крестьяне уже в последней четверти книги. До этого его единственной одеждой был кожух.

Таких бесштанных бойцов, старательно запахивавших трофейную шинельку, мы впервые увидели в Белграде в октябре 1944 года. Одежда — необходимое условие ведения войны. Оккупанты хорошо знали это. В книге Калеба герои — Мальчик и Голый — несколько раз проходят мимо приколотых фашистами тифозных или раненых партизан. Все они были раздеты для того, чтобы их одеждой нельзя было воспользоваться. Осенью 1944 года, а это была холодная осень, мы видели множество босых бойцов Югославской Народно-освободительной армии. Это не мешало воевать им с такой же храбростью, с какой воевали санкюлоты 1793 года.

Голый — добрый и гуманный человек. Он добр к Мальчику и много раз спасает его — тифозного, изголодавшегося, не привычного к войне. Он щадит итальянского часового, которого уже держит на мушке. Щадит потому, что знает — рядовые итальянцы не хотят воевать, их силком пригнали на Балканы.

Кроме того, он — поэт. Самодеятельные стихи, которые слагает Голый, не вызывают у меня иронического отношения. Я не согласен с Мальчиком, глядящим на поэта Голого с высоты своих пяти классов гимназии. Я думаю, что в этих простых стихах есть дикая сила выражения, страсть — то, что характерно и для сербского эпоса.

Голый часто думает о доме в Банье, который он покинул, о семье и, конечно, о горячей картошке. О картошке думают оба бойца, неделями не видящие ничего, кроме травы, древесной мякоти, улиток. Думают со всей страстью многолетне голодных людей. Может быть, в книге Калеба даже слишком много этих дум — о голоде и о картошке.

Однако прежде всего Голый не поэт, не измученный окруженец, не любитель картошки. Прежде всего он солдат, точнее, командир. Командир потому, что чувствует ответственность за больного мальчика, и потому, что их двойка постоянно «обрастает» то больными бойцами, то крестьянами, идущими в партизанский отряд. Голодный, измученный, Голый все время чувствует себя полномочным представителем всего народа. Судьей, когда казнит мародера, пропагандистом, когда объясняет крестьянам положение на фронтах, вожаком, когда сплачивает крестьянскую молодежь в отряд.

Итак, два человека — пятнадцатилетний и двадцатипятилетний,— два партизана из разбитых фашистами отрядов, с боями, прячась, когда необходимо, воюя, когда можно, пробираются по оккупированной врагом территории. Идут не как окруженцы, а как воины, как воинская часть, маленькая, но действующая. В книге множество эпизодов, приключений. Детгиз издал ее с грифом «Для старшего школьного возраста».

Но главное в книге — не приключения, а люди, с которыми эти приключения приключаются. Возрасты, которые старше «старшего школьного возраста», прочтут книгу с не меньшим интересом, чем дети. Это — большая литература, и детская она только потому, что почти всякая большая литература может быть понята и прочитана детьми.

Куда же идут Мальчик и Голый? Они идут в Бригаду. Старая поэма Безыменского начиналась словами:

Завод — отец. Ячейка — дом.
Семьища — книга, труд, ребята.

Примерно такое же отношение у героев книги к Бригаде, к партизанской армии, к вооруженному народу.

В те годы люди, встречаясь, не говорили друг другу: «Здравствуйте!» или: «Доброе утро!» Говорили: «Смерть фашизму!» И отвечали: «Свобода народу!» Интересно, что и в наших частях возникали приветствия такого же типа. В 73-й гвардейской дивизии, воевавшей на Волге, а потом освобождавшей Белград, молодые солдаты приветствовали друг друга словами: «Смерть немецким оккупантам!»

Через всю книгу Векослава Калеба (он не назвал ее ни повестью, ни романом) проходит это грозное приветствие «Смерть фашизму!». Тифозные и голодные партизаны, из последних сил сжимающие один — пулемет, другой — винтовку, сознают себя частью свободного народа, который обязательно пробьется — сначала к Бригаде (этим кончается книга), а потом и к Победе. «Хуже всего первые пять лет!» — печально шутит Голый. От начала всенародного восстания до изгнания фашистов прошло меньше четырех.

Книгу прекрасно перевела Ольга Кутасова — знаток южнославянских литератур. Дело не только в том, что «переводность» не чувствуется и книга читается, как русская проза. Дело и в том, что Кутасова в деталях разбирается в сложнейшей политической и национальной чересполосице, характерной для Сербии 1943 года, и потому трудный текст Калеба стал понятен и ясен для самого широкого читателя.

За последние годы наши издательства, особенно Гослитиздат, положили прочное основание делу перевода литератур народов Югославии. Образцово издана книга крупнейшей поэтессы Югославии Десанки Максимович. Добротно, с привлечением мастеров стиха переведен сербский эпос. Это двухтомное издание решительно — и в качественном и в количественном отношении — превосходит все старые русские издания «Песен западных славян».

Основательно переводится и издается Иво Андрич.

Это хорошее дело. И его нужно продолжать.

БОРИС СЛУЦКИЙ

Пятнадцать тысяч монет. Средневековые китайские рассказы. Перевод и предисловие И. Т. Зограф. Ответственный редактор Л. И. Меньшиков. Москва, Издательство восточной литературы, 1962. 152 стр.

специально отведенных местах выступали сказители; рядом, за загородкой, шло представление, еще дальше состязались игроки в мяч, тут же простаков зазывал гадатель и раскладывал свои книги и сонники. Сказители делились на школы: были рассказчики исторических повествований, бытовых, любовных сюжетов, любители историй о таинственных духах, поединках на мечах и палицах, о славе и удаче ученых. Самым большим успехом пользовались рассказчики бытовых историй, которые были ближе к современной им жизни, и не просто излагали традиционные народные сюжеты, но и сами творили, импровизируя и домысливая.

Самые известные сказители выступали всегда в одном месте; победнее и менее талантливые собирали ремесленников, торговцев, солдат и крестьян, приезжавших на ярмарку, прямо у колодцев и на перекрестках. Среди сказителей было, видимо, немало людей грамотных, которые записывали для памяти свои истории. К сожалению, большинство этих записей исчезло, но тридцать-сорок произведений XI—XIV веков дошло до нас почти в неизменном виде, правда, и они веками были преданы забвению, так как конфуцианские книжники считали их «низкой» литературой.

Сборник «Популярные рассказы, изданные в столице» как раз и постигла такая судьба. Составленный не позднее XIV века, он был забыт, пока в 1915 году его не нашел ученый Мяо Цюань-сунь.

Другие сборники далекого средневековья были вновь открыты и изданы только в народном Китае. Они стали любимым чте-

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ НОВЕЛЛА

Расцвет китайской народной новеллы приходится на Сунскую эпоху (X—XIII вв.).

Жизнь в столице тогдашнего Китая не затихала ни днем, ни ночью, такого еще не знала история Срединной империи. В храме первого министра пять раз в месяц устраивалась многолюдная ярмарка. Медовые сласти, лучшие кисти для письма, замечательная тушь из Пангу, картины, книги, пряности, изделия кустарей — чего только не было на этих базарах. В ненастье и даже зимнюю стужу не прекращалась торговля. В полночь, когда отбивали третью стражу, разносили чай, чуть забрезжит рассвет — жителей будили крики торговцев пирожками и питьем. Это было веселье столицы, жившей во многом за счет провинции. Феодальные правители заботились только о своем благополучии, их мало беспокоило, что северные области страны страдали от набегов кочевников, что у крестьян не было денег, чтобы покупать то, чем торговали на ярмарках.

Столица славилась своими актерами и рассказчиками. Под огромными навесами, вмещавшими несколько тысяч зрителей, в

Удивительные истории нашего времени и древности. Перевод с китайского, послесловие и примечания В. А. Вельгуса и И. Э. Циперович. Москва, Издательство восточной литературы, 1962. Т. 1 — 455 стр., т. 2 — 455 стр.

нием народа и предметом многих ученых споров и исследований. Литературоведы КНР придают изучению народной новеллы особое значение, видя в ней подлинно демократическую линию развития родной литературы. Естественно, что и в Советском Союзе китайская народная новелла привлекает к себе большое внимание.

Сборник «Популярные рассказы, изданные в столице» в русском переводе назван по одному из рассказов. «Пятнадцать тысяч монет» — история, типичная для феодального Китая, где судьи, заботясь лишь о своем кармане и карьере, приговаривали невинных людей к каторге и смертной казни.

Судьба женщины, любовь и замужество — вечные темы народных рассказов. Сочувствие к обиженной героине проходит через многие повествования. Иногда оно выражено отчетливо, как в рассказе «Фэн Юй-мэй возвращается к мужу», иногда, например, в рассказе «Честный приказчик Чжан», симпатии автора на стороне героя-мужчины; но объективно и этот рассказ рисует трагедию молодой женщины, проданной в жены старому купцу.

Сказители хотели заинтересовать слушателей, поэтому они старались выбрать сюжет поострее и позанимательнее. Они стремились растрогать людей — отсюда много печальных историй о разлуке и гибели, но одновременно они выделяли и морализующее начало, прославляя добро и наказывая порок. Обычно сказители не начинали сразу с основного повествования, а, пока не собиралось побольше слушателей, излагали коротенькую историю, близкую (реже противоположную) по смыслу тому, о чем пойдет рассказ. Все эти элементы устного сказа, включая стихотворные вставки, перешли потом и в письменные варианты.

До XI века рассказчиками, по-видимому, главным образом были буддийские монахи, поэтому не удивительно, что сквозь ткань многих более поздних повествований проглядывает буддийская идея о том, что все призрачно в этом мире. Но эти чуждые народному духу представления не заслоняют от нас главного — правдивого изображения жизни простого люда.

Иная судьба выпала на долю сборника «Удивительные истории нашего времени и древности». Он был составлен между 1632—1644 гг. и сразу же стал популярен не только в Китае, но и в Японии, где уже в XVIII веке появились подражания ему. В XVIII—XIX веках новеллы из этого сборника начали переводиться на западноевропейские языки. Сборник был переведен и на монгольский язык. А совсем недавно несколько новелл из этого сборника было записано в Средней Азии у советских дунган, где эти повествования сохранились в устном исполнении. В 1909 году появился первый русский перевод одного из рассказов сборника. В нынешнем двухтомнике представлено более 20 новелл, то есть половина собрания.

К XVII веку китайская народная новелла заметно изменилась. Перед нами уже не просто записи устных сказов, а литературное повествование более отшлифованное, более развитое в сюжетном отношении. Это результат труда известных литераторов Фэн Мэн-луна и Лин Мэн-чу, из чьих сборников взяты новеллы.

Все больше ситуаций, все больше героев, похожих и одновременно разных, проходит перед читателем. Более серьезные общественные вопросы поднимаются авторами, в рассказах больше раздумий о современной жизни, о несправедливости и неравенстве в феодальной империи. Дружба до гроба и скорбь об умершем друге — тема рассказов о Юй Бо-я и Ян Цзяо-ай. И как контрастируют с ними повествования о корыстолюбивых, жадных до денег чиновниках. Многое приходится перенести из-за них и Лу Наню, «любителю поэзии и вина», и «чужой невесте» Сяо-э, подаренной в дом богатого князя льстивыми чиновниками, и больше всех — Шэнь Ляню, открыто обличавшему произвол. Жизнь героев новелл далека от нас, но читателя захватывает повествование, занимательное и вместе с тем чем-то особенно трогательное. Нет нужды пересказывать здесь сюжеты, новеллы надо просто прочесть.

Переводы новелл в той и другой книге сделаны хорошо. Стиль переводов И. Т. Зограф проще, но ведь проще и сам оригинал. Переводы В. А. Вельгуса и И. Э. Циперович сделаны более гладко, тут сказался большой опыт переводчиков, кроме того, надо принимать во внимание и бо́льшую литературную отделанность самих текстов. Меньше повезло стихам. В первом сборнике стихотворные переводы выполнены Н. М. Подгоричани. Некоторая наивность рифм порой сочетается, к сожалению, и с прямыми ошибками, вроде «...и оба отразились в стекле зеркальном» (стр. 140). Переводчице следовало бы знать, что в Китае тогда были только бронзовые полированные зеркала. Во втором сборнике стихи переведены Вельгусом и Циперович; местами они несколько тяжеловаты, но точны и лучше передают оригинал.

Перевод средневековых новелл всегда ставит ряд сложных вопросов: как переводить термины, реалии, названия должностей и т. п. В общем, все это сделано с умением и чувством меры. Но едва ли на месте такие слова в «Удивительных историях», как «учащийся», «пассажирское судно», «дюйм», «район» и т. п.

Думается, что надо переводить максимум переводимого, чтобы читателю было легче во всем разобраться и запомнить имена и названия. Не ясно, например, почему нельзя было перевести «Чуньцю» — «Весны и Осени» или «Цзиньганцзин» — «Алмазная сутра» (последнее и в комментариях объясняется через столь же непонятное санскритское название). Видимо, следовало в обеих книгах переводить названия годов правления, вроде Юнлэ — «Вечная радость», и т. п. В переводе «Удивительных историй» повторены часто встречающиеся ошибки — невер-

но даны названия некоторых музыкальных инструментов. Очень странно, что в «Удивительных историях» переводчики и издательство вдруг решили отойти от общепринятого у нас написания китайских имен через дефис.

Первый сборник открывается предисловием, второй завершается обширным послесловием переводчиков. Они написаны со знанием дела, но жаль, что предисловие И. Т. Зограф суховато, в нем многое осталось нераскрытым; некоторых неточностей в датах (413, 451 стр.) и в сносках (417 и 431 стр.) послесловия к «Удивительным историям» могло и не быть.

Обе книги хорошо изданы. Они иллюстрированы большим знатоком Китая художником Л. П. Сычевым. Следовало только указать, что фронтисписы перед рассказами в «Удивительных историях» взяты из старого китайского издания. Неудачное расположение примечаний во втором томе «Удивительных историй» создает излишние неудобства для читателей.

Но все это мелкие недостатки. Знакомство советского читателя с китайской народной новеллой состоялось, и за это нельзя не быть благодарным издательству и переводчикам.

Б. РИФТИН

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Vasile Rebreanu. Casa. Bucureşti, Editură pentru literatură, 1962.

ЧТО ТАКОЕ ДОМ?

Казалось бы, ответить на такой вопрос довольно просто. Стоит, однако, задуматься, и сразу обнаруживаешь, как начинают стремительно расширяться смысловые границы этого слова. И «дом» уже не означает только «помещение, пригодное для жилья», но и семью, живущую одним хозяйством, и хозяйство этой семьи. И здание или учреждение, в котором работает целый коллектив, и сам этот коллектив. А потом и родина и даже планета в целом...

И в каждом новом, расширенном смысловом круге запечатлен новый возраст человеческого ума, новый скачок в сознании людей.

Герои романа Василе Ребряну «Дом» с этой точки зрения — люди различного исторического возраста. А главному персонажу, Исае Йоце, суждено проделать долгий путь от самого узкого понимания слова «дом» до самого светлого и высокого. Но в книге молодого румынского прозаика раскрыто еще одно значение этого слова — собственническое, трагическое, в нем гораздо меньше от «крыши над головой» и гораздо больше от «земли под ногами».

Земля. Для вчерашнего пахаря она олицетворяла все то, что человек привык вкладывать в понятие благополучия, семейного тепла, счастья. И «Дом» Василе Ребряну — книга о последнем этапе коллективизации сельского хозяйства Румынской Народной Республики — повествует о людях, которые в ходе этого процесса постепенно освободились от страшного фетиша собственности, от «жажды земли».

Итак, это рассказ о труднейшем и величайшем деле революции. И хотя перед

нами лишь эпилог вековой борьбы, прошлое и будущее не остаются за пределами книги. Они борются в судьбах героев.

Мы узнаем историю прабабки одной из героинь романа, предводительницы крестьянского бунта, которую феодалы бросили в костер. Мы слышим отзвуки кровавого восстания 1907 года, когда крестьяне шли на штурм боярских усадеб с криками: «Хотим земли»! А последние главы книги Василе Ребряну пронизаны тем необыкновенно светлым настроением, которое царило на памятном заседании Великого национального собрания РНР в апреле 1962 года, когда 11 000 крестьянских делегатов — ровно столько, сколько полегло жертв от пуль карателей в 1907 году,— совместно с депутатами утвердили законы, освятившие сплошную коллективизацию сельского хозяйства страны.

Роман «Дом» вызывает ряд чисто литературных ассоциаций. Но самые прочные нити ведут, несомненно, к творениям знаменитого сородича и однофамильца автора — Ливиу Ребряну (1885—1944), блестящего представителя румынского критического реализма, и в первую очередь к его роману «Ион».

Как и герой романа «Ион» (первая часть которого озаглавлена «Зов земли»), Исая Йоца женится на дочери кулака и становится владельцем большого участка земли. Как и Ион, Исая жертвует во имя земли своей любовью. Как и тот, он трагически погибает, едва переступив порог прозрения.

Но на этом сходство кончается. Ибо Василе Ребряну не собирался повторить своего предшественника. Нет, он хотел поспорить с ним, как равный с равным, поспорить с его мыслью о прирожденности, атавистичности крестьянской «жажды земли», Ливиу Ребряну заканчивает свою книгу словами: «Время равнодушно сковывает смятенные порывы жизни, стирая ее следы. Страдания, страсти, стремления, малые и великие, растворяются в неохватной тайне, словно робкие огни в исполинской буре...» «Младший» Ребряну распахивает перед своими героями огромное окно в будущее.

Но чтобы осознать законы этого будущего, Исая Йоца должен пройти суровую школу в доме тестя Ирофтея Удилэ. Злобой, алчностью пропитана жизнь обитателей этого «дома» и соседнего, в котором живет брат Ирофтея Салустий. Братья смертельно ненавидят друг друга: отец выделил старшему, Ирофтею, лишний клочок земли. Нельзя спокойно читать о том, как увозит в город Ирофтей тяжело больного отца, чтобы переписать на него часть земли и снять тем самым с себя бремя обязательных поставок. Или рассказ о том, как Салустий выбрасывает на улицу тело внезапно умершего в его доме отца, чтобы не нести расходов по его погребению. Или сцена на кладбище: Ирофтей недоплатил могильщикам, и те бросили работу. Могила не принимает гроба старика. И вот братья на глазах у собравшейся толпы отпиливают угол гроба... После всего этого Ирофтей подделывает завещание и выгоняет мать.

Вот почему Исае все время *холодно* в доме тестя. Вот почему он смутно мечтает выстроить себе *другой* дом. И придет час, когда он постигнет опустошающее, страшное воздействие собственности, отнявшей у него право на любовь, право на уважение односельчан. И страх, тошнотворный страх, что он становится *таким же, как его тесть*, будет той последней каплей, которая переполнит чашу.

Но для того, чтобы в полную силу испытать этот страх, Исае мало было только наблюдать процесс обесчеловечивания. Нужно было иметь перед глазами и конкретные образцы той подлинной человечности, которую можно противопоставить волчьим повадкам людей типа Ирофтея.

В чем сила уполномоченного райкома Иона Дурры, коммуниста Антима Боты и других? Автор романа отвечает: в истинной человечности, в социалистическом гуманизме. Не в умении призывать к уважению человека, а в самых естественных проявлениях этого уважения, не в декларациях о богатстве души труженика, а в умении удивляться и радоваться каждому новому открытию в душе его, в умении находить опору в этих открытиях. В подлинно братском отношении к человеку, «меняющему кожу». В страстном желании увидеть и творить радость людскую. Именно такие люди помогли крестьянству понять глубоко гуманный смысл обобществления земли. Именно они смогли выкорчевать в душах непреоборимую дотоле «жажду земли».

Исая Йоца понял это слишком поздно. Слишком тесно был связан он с «домом» Ирофтея Удилэ. Слишком долго раздумывал, слишком многим жертвовал. Сами родичи, хозяева ненавистного ему «дома», убивают его. И вот он лежит на дороге, и рот его полон горькой земли и сладковатой весенней травы. И соседский мальчонка, решивший, что он спит, шутливо «кутает» его в покрывало из мягкой и холодной земли. Той самой земли, истинное назначение которой он так поздно осознал.

Каков же, в конечном счете, тот главный смысл, который вкладывают герои Василе Ребряну в слово «дом»?

«Дом» — это коллектив, людское сообщество, в рядах которого вчерашний раб вещей, раб собственности становится хозяином своей судьбы, хозяином жизни.

В этом выводе — одна из самых удивительных побед нашего революционного века, и найти художественно убедительные средства для изображения этой победы — дело сложное и многотрудное. Тем более радует успех молодого прозаика, роман которого отмечен премией Союза румынских писателей за 1962 год. У Ребряну свой взгляд на мир, свой голос, пусть еще юношеский, не всегда ровный, своя, глубоко реалистическая манера письма. Словом, фамилия Ребряну ему, несомненно, «по плечу».

М. ФРИДМАН

Оэ Кэндзабуро. Опоздавшая молодежь. Токио, Синтёса, 1962. (На японском языке).

ВОСПИТАНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

В течение двух лет в журнале «Синтё» из номера в номер печатался роман молодого японского писателя Оэ Кэндзабуро «Опоздавшая молодежь». Недавно он вышел отдельным изданием. Но еще до того, как роман был опубликован полностью, японская критика приветствовала его появление как новый шаг в творчестве талантливого прозаика.

Оэ Кэндзабуро — писатель сложный, интересный. Творческая биография его — всего пять-шесть лет. Но за это время он уже дважды удостаивался премии имени Акутагавы за свои рассказы и выпустил два больших романа о молодежи: «Время, в которое мы живем» * и «Семнадцатилетний». Некоторые японские критики причисляют его к «рассерженным молодым людям». Но если герои «рассерженных» — это молодежь, которая не может найти места в жизни, то герои Оэ находят свое место... в стане фашиствующей реакции. И огромная заслуга писателя состоит в том, что он показывает, не только как происходит духовное падение этих молодых людей, но и почему оно происходит, кто виноват. Не отходит Оэ от этих принципов и в новом произведении.

Роман написан от первого лица и охватывает период с конца второй мировой войны до наших дней. Спокойно, не возмущаясь особенно поступками других, не оправдывая, но в то же время и не осуждая себя, герой рассказывает о том, как он превратился в предателя. Избранная автором форма романа позволяет ему глубже проникнуть во внутренний мир героя, в его психологию, но вместе с тем сужает, если можно так выразиться, сектор обзора. Мы видим лишь то, на что бросает взгляд герой, лишь те события, наблюдателем или участником которых он является, причем видим все это весьма односторонне. Это же относится и к людям, окружающим героя.

...Все началось с того, что приехавший в деревню юноша-курсант сказал ему: «Война кончается. Ты еще слишком мал и не сумеешь попасть на войну». А ведь до приезда этого курсанта будущее было ясным и определенным. Ему так хотелось повоевать, так хотелось умереть за императора. Отец всегда говорил: «Никто не может опоздать на войну, все пойдут на нее, все станут солдатами». Но вот мечта рассеялась в прах. И когда учительница делает ему замечание и говорит, что такого плохого мальчика не возьмут даже в солдаты, он бросается на нее с ножом и ранит. Первое его движение — бежать, но внутренний голос говорит: «Остановись, вернись. Если ты сын императора, если ты японец, не убегай!» Узнав о поражении Японии, он пытается кончить жизнь самоубийством.

Невозможно без внутренней боли и возмущения читать эти страницы. С них как живой сходит обыкновенный мальчишка, жизнь которого могла бы сложиться совсем по-другому, если бы не оголтелая националистическая, шовинистическая пропаганда, которая отравила его сознание, сознание многих и многих японских юношей. Как нужно было одурманить народ, чтобы мальчик услышал этот «внутренний» голос!

В Японии высаживаются оккупационные войска. Ползут зловещие слухи об убийствах, насилиях. Устами своего героя Оэ немногословно, буквально несколькими штрихами передает волнение, охватившее крестьян. На джипах в деревню въезжают американские солдаты, «на коленях, как котят, они держат автоматы». Герой не теряет надежды, что война еще будет продолжаться, что ему удастся повоевать. В этой уверенности его укрепляет найденная листовка с призывом вступить в подпольную армию, которая, кстати, так никогда и не была создана.

Вместе с приятелем он пытается попасть в горный район, указанный в листовке, но местная полиция ловит его, и он оказывается в колонии для малолетних преступников. Злоба и бессилие толкают его на предательство: он доносит на старосту деревни, который еще во время войны убил американского летчика, спустившегося на парашюте. Этим заканчивается первая часть романа, составляющая как бы фон, на котором, по мнению Оэ, должны более ярко выступить черты его героя в пору зрелости.

Оэ нигде не говорит об этом прямо, но логика романа, и особенно первой его части, неопровержимо доказывает, что корни сегодняшнего фашизма в Японии нужно искать в предвоенные и военные годы, когда в течение многих лет все средства официальной пропаганды, вся государственная машина были мобилизованы на то, чтобы калечить сознание людей, превратить их в слепое орудие войны. Большая заслуга Оэ состоит в том, что он своей книгой решительно утверждает: и сейчас еще милитаристы пользуются плодами своей политики, в борьбе за разум и душу народа нельзя ни на минуту забывать об этом.

Во второй части романа мы встречаемся с героем примерно через десять лет. Он уже студент университета. Но моральный его облик остался прежним. Ему чужды чувства товарищества, дружбы. На этот счет у него совершенно определенные взгляды:

* Рецензия на этот роман была опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1960 г.

«Я не думаю, что человек может быть по-настоящему привязан к другому человеку»,— говорит он.

У него одно стремление — сделать карьеру, любыми средствами. Он начинает присматриваться к тайному студенческому обществу, критикующему деятельность правительства, посещает его собрания, но из осторожности не вступает в него. Он не уверен, тот ли это путь для достижения цели, которую он поставил перед собой.

Ссора с руководителями общества толкает героя в лагерь его бывших противников. Он связывает свою судьбу с не брезгующим ничем политиканом, депутатом парламента Савадой. Они нашли друг друга. Савада поможет ему сделать карьеру, а он поможет Саваде провести очередную избирательную кампанию и получить голоса молодежи. Герой романа выступает по радио и телевидению с сенсационным разоблачением деятельности общества, рассказывает о своем конфликте с ним, предавая тем самым своих товарищей. Теперь он, правда, вынужден покинуть университет, но это его не страшит. Ведь он заручился поддержкой «могущественного человека».

Совершая одно предательство за другим, используя любые средства, герой начинает подниматься по лестнице политической карьеры. Казалось бы, случайность — ссора с товарищами — привела его к новому моральному падению. Но, читая роман, видишь, что здесь нет никакой случайности. Чтобы прорасти, семена должны упасть на хорошо подготовленную почву. И, нужно сказать, Оэ, раскрывая внутренний мир своего героя, убедительно показывает, что почва действительно была хорошо подготовлена. Мы не знаем, да и не можем знать дальнейшей судьбы героя, «опоздавшего на войну», но твердо решившего теперь уже не опоздать и во что бы то ни стало урвать хоть кусочек от пирога власть имущих.

Роман кончается словами: «Я не герой, олицетворяющий человеческие страсти, я не выразитель идей своего поколения, я такой же, как вы». Что хотел сказать этим автор? Может быть, что предательство, духовная деградация стали обычным явлением среди японской молодежи? Или что это естественный путь для тех, кто избрал политическую карьеру? Нет, зная творчество писателя, можно смело утверждать, что он верит: в среде японской молодежи есть здоровые силы, верит, что она изберет иной путь. Однако, говорит Оэ, не забывайте недавнее прошлое, не забывайте, как в начале 30-х годов в Японии было разгромлено демократическое движение и был открыт путь милитаризму и фашизму, и духовные уроды, подобные тому, которого вывел я, одурманенные пропагандой, превратились в головорезов.

В. ГРИВНИН

Hugh MacDiarmid. The Collected Poems. New York, MacMillan, 1962.

ПОСТОЯНСТВО

Известный шотландский писатель Комптон Маккензи считает Хью Макдайармида самым вдумчивым и эмоциональным поэтом Шотландии после Бёрнса. О чем бы ни писал поэт — о своей ли «верности чертополоху» (эмблема Шотландии), о красоте ли родных краев, о страданиях ли бедного люда или о мировых событиях,— он всегда остается самим собой, человеком чистых побуждений, противником несправедливости.

Хью Макдайармид много сделал для возрождения народных традиций шотландской поэзии, для развития шотландского литературного языка. Он переложил на современный язык старых гэльских поэтов (Макинтайра, Макдональда и других). Немало строк самого Макдайармида посвящено истории родной страны, борьбе ее народа. Именно благодаря таким патриотам, как Макдайармид, Шотландия, потерявшая независимость два с половиной века назад, могла сберечь богатые национальные традиции.

Поэт в своих произведениях органично переплетает национальные устремления шотландцев с чаяниями других народов. Совесть всегда подсказывает ему, чье дело правое, он всегда на стороне угнетенных, взявшихся за оружие.

Шотландская сталь, закаленная в ирландском огне,—
Вот то оружие, которое нужно мне.

(«Оружие». 1930 г.)

Я пишу то на английском, то на шотландском,
К отчаянью моих друзей, которые все говорят
О постоянстве.
Иногда рождаются строки возвышенно-поэтические,
Берущие людей за сердце.
А то пишу я просто рубленую прозу... *

Этими строками завершается собрание стихов большого шотландского поэта Хью Макдайармида.

Сборник подводит итог сорокалетней работы Хью Макдайармида (псевдоним Кристофера М Грива), которому в прошлом году исполнилось семьдесят лет. При чтении стихов, написанных в разные годы, прежде всего обращаешь внимание именно на постоянство, постоянство мироощущения поэта.

* Здесь и дальше перевод Д. Жукова.

Символом борьбы за свободу были для Макдайармида социалистическая революция в России и ее вождь В. И. Ленин. В 1931 году поэт опубликовал сборник под названием «Первый гимн Ленину и другие стихи». Затем появляется сборник «Второй гимн Ленину и другие стихи» (1935). Он рассказывал о великом вожде, о его глубочайшем понимании психологии масс и законов исторического развития. В стихотворении «Не думайте, что я забыл...» Макдайармид бросает в лицо правящему классу гневные обвинения: нет конца преступлениям «почтенных и богобоязненных» людей, которые гноят в тюрьмах бойцов за свободу и расстреливают с самолетов беззащитные африканские племена.

Стихи «Еще одна эпитафия на могилу армии торгашей», «Рассуждения на металлургическом заводе», «В трущобах Глазго» посвящены тяжелой доле трудящихся, которых поэт призывает к активной борьбе за свои права. Во втором сборнике помещено стихотворение «Если бы я не был солдатом», очень похожее на агитационные стихи первых лет нашей революции. Вот начало этого стихотворения:

И сказал солдат:
— Кем бы я был, если б не был солдатом?
Вряд ли банкиром. Куда там!
Не был бы я ни богатым магнатом,
Ни бюрократом... Короче,
Быть мне, наверное, просто рабочим,
Рабски трудиться на тех, чей законный
разбой
Я прикрываю сегодня собой...

Революционность Макдайармида нередко сочетается со своеобразной религиозной символикой. Но Христос у него получается отнюдь не каноническим. Характерна в этом отношении сатира «За две тысячи лет», в которой есть такие строки:

Грехи священники прощают
Мошенникам любых мастей и рас,
Которые поют хвалу кресту, но заставляют
Нести его рабочий класс.

В тридцатые годы поэт написал немало стихов о героической борьбе испанского народа. В 1957 году в сборнике «Битва продолжается» он снова вернулся к испанской теме:

Испания! Интернациональная бригада!
И мне сейчас кажется
Как будто бы лишен я пожатья верных
рук.
. . . . . .
Мои глаза светились гордостью,
А руки переполняло ощущение любви.
Теперь они пусты... но ненадолго!

(«Война в Испании»)

В сборник вошли и произведения, написанные Макдайармидом в последнее время. И опять то же постоянство мировоззрения. Вера поэта в победу правого дела не угасла с годами. Он пристально следил за успехами советского народа и неизменно дружелюбно отзывался о нашей стране.

В эпиграмме, посвященной чересчур воинственным европейцам, успевшим забыть ужасы прошлой войны, поэт высмеивает «доводы» сторонников новой бойни:

Вы предлагаете воевать за спасение
цивилизации?
А вам до нее что за дело, не понимаю,
признаться!
Не лучше ль сперва дорасти до нее
попытаться.
А то не понятно, за что собираетесь
драться.

Хью Макдайармид, несмотря на преклонный возраст, полон творческих сил. Он верен своим идеалам. Об этом свидетельствует и большое стихотворение «Размышления в трущобе», созданное совсем недавно. В нем видны высокие устремления поэта, его любовь к людям труда.

Д. ЖУКОВ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Памфлеты и басни, поэмы и песни Демьяна Бедного, имя выдающегося поэта — трибуна революции, восьмидесятилетие со дня рождения которого ныне отмечается,— известны далеко за пределами нашей Родины. Произведения Демьяна Бедного переводились на многие языки, в том числе на английский, польский, французский, словацкий, болгарский, датский, венгерский, финский, чешский, румынский, немецкий. Его книги выходили за рубежом отдельными изданиями, его стихотворения печатались в различных антологиях и сборниках советской поэзии.

О творчестве Демьяна Бедного писали и пишут многие иностранные литературоведы и критики. Здесь мы помещаем отрывки из статей, опубликованных в зарубежной печати и посвященных Демьяну Бедному и его поэзии.

«Демьян Бедный — певец революции и социалистического строительства, беспощадный обличитель международной и внутренней реакции, отсталости и невежества,— пишет известный болгарский поэт Христо Радевски в журнале «Септември».— Поэзия Демьяна Бедного — многосторонняя по содержанию — по стилю и языку близка народу. Поэт с успехом использует традиции классической поэзии и фольклора. Его остроумные эпиграммы, басни и фельетоны моментально запоминались, они вошли в жизнь, как народные загадки и пословицы, его песни во время гражданской войны и первых пятилеток пели все. В то время поэт был настолько популярен, что некоторые критики выдвинули лозунг «одемьянения» советской поэзии. Этот лозунг, разумеется, был неправильным, но в нем было выражено желание, чтобы вся советская поэзия стала столь же близкой к жизни народа, как поэзия Демьяна Бедного».

«Пафос революции пронизывает стихи Д. Бедного,— отмечает видный румынский литератор В. Никорович в газете «Скынтейя».— Он пронизывает все его творчество, идет ли речь о его маршах, сочиненных для бойцов Красной Армии и звучавших, словно народные песни, на всех фронтах гражданской войны, о листовках, которые разбрасывались с самолетов над окопами белых, о стихах на злобу дня, о баснях, памфлетах, направленных против открытых врагов и против фальшивых «друзей» революции, об описании героев — строителей социализма — или о воспевании победы советских воинов над фашистскими ордами. Творчество поэта — обширная, патетическая и суровая фреска победоносной революции... Его неукротимая, волнующая поэзия, порожденная великим подвигом народных масс, стала достоянием всех последующих поколений поэтов, объединившихся под знаменем искусства социалистического реализма. Боевой дух революции, вдохновивший ее, ощущается, но должен стать еще более ощутимым и в творчестве румынских поэтов — не в результате механического копирования приемов и выражений, а благодаря тому живому внутреннему пламени, которое придает смысл жизни и искусству. Этот боевой дух должен вдохновить их в борьбе за создание новой поэзии социалистического реализма против тех «курганов гнилой литературы», которые стали символом загнивающего буржуазного мира».

В «Газета литерарэ» молодой румынский поэт Н. Стэнеску, откликаясь на сборник «Избранные стихи» Демьяна Бедного, вышедший в Румынии, пишет: «...Не внешняя сторона этики современности интересует его, а смысл ее, этическое отношение к конкретному событию. Лиризм его объясняется этим отношением, проявляющимся в различных формах. Поэзия Демьяна Бедного — образец того, как участие в сражениях, которые ведет партия, обогащает поэта разнообразными и глубокими художественными темами... Новаторство в творчестве Д. Бедного выступает как естественный процесс, как необходимость подчинить художественную форму новому содержанию... Демьян Бедный умер в 1945 году. Но благодаря исключительной актуальности своих творений он остается в памяти живым, интереснейшим писателем нашей эпохи».

Имя Демьяна Бедного известно немецкому читателю с 1925 года, когда вышел в переводе на немецкий язык первый сборник его поэзии «Избранные стихотворения». Его произведения неоднократно переводились и издавались также в последние годы.

Отмечая значение творчества писателя, рецензент лейпцигского журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель» пишет: «Демьян Бедный занимает в советской поэзии почетное место. Творчество его было и остается великолепным примером служения народу, примером непосредственной связи литературы с жизнью, с борьбой за осуществление великих целей революции».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ВЫСТАВКА ПРОГРЕССИВНОЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Лейпцигский «Бёрзенферейн» (ГДР), по соглашению с Австрийским союзом книготорговцев, организовал в Доме искусств в Вене выставку книжных изданий Германской Демократической Республики. На выставке, как сообщает печать, были представлены произведения современной и классической художественной литературы, детские книги, издания по искусству и библиографии. Позднее эта выставка была переведена в город Гарц.

ОСЕЧКА ЖУРНАЛА «БРАВО»

Еще три года назад пять педагогов из городка Вельс, близ Линца, потребовали от местных продавцов газет и книг не распространять бульварный журнал «Браво».

Издательство этого журнала затеяло против педагогов судебное дело, пытаясь обвинить их в «подрыве коммерческой деятельности» и, с позволения сказать, «репутации» журнала. Были наняты опытные адвокаты, которые в течение почти двух лет тянули судебный процесс, доказывая виновность педагогов. По сообщению газеты «Фолькстимме», адвокаты в конце концов были вынуждены капитулировать, не найдя аргументов для дальнейшего доказательства «вины» привлеченных к суду. Недавно верховный суд округа Линца отклонил иск журнала.

Пьесы Бертольта Брехта в течение долгого времени не ставились в Австрии. Поэтому постановка пьесы «Матушка Кураж и ее дети» в венском «Народном театре» явилась крупным событием австрийской театральной жизни. Эта пьеса включена в репертуар театра Линца. Таким образом, отмечает еженедельник «Ди андере цейтунг», «десятилетний бойкот Брехта в Австрии потерпел полное фиаско». На снимке: сцена из спектакля «Матушка Кураж и ее дети» в венском «Народном театре».

(Газета «Фолькстимме»)

АЛЖИР

Алжирский писатель Катеб Ясин еще в 1954 году опубликовал драму «Труп в круге», но во время войны, развязанной французскими колониалистами в Алжире, постановка этой пьесы была запрещена французской цензурой. Автор ее несколько переделал и дал новое название — «Дикарка». Недавно обновленная пьеса увидела свет рампы в парижском театре «Рекамье». По сообщениям печати, пьеса Катеба Ясина «Дикарка» (снимок одной из сцен которой в постановке театра «Рекамье» мы здесь печатаем) включается в репертуар и алжирских театров.

(Еженедельник «Юманите-диманш»)

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

В Алжире, как сообщает газета «Альже репюбликэн», создан первый национальный драматический театр. Директор нового театра Мустафа Катеб, выступая перед журналистами, заявил: «Если во время движения за освобождение страны театр был оружием борьбы с французскими колонизаторами, то теперь наш театр, массовый, национальный театр, будет отображать жизнь народа нового Алжира, критиковать имеющиеся недостатки, всемерно содействовать развитию культуры и просвещения».

АНГЛИЯ

РАЗДУМЬЯ АНГУСА УИЛСОНА

«Небезынтересно задуматься над тем, почему романы Грэхема Грина пользуются таким огромным успехом у массового читателя в Англии,— такой вопрос поднимает английский писатель Ангус Уилсон, опубликовавший в журнале «Лиснер» большую статью «О проблеме добра и зла в английском романе».— Можно ответить, что, во-первых, это следствие того, что Грин — блестящий рассказчик и у него всегда увлекательная фабула. Но одного этого было бы все же недостаточно. Мне кажется, самым главным является то обстоятельство, что он первым заговорил о «маленьком человеке», о «человечке в плаще», о «заблудившихся людях», о бродягах; многие из его героев — сломленные, несчастливые люди, неудачники. Весьма возможно, что больше народу, чем мы предполагаем, узнают самих себя в его героях. Познакомившись с книгами Грэхема Грина, английские читатели считают, что — быть может, впервые в жизни — они встретили человеческое понимание и положение их не столь безнадежно, как им казалось».

Английские писатели, по мнению Уилсона, традиционно придерживаются схематизации эмоций, поэтому в произведениях их больше говорится о том, что «правильно», а что «неправильно», чем о «подлинном добре» и «подлинном зле». Подобная концепция всегда раздражала Грина именно потому, что это схема. Уилсон приводит характерный диалог между Идой и Роуз — двумя действующими лицами романа Грина «Брайтонская скала». Ида, обращаясь к Роуз, говорит: «Я знаю одну вещь, которую ты не знаешь. Я знаю разницу между тем, что правильно и что неправильно. Этому тебя в школе не учили». Грэхем Грин замечает: «Роуз ничего не ответила, и она была совершенно права: оба эти слова ровно ничего не значили для нее. Их значение было сведено на нет куда более сильными понятиями — Добро и Зло...»

Рассуждения Ангуса Уилсона, несмотря на некоторую их спорность, представляют известный интерес.

Несомненно, интересны высказывания Уилсона, обращенные к английским писателям.

Ангус Уилсон считает, что в наше время приходится на многое смотреть иначе и тему Зла видеть не в личных качествах тех или иных героев, а в том «Зле, которое угрожает всему человечеству». «Даже о Гитлере,— пишет он,— в свое время кое-кто мог думать более или менее спокойно, как о некоем Зле, находящемся по ту сторону Ламанша, но рассуждать так в отношении водородной бомбы и угрозы термоядерной войны не приходится...»

Уилсон обращает внимание писателей своего поколения на главные проблемы современности, призывая видеть и показывать главную опасность.

ВОЙНА КИНОМОНОПОЛИЯМ

Многие ведущие работники английской кинопромышленности начали борьбу с двумя основными монополиями «АБС» и «Рэнк», в чьих руках концентрируется распространение и прокат фильмов.

Королевская шекспировская труппа поставила «Вишневый сад» А. П. Чехова. Роль Вари исполняет известная советскому зрителю по гастролям в СССР Дороти Тьютин. Видная актриса Пэгги Ашкрофт выступает в роли Раневской. На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Лиснер»)

Режиссеры, актеры, писатели и продюсеры, входящие в Федерацию британского киноискусства, заявляют, что практически вся их работа идет впустую, если «Большая двойка» не берет фильм в прокат. Владельцы кинотеатров накрепко привязаны или к «Рэнку» или к «АБС», и разговаривать с ними о прокате бессмысленно. Таким образом, судьба художественного произведения целиком зависит от сомнительных вкусов двух монополий, руководствующихся исключительно кассовыми соображениями.

«Обе эти монополии,— пишет корреспондент «Дейли уоркер»,— контролируют британское кино и влияют даже на тех, кто финансирует фильмы. Такое положение вещей связывает творческие порывы».

БОЛГАРИЯ

ЯЗЫК И СТИЛЬ

Недавно вышел из печати сборник «Язык и стиль болгарских писателей», изданный Академией наук НРБ. Этот объемистый том включает статьи и иссле-

дования о характерных особенностях языка и стиля болгарских писателей.

«Этот сборник,— говорится в предисловии,— первая книга (естественно, за ней появятся и другие), ставящая своей задачей дать читателю не только новые сведения об изучении языка и стиля художественного творчества, но и представление о существенных достижениях в этой области».

В сборнике два раздела — о художественном творчестве и о публицистике.

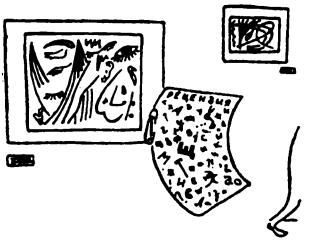
БОЛГАРИЯ В ПАРИЖЕ

С большим успехом была проведена в Париже выставка болгарского искусства, на которой экспонировалось более четырехсот произведений, созданных в течение трех тысячелетий. В числе экспонатов — Панагюриштское «золотое сокровище», пролежавшее в земле двадцать четыре века, фрески, серебряные маски, скульптуры, рукописи, иконы.

«Эта выставка — открытие для нас»,— говорят парижане. И действительно, большинство посетителей, как сообщает печать, впервые открывало древнее болгарское искусство.

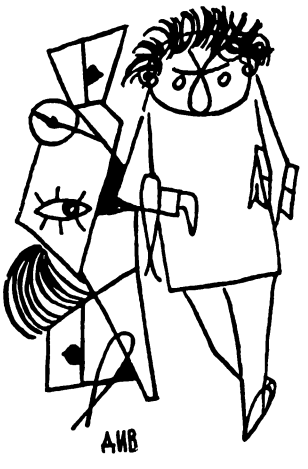
Абстрактная картина — абстрактная рецензия (карикатура художника И. Бабукова).

(Еженедельник «Народна култура»)



Жена модерниста (карикатура художника Д. Иванова).

(Еженедельник «Народна култура»)



ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

НА СЦЕНЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ

В репертуарах театров многих молодых африканских государств значительное место занимают национальные одноактные пьесы. По свидетельству еженедельника «Африк нувель», секрет успеха таких постановок — в их огромном эмоциональном воздействии на зрителей.

В Верхней Вольте особенно популярна столичная театральная труппа «Ньененга». Недавно на сцене Дома культуры молодежи в городе Бобо-Диуласо эта труппа поставила две написанные местными авторами одноактные пьесы «Дочь Вольты» и «Кровавое царствование Букана». Обе постановки, по сообщению «Африк нувель», имели огромный успех у зрителей. Особенно тепло была принята пьеса «Дочь Вольты»— глубоко патриотический спектакль, рассказывающий об истории молодого государства, о борьбе народа за свободу и независимость.

ВЬЕТНАМ

ЗА ФОЛЬКЛОРОМ

По инициативе Института литературы Демократической Республики Вьетнам в стране началась широкая кампания по сбору произведений устного народного творчества — легенд, пословиц, басен, песен.

Как сообщает ханойская печать, отличительная особенность этой кампании заключается в том, что наряду со специалистами в ней принимают активное участие народные массы, глубоко заинтересованные в том, чтобы сделать предметом изучения и сохранить для грядущих поколений бесценные сокровища устного творчества своих предков.

ГАНА

«ВСЕГО ХОРОШЕГО ВАМ, ЛЮДИ!»

Сьерра-леонская газета «Дейли мейл» опубликовала интервью ганского писателя Фрэнка Паркса по поводу его новой пьесы «Всего хорошего вам, люди!».

Пьеса весьма необычна по форме. В ней действуют не только люди, но и животные, временами говорящие человечьим языком, и даже... три архангела. По словам автора пьесы, ее основное содержание сводится к показу того, как «человек отбрасывает философскую концепцию бога и становится на позиции материализма».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КНИГА БЕХЕРА В СТРОЮ

Откликаясь на выход в свет сборника статей и высказываний Иоганнеса Бехера по вопросам литературы и искусства, рецензент газеты «Берлинер цейтунг» пишет:

«На многие вопросы Иоганнес Бехер дает ясные, партийные ответы. Книга эта вышла весьма своевременно. Она как бы участвует в обсуждении писателями Германской Демократической Республики проблем немецкой литературы в свете решений VI съезда Социалистической единой партии Германии».

Киностудия ДЕФА и молодая кинематография Кубы совместно ставят художественный фильм «Прелюдия 11» по сценарию Вольфганга Шрейера. Режиссер — Курт Метциг. Главную женскую роль играет студентка гаванского театрального училища, бывшая работница химической фабрики Аурора Депестре (на снимке). В картине участвуют кубинские и немецкие актеры, среди них Роберто Бланко, Гюнтер Зимон, Армин Мюллер-Шталь. Действие нового фильма развертывается накануне событий на Плайя-Хирон, в апреле 1961 года, когда американские империалисты пытались организовать вторжение на Кубу контрреволюционных банд. В фильм включены документальные кадры высадки на остров группы диверсантов.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

МОЛОДЫЕ О МОЛОДЫХ

Премии имени Эриха Вайнерта за 1963 год присуждены, по представлению Центрального Совета Союза свободной немецкой молодежи, двум молодым писателям — Гюнтеру Гёрлиху и Иоахиму Вольгемуту. Оба они пишут о молодых строителях нового общества.

Гюнтер Гёрлих уже известен читателям ГДР как талантливый автор повести «Черный Петер» и пьесы «Честолюбивые». В беседе с сотрудником еженедельника «Зонntаг» молодой лауреат рассказал о своих дальнейших планах. В настоящее время Гюнтер Гёрлих пишет повесть, в которой намерен вскрыть проблемы новой этики, морали молодежи.

Два романа принесли популярность Иоахиму Вольгемуту: «Приключения любопытного» и «Эгон и восьмое чудо света». Оба романа связаны между собой: во втором продолжается история героя первого романа. Как сообщает критик «Нейес Дейчланд», уже первый роман свидетельствовал о талантливости тогда еще неизвестного автора. Читатели с интересом ждали продолжения и, получив второе произведение Вольгемута, не обманулись в своих ожиданиях.

«ГЛАВА О НОВОЙ ЖИЗНИ»

Так рецензент газеты «Юнге вельт» называет радиопьесу «Иней» Бернгарда Зеегера, автора опубликованного в нашем журнале романа «Осенний дым». Новое произведение Зеегера говорит о росте, зрелости людей, борющихся за революционную перестройку деревни.

Трудно, очень трудно преодолеть мелкособственнические пережитки в сознании крестьянина. Некоторые молодые руководители пасуют перед трудностями, теряют веру в возможность социалистического преобразования деревни. И тут им на помощь приходят опытные кадры партии. Эту острую для сегодняшнего дня республики тему и избрал Бернгард Зеегер.

По мнению критики, Бернгард Зеегер удачно показал жизнь современной деревни ГДР.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПЛЕННИКИ ОДНОЙ КРЕПОСТИ

Писатель Генри Егер опубликовал свой первый роман «Крепость». Новый роман, по мнению рецензента газеты «Вельт», написан увлекательно, «добротно».

Крепость — это старое мрачное сооружение, где никто не станет задерживаться по своей воле. За двести пятьдесят лет существования она ни разу не подвергалась никаким атакам, ее никогда не защищали. Ее использовали не по прямому назначению: в ней обычно размещали то французских, то английских пленных, в последнее время в ней были заключены интернированные военные преступники, а теперь здесь прозябают шестьсот немцев, не имеющих крова...

Они работают, откладывают сбережения, растят детей. Некоторым удается в

По роману Бруно Апица «Голый среди волков» снят фильм на киностудии ДЕФА. Здесь помещен кадр из нового фильма.

(Газета «Дер морген»)

а одном благотворительном концерте в ФРГ известная киноактриса Марлен итрих спела новую песенку. езамысловатый мотив, прогой доходчивый текст: Скажи мне, где цветы? Где ни остались? Скажи мне, де могилы? Скажи мне, где олдаты? Где они остались?..» Публика уловила нтивоенный смысл песни, аставляющей о многом спомнить и задуматься. Ее одхватили и стали распеать повсюду. Это не на утку встревожило кое-кого боннских кругах. Марлен итрих была предложена олидная сумма за то, чтобы на отказалась исполнять у песенку и не стала запиывать ее на пластинку. ктриса отвергла это предожение, и тогда против арлен Дитрих ополчилась ся печать Западной Германии. Одна бульварная гамбургская газетенка назвала оведение Марлен Дитрих скандальным». Эту разузданную кампанию организовали те же люди, которые после войны обвиняли арлен Дитрих в «антиатриотичности» — еще бы, на отказалась сниматься в инокартинах, патронировавшихся геббельсовским инистерством пропаганды. демонстративно покинула ределы гитлеровского рей-а! Но Марлен Дитрих е замолчала. Вышла и аскупается пластинка с новой песенкой Марлен Дитих, ее голос звучит по адио: «Скажи мне, где веты? Где они остались? кажи мне, где могилы? кажи мне, где солдаты? де они остались?»

(Газета «Фольксштимме»)

одиночку или семьями выбраться из крепости, снять жилье в городе, даже отвоевать себе местечко в государстве «экономического чуда». Те же, кто остался в старой крепости, а большинство из них — люди, перенесшие жестокие удары судьбы,— пленники. Пленники не крепости, а жизни, окружающего их мира.

Рецензент «Вельт» считает, что Егер сумел показать образ жизни обездоленных людей Западной Германии.

КНИГА О ГАНСЕ ФАЛЛАДЕ

В серии выпускаемых гамбургским издательством «Ровольт» монографий вышел сборник, посвященный немецкому писателю-антифашисту Гансу Фалладе. Сборник, составленный Юргеном Мантеем, включает многие ранее неизвестные материалы и документы писателя, относящиеся к его жизненному пути и творчеству.

«Книга эта,— пишет критик еженедельника «Ди андере цейтунг»,— читается с большим интересом и глубоко потрясает... Обычно монографиям, выпускаемым издательством «Ровольт» ставится в вину, что в них слишком много внимания уделяется личной жизни, а не произведениям. Но в случае с Фалладой это было необходимо...» Рецензент отмечает, что эта книга делает для читателя более понятным творческий путь Фаллады.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ ЛИ?

В Мюнхене была устроена выставка, посвященная жизни и творчеству умершего два года назад в этом городе виднейшего немецкого писателя-гуманиста Леонгарда Франка.

Многочисленные издания книг писателя в разных странах и на разных языках, рукописи, а также письма, картины, фотографии из частного собрания вдовы Леонгарда Франка были представлены на выставке. И только одно упу

«Что с нами сделали» — так называется цикл гравюр штуттгартского художника Отто Геррмана. Этот цикл художник посвятил теме разгрома шестой гитлеровской армии в время исторической битвы на Волге. Здесь мы воспроизводим работу из этого цикла Отто Геррмана — «Остатки шестой армии». За свои выступления против милитаризма художнику запрещено выставлять свои произведения в Западной Германии.

(Газета «Националь-цейтунг»)

стили устроители выставки. Они совершенно «забыли», как сообщает печать, что Леонгард Франк был почетным доктором берлинского университета имени Гумбольдта, членом Академии искусств ГДР и что за его антифашистские и антимилитаристские произведения ему было присуждено звание лауреата Национальной премии Республики. Они забыли, что Леонгард Франк был другом Германской Демократической Республики.

Что это — забывчивость?

ФИЛЬМ «ДЕЛО «ШПИГЕЛЯ»

Киносценарист Карл Фридрих Баседов сделал заявку на создание художественного фильма «Дело «Шпигеля».

Как отмечает еженедельник «Ди андере цейтунг», в этом фильме будет показана реакция западногерманского населения на скандальную историю с журналом «Шпигель». Как известно, правящие круги попытались скомпрометировать оппозиционный журнал, обвинив в государственной измене его редакторов.

ГРЕЦИЯ

«УЛИЦА БЕЗДНЫ, ДОМ № 0»

Под таким названием в Афинах вышел новый роман греческого писателя Менелаоса Лудемиса, известного советскому читателю по двум его произведениям: «Тучи сгущаются» и «Мальчик считает звезды», переведенным на русский язык.

В центре последнего романа Лудемиса — образы борцов-коммунистов, место действия — один из самых страшных греческих лагерей, Макронисос. Герои Лудемиса мужественно проходят через все круги лагерного ада. Их идейная убежденность, душевная чистота и человеческое обаяние оказывают такое сильное воздействие на окружающих, что даже приставленный к ним охранник постепенно становится их единомышленником.

«Эта книга,— пишет рецензент газеты «Авги»,— порождена современной греческой трагедией, по сравнению с которой наши древние трагедии бледнеют, ибо действительность превзошла их».

ДАНИЯ

НОВЫЙ РОМАН ХАНСА ШЕРФИГА

...В ночь на 9 апреля 1940 года дежурному главного полицейского управления Копенгагена сообщили, что гитлеровцы перешли границу Дании. Дежурный позвонил своему непосредственному начальнику. Тот реагировал как-то странно. Тогда ошарашенный чиновник набрал номер самого шефа полиции и доложил о событии.

— Ну и что? — произнес шеф и положил трубку...

Этим эпизодом начинается новый, вышедший в издательстве «Гюльдендаль», роман Ханса Шерфига «Фрюденхольм», повествующий о годах фашистской оккупации Дании и о датском движении Сопротивления (об этом романе см. письмо Э. Даниэльсена «Что читают в Дании», опубликованное в «Иностранной литературе» № 4, 1963).

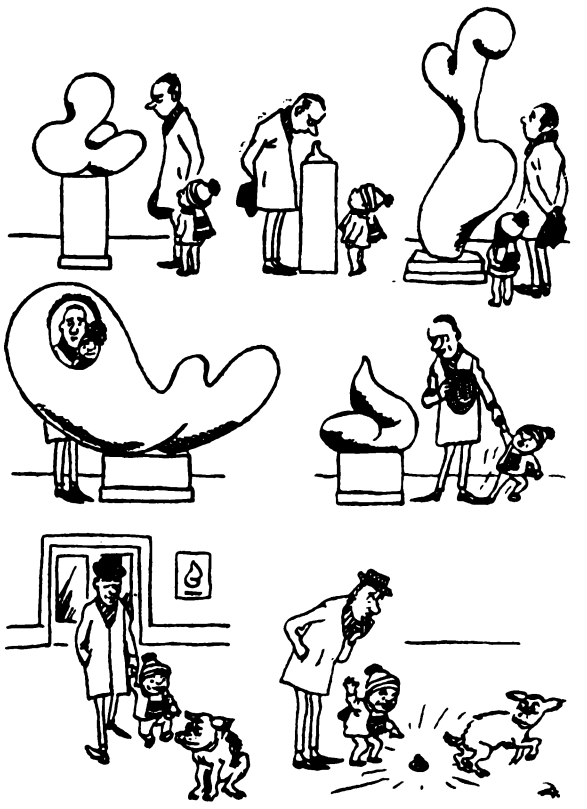
В рецензии, опубликованной в газете «Фрихетен», критик Ранди Хедделанд пишет, что Ханс Шерфиг беспощадно разоблачает в романе национальное предательство, совершенное правящими кругами Дании. Однако, по словам рецензента, «сила книги не только в этом... Есть в датском фольклоре сказочная фигура Хольгера Данске. Могучий богатырь спит вечным сном под замком Кронборг. Но в трудные времена, когда стране угрожает опасность, богатырь просыпается и поднимается во весь свой рост. «Фрюденхольм» — это не только повествование о героических буднях датского Сопротивления. Это рас-

Ханс Шерфиг.
(Газета «Фрихетен»)

сказ о Хольгере Данске — о народе, который просыпается, осознав мрачную действительность оккупации, о народе, который переходит к действию, увлекая слабых духом и колеблющихся».

Ранди Хедделанд считает новый роман Шерфига лучшей из написанных до сих пор книг о гитлеровской оккупации и движении Сопротивления в Дании. Как подчеркивает в заключение критик, этот роман предостерегает: «Ведь за южной границей Дании да и в самой стране еще есть люди, которые стремятся «вклю-

Рисунок Ханса Шерфига к его роману «Фрюденхольм».
(Газета «Фрихетен»)



История абстрактной скульптуры. Рисунок художника Херлуфа Бидструпа.

(Журнал «Бог-анмельдерн»)

чить» Данию и ее народ в «Великую Германию», хотя и под вывеской «европейской интеграции».

ИЗРАИЛЬ

ЮБИЛЕЙ Х. Н. БЯЛИКА

Израильская общественность отметила исполнившееся в этом году девяностолетие со дня рождения классика еврейской поэзии Хаима Нахмана Бялика.

Газета «Кол гаам» посвятила этой дате обширный материал, включающий стихи поэта, воспоминания о нем и критическую статью недавно умершей прогрессивной поэтессы Хаи Кадмон Бялик, говорится в статье, в своих лучших произведениях выступал обличителем капиталистического строя.

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» В ХАЙФЕ

Театр города Хайфы поставил пьесу Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг». Критика тепло отзывается о новой постановке театра, особо отмечая работу режиссера-постановщика и талантливую игру актеров.

ИРАК

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПИСАТЕЛЕЙ

Черный террор, развязанный иракской реакцией против демократических сил страны, не пощадил и иракских прогрессивных писателей. Многие писатели брошены в застенки, о судьбе других ничего не известно.

Новые иракские правители, как сообщает иностранная печать, объявили о конфискации имущества двух крупнейших поэтов Ирака: Мухаммеда Махди аль-Джавахири, который до переворота был председателем Союза иракских писателей, и Мухаммеда Салиха Бахр аль-Улюма. Джавахири снова, как и в годы монархического режима, находится в изгнании. Народный поэт Бахр аль-Улюм, проведший свыше двадцати лет в застенках Нури Саида, по имеющимся сообщениям, опять томится в заключении.

СМЕРТЬ КУРАНА

Журнал «Аль Мусаккаф» сообщает о смерти выдающегося курдского поэта Курана, пользовавшегося большой популярностью в Ираке.

ИРЛАНДИЯ

ТЕАТР ЮНЫХ

В Белфасте создан молодежный театральный коллектив «Юность». Этот коллектив, по сообщению газеты «Айриш пресс», намерен ставить произведения национальной ирландской драматургии.

Режиссер и исполнительница главных ролей — семнадцатилетняя Рома Томелти, дочь видного актера Джозефа Томелти. Остальным актерам — от 17 до 20 лет.

ИТАЛИЯ

«АНТИЛЕОПАРД»

Леонардо Шаша, автор многих повестей и очерков из жизни современной Сицилии (его повесть «Сова появляется днем» была опубликована в нашем журнале), неожиданно для критики и читателей выступил с большим историческим романом, который многие сравнивают с известным советскому читателю романом «Леопард» Томази ди Лам-

педузы. Так же как и «Леопард», роман Шаша посвящен прошлому Сицилии, хотя показывает его по-другому. Озаглавлен роман «Египетский совет» — так называлась политическая фальшивка, изготовленная в конце XVIII века в Палермо неким аббатом Велла с целью доказать «исконные права» сицилийских латифундистов на их земельные владения.

Писатель рисует жизнь «высшего общества» сицилийской столицы того времени—просвещенного, высокообразованного, жадно впитывающего идеи, идущие из революционной Франции, и раздираемого политической борьбой. В центре повествования — заговор сицилийских якобинцев, возглавлявшийся адвокатом Ди Блази. Тщательно и любовно выписанный образ этого революционера, как отмечает критика,— прямая противоположность герою «Леопарда» — старому князю Салине, тоже просвещенному, но примирившемуся с фатальной обреченностью своего класса, и является как бы ответом Шаша на роман Томази ди Лампедузы, написанный с позиций аристократа. Поэтому роман Шаша, проповедующий активное отношение к историческому процессу, а не созерцательно - пассивное, в римских литературных кругах называют «Антилеопардом».

На проведенном в Риме издательством Эйнауди обсуждении «Египетского совета» выступили ученый-арабист Франческо Габриэлли и писатель Итало Кальвино, отметившие высокие достоинства романа как художественного произведения и как исторического документа.

ПОСЛЕ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»

Итальянская печать уделяет много внимания фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной». Это странное название было придумано как временное в период съемок фильма, которые Феллини вел в строгой тайне, ревниво скрывая содержание своего нового произведения. Однако, когда фильм был закончен, постановщик решил оставить название (порядковый номер созданных им картин), так как сюжет фильма столь аморфен, что, видимо, вообще трудно подыскать соответствующее название.

Фильм носит в значительной мере автобиографический характер. Герой его — Гвидо Ансельми — также кинорежиссер, ему тоже 43 года (роль его играет Марчелло Мастроянни). Произведение построено в двух планах. Действие развертывается на фоне чуть старомодного итальянского курорта, где отдыхает, набираясь сил для новой кинокартины, знаменитый кинорежиссер. В его планах фильм, герои которого спасаются от атомной войны на космической ракете,— а дальше... Его постоянно отрывают, не давая ему сосредоточиться, преследуют своими советами и просьбами продюсер, литературные консультанты, журналисты, поклонницы. Режиссер с ужасом убеждается, что все его попытки создать что-то новое тщетны, тем более что все усугубляет душевный разлад... Это вполне реальный план повествования, однако течение фильма перебивается сюрреалистическими видениями, смутными образами прошлого, картинами, которые рисует нравственно измученному художнику его воображение.

Отзывы критики на это очень сложное произведение, патетическое и вместе с тем сатирико-ироническое, проникнутое не всегда ясной символикой, весьма разноречивы. Альберто Моравиа дал ему высокую оценку.

«Все старо в «Восьми с половиной»,— пишет в еженедельнике «Вие нуове» А. Тромбадори,— и на это «старое» режиссер взирает не с ненавистью, а, наоборот, иногда даже так, словно им очарован и не в силах с ним распроститься. Но «старое» — говорит зрителю фильм — больше не может питать, оно не помогает жить и постигать окружающее».

КИТАЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ МАО ДУНЯ

Новый труд Мао Дуня «История и исторические пьесы» затрагивает проблемы, связанные с появлением в последние годы большого числа пьес из истории героической борьбы китайского народа. Многие театры страны ставят пьесы на исторические темы.

Исследование Мао Дуня, пишет журнал «Вэньи бао», знакомит читателя с богатым опытом и давнишней традицией в создании пьес на исторические темы. Автор поднимает многие теоретические вопросы, в том числе о соответствии художественного вымысла историческим фактам, о языке исторических пьес.

КОСТА-РИКА

ЗА СВОБОДУ ПЕЧАТИ

Коста-риканская Ассоциация авторов и издательство «Коста-Рика» объявили общенациональный конкурс на лучшее литературное произведение и произведение искусства 1963 года.

Поскольку в стране существуют ограничения свободы печати, группа видных прогрессивных коста-риканских писателей и журналистов обратилась через редакцию газеты «Либертад» к руководителям Ассоциации и издательства с открытым письмом, в котором указывает на трудности участия в подобном конкурсе.

Авторы письма приветствуют инициативу Ассоциации и издательства — организаций, в которые входят деятели культуры, известные своими либеральными взглядами. В целях обеспечения успеха конкурса и доступа к нему всех без исключения авторов, подчеркивают авторы письма, следует добиться отмены ограничений, в силу которых в Коста-Рике запрещены «издание, ввоз, продажа, экспо-

нирование и распространение брошюр, журналов, книг или других письменных произведений, напечатанных или ненапечатанных, а также графики, скульптур или гравюр, которые выражают коммунистическую идеологию или тенденцию».

Письмо подписали поэт Карлос Луис Саэнс, прозаик Карлос Луис Фальяс—автор известных советскому читателю книг «Мамита Юнай» и «Маркос Рамирес», поэт и романист Фабиан Доблес, лауреат литературных конкурсов, журналист и социолог Франсиско Гамбоа, романист Адольфо Эррера Гарсиа.

КУБА

БЕСЕДУЯ С НИКОЛАСОМ ГИЛЬЕНОМ

Французский литератор Клод Куффон недавно побывал в Гаване, где встретился с Николасом Гильеном. В беседе с Куффоном кубинский поэт, ныне занимающий пост председателя Союза писателей и деятелей искусств Кубы, сообщил:

— Союз писателей и деятелей искусств стремится поддерживать постоянный контакт с народом. Когда над нашим островом нависла угроза, писатели и художники создали общую «мастерскую». В то время как поэты писали боевые песни, художники рисовали плакаты. Они совместно выпускали в этот период газету «Тальер». Группы певцов, инструменталистов и актеров выступали перед готовыми к бою солдатами, чтобы развлечь и ободрить их. Происходило это в траншеях, вырытых в разных уголках острова. Для всех нас это была проба сил...

Николас Гильен посвящает себя не только поэзии, но и журналистике. В прошлом году вышел сборник его документальных очерков «Проза на скорую руку». Сейчас он готовит сборник стихов, написанных в последние годы. В его планах — собрание сочинений и автобиографический очерк.

— Когда я это сделаю? Не знаю. Борьба с империализмом требует многих жертв.

— Изменилось ли твое творчество по возвращении на Кубу? — спросил Клод Куффон.

— Значительно,— ответил Гильен.— Моя поэзия до победы Революции воспевала надежду. Теперь она воспевает действительность, ее революционную сущность. Нам предстоит защищать Революцию от внешних врагов и укреплять ее внутри страны. Я стремлюсь к этому, когда пишу свои стихи...

— К каким поэтическим формам ты больше всего прибегаешь?

— Я не отказался от музыкальной формы, основанной на народном ритме. Но мой нынешний язык более прямолинеен. Я не хочу, само собой разумеется, прибегать к торжественным речам или прозаизмам. Я не отказался от звукописи, например. Нередко обращаюсь к разным поэтическим формам — таким как баллада, народная песня, сатирическая эпиграмма. Меньше пользуюсь свободным стихом.

— А элегии?

— Уже давно я начал две элегии, но они еще не закончены. Одна из них посвящена Камило Сьенфуэгосу, герою нашей Революции, а другая — юному борцу за просвещение Конрадо Бенитесу, подло убитому контрреволюционерами...

МОНГОЛИЯ

Лауреаты Ч. Лхамсурен, Д. Намдаг и Ч. Чимид.
(Газета «Утга зохиол»)

ПИСАТЕЛИ-ЛАУРЕАТЫ

В монгольской печати появилось много материалов о творчестве лауреатов Государственных премий за 1962 год (см. «Иностранную литературу» № 4, 1963).

Прозаик Доноровын Намдаг — один из старейших писателей Монголии. Еще в 30-х годах на сценах театров страны шли многие его пьесы, в том числе «Новый путь», «Жизнь и ее цена», «Борьба». Им написано четырнадцать пьес, получивших широкое признание народа. Он — автор рассказов и очерков. Большим вкладом в развитие монгольской литературы явился его роман «Бурное время», за который ему присуждена Государственная премия 1962 года.

Журнал «Цог» пишет, что этот роман пленяет искренностью, высокими художественными достоинствами. Произведение повествует о прошлом Монголии, о народной революции, автор не только описывает события революционного периода, но и раскрывает внутренний мир героев.

Поэт Чойжолжавын Лхамсурен — видный представитель современной монгольской поэзии. Очень популярны его песни для детей. Пожалуй, нет в Монголии человека, который не слышал бы его песен «Детская радость», «Мама, пойди сюда», «Девушка с цветком», «Одинокие сани». За сборник «Песни для детей» и поэму «Гнедой конь» он удо-

стоен почетного звания лауреата Государственной премии. В своих произведениях Лхамсурен воспевает героический труд строителей социализма в МНР. Читатели любят его талантливо написанные поэмы — «Мать», «Крылья», «Капитан».

Первый сборник стихов Чойжолына Чимида появился в 1947 году. С тех пор он плодотворно работает в поэзии, прозе, драматургии, над переводами художественных произведений. Им, в частности, переведены «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Владимир Ильич Ленин» В. В. Маяковского, «Отелло» В. Шекспира. Он был соавтором сценариев, по которым поставлены фильмы «Пробуждение» и «У порога». Его роман «Весна—осень» широко известен в стране. Пьеса Чимида «На пороге», отмеченная Государственной премией, является его лучшим произведением. В пьесе показаны молодые строители социализма и их труд по освоению целинных земель в Монгольской Народной Республике.

НИГЕРИЯ

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» В ЛАГОСЕ

В столице Нигерии Лагосе, как сообщает газета «Уэст африкен пайлот», с успехом прошел международный кинофестиваль.

Среди картин, показанных во время фестиваля, был и фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате».

«Этот замечательный русский фильм,— пишет рецензент газеты,— настолько потряс меня, что я смотрел его два раза подряд».

«ЕЩЕ БУДУ СМЕЯТЬСЯ...»

Нигерийское издательство «Найджириэн нейшнл пресс» выпустило в свет сборник стихов молодой поэтессы Дельфины Кинг «Мечты в сумерках».

Со страниц книги, включающей 65 стихотворений, перед читателем встает образ юной девушки, влюбленной в жизнь. Все несправедливое и горькое, с чем столкнулась на своем жизненном пути героиня книги, не убило в ее сердце веру в грядущее счастье:

Я снова с уверенностью
смотрю в жизнь,
Я твердо знаю, что еще
буду смеяться...—

говорит в одном из стихотворений поэтессы ее героиня.

ПОЛЬША

В ОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Имя Юлиана Кавалеца стало известно в польской литературе с 1957 года, когда он дебютировал книгой «Тропинки среди улиц». За рассказ о детях «После войны» Кавалец был удостоен премии Союза польских писателей и Польского комитета сторонников мира. Недавно он выпустил сборник рассказов о деревне «Сваленный вяз».

Новая повесть Юлиана Кавалеца носит название «Приписанный к земле» и рассказывает о тех переменах, которые произошли в жизни польской деревни на протяжении полувека. Прошлое и настоящее польской деревни показано автором путем рассказа об истории двух убийств, совершенных крестьянином Войцехом Трепой. Повесть построена в виде монолога прокурора, который знакомится с делом Трепы и который, как и обвиняемый, родился и вырос в деревне. Прокурор тщательно анализирует обстоятельства дела, сравнивает судьбу обвиняемого со своей собственной. И становится ясно, что в первом преступлении Войцеха повинны социальные условия буржуазно-помещичьей Польши тридцатых годов. Убийство происходит, по сути дела, из-за одного морга земли, который малоземельный отец не хотел и не мог дать в приданое Катажине, сестре Войцеха. А Катажина ждала ребенка от Кароля Котули, своего жениха. Войцех мстит за обиду сестры, убивает Кароля.

При народной власти исчезли условия, порождавшие преступления из-за клочка земли. После войны у Войцеха Трепы — семь моргов земли, хороший каменный дом. Второе убийство, совершенное Войцехом Трепой, вызвано боязнью, что его односельчанин может догадаться о первом, нераскрытом преступлении...

В этой повести, как и в ранее публиковавшихся рассказах, Кавалец показал себя мастером лаконичной, ясной прозы, богато насыщенной элементами народного языка. Вацлав Садковский пишет в еженедельнике «Нова культура»: «Повесть свидетельствует о таланте высокого класса». Критика отмечает актуальность повести «Приписанный к земле» и высокое мастерство автора, получившего за эту книгу вторую премию (первая не присуждалась) на Межиздательском конкурсе 1962 года в Польше.

ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕВОДЫ БРОНЕВСКОГО

Еженедельник «Политика» опубликовал несколько песен из «Матушки Кураж» Бертольта Брехта в переводах недавно умершего поэта Владислава Броневского. Песни из «Матушки Кураж» — последняя работа Броневского из цикла так называемых «поэтических дружб» и «театральных дружб», начало которым положили переводы песен к «Трехгрошовой опере».

Броневского связывали с театром прочные творческие узы. Ему принадлежит неоконченная пьеса о выдающемся польском революционере Людвике Варынском — «Пролетариат». В 1925—1931 г. г. Броневский руководил Рабочей театральной студией. «Это не был, собственно, театр в полном смысле слова,— вспоминал сам поэт,— а скорее небольшая политическая эстрада с хоровым пением и декламацией».

Владислав Броневский приступил к переводу песен из «Матушки Кураж» в октябре 1961 года и уже не смог довести эту работу до конца.

РУМЫНИЯ

ПИСАТЕЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературный стаж Титуса Поповича исчисляется не десятилетиями. Он дебютировал книгой рассказов, написанных совместно с Франциском Мунтяну в 1950 году. За эти годы Поповичем созданы романы, переведенные на многие языки; известны его пьесы, сценарии. Недавно он выпустил книгу репортажей «Куба — свободная территория Америки».

Писатель, кандидатура которого выдвинута на соискание Государственной премии за роман «Жажда» (под названием «Земля» опубликован в «Иностранной литературе» № 11 — 12, 1958), высказался на страницах еженедельника «Лучафэрул» по ряду вопросов литературной жизни страны.

«Отражение социалистического мира «изнутри»,— заявил Титус Попович,— является наиболее острым требованием для румынского прозаика. Мы покончили с периодом «сближения». Социалистические отношения окончательно победили в стране, и они конкретно определяют образ мыслей и действия людей».

Писатель особо говорит о взаимной связи между литературой и всеми остальными жанрами искусства: «Если кино заставляет литературу быть краткой и лаконичной, то последняя обязывает и другие жанры углубиться в психологический мир человека, отказаться от схематизма».

Говоря о взаимосвязи таланта и культуры, Титус Попович подчеркивает, что писателю необходимо уметь видеть, осознавать действительность — даже то, что незаметно для других,— чтобы люди лучше узнавали себя. Талантливому

Титус Попович.
(Еженедельник «Лучафэрул»)

писателю, лишенному культуры, это может и удасться в одной или в двух книгах, но все же его радиус охвата жизни останется ограниченным во времени. Иные требования предъявляются к писателю теперь, когда главное в его труде — это способность к глубоким обобщениям, к неустанному анализу культурных достижений человечества. Более того, он должен исследовать духовный мир нового человека, энергия которого была раскрепощена Революцией, человека-творца.

ПРЕМИИ АКАДЕМИИ НАУК

Академия наук Румынской Народной Республики, как сообщает еженедельник «Контемпоранул», недавно присудила премии за 1960 и 1961 годы.

Премиями отмечены авторы произведений 1960 года: молодой прозаик Николае Веля — за сборник рассказов «Ворота» (премия имени Иона Крянгэ), драматург Александру Миродан — за пьесу «Знаменитый 702» (премия имени Иона Луки Караджале), Мико Эрвин — за книгу «Штурм страны камышей» (премия имени Александру Сахини) и художница Флорика Кордэску — за графические работы (премия имени Иона Андрееску).

За 1961 год премии присуждены: прозаику Раду Тудорану — за роман «Разлившийся Дунай» (премия имени Иона Крянгэ), поэту Тиберию Утану — за сборник стихов (премия имени Г. Кошбука), очеркисту Василе Никоровичу — за книгу «Великая нефтяная дуга» (премия имени Александру Сахини) и художнику Брэдуцу Ковалиу (премия имени Иона Андрееску).

ЗАПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Прошедший недавно месячник книги привлек пристальное внимание литературной общественности РНР.

Еженедельник «Газета литерарэ» посвятил месячнику несколько полос под общей шапкой «Книги в деревне и деревня в книге».

Беседуя с известным поэтом Тудором Аргези, корреспондент еженедельника рассказал ему о следующем: в одном из сел Добруджи он обнаружил на столе старого крестьянина, недавно осилившего грамоту, сборник стихотворений Аргези «Песнь человеку». Старик признался, что в стихах, которые он читает по слогам, он видит как бы летопись собственной жизни: «Это будто мой путь к свету».

В связи с этим Тудор Аргези заметил: «Настало время, когда красота жизни сочетается с красотой поэзии. Но первая намного превосходит вторую... Я уже как-то говорил, что поэзия стала союзницей молота и мастерка, что истинными поэтами нашего времени стали слесари, каменщики, инженеры и архитекторы, а поэзия «чернил и бумаги» послушно подчиняется этим мастерам красоты».

Именно эти «мастера красоты» выступают на страницах еженедельника со своими советами и требованиями, обращенными к любимым писателям. «Нужен роман о вкладе интеллигенции в социалистическое преобразование деревни. По-моему, лучше всех написал бы такой роман академик Дж. Кэлинеску», — пишет директор сельского клуба. «Не собирается ли товарищ П. Винтилэ написать небольшую

книгу о современной жизни сельской молодежи?»—спрашивает другой директор клуба. «Хотелось бы, чтобы поэт Ион Брад выступил с книгой стихов о любви и дружбе в условиях новой деревни»,— говорится в письме. Учителя, бригадиры тракторных бригад, библиотекари хотят знать, не собирается ли Михай Бенюк написать новую пьесу о селе и собрать воедино все стихотворения, посвященные селу, не напишет ли Н. Тэуту одноактную пьесу о передовой труженице села.

Тут же помещены ответы литераторов, свидетельствующие о единодушии читателей и художников пера. Михай Бенюк пишет новую пьесу о деревне, в которой завершена коллективизация, и собирается приступить к созданию антологии поэзии на деревенские темы. Ион Брад пишет книгу, посвященную проблемам любви и дружбы в селе —правда, это не сборник стихов, а короткий роман. Тэуту уже заканчивает работу над одноактной пьесой. Винтилэ сдал издательству рукопись небольшого романа из жизни молодежи добруджанского коллективного хозяйства.

ФИЛЬМ О НАРОДНОМ ГЕРОЕ

В Крайове — городе, где снимались многие сцены нового двухсерийного художественного фильма «Тудор»,— произошел любопытный случай: в гостиницу, где жили участники съемки, как сообщает еженедельник «Коптемпоранул», явился старый крестьянин. В его котомке был круг румынской «каша» (брынзы) и бутыль с цуйкой. Это были домашние подарки «для Тудора» — актера Эманоила Петруца, исполнителя роли народного героя.

Пять тысяч крестьян участвовало в массовых съемках фильма о вожде национального восстания 1821 года, направленного против румынских феодалов и турецкого владычества (сценарист Михня Георгиу, режиссер Лучиан Брату).

Имя национального героя Румынии Тудора Владимиреску известно советским людям, которые помнят, что оно было присвоено первой румынской добровольческой дивизии, сформированной в годы войны на территории СССР и боровшейся вместе с Советской Армией против фашистских орд.

США

СЭЛИНДЖЕР И ГЛАССЫ

Американская печать встречает каждую новую книгу Джерома Дэйвида Сэлинджера как немаловажное событие в литературном мире. После огромного успеха его романа «Над пропастью во ржи» (опубликован в «Иностранной литературе» №11, 1960) и шума в США вокруг его повести «Фрэнни и Зуи» следует ожидать, пишет обозреватель журнала «Сатэрдей ревью», что и новое его произведение будет положительно принято читателями, высоко ценящими талант писателя. В недавно опубликованную книгу Дж. Д. Сэлинджера включены две большие новеллы: «Плотники, поднимите выше балки крыши» и «Сэймур. Позвольте вам его представить», посвященные, как и «Фрэнни и Зуи», семейству Глассов. Сэлинджер, по сообщениям печати, уже давно задумал серию книг об этих своих излюбленных персонажах.

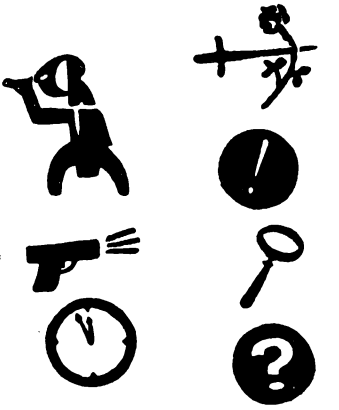
Впервые в творчестве Сэлинджера семейство Глассов появилось в одном из рассказов, опубликованных в 1948 году. Кульминационным пунктом этого рассказа было самоубийство Сэймура Гласса. Другой рассказ, также относящийся к 1948 году, познакомил читателей с невестой одного из братьев Сэймура, погибшего во время несчастного случая в Японии. Героиня рассказа, написанного в следующем году,— одна из сестер Сэймура. Таким образом, если подвести итог тому, что появилось о семействе Глассов, то вместе с новой книгой получится уже шесть посвященных им произведений. По словам писателя, в его планах — новые произведения о семействе Глассов.

В последней книге повествование ведется от лица преподавателя колледжа и писателя Бэдди Гласса, олицетворяющего, по-видимому, самого Сэлинджера. «В обо-

---

Книги о преступлениях, убийствах, кровавые приключения, детективы, где реки крови, десятки жертв и еще больше тайн,— таково чтиво, которое, как сообщает «Клуб книг о преступности» («Крайм клаб»), процветает в США и приносит огромные прибыли издателям. Книги об убийствах и преступлениях теперь для привлечения взгляда покупателя снабжаются маркой «Крайм клаб», изображающей гангстера с автоматом в руке — трудно, пожалуй, придумать более выразительный символ культурного уровня тех, кто распространяет и издает подобную литературу! Для того, чтобы еще облегчить потенциальному читателю и покупателю выбор наиболее излюбленного им сорта литературы (в рамках продукции «Крайм клаб») издатели придумали воспроизводимые здесь дополнительные условные знаки: стреляющий пистолет — это значит, что данная книга полна приключений и убийств; часы — свидетельство того, что читателя будут держать в состоянии напряжения и неизвестности; роза, пронзенная кинжалом,— в книге выведена девица, попавшая в затруднительное положение; восклицательный знак — в книге неожиданная развязка; лупа — символ того, что герой книги — известный детектив; вопросительный знак обещает читателю совершенно неразрешимые и таинственные загадки...

(Газета «Чикаго дейли ньюс»)



их рассказах,— пишет обозреватель «Сатэрдей ревью», — Сэлинджер снова демонстрирует высокое мастерство диалога и свойственный ему юмор». Странности и чудачества, грусть и веселье, разочарованность в жизни, цинизм и внимание к человеку противоречиво сочетаются у беспокойных членов облюбованного Сэлинджером семейства Глассов. Поскольку писатель сам заявил, что он еще не сказал последнего слова об этих своих героях, молодых американцах 60-х годов, то критики пока воздерживаются от каких-либо выводов.

Волонтеры интернациональных бригад в Испании. Кадр из фильма Фредерика Россифа «Умереть в Мадриде».
(Газета «Либерасьон»)

ФРАНЦИЯ

В УГОДУ ФРАНКО

Французские власти приняли решение задержать выпуск на экраны фильма Фредерика Россифа «Умереть в Мадриде». Как сообщает газета «Либерасьон», этот фильм воскрешает эпизоды войны в Испании, закончившейся столь трагически для испанского народа.

Вначале цензура, вырезав некоторые кадры, дала разрешение на демонстрацию этого фильма, и министр информации согласился с этим решением. Но как только вмешалось франкистское посольство, министерство иностранных дел Франции потребовало пока не выпускать фильм.

«Раз правительство де Голля поддерживает такие теплые отношения с франкистским режимом и французские министры ездят в Мадрид, чтобы договориться о выдаче какого-то оасовца в обмен на бог знает какие меры против испанских республиканцев, — пишет газета «Либерасьон»,— трудно себе представить, чтобы испанское посольство согласилось потом на то, что не устраивает его сегодня. Но не это важно. Главное заключается в том, что французскому правительству мало запретов, налагаемых цензурой на радио- и телепередачи, оно еще хочет во имя бесчестящих его дипломатических соображений лишить французов возможности увидеть исторический фильм. Ведь в фильме речь идет об исторических фактах, которые кое-кто хотел бы вытравить из памяти народа. Не правда ли, господин Андре Мальро?»

Режиссер фильма Фредерик Россиф, как известно, в связи с 20-й годовщиной победы Советской Армии в исторической битве на Волге получил для французского телевидения интервью Н. С. Хрущева и Р. Я. Малиновского. Передача этих интервью была запрещена французскими властями в угоду Бонну. Теперь французские власти расшаркиваются перед Франко.

СИМЕНОН У КОНВЕЙЕРА

По случаю 60-летия Жоржа Сименона еженедельник «Фигаро литтерер» опубликовал интервью юбиляра, которое он дал писателю Жану Ко.

Свой первый роман Жорж Сименон создал, когда ему было шестнадцать лет. За сорок четыре года литературного творчества он написал 400 романов, которые были изданы в разных странах мира. Отдельные его романы были опубликованы и в СССР.

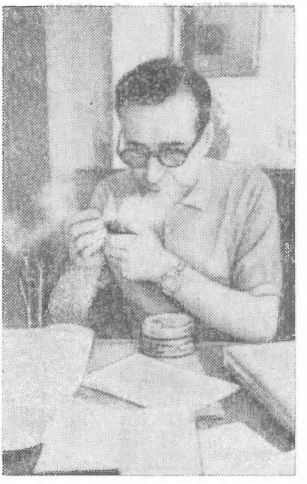
Жан Ко шутливо называет семью Сименонов заводом, который работает на полную мощность; президентом этого «предприятия» является Жорж Сименон, а генеральной директрисой и главным инженером — его жена Дениза Сименон: она принимает издателей и переводчиков, просматривает переводы и заключает договоры, полностью освобождая время мужа для творчества. Кроме того, как замечает Жан Ко, она чистит и полирует 70 или 80 трубок мужа, не доверяя никому эту работу, тоже имеющую отношение к его писательской деятельности: когда Сименон пишет роман, он ежедневно прокусывает и ломает одну или две трубки.

«Завод» Сименонов, где царит «беспощадный порядок», сообщает Жан Ко, располагает машинами для снятия копий (Сименон посылает издателям только фотокопии своих рукописей) и для производства особых тетрадей, в которых писатель делает наброски для своих романов.

Как работает Жорж Сименон? Он говорит: «Я пишу роман в течение восьми или девяти дней, по главе в день... Сначала в голове возникает какая-то смутная идея. Иногда это не идея, а воспоминание о месте, ощущение цвета или запаха. Я набрасываю восемь или девять обрывков фраз на конверте. Моя жена по опреде-

ленным признакам — по тому, как я смотрю, молчу, курю,— понимает, что я «вхожу в роман», хотя часто я еще не осознаю этого. Она предупреждает всех в доме: внимание, скоро патрон «войдет в роман». Она срочно обсуждает со мной какие-нибудь неотложные дела, так как знает, что когда я «войду в роман», это значит, что в течение девяти дней меня нельзя будет отвлекать от работы. Если меня прерывают во время работы, я уничтожаю все, это пропавший роман. Моя жена заботится о том, чтобы этого не случилось... Я работаю так: после полудня, от 16 до 19.30, я пишу главу — от руки, карандашом. На следующее утро, от 6.30 до 9.30, я отпечатываю окончательный вариант на машинке, выбрасывая «красивые фразы», прилагательные и все, что мне кажется «литературщиной». Перед всем этим я испытываю священный ужас. Я хочу, чтобы оставалось только необходимое, чтобы не было «жира», чтобы фраза была целиком на службе сюжета. Никакого блеска, мой стиль бесцветен; я посвятил годы и годы тому, чтобы стиль мой стал бесцветным и не имел блеска.

Самое меньшее за семь дней и самое большее за девять дней роман окончен. Чем вызван такой срок? Потому что иначе я не смог бы выдержать. Мои персонажи испарились бы, ускользнули между пальцами. Роман для меня — это лихорадка... Я пишу для того, чтобы его прочли сразу, не отрываясь, поэтому и написан он должен быть одним дыханием. Я никогда не составляю плана — и не знаю, как пойдет роман на следующий день. Первые две главы требуют усиленной работы: я продвигаю роман вперед. Затем приходят три главы, которые пишутся сами собой. Между 100-й и 120-й страницей передо мной встает необходимость сделать выбор, от которого будет зависеть весь ход романа. Я выбираю. Когда этот момент прошел, роман вновь движется — до трех последних страниц, иногда до последней страницы, даже до последней фразы... В романе, который я только что закончил — «Кольца Бисетра»,— я перешел рубеж. В этом романе... 500 страниц, и он потребовал от меня двух месяцев работы. Это почти единственный длинный роман, который я написал».



Жорж Сименон.
(Еженедельник «Фигаро литтерер»)

Напомнив Сименону о том, что обычно писатель с трудом создает один роман за два или три года, Жан Ко просит его объяснить причины столь быстрой и плодотворной работы.

— Я пишу быстро, не правда ли? — сказал Сименон.— Возьмем моих знаменитых предшественников: сколько времени затрачивал Шекспир или Лопе де Вега на то, чтобы написать пьесу? Стендаль написал «Пармский монастырь» за пять недель, Достоевский «Игрока» за еще меньший срок. Где же подвиг? Где чудо? Бальзак сочинял некоторые из своих романов за две недели. А художник иногда разве не пишет картину за день или за три часа? Я пишу потому, что люблю так писать, и потому, что у меня есть в этом потребность... Я считаю, что книгу должны читать повсюду — люди всех стран, и они должны узнавать в героях себя.

ЦЕЙЛОН

УСПЕХ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО

Творчество крупнейшего цейлонского кинорежиссера Лестера Джеймса Периса представляет собой совершенно новое направление в киноискусстве страны.

Уже первая его художественная картина «Рикава» (1957), где впервые в истории цейлонского кино использованы натурные съем-

Кадр из фильма «Деревня меняет свое лицо».
(Журнал «Линк»)

ки, была поставлена в реалистических традициях

С большим интересом встретил зритель вторую работу талантливого режиссера — исторический фильм «Послание», повествующий о восстании крестьян против португальских колонизаторов.

В новом фильме Периса «Деревня меняет свое лицо» убедительно звучит рассказанная художником история разорения деревенской семьи.

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Традиционным, общенародным праздником становится в Цейлоне День литературы. В расположенном на юге страны городе Матара состоялся массовый митинг, на котором присутствовали члены правительства, деятели литературы и искусства.

На этом митинге, как сообщает газета «Шри Ланка», министр промышленности, внутренних дел и культуры Цейлона М. Сенанаяке вручил государственные премии за лучшие литературные работы, созданные в последний год. Среди награжденных — писатель Л. Гунасекера, историк культуры К. Г. де Сильва, переводчик художественных произведений В. А. де Сильва (посмертно).

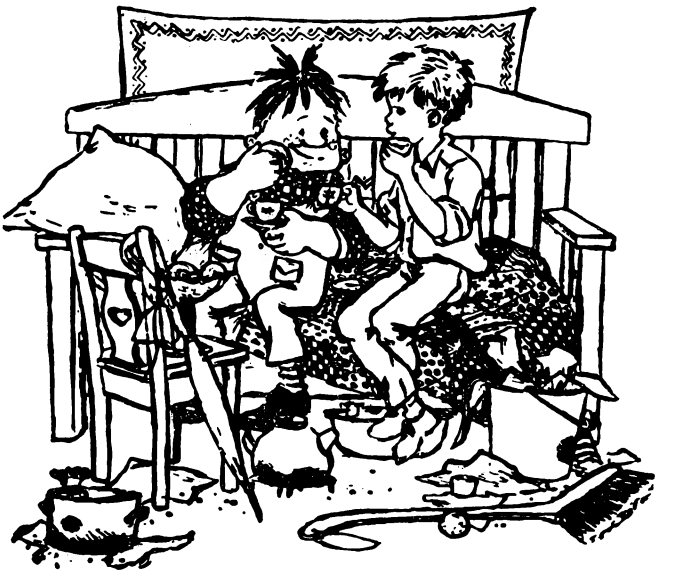
По всей стране в этот день проходили встречи с писателями, открылись книжные и художественные выставки, в школах и других учебных заведениях страны прошли литературные конкурсы на лучший рассказ и очерк.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«КУЛЬТУРНИ ТВОРБА»

В Праге начал выходить новый культурно-политический еженедельник «Культурни творба», издаваемый вместо «Культуры», «Творбы» и словацкого еженедельника «Предвой». Новый еженедельник — орган Комитета социалистической культуры.

ШВЕЦИЯ



Маленькие шведы получили хороший подарок: детская писательница Астрид Линдгрен написала новую книжку о Малыше и Карлсоне — героях, хорошо известных и среди наших маленьких читателей. Здесь мы помещаем иллюстрацию художника Илона Викландта к «Новым полетам Карлссона, который живет на крыше», вышедшим в стокгольмском издательстве «Рабен ог Шёгрен».

(Журнал «Ви»)

НАРОДНОСТЬ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА

Литература о Ярославе Гашеке, выдающемся чешском сатирике, пополнилась монографией Радко Пытлика «Ярослав Гашек», недавно вышедшей в издательстве «Ческословенски списователь». Пытлик, как сообщает еженедельник «Литерарни новины», нашел свой подход к творческому наследию Гашека. Один из главных, но не единственных, принципов, положенных им в основу монографии,—народность творчества Ярослава Гашека.

Раннее творчество Гашека, по словам Пытлика, уже народно, в нем присутствуют элементы фольклора. Глубоко народен и его позднейший герой—Швейк, этот добродушный толстячок, ставший бессмертным. Швейк — олицетворение простого народа и его отрицательного отношения к войне. Поэтому и книга Гашека о Швейке воспринимается как антивоенный роман.

По оценке еженедельника, монография Пытлика способствует более глубокому пониманию творчества Гашека.

ЮГОСЛАВИЯ

«СЛОВА, АССОЦИАЦИИ, АБСТРАКЦИИ»

Так названа рецензия Драголюба Игнятовича в журнале «Книжевне новине» на последний роман Оскаро Давичо «Генерал бас».

Подвергая роман подробному анализу, критик приходит к резко отрицательным выводам: «От всего Давичо, каким мы его знаем по лучшим произведениям, остался один только темперамент. Да и он заглушается частыми попытками сознательного бегства от правды».

Драголюб Игнатович в заключение высказывает надежду на то, что эта неудача не определит дальнейшего творческого развития писателя.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

СЕМБЕН УСМАН — SEMBÈNE OUSMAN (род. в 1923 г.). Сенегальский писатель — прозаик, поэт и драматург. Автор романов «Черный докер» («Le docker noir», 1956), «Родина моя, прекрасный мой народ» («O! Pays, mon beau peuple!», 1957), «Тростинки господа бога» («Les bouts de bois de dieu», 1961). «Тростинки господа бога» напечатаны в нашем журнале №№ 5, 6 за 1962 г. Публикуемые стихи печатаются по рукописи.

АЛАН СИЛЛИТОУ — ALAN SILLITOE (род. в 1928 г.). Английский писатель — прозаик и поэт. Автор романа «В субботу вечером и в воскресенье утром» («Saturday Night and Sunday Morning», 1959) и сборника «Крысы и другие стихотворения» («The Rats and Other Poems», 1960).

Роман «Ключ от двери» («Key to the Door») вышел в 1961 году. Журнальный вариант романа подготовлен автором. О творчестве Силлитоу см. статью в этом номере журнала.

ТО ХЫУ — TO HUU (род. в 1920 г.). Поэт Северного Вьетнама. Автор сборников стихов «Вьет бак» («Viêt-bác», 1954), «С тех пор» («Từ'ây», 1961), «Сильный ветер» («Gió lông», 1962).

Стихотворение «Как быть спокойным?» взято из газеты.

ТЕ ХАНЬ — TE HANH (род. в 1921 г.). Поэт Северного Вьетнама. Автор сборников «Моему Северу» («Gui miên Bac», 1958), «Сердце Юга» («Long miên Nam», 1960), «Песнь волн» («Tieng sóng», 1962) и др.

Стихотворение «Трудно честному человеку» публикуется по журналу «Ван нге куан дой» № 7 за 1962 г.

ЗИАНГ НАМ — GIANG NAM. Поэт и прозаик Южного Вьетнама. Автор сборника стихов «Завтрашний Август» («Tháng Tám ngày mai»).

Стихотворение «Мы нашу плоть и нашу кровь в обиду не дадим!» было напечатано в журнале «Ван нге куан дой» № 8 за 1962 г.

ТХАНЬ ХАЙ — THANH HAI (род. в 1937 г.). Поэт Южного Вьетнама. Автор сборника стихов «Верные товарищи» («Nhũng dõng chí trung kiên») и др.

Публикуемое стихотворение взято из журнала «Ван нге куан дой» № 3 за 1962 г.

КШОН БЛЕУ — KSON BLEU. Поэт Южного Вьетнама. Публикуемое стихотворение вошло в сборник «Песни Юга» («Tiêng Hát miên Nam», 1959).

ЖОРЖИ АМАДУ — JORGE AMADO (род. в 1912 г.). Бразильский писатель. См. о нем статью в этом номере журнала.

АЛЬВА БЕССИ — ALVAH BESSIE (род. в 1904 г.). Американский писатель и журналист. Автор романов «Обитель в пустыне» («Dwell in the Wilderness», 1935), «Хлеб и камень» («Bread and Stone», 1941), «Антиамериканцы» («The Un-americans», 1956) и документальной книги «Это ваш враг» («This your Enemy», 1942) и др. Публикуемый материал прислан в редакцию в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 01613 Сдано в производство 14/III-63 г. Подписано к печати 22/IV-63 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.+1 вкл.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 520.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70391